

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

9

1957

1957

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIII

№ 9

Сентябрь, 1957 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Н. ХРУЩЕВ — За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа-	3
НА СОРОКОВОМ ГОДУ. ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ИГНАТИЙ ДВОРЕЦКИЙ — <i>Сторона сибирская</i>	23
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Птенец голубки, стихи	50
ВЛ. ПАВЛОВ — <i>Проводник, рассказ</i>	51
ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ — <i>Майская ночь, стихи</i>	77
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — <i>Ты знаешь сам... Стихи</i>	79
ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ — <i>Из казахстанской тетради, стихи</i>	80
ВЛ. СОЛОУХИН — <i>Владимирские проселки</i>	82
ЖАК ПРЕВЕР — <i>Три стихотворения. Перевел с французского М. Кудинов</i>	142
СОРОК ЛЕТ НАЗАД. СЕНТЯБРЬ, 1917 год...	144
А. КАРАНДАСОВ — <i>Голос рабочей Москвы</i>	
Ф. ЯБЛУКОВСКИЙ — <i>В молдавских селах</i>	
И. ГУСАНОВ — <i>Ташкент в сентябре</i>	
И. ЗЕЙЛИКОВИЧ — <i>В городе Грозном</i>	
Я. ЯДРОВ — <i>Красногвардейцы Одессы</i>	
ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ	
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — <i>В Венгрии весной 1957 года. (Из дневника)</i>	174
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
МИХ. ЛИФШИЦ — <i>По поводу статьи И. Видмара «Из дневника»</i>	202
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
РОЖДЕННЫЕ ОКТЯБРЕМ	226
Предисловие Б. Браининой . Петрусь Бровка . В глухой белорусской деревне.— Аркадий Гайдар . Четырнадцатилетний командир.— Федор Гладков . По долгу сердца.— Джамбул . Сила песни.— Всеволод Иванов . Этого не забудешь.— Лев Квитко . Свет революции.— Берды Кербабаяев . Только с народом.— Ю. Либединский . По военным дорогам...— Вл. Луговской . Песня о ветре.— Кави Наджми . Заветы Горького.— Б. Полевой . Глаз журналиста.— Ник. Тихонов . Меня сделал поэтом Октябрь! — А. Фадеев . Наш	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
общий путь.— К. Федин . Романтика борьбы.— Дм. Фурманов . Твердое решение.— М. Шолохов . Первые ростки.— С. Щипачев . Я стал партийным парнем...	
АЛЕКСАНДР ИСБАХ — На линии огня. (Луи Арагон в боях за социалистический реализм) <i>Перечитывая книги...</i>	245
А. БЕРЗЕР — Победа Мишки Додонова	255
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Мухамеджан Каратаев . Первая казахская эпопея.— Б. Галанов . Люди, будьте бдительны! — Всеволод Азаров . Земное сердце.— Ф. Вигдорова . Мир, увиденный впервые.— Александр Лацис . О щедрости и соразмерности.— Дмитрий Осин . О философии фактов.— Л. Зонина . Как формируется характер.	260
<i>Политика и наука</i>	
Б. Яковлев . Великое наследие.— П. Подляшук . Красноречивые цифры.— Полковник С. Козлов . Глашатаи агрессии.— Н. Мацуев . Репертуар русской книги.— Профессор Д. Ошанин . Психология чувств.	278
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	
Л. Светлов . В. Г. Короленко и суд над М. В. Фрунзе.— С. Брейтбург . Н. К. Крупская — корреспондентка Толстого.	290
РЕПЛИКИ	
О. Верейский . После фестиваля.— В. Попов . Можно ли улучшить цветную репродукцию?	294
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	
Н. П. Путаница .— Б. З. Кто живет в Омске? — С. Лурье , Н. Ильина . Новое в хронологии.— Г. Коган . К вопросу о воспоминаниях.	297
КОРОТКО О КНИГАХ	300
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	303



Н. ХРУЩЕВ

★

ЗА ТЕСНУЮ СВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА С ЖИЗНЬЮ НАРОДА

Коммунистическая партия, руководствуясь указаниями В. И. Ленина о том, что литература и искусство являются составной частью общенародной борьбы за коммунизм, всегда придавала и придает первостепенное значение деятельности писателей, художников, скульпторов, композиторов, всех деятелей советской культуры, расцвету нашей многонациональной советской социалистической культуры.

*Советская литература и искусство сильны своей связью с жизнью народа, его борьбой за дело коммунизма. На XX съезде КПСС отмечалось, что деятели нашей литературы и искусства являются верными помощниками Коммунистической партии в осуществлении великих задач строительства нового общества и коммунистического воспитания трудящихся.

Вопросы развития литературы и искусства нельзя рассматривать в отрыве от тех насущных задач, которые решают сейчас Коммунистическая партия и советский народ по дальнейшему подъему экономики и культуры нашей страны, в борьбе за строительство коммунистического общества.

I

XX съезд КПСС, как известно, поставил большие задачи в области развития промышленности, сельского хозяйства, культурного строительства, подъема жизненного уровня народа. После съезда прошло немного времени, но успехи, достигнутые за этот период в осуществлении намеченного съездом курса, действительно огромны. Промышленность нашей страны успешно выполняет задания шестой пятилетки. Многие буржуазные политики откровенно говорят о том, что их страшат темпы роста советской промышленности, пугает сила воздействия советского примера на трудящихся всего мира. А мы с вами хорошо знаем, как убедительно воздействует наш пример на умы трудящихся всех стран.

На недавно состоявшейся сессии Верховного Совета СССР, обсуждавшей вопрос о перестройке управления промышленностью и строительством, отмечалось, что за годы Советской власти объем промышленной продукции в нашей стране возрос более чем в 30 раз, а в области машиностроения и металлообработки — в 180 раз, производство электроэнергии увеличилось почти в 100 раз.

Сокращенное изложение выступлений на совещании писателей в ЦК КПСС 13 мая 1957 года, на приеме писателей, художников, скульпторов и композиторов 19 мая 1957 года, на партийном активе в июле 1957 года.

Эти данные красноречиво свидетельствуют о том, что наша страна, идя по указанному Лениным пути, превратилась в могучую социалистическую державу. Осуществляемая в настоящее время перестройка управления промышленностью и строительством имеет огромное значение для дальнейшего развития экономики Советского Союза.

Перенесение центра тяжести управления промышленностью на места дает возможность руководить хозяйством более конкретно и оперативно, еще больше развязать инициативу масс, повысить роль и ответственность местных органов. Теперь вопросы работы предприятий и строек будут решаться не в министерствах и главках, а непосредственно на месте, в экономическом районе.

Думаю, что, возможно, не все согласны со мной в этом вопросе. Одни прямо об этом скажут, а другие могут промолчать. Это их дело. Должен напомнить, что когда Коммунистическая партия и наше правительство решали вопрос об освоении целины, тоже не все понимали значение этого дела. Так получилось и с перестройкой управления промышленностью. Кое-кто выступил против этого дела. Тут сказались приверженность к старому. Старое было удобно, к нему привыкли, а отжившее, старое надо ломать. Жить по старинке мы не можем, мы должны идти вперед.

Если благодаря освоению целинных и залежных земель советский народ добился больших успехов, то мероприятия, проводимые Коммунистической партией в области улучшения работы нашей промышленности, дадут еще большие результаты. Реорганизация хозяйственного управления, которую мы проводим, принесет советскому народу не только материальные блага. Она вызовет также новый расцвет культуры, потому что более равномерно будут распределяться культурные силы, центры экономических районов будут еще быстрее расти и как центры культуры.

Отдельные писатели после опубликования тезисов доклада о перестройке управления промышленностью и строительством проявили непонимание новых процессов, происходящих в нашей жизни, оказались недостаточно подготовленными для того, чтобы правильно оценить положение в народном хозяйстве страны на современном этапе, когда настойчиво ставится вопрос о совершенствовании форм управления промышленностью. В этом, между прочим, проявилась оторванность подобных писателей от жизни. Но мы уверены, что жизнь скоро покажет этим товарищам, как они заблуждаются.

Партия за последние годы уделяет много внимания подъему нашего сельского хозяйства. Вы знаете, в каком трудном положении находилось оно несколько лет тому назад. Вы, наверное, помните, какой визг и шум подняли наши враги в капиталистических странах, когда мы на сентябрьском Пленуме ЦК в 1953 году открыто и прямо сказали о недостатках в руководстве сельским хозяйством. Враги кричали, что это крах колхозов, крах всего нашего дела.

За эти годы партия, весь советский народ провели большую работу по подъему сельского хозяйства, и теперь каждый советский человек ощущает ее плоды. Почему же наше сельское хозяйство длительное время серьезно отставало? Это происходило потому, что никто в центре не хотел по-настоящему разобраться с положением дела на местах. Сталин, как известно, никуда не выезжал, с работниками сельского хозяйства не советовался, а люди, которым он поручал в центре наблюдение за сельским хозяйством, скрывали от него крупные недостатки, занимались очковтирательством. Грубо нарушался принцип материальной заинтересованности колхозников, всех работников сельского хозяйства в увеличении производства сельскохозяйственных продуктов.

Приведу хотя бы такие примеры. Вскоре после окончания войны я ездил в деревню, где родился, там зашел к двоюродной сестре. У нее был сад. Я сказал ей:

— У тебя замечательные яблони.

Она ответила:

— Осенью их срублю.

— Почему? — спросил я.

— Приходится платить большие налоги, — заявила она. — Невыгодно иметь сад.

Я рассказал об этом разговоре И. В. Сталину, сообщил ему, что колхозники сады рубят. А он мне потом сказал, что я народник, что народнический подход имею, теряю пролетарское классовое чутье.

Другой пример. Было ведь так, что мы из городов посылали тысячи людей убирать картофель в колхозах, в то время как сами колхозники не участвовали в уборке? Да, было. Почему колхозники не хотели работать на уборке картофеля? Потому, что при заготовке картофеля мы платили крайне низкие цены. Одна доставка картофеля на заготовительный пункт обходилась колхозу дороже того, что он получал за него.

Мы вынуждены были изменить такое положение, найти соответствующий уровень цен, создать материальную заинтересованность колхозников в производстве сельскохозяйственных продуктов. Без материальной заинтересованности колхозников в этом деле далеко не уедешь. Об этом нельзя забывать, когда речь идет о производстве столь жизненно необходимых для народа продуктов, как хлеб, мясо, масло, картофель. Но у нас, к сожалению, порой еще встречаются такие «крепкие головы», которые не в состоянии понять эту истину. Люди, оторвавшиеся от жизни, от интересов народа, не способны понять, что, упорно цепляясь за старое, можно загубить дело, нанести непоправимый ущерб интересам народа. Такие люди есть и среди работников идеологического фронта. Они живут в плену устарелых представлений, книжных схем, догм и формул.

Надо признать, что схоластические книжные представления довольно живучи, и они еще нередко дают себя знать в нашей работе. Носители подобных взглядов страшатся всего нового, поднимают крик и шум, шарахаются в испуге, теряют способность трезво анализировать обстановку, понимать потребность в осуществлении назревших мер, диктуемых ходом общественного развития. Когда ЦК предложил ввести новый порядок планирования в сельском хозяйстве, консервативные люди выступили против этой меры. Они пытались запугивать ЦК, говоря, что если мы откажемся планировать посевы по культурам из центра, то колхозники перестанут сеять пшеницу и нам неоткуда будет получать хлеб. Жизнь посмеялась над этими консерваторами. Миллионы колхозников горячо поддержали новый порядок планирования, активно включились в это дело, и мы имеем в результате большой выигрыш.

XX съезд партии показал, что наша страна располагает теперь всеми необходимыми условиями для того, чтобы решить в исторически кратчайший срок основную экономическую задачу СССР — догнать и перегнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения. Решение этой задачи, о которой Ленин говорил накануне Октябрьской революции как об одной из важнейших задач социалистического государства, позволит еще более укрепить экономическое могущество СССР, значительно поднять жизненный уровень народа.

Рабочие и крестьяне нашей страны шли за большевистской партией, за Лениным в октябре 1917 года на борьбу за свержение помещичье-капиталистического строя для того, чтобы завоевать свободу и построить новую, лучшую жизнь. А в чем выражается эта лучшая жизнь? В том,

чтобы человек был свободным гражданином, хозяином своей судьбы, чтобы он работал не на эксплуататоров, а на себя, имел в достатке все необходимое ему для культурной и обеспеченной жизни. Коммунистическая партия считает своей первейшей обязанностью постоянную заботу о неуклонном подъеме благосостояния трудящихся. Наша задача сейчас состоит в том, чтобы иметь в стране уже в ближайшие годы в достатке такие жизненно необходимые продукты, как хлеб, мясо, масло, молоко и другие предметы народного потребления. Вы знаете, какие усилия предпринимает теперь партия для всемерного расширения жилищного строительства как в городах, так и в сельских районах, чтобы обеспечить трудящихся нашей страны благоустроенным жильем.

В результате осуществленных за последние годы мероприятий наше сельское хозяйство находится сейчас на таком уровне развития, что оно может с успехом решить задачу догнать в ближайшие годы Соединенные Штаты Америки по производству мяса, молока и масла на душу населения. Как в настоящее время обстоит дело с производством мяса, масла, молока у нас и в Соединенных Штатах Америки? В 1956 году в Советском Союзе производилось 32,3 килограмма мяса на душу населения, в Соединенных Штатах — 102,3 килограмма. Сливочного масла у нас производилось 2,8 килограмма на душу населения, а в США — 3,8 килограмма, молока мы производили 245 килограммов на душу, а США — 343 килограмма. Как видите, мы пока еще серьезно отстаем от США в производстве масла, молока и особенно мяса на душу населения. Приведенные мною цифры показывают, какую огромную задачу мы поставили перед собой. Можем ли мы ее решить? Скептики пугают нас, говоря, что будто бы мы взваливаем на себя непосильную ношу. Они не верят в возможности социалистического хозяйства, не знают страны, не понимают души нашего народа, не верят в его неисчерпаемые силы.

Мы не были бы коммунистами, учениками и последователями Ленина, если бы боялись трудностей, которые возникают в борьбе за повышение народного благосостояния. Мы отдаем себе отчет в том, что стоящая перед нами задача велика и сложна, но Коммунистическая партия, советский народ решат эту задачу. Наша твердая уверенность основана на точных расчетах реальных возможностей, какими располагает социалистическое сельское хозяйство, на учете опыта передовых колхозов.

Поставленная партией задача получила всенародное одобрение и поддержку. В стране нарастает могучий подъем инициативы трудящихся. Колхозники берут на себя обязательства увеличить производство мяса, масла и молока в три, пять, десять и больше раз — это их ответ маловерам и скептикам.

В настоящее время колхозное животноводство находится на подъеме. В этих условиях в Центральном Комитете партии обсуждается вопрос о том, чтобы уже с 1958 года отказаться от обязательных поставок колхозниками сельскохозяйственных продуктов с их личных хозяйств. Теперь мы имеем полную возможность это сделать. Осуществление такого мероприятия имеет большое жизненное значение для миллионов трудящихся.

Мне хотелось бы также рассказать и о других мероприятиях, осуществляемых партией в целях дальнейшего улучшения жизненных условий народов Советского Союза. Быстрый рост нашей промышленности, систематическое повышение производительности труда, широкое использование новейших достижений науки и техники для механизации производства позволяют нам осуществить в ближайшее время переход на семичасовой рабочий день, а на подземных работах в угольной и горнорудной промышленности — на шестичасовой рабочий день. В капитали-

стических странах механизация и автоматизация производства влекут за собой ухудшение условий жизни трудящихся, массовую безработицу для рабочего класса. В нашей социалистической стране дело обстоит совсем по-другому. Чем более совершенной становится техника производства, тем быстрее растет производительность общественного труда, повышается жизненный уровень трудящихся. Не за горами то время, когда мы вслед за введением семичасового рабочего дня осуществим переход на шестичасовой рабочий день. Тем самым будут созданы еще более благоприятные условия для всестороннего развития духовной культуры, для всестороннего развития личности граждан социалистического общества. Рост материальной культуры есть основа роста духовной культуры. При низком уровне материальной культуры не может расцвевать духовная культура всего общества. Эти два фактора взаимосвязаны.

Советский Союз является многонациональным социалистическим государством, объединяющим на добровольных началах пятнадцать равноправных братских союзных республик. На путях социалистического развития ранее угнетавшиеся народы, получив государственную самостоятельность, приобрели неограниченные возможности для роста экономики и культуры и за короткий срок сделали огромный скачок вперед. Надо прямо сказать, что мы по-настоящему еще ярко не показали те великие исторические преобразования, которые произошли в жизни народов наших республик за годы Советской власти. И в этом отношении наши работники литературы и искусства в большом долгу перед народом. Хочется посоветовать литераторам и художникам, чтобы они пристальнее взгляделись и поглубже вникли в жизнь всех национальностей нашей страны. Тогда тысячи живых примеров покажут им, как изменились судьбы людей, с какими замечательными успехами приходит наш народ к 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

За последние годы я несколько раз был в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане, а также был в Киргизии, в республиках Прибалтики — Литве, Латвии и Эстонии. Бывал также и в Грузии, но это было давно. В каждой из наших союзных республик достигнуты огромные успехи в области хозяйственного и культурного строительства, выросли многочисленные квалифицированные кадры.

Какой поразительный расцвет экономики и культуры имеем мы в наших советских республиках! Какие замечательные люди выросли и сформировались в условиях советского общества под руководством Коммунистической партии в ходе исторической борьбы за дело коммунизма! Встречаясь и беседуя с этими людьми, испытываешь чувство горечи и сожаления о том, что так редко удается писателям и художникам достойно воплотить в произведениях литературы и искусства образы наших людей, показать, что это новые люди, рожденные и воспитанные эпохой социализма. Эти новые люди являются борцами за свободу и счастье человечества, воплощают в себе высокие душевные качества и черты коммунистической морали. Укрепление связи с повседневной жизнью народа, его трудовой деятельностью поможет писателям и художникам преодолеть устаревшие представления о наших людях, познать их душу, их характер, думы и чаяния и создать в повестях, романах, поэмах и пьесах, в произведениях киноискусства, живописи и музыки ки правдивые и яркие образы наших современников.

XX съезд партии в своих решениях указал, что в целях дальнейшего подъема и расцвета экономики и культуры необходимо всемерно расширять права и повышать роль союзных республик, последовательно проводить в жизнь ленинскую национальную политику. После съезда партией и правительством проведена уже значительная работа в этом

направлении, и ее результаты положительно сказываются на жизни всех республик.

В этой связи хочется особо сказать о важнейших мероприятиях, которые осуществлены Центральным Комитетом КПСС и Советским правительством в целях расширения прав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Российская Федерация по праву пользуется заслуженным уважением всех братских народов Советского Союза. Вместе с русскими люди всех социалистических наций СССР с любовью говорят: Россия-матушка. Известно, что еще в дореволюционное время выдающиеся представители демократической русской интеллигенции были тесно связаны с передовыми представителями интеллигенции всех народов России, активно выступали против национального гнета, оказывали благотворное влияние на развитие культур различных наций и народностей.

Героический русский рабочий класс под руководством большевистской партии возглавил борьбу трудящихся всех национальностей против ненавистного царизма, против буржуазно-помещичьего строя и обеспечил победу социалистической революции. В ходе великих социалистических преобразований в нашей стране русский народ сделал очень и очень многое для того, чтобы помочь ранее угнетавшимся народам страны преодолеть вековую экономическую и культурную отсталость и поднять их до своего уровня. Великие и благородные дела русского народа как в годы мирного строительства, так и в период военных испытаний снискали ему горячую признательность и уважение всех народов нашей страны. Это ни в какой мере не умаляет выдающегося значения всех народов в братской семье социалистических наций СССР. Все народы нашего Советского Союза вносят свой великий вклад в дело коммунистического строительства. Непреоборимая сила советского строя — в нерушимой братской дружбе всех народов нашей многонациональной Советской страны.

Следует признать, товарищи, что до самого недавнего времени Российская Федерация не имела надлежащей полноты прав, соответствующих ее значению и месту в государстве. После XX съезда КПСС это ненормальное положение было исправлено. Создано Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Это оперативный орган Центрального Комитета, который занимается всеми делами Российской Федерации, осуществляет от имени ЦК КПСС руководство всеми областями партийной, хозяйственной и культурной жизни РСФСР. Совет Министров РСФСР наделен всеми необходимыми правами для руководства промышленностью, сельским хозяйством и культурным строительством. Осуществленная недавно перестройка управления промышленностью и строительством, создание в РСФСР 70 совнархозов по экономическим административным районам позволят более конкретно руководить развитием экономики республики.

Мероприятия по расширению прав союзных республик имеют большое значение и открывают еще более широкие возможности для их всестороннего развития.

Товарищи! Наша сила — в единстве наших партийных рядов, в нерушимом единстве всех советских народов, в сплоченности их вокруг Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. При этом монолитном и нерушимом единстве наших рядов никакие происки сил мировой реакции нам не страшны.

II

Некоторые приверженцы «чистой теории» пытаются изобразить деятельность нашей партии, осуществляемые ею мероприятия как своего рода узкий практицизм. Отдельные сторонники таких взглядов встречаются и среди писателей. Подобного рода заблуждения нельзя оставлять

без ответа. Давайте рассмотрим, как следует понимать с марксистской точки зрения связь теории с практикой. Никому из марксистов-ленинцев не придет в голову принижать значение революционной теории. Без революционной теории, говорил Ленин, нет и революционной практики.

Теория марксизма-ленинизма есть выражение коренных интересов рабочего класса, коренных интересов трудящихся. Она не догма, а руководство к практическому революционному действию. На каждом новом этапе исторического развития жизнь выдвигает свои задачи, вытекающие из потребностей общества. Творческий подход к теории, умение развивать и двигать вперед марксистско-ленинскую науку состоит в том, чтобы на основе научного обобщения живого опыта правильно понять новые назревшие задачи общественного развития и наметить пути их практического осуществления.

Решения XX съезда КПСС — образец творческого развития марксистско-ленинской теории. Намеченный съездом политический курс нашей партии выражает коренные интересы советского народа на современном этапе борьбы за коммунизм. Эти коренные интересы народа состоят в том, чтобы обеспечить дальнейшее мощное развитие социалистической промышленности и в первую очередь тяжелой индустрии, крутой подъем сельского хозяйства и на этой основе всемерно повышать материальное благосостояние трудящихся.

Осуществляемые за последние годы Коммунистической партией мероприятия как в области партийного и государственного строительства, так и в области подъема экономики и повышения жизненного уровня народа являются свидетельством того, что вся деятельность нашей партии основывается на неразрывном единстве теории и практики. В последние годы жизни Сталина эта связь теории и практики была нарушена. Вот чего не понимают оторвавшиеся от жизни люди, мнящие себя жрецами и истолкователями марксистско-ленинской науки, а на деле порвавшие с ленинизмом и скатившиеся на путь фракционной, раскольнической деятельности, направленной против коренных интересов партии, коренных интересов народа. Июньский Пленум Центрального Комитета разоблачил и идейно разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова и примкнувшего к ним Шепилова, выступавших против ленинского курса, намеченного XX съездом партии. Вся наша партия, весь советский народ единодушно одобрили это решение июньского Пленума ЦК КПСС, направленное на дальнейшее укрепление ленинского единства партии.

Я знаю таких людей, которые ходят в теоретиках, а по сути дела вся их теоретическая «мудрость» сводится к жонглированию по поводу и без повода цитатами из высказываний классиков марксизма-ленинизма. Выдавая себя за теоретиков, подобные горе-ученые не могут понять такую важную марксистскую истину, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться прежде, чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой и искусством. Эти талмудисты и начетчики забывают, что народ для того и взял власть в свои руки, чтобы возможно более быстро развить производительные силы, умножить общественное богатство, поднять свое благосостояние, создать лучшие условия жизни.

Если бы Маркс, Энгельс и Ленин смогли сейчас подняться, то они бы высмеяли тех буквослов-цитатчиков, которые вместо того, чтобы изучать жизнь современного общества, творчески развивать теорию, пытаются выискать у классиков цитату о том, как поступить с машинно-тракторной станцией в таком-то районе. Смешно искать у Маркса или Энгельса указаний о том, как, например, поступить нам с поставками сельскохозяйственных продуктов колхозниками с их хозяйств.

Следует признать, что среди наших экономистов и философов имеются люди, оторванные от жизни, от практики коммунистического строительства. Можно встретить даже таких экономистов, которые, говоря о зара-

ботной плате в современных условиях, пользуются примерами, приводившимися почти сто лет тому назад Марксом в его знаменитом «Капитале». Конечно, таких людей немного, но, к сожалению, они все еще нет-нет да и встретятся. Подобные экономисты не могут дать конкретных примеров из жизни потому, что они по-настоящему не знают жизнь. Это не теоретики, а попугаи, которые затвердили определенные фразы и повторяют их. Groш цена такой «теоретической» работе.

Мы, коммунисты, люди активного революционного действия, мы видим свою задачу в том, чтобы преобразовать мир, построить коммунистическое общество. Сила нашей теории в том, что она тесно связана с жизнью, обобщает творческий опыт миллионов, стоит на защите коренных интересов трудящихся, составляющих большинство населения мира. Сила марксистско-ленинской теории в том, что по существу своему она революционна, не терпит застоя, рутины и косности, она освещает путь в коммунистическое будущее, ведет народы вперед, помогая им преодолевать трудности и преграды на пути к этой цели.

Марксисты-ленинцы выступают как творцы новой жизни, люди большой революционной мысли, смелой фантазии, открывающей мечты. Вместе с тем они люди земные, твердо стоящие обеими ногами на почве реальной действительности, трезвые политики, учитывающие в своей деятельности все реальные условия и возможности, не боящиеся трудностей, не скрывающие противоречий, способные открыто и честно сказать своему народу всю правду, как бы она порою ни была горька. Ученики и последователи Ленина, коммунисты, ставят перед собой самые смелые задачи во имя блага и счастья народа и не жалеют сил для их осуществления.

Вспомним, товарищи, какое огромное значение придавал Ленин практической деятельности нашей партии в области хозяйственного развития. Он говорил, что если бы мы смогли дать 100 тысяч тракторов, то крестьяне сказали бы, что они за коммунию, то есть за коммунизм. А когда был разработан план электрификации России, Ленин назвал его второй программой нашей партии.

Великие планы коммунистического строительства, разработанные XX съездом партии, являются боевой программой наших действий на современном этапе развития страны. Эти планы предусматривают гигантский рост производительных сил на основе непрерывного технического прогресса с тем, чтобы значительно увеличить производство продуктов и товаров народного потребления и сделать новый крупный шаг по пути к коммунизму.

Осуществление планов, намеченных XX съездом, имеет огромное международное значение. Это будет новым ударом сокрушительной силы по идеологам капиталистического мира, которые в своих враждебных выпадах против социализма широко используют такой временный, преходящий фактор, как данные о производстве товаров на душу населения в наиболее развитых капиталистических странах.

Все честные, непредубежденные люди видят, как с каждым годом бурного развития нашего народного хозяйства резко уменьшается разница в уровне производства продуктов на душу населения у нас и в наиболее развитых капиталистических странах. В настоящее время мы уже вышли на второе место в мире по объему промышленного производства. Даже лютые враги не могут отрицать экономического могущества Советского Союза и быстрых темпов его экономического развития.

Выдающиеся успехи Советского Союза, Китайской Народной Республики, всех социалистических стран производят ошеломляющее действие на противников социализма и приводят их в смятение. Именно этими успехами социалистических стран обуславливается все возрастающая притягательная сила идей социализма во всех странах, которым противники социализма приписывают чуть ли не сверхъестественный характер.

Именно поэтому на нас взваливают иногда вину за события в таких местах, где наша нога никогда не ступала. Понять, осмыслить и правильно осветить сущность великих социалистических преобразований — такова важнейшая задача наших идеологических работников.

Говоря о задачах идеологических работников, нельзя обойти молча-нием вопрос о культе личности и ликвидации его последствий. Осуждение нашей партией чуждого духу марксизма-ленинизма культа личности И. В. Сталина вызвало широкий отклик как внутри страны, так и за ее рубежами. Советский народ, коммунистические и рабочие партии, все наши зарубежные друзья горячо одобрили и единодушно поддержали решения XX съезда и известное постановление ЦК КПСС о ликвидации последствий культа личности. Враги социализма пытались использовать критику культа личности в своих грязных целях, организовав визгливую клеветническую кампанию против нашей страны и социалистического лагерь в целом. Им очень хотелось бы внести замешательство в ряды борцов за мир, демократию и социализм, ослабить влияние идей марксизма-ленинизма, поколебать единство стран социалистического лагеря, оклеветать и скомпрометировать коммунистические партии в глазах народов. Теперь всем видно, что эти подлые расчеты врагов социализма потерпели позорный провал.

Коммунистические и рабочие партии вовремя распознали и разоблачили замыслы империалистов, нанесли сокрушительный удар по вдохновителям и организаторам идеологической диверсии, а также по всем оппортунистическим элементам, пытавшимся ревизовать основы марксизма-ленинизма.

В обостренной идеологической борьбе наша советская интеллигенция показала себя политически зрелой, стойкой, преданной идеям марксизма-ленинизма, вместе со всем советским народом продемонстрировала единство и сплоченность в великой борьбе за дело коммунизма. Но следует признать, что в среде интеллигенции нашлись отдельные люди, которые начали терять почву под ногами, проявили известные шатания и колебания в оценке ряда сложных идеологических вопросов, связанных с преодолением последствий культа личности.

Чем объяснить подобные шатания и колебания отдельных представителей из среды деятелей литературы и искусства? По-моему, это произошло потому, что некоторые товарищи односторонне, неправильно поняли существо партийной критики культа личности Сталина. Они пытались истолковать эту критику как огульное отрицание положительной роли И. В. Сталина в жизни нашей партии и страны и встали на ложный путь предвзятого выискивания только теневых сторон и ошибок в истории борьбы нашего народа за победу социализма, игнорируя всемирно-исторические успехи Советской страны в строительстве социализма.

В беседе с редактором американской газеты «Нью-Йорк таймс», отвечая на его вопрос — «Какое место займет Сталин в истории?», — я сказал, что Сталин займет важное место в истории Советского Союза. У него были большие недостатки, но Сталин был преданным марксистом-ленинцем, преданным и стойким революционером. Сталин допустил много ошибок в последний период своей деятельности, но он и сделал много полезного для нашей страны, для нашей партии, для всего международного рабочего движения. Наша партия, советский народ будут помнить Сталина и воздавать ему должное.

Для того, чтобы правильно понять существо партийной критики культа личности, надо глубоко осознать, что в деятельности товарища Сталина мы видим две стороны: положительную, которую мы поддерживаем и высоко ценим, и отрицательную, которую критикуем, осуждаем и отвергаем.

И. В. Сталин в течение длительного времени занимал руководящее положение в составе Центрального Комитета нашей партии. Вся его деятельность связана с осуществлением великих социалистических преобразований в нашей стране. За эти годы в результате претворения в жизнь ленинских планов социалистического строительства в корне изменился облик нашей страны. Вспомним, что представляла собой Россия до победы Великой Октябрьской революции. Это была в экономическом и культурном отношении отсталая страна, низведенная царизмом до положения полуколониального государства. Посмотрите, что представляет собой Советская страна сегодня! Советский Союз является великой, могущественной социалистической державой, оказывающей решающее влияние на ход мировой истории, пользующейся глубоким уважением трудящихся всего мира.

Великие успехи в развитии нашей страны достигнуты под руководством Коммунистической партии и ее Центрального Комитета, ведущую роль в котором играл И. В. Сталин. Строительство социализма в СССР осуществлялось в обстановке ожесточенной борьбы с классовыми врагами и их агентурой в партии — с троцкистами, зиновьевцами, бухаринцами и буржуазными националистами. Это была политическая борьба. Партия правильно сделала, разоблачив их как противников ленинизма, противников социалистического строительства в нашей стране. Политически они осуждены, и осуждены справедливо.

В этой борьбе Сталин сделал полезное дело. Этого нельзя вычеркнуть из истории борьбы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции нашей страны за социализм, из истории Советского государства. За это мы ценим и уважаем Сталина. Мы были искренними в своем уважении к И. В. Сталину, когда плакали, стоя у его гроба. Мы искренни и сейчас в оценке его положительной роли в истории нашей партии и Советского государства. Каждый из нас верил Сталину, вера эта была основана на убеждении, что дело, которое мы делали вместе со Сталиным, совершалось в интересах революции, в интересах рабочего класса, всех трудящихся.

Наша партия, все мы решительно осуждаем Сталина за те грубые ошибки и извращения, которые нанесли серьезный ущерб делу партии, делу народа. Мы потеряли много честных и преданных людей, работников нашей партии и Советского государства, оклеветанных и невинно пострадавших. Многих из них мы уже реабилитировали. Партия осудила те неправильные методы руководства, которые сложились в период культа личности, последовательно и настойчиво проводит работу по восстановлению ленинских норм партийной жизни и принципов руководства, по всемерному расширению советской социалистической демократии.

Как могло случиться, что Сталин, занимая правильную позицию в борьбе с противниками ленинизма, совершил такие грубые и тяжелые ошибки? Это сложный вопрос, товарищи. Это трагедия Сталина, во многом обусловленная крупными недостатками его личности, его характера, на которые указывал В. И. Ленин в своем письме XIII съезду партии. Эти недостатки Сталина особенно развились в последний период его жизни, когда он стал допускать грубые нарушения ленинских норм партийной жизни, пренебрегал принципами коллективного руководства, единолично решал многие важнейшие партийные и государственные вопросы, когда ослабли его связи с кадрами и массами трудящихся. Положение осложнялось и тем, что личные недостатки Сталина были использованы во вред нашему делу заклятым врагом партии и народа провокатором Берия.

Большая вина в этом деле лежит и на т. Маленкове, который подпал под полное влияние Берия, был его тенью, был орудием в руках Берия.

Занимая высокое положение в партии и государстве, т. Маленков не только не сдерживал И. В. Сталина, но очень ловко пользовался слабостями и привычками Сталина в последние годы его жизни. Во многих случаях он толкал его на такие действия, которые заслуживают строгого осуждения.

Теперь уже всем ясно, какое огромное положительное значение имеет проведенная партией работа по ликвидации последствий культа личности.

Критика культа личности и ликвидация его последствий в области идеологической работы, вполне естественно, вызвали глубокие переживания и серьезные раздумья среди творческих работников и прежде всего среди писателей.

Кто больше всего и острее переживал это? Я считаю, товарищи, что больше всего переживали писатели, художники, скульпторы, композиторы и другие работники искусства. Из писателей же особенно глубоко переживали те товарищи, которые были ближе всего к партии, к Центральному Комитету и, следовательно, к Сталину. Это была близость к народу, ко всему, что делал народ под руководством нашей партии. В произведениях этих писателей правдиво, с искренним чувством рассказывалось о борьбе и победах партии и народа. В этих произведениях часто встречался и образ товарища Сталина. Авторы таких произведений делали доброе дело, они хотели хорошего нашей партии, вместе со всем народом, под руководством партии боролись за высокие коммунистические идеалы. Конечно, в ряде случаев под влиянием общей обстановки в период культа личности в произведениях литературы и искусства проявлялось необъективное, одностороннее изображение личности И. В. Сталина, чрезмерно преувеличивались его заслуги в то время, как роль партии, роль народа не получала достойного отображения.

Когда партия развернула критику культа личности, критику допущенных Сталиным ошибок, некоторым писателям стало представляться, что будто бы чуть ли не вся их творческая деятельность в прошлом была неправильной. У отдельных литераторов появились даже такие настроения, что не следует ли переделать все написанные ими книги. Нужно признать, что среди интеллигенции нашлись и такие люди, ранее не участвовавшие активно в борьбе за наше дело, которые стали поносить и порочить работников литературы и искусства, прославлявших успехи, достигнутые нашим народом под руководством партии. Они придумали и пустили в обиход такое бранное словечко, как «лакировщик», наклеивая этот ярлык на каждого, кто правдиво писал о нашей действительности, о созидательном труде народа и его великих победах, кто создавал положительные образы советских людей в произведениях литературы и искусства.

Некоторые товарищи ставят вопрос, как относиться к Сталинским премиям, которыми награждены наши люди. Я считаю, что надо с чувством уважения относиться к премиям и с гордостью носить почетный знак лауреата Сталинской премии. Если бы я имел Сталинскую премию, то я носил бы почетный знак лауреата. В деле присуждения Сталинских премий были допущены ошибки, когда в ряде случаев премии получали люди недостойные. Но это частности. За редким исключением Сталинские премии работники науки, литературы и искусства получили заслуженно.

Надо со всей прямоотой и ясностью сказать, что Коммунистическая партия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать тех писателей и деятелей искусства, которые честно и преданно служат своему народу, вместе с народом радуются успехам Родины в строительстве коммунизма и находят яркие краски для выражения этих успехов в произведениях литературы и искусства.

III

Центральный Комитет КПСС считает, что товарищеские встречи и беседы с деятелями литературы и искусства по важнейшим вопросам идеологической работы весьма полезны и заслуживают всяческой поддержки. Мне очень понравилось, что на встречах и в беседах, состоявшихся в последнее время в ЦК КПСС, писатели и деятели искусства откровенно и непринужденно говорили по всем вопросам, волнующим их. Они выступали в своей дружеской среде и были правильно поняты. Такие формы общения крайне нужны для товарищеского обмена мнениями, в результате которого вырабатываются взаимопонимание и общие точки зрения по насущным вопросам нашей жизни и работы.

Почему партия так много уделяет внимания вопросам литературы и искусства? Потому, что литературе и искусству принадлежит исключительно важная роль в идеологической работе нашей партии, в деле коммунистического воспитания трудящихся. Писатели, художники, скульпторы, композиторы, работники кино и театрального искусства, вся наша интеллигенция своим творчеством активно участвуют в созидательной деятельности советского общества, верно служат своему народу. Коммунистическая партия считает деятелей литературы и искусства своими верными друзьями, помощниками, надежной опорой в идеологической борьбе. Партия заботится о расцвете, высокой идейности и художественном мастерстве литературы и искусства. Нашему народу нужны произведения литературы, живописи, музыки, отражающие пафос труда, понятные народу. Метод социалистического реализма обеспечивает неограниченные возможности для создания таких произведений. Партия ведет непримиримую борьбу против проникновения в литературу и искусство влияний чуждой идеологии, против враждебных нападок на социалистическую культуру.

Сложность и своеобразие идейной борьбы в области литературы и искусства в настоящее время состоят, между прочим, в том, что нам приходится защищать литературу и искусство не только от нападок извне, но и от попыток отдельных творческих работников толкнуть литературу и искусство на неправильный путь, увести в сторону от главной линии развития.

А главная линия развития состоит в том, чтобы литература и искусство были всегда неразрывно связаны с жизнью народа, правдиво отображали богатство и многообразие нашей социалистической действительности, ярко и убедительно показывали великую преобразовательную деятельность советского народа, благородство его стремлений и целей, высокие моральные качества. Высшее общественное назначение литературы и искусства — поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма.

Надо признать, товарищи, что среди наших писателей и деятелей искусства еще встречаются отдельные люди, которые порою теряют почву под ногами, сбиваются с правильного пути. Такие люди ошибочно, в извращенном свете трактуют задачи литературы и искусства. Они пытаются представить дело так, что будто бы литература и искусство призваны выискивать только недостатки, говорить преимущественно об отрицательном в жизни, о фактах неустроенности и замалчивать все положительное. А ведь именно это положительное, новое и прогрессивное в жизни и составляет главное в бурно развивающейся действительности социалистического общества.

Носители ошибочных и вредных взглядов и настроений ополчились против тех писателей и художников, в произведениях которых даются правдивые и яркие картины поступательного развития советского общества, положительные образы наших современников. К числу тех, кого

называют презрительной кличкой «лакировщик», отнесен проработчиками, например, такой писатель, как тов. Грибачев и некоторые другие.

Мы поддерживаем писателей, занимающих правильную позицию в литературе, пишущих о положительном в жизни. Это не означает, что каждое написанное ими произведение свободно от тех или иных недостатков и не может подвергаться критике. Возможно, что в творческой работе этих товарищей и были отдельные ошибочные увлечения, но это никому не дает основания и права охаивать их, отрицать то полезное дело, которое они делали.

Кое-кто, наверное, попытается истолковать такую оценку фактов и явлений литературной жизни, как призыв к одностороннему отображению жизни, замалчиванию недостатков и трудностей в нашей действительности. Но мы заранее решительно отмечаем подобную попытку с негодными средствами.

Нас, коммунистов, никто не может обвинить в боязни критики, в стремлении замазывать и скрывать недостатки в работе. На историческом опыте доказано, что боязнь критики и самокритики присуща уходящим классам и их политическим партиям. Коммунистическая партия, как политический руководитель самого передового класса, как вождь народа, строящего коммунизм, осуществляет свою великую преобразовательную деятельность под знаменем марксизма-ленинизма — самой революционной и критической по существу своему теории. Она не боялась и не боится никаких трудностей на пути к великой цели, всегда смотрит смело и прямо правде в глаза. Она служит интересам народа, открыто и беспощадно вскрывает и критикует недостатки и ошибки, вместе с массами намечает пути устранения недостатков и исправления ошибок во имя успехов нашего дела.

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет во всей своей деятельности показывают пример, как надо вскрывать и устранять недостатки. Вспомните, например, решения партии по вопросам сельского хозяйства, перестройки управления промышленностью и строительством, о предоставлении местным органам больших прав и развязывании их инициативы в работе, о сокращении штатов государственного и партийного аппарата и совершенствовании стиля и методов руководства. Разве не является свидетельством высокой ленинской принципиальности, мужества и решимости нашей партии критика культа личности, последовательная и настойчивая борьба за преодоление его последствий. Решения XX съезда партии, Пленумов Центрального Комитета проникнуты духом большевистской критики и самокритики, непримиримости к недостаткам и ошибкам. Великий Ленин учил, что принципиальная политика является единственно правильной политикой. Партия требует от каждого коммуниста, каждого работника партийных и государственных органов высокой ответственности за порученное дело и строго взыскивает со всех, кто в своей практической работе отстает от политической линии партии, забывает об интересах партии и народа. Ни занимаемый работником пост, ни прошлые заслуги не ограждают и не могут оградить его от критики и ответственности перед партией и народом.

Весь вопрос в том, с каких позиций и во имя чего ведется критика. Мы вскрываем и критикуем недостатки и ошибки для того, чтобы устранить их как помеху на нашем пути, чтобы еще более укрепить наш советский строй, позиции Коммунистической партии, обеспечить новые успехи и более быстрое движение вперед. А что происходит с некоторыми литераторами, когда они берутся критиковать недостатки? Не зная жизни, не обладая необходимым политическим опытом, умением видеть главное и определяющее в жизни, они цепляются за недостатки и ошибки тех или иных работников, сваливают без разбора и осмысливания все в одну кучу, запугивают себя и пытаются пугать других.

В такое незавидное положение попал, в частности, писатель В. Дудинцев. В его книжке «Не хлебом единым», которую сейчас пытаются использовать против нас реакционные силы за рубежом, предвзято надерганы отрицательные факты и тенденциозно освещены с недружественных нам позиций. В книжке Дудинцева есть и правильные, сильно написанные страницы, но общее направление книги неверно в своей основе. У читателя создается впечатление, что автор этой книги не проникнут заботой об устранении увиденных им недостатков в нашей жизни, он умышленно сгущает краски, злорадствует по поводу недостатков. Такой подход к изображению действительности в произведениях литературы и искусства есть не что иное, как стремление показать ее в извращенном виде, в кривом зеркале.

Приходится только пожалеть, что этой нездоровой и вредной тенденции не заметили и не дали ей вовремя правильной оценки и отпора некоторые литературно-художественные журналы и издательства. Редакция журнала «Новый мир» предоставила страницы журнала для опубликования сочинений, подобных книге Дудинцева. Редакции ряда литературно-художественных журналов и руководители некоторых издательств оказались не на высоте положения, в ряде случаев сползли с принципиальных позиций. Эти товарищи начали забывать о том, что печать — главное наше идейное оружие. Она призвана разить врагов рабочего класса, врагов трудящихся. Как армия не может воевать без оружия, так и партия не может успешно вести свою идеологическую работу без такого острого и боевого оружия, как печать. Мы не можем отдавать органы печати в ненадежные руки, они должны находиться в руках самых верных, самых надежных, политически стойких и преданных нашему делу работников.

Забвение этого привело к тому, что некоторые печатные органы Союза писателей вместо того, чтобы последовательно отстаивать принципиальную линию в литературе, оказались под сильным влиянием отдельных людей, стоящих на неправильных позициях, и, по сути дела, стали проводниками нездоровых настроений и тенденций. Сказанное в особенности относится к альманаху «Литературная Москва». В этом альманахе были опубликованы порочные в идейном отношении произведения и статьи, вызвавшие резкое осуждение со стороны нашей общественности и прежде всего самих писателей. Об этом справедливо говорили многие литераторы на пленуме правления Союза писателей. Между тем члены редакции альманаха продемонстрировали свое неуважение к критике их ошибок, к мнению своих товарищей по перу, писателей, и уклонились от прямого и честного выступления по поводу занятой ими позиции. Особо следует сказать о тов. Алигер, которая и до сих пор придерживается того взгляда, что линия альманаха «Литературная Москва» была якобы правильной, она берет под защиту опубликованные в альманахе произведения, в которых протаскиваются чуждые нам идеи.

Среди деятелей литературы и искусства много говорится о партийности, народности, о свободе творчества и о партийном руководстве. Эти вопросы заслуживают серьезного внимания. О них следует сказать тем более потому, что по этим вопросам наговорено и написано много неправильного и путаного, что вносит сумятицу и неразбериху в умы людей, мешает правильно понимать политику партии в вопросах литературы и искусства, ленинские принципы партийного руководства этими важнейшими областями идеологической работы.

Несколько замечаний о партийности и народности литературы и искусства. Прежде всего нельзя противопоставлять понятия партийности и народности. Сила советского социалистического общества в единении Коммунистической партии и народа. Политика Коммунистической партии, выражающая коренные интересы народа, составляет жизненную основу

советского общественного и государственного строя. Поэтому было бы большим заблуждением думать, что в наших советских условиях можно служить народу, не принимая активного участия в претворении в жизнь политики Коммунистической партии. Невозможно желать идти вместе с народом, не разделяя взглядов партии, ее политической линии. Кто хочет быть с народом, тот всегда будет с партией. Кто прочно стоит на позициях партии, тот всегда будет с народом.

Партийность в художественном творчестве определяется не формальной принадлежностью художника к партии, а его убеждениями, его идейной позицией. У нас есть немало хороших писателей, которые не являются членами партии, но их произведения по своему идейному содержанию, политической направленности являются глубоко партийными и по праву получили признание народа, как выражающие его интересы.

Если борьба за идеалы коммунизма, за счастье своего народа является целью жизни художника, если он живет интересами народа, его думами и чаяниями, то какую бы тему он ни брал, какие бы явления жизни ни отображал, его произведения будут отвечать интересам народа, партии и государства.

Такой художник избирает путь служения народу свободно, без принуждения, по собственному убеждению и призванию, по велению души и сердца. В условиях социалистического общества, где народ является действительно свободным, подлинным хозяином своей судьбы и творцом новой жизни, для художника, который верно служит своему народу, не существует вопроса о том, свободен или не свободен он в своем творчестве. Для такого художника вопрос о подходе к явлениям действительности ясен, ему не нужно приспособляться, принуждать себя, правдивое освещение жизни с позиций коммунистической партийности является потребностью его души, он прочно стоит на этих позициях, отстаивает и защищает их в своем творчестве.

Правдивое освещение жизни общества, народа в произведениях литературы и искусства предполагает показ как положительных, светлых и ярких сторон социалистической действительности, составляющих ее основу, так и критику недостатков, вскрытие и осуждение отрицательных явлений, тормозящих наше поступательное движение вперед.

В жизни, в действительности наряду с положительным всегда существует и отрицательное, порою рядом с цветами растет бурьян. В отображении действительности все зависит от автора. Если он стоит на партийных позициях, служит народу и искренне хочет помочь народу строить новое общество, расчищать путь в борьбе за построение коммунизма, такой писатель, художник, скульптор, композитор найдет достаточно хороших примеров в жизни рабочих, колхозников, интеллигенции, в жизни отдельных людей, коллективов предприятий, колхозов, совхозов и сумеет, противопоставив отрицательному, поддержать положительное, правдиво показать его в ярких красках. Если же автора не радуют успехи своего народа, он будет выискивать только плохое, отрицательное, ковыряться в мусорных ямах и выдавать это за характерное в жизни.

Мы решительно и непримиримо выступали и будем выступать против одностороннего, недобросовестного, неправдивого освещения нашей действительности в литературе и искусстве. Мы против тех, кто выискивает в жизни только отрицательные факты и злорадствует по этому поводу, пытается охаять, очернить наши советские порядки. Мы также и против тех, кто создает сусальные, подслащенные картины, оскорбляющие чувства нашего народа, который не приемлет и не терпит никакой фальши. Советские люди отвергают и такие, по существу, клеветнические сочинения, как книга Дудинцева «Не хлебом единым», и такие слащавые, приторные фильмы, как «Незабываемый 1919-й» или «Кубанские казаки».

К сожалению, среди работников литературы и искусства встречаются такие люди, поборники «свободы творчества», которые хотят, чтобы мы проходили мимо, не замечали, не давали своей принципиальной оценки и не критиковали подобные произведения, которые в извращенном виде рисуют жизнь советского общества. Этим людям, оказывается, тяготит руководство литературой и искусством со стороны партии и государства. Они выступают против этого руководства иногда прямо, а чаще всего прикрывают эти свои настроения и желания разговорами об излишней опеке, о сковывании инициативы и т. п.

Мы открыто заявляем, что такие взгляды противоречат ленинским принципам отношения партии и государства к вопросам литературы и искусства. Ленин, как известно, учитывая всю специфику литературы и искусства, неоднократно указывал, что партия не может стоять в стороне от руководства этой важной частью духовной жизни общества, и в своей практической деятельности, как вождь партии и глава Советского правительства, последовательно проводил этот принцип в жизнь. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, указывал В. И. Ленин. Он подчеркивал при этом, что свободная литература социалистического общества будет открыто связана с рабочим классом, что ее будут вдохновлять интересы трудящихся, идеи социализма.

Ленин был непримирим к тем, кто в вопросах литературы и искусства отступал от принципиальной линии, сползал на либеральные позиции в отношении к идейным ошибкам.

Вся история развития советского общества самым убедительным образом доказывает, что руководство партии и государства, их внимание к художественному творчеству и забота о писателях, художниках, скульпторах и композиторах обеспечили выдающиеся успехи литературы и искусства, расцвет социалистической культуры всех народов СССР. В решениях партии по идеологическим вопросам определены важнейшие задачи и основные принципы политики партии в области литературы и искусства, сохраняющие свою силу в настоящее время. Одним из важнейших принципов является неразрывная связь советской литературы и искусства с политикой Коммунистической партии, составляющей жизненную основу советского строя. О большом положительном значении этих решений говорили художники и композиторы в своих выступлениях на недавно состоявшихся съездах.

Нельзя, конечно, отрицать, что в последние годы жизни И. В. Сталина, в условиях культа личности, допускались ошибки. Приведу такой пример. Мне с большим трудом удалось оградить от разностной критики такого заслуженного писателя, каким является Максим Рыльский, за его стихотворение «Мать», полное глубоких патриотических чувств. Главным поводом для необоснованных обвинений против Рыльского и нападков на него послужил тот факт, что в этом стихотворении, воспевающим Советскую Украину, не было упомянуто имя Сталина. И т. Каганович, который подхалимничал и все делал для раздувания культа личности Сталина, стал изображать Максима Рыльского как украинского буржуазного националиста. Он играл на слабых струнках Сталина, не думая о тех тяжелых последствиях для украинской, да и не только украинской литературы, к которым могли бы привести эти необоснованные обвинения по адресу уважаемого украинского писателя-патриота Максима Рыльского. Надо сказать, что это могло бы привести к тяжелым последствиям и не только для литературы.

Само собой разумеется, что мы против такого подхода к оценке литературных произведений.

Партия решительно осудила и последовательно исправляет ошибки, допущенные в период культа личности во всех областях жизни, в том чи-

сле и в вопросах идеологической работы. Но она вместе с тем также решительно выступает против тех, кто пытается использовать эти ошибки прошлого для выступлений против руководства литературой и искусством со стороны партии и государства. С таких позиций против руководства литературой и искусством могут выступать только люди, не согласные с политикой партии в этой области. В числе таких людей, к нашему огорчению, оказались и отдельные писатели, члены партии. Некоторые из этих товарищей не желают согласовать свои поступки с требованиями партийной дисциплины, определяемой Уставом партии, придерживаются своего субъективистского толкования партийной дисциплины и обязанностей члена партии, прикрывая свое непартийное поведение болтовней о якобы «творческом отношении» к партийному руководству. Такие фальшивые позиции отрываются от коллектива одиночек, сбивающихся «с ног» в общем строю, вызвали справедливое осуждение со стороны писателей, как коммунистов, так и беспартийных, на пленуме правления Союза писателей, на собрании московских писателей, во всех писательских организациях союзных и автономных республик, краев и областей. Я с удовлетворением поддерживаю выступившего здесь беспартийного писателя тов. Соболева, занимающего последовательную, принципиальную и непримиримую позицию в борьбе с нездоровыми настроениями и тенденциями. Не хочу скрывать, что мне, как секретарю Центрального Комитета КПСС, в вопросах партийности в литературе гораздо ближе позиция беспартийного писателя тов. Соболева, чем члена партии тов. Алигер, которая занимает фальшивую позицию и неправильно относится к критике ее ошибок.

Некоторые либерально настроенные люди могут обвинить меня в том, что я призываю к борьбе. Да, мы никогда не скрывали, что призывали и призываем к принципиальной идейной борьбе. В современном мире идет ожесточенная борьба двух идеологий — социалистической и буржуазной, и в этой борьбе не может быть нейтральных.

Развитие литературы и искусства происходит в условиях идейной борьбы против влияний чуждой нам буржуазной культуры, против отживших представлений и взглядов, во имя утверждения нашей коммунистической идеологии.

Мы не были бы марксистами-ленинцами, если бы стояли в стороне, равнодушно и пассивно относились к попыткам протолкнуть в нашу литературу и искусство чуждые духу советских людей буржуазные взгляды. Надо трезво смотреть на вещи, отдавать себе отчет в том, что враги существуют и они пытаются использовать идеологический фронт для ослабления сил социализма. В этой обстановке наше идейное оружие должно быть в исправности и действовать безотказно. Урок венгерских событий, когда контрреволюция использовала в своих грязных целях некоторых писателей, напоминает о том, к чему может привести политическая беспечность, беспринципность и бесхарактерность в отношении к проидам сил, враждебных социализму. Каждому должно быть ясно, что в современных условиях, когда идет острая борьба между силами социализма и силами империалистической реакции, надо держать порохи сухими.

В ходе наших бесед остро были поставлены вопросы борьбы с идеологическими ошибками и нездоровыми настроениями. Иная постановка этих вопросов и немислима. Половинчатость или недоговоренность могли бы нанести серьезный ущерб делу.

Мы хотим консолидации, сплочения всех сил литературы и искусства на принципиальной основе, а не за счет уступок и отступлений от принципов марксизма-ленинизма. В интересах этой консолидации развертывается принципиальная критика и самокритика. Эта критика помогает людям, которые допускают ошибки, осознавать и исправлять свои ошиб-

ки, крепче стоять на ногах, повышает творческую активность. Развертывая критику и самокритику, необходимо внимательно разбираться, является ли ошибка того или иного деятеля случайной или она отражает систему его взглядов, определенную линию его поведения, учитывать, как относится этот деятель к критике. Ошибаться каждый человек может, надо видеть не только то, что человек сделал вчера, но и то, на что он способен завтра, — и это главное, — мы должны помочь такому человеку понять и быстрее устранить недостатки и исправить ошибки.

Известно, например, что подвергались критике со стороны общественности и некоторые недостатки в работе замечательного нашего поэта тов. Твардовского, заслуги которого в развитии советской литературы получили широкое признание. Дружеские беседы с тов. Твардовским дают основание надеяться, что этот художник слова сделает необходимые выводы и порадует читателей новыми хорошими произведениями. Общественность в свое время резко критиковала недостатки и такого крупного писателя, как тов. Панферов. Мы считаем, что это было правильно. Тов. Панферов теперь сам признает, что критика пошла ему на пользу.

Принципиальная критика имеет своей целью помогать деятелям литературы и искусства в их творческом труде с тем, чтобы они с еще большим успехом трудились на благо нашего народа, активно участвовали в его борьбе за коммунизм, обогащали своими произведениями советскую социалистическую культуру.

Наш советский строй, Коммунистическая партия не раз возвращали к жизни, к активной деятельности даже людей, которых считали пропавшими и безнадежными. В литературе и искусстве есть немало примеров, когда после критики творческие работники создавали большие художественные произведения. Если говорить о тов. Дудинцеве, то я считаю, что и он при нашей помощи и его желании может стать на правильный путь и будет вместе со всем коллективом писателей плодотворно трудиться на благо народа, на благо социалистической Родины.

Исключительно важную роль в деле развития литературы и искусства, в идейном воспитании и творческой жизни каждого художника призваны играть творческие союзы, которые должны стать на деле крепко сплоченными на принципиальной основе, активными боевыми коллективами. Надо, чтобы в творческих союзах была настоящая дружба, чтобы там повседневно проявлялась товарищеская забота о творческом росте каждого писателя, художника, скульптора, деятеля кино, музыки, театра. Коллектив должен вовремя поддержать любое хорошее произведение, проявление полезной инициативы в творческой работе. Весьма важно также вовремя заметить недостатки или ошибки отдельных творческих работников, предотвратить возможность сползания их с принципиальных позиций, оказать помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается.

Деятели литературы и искусства—это активные борцы за коммунизм. На их лучших произведениях воспитываются миллионы людей. Это обязывает наши творческие союзы, их партийные организации вести повседневно большую идейно-воспитательную работу, вооружать наши творческие кадры знанием марксистско-ленинской теории, правильным пониманием политики Коммунистической партии. Надо, чтобы все наши творческие кадры хорошо сознавали свою большую роль в общенародной борьбе за коммунизм и свою высокую ответственность перед народом.

Наши творческие организации проводят значительную работу по осуществлению задач, поставленных XX съездом партии перед литературой и искусством. Прошедшие за последнее время пленумы в союзах писателей, съезды художников и композиторов способствовали повышению активности, сплочению творческих сил. Отрадно отметить активизацию деятельности союзов писателей в наших союзных республиках — Украин-

ской, Белорусской, в республиках Средней Азии, Закавказья и Прибалтики.

Но в работе творческих организаций имеются и крупные недостатки. Следует отметить, что за последнее время обнаружилась слабость в работе Московского отделения Союза писателей, объединяющего крупный отряд литераторов. На собраниях московских писателей имели место ошибочные выступления, противоречащие политике партии в области литературы и искусства. К сожалению, эти выступления не всегда встречали должный отпор, не всегда на уровне оказывалась и партийная организация московских писателей. Ведь известно, что союзы писателей Украины, Белоруссии и некоторых других союзных республик обращали внимание на положение дел в Московском отделении Союза писателей, справедливо критиковали ряд идейно порочных литературных произведений и статей, опубликованных в альманахе «Литературная Москва».

Нельзя мириться с такими крупными недостатками в работе Московского отделения Союза писателей, который призван показывать пример для творческих союзов других городов. Мы надеемся, что сами писатели с помощью партийных организаций разберутся в причинах этих недостатков и примут меры к тому, чтобы выправить положение дел.

Здесь поднимался вопрос об организации Союза писателей Российской Федерации. Думаю, что это предложение надо поддержать и создать Союз писателей Российской Федерации. Нельзя признать нормальным, что писатели Российской Федерации сейчас не имеют своего Союза, в то время, как в других союзных республиках существуют союзы писателей. Московское отделение Союза писателей, конечно, не может представлять всех писателей РСФСР. Следует иметь в виду при этом, что Российская Федерация является добровольным союзом многих национальностей. В нее наряду с краями, областями входят 14 автономных республик, 7 автономных областей и 10 национальных округов.

Создание Союза писателей РСФСР явится одной из важных мер в ряду осуществляемых Центральным Комитетом партии и Советским правительством мероприятий по дальнейшему расширению прав союзных республик и повышению роли Российской Федерации. Наряду с идейно-творческими вопросами, которые должны быть в центре внимания Союза писателей РСФСР, предстоит серьезно продумать мероприятия, которые способствовали бы росту писательских сил на местах. Надо позаботиться о том, чтобы были созданы необходимые условия для постоянной творческой работы писателей в автономных республиках, краях и областях, в частности необходимо упорядочить дело с гонорарами в местных издательствах, с распределением фондов бумаги на издание художественной литературы.

* * *

Наши встречи и беседы плодотворны. В этих встречах мы откровенно обменялись мнениями по весьма важным вопросам жизни и работы деятелей литературы и искусства.

Советский народ под руководством Коммунистической партии успешно претворяет в жизнь решения XX съезда КПСС, намеченные им планы коммунистического строительства. В нынешнем году мы отмечаем 40-летие Великой Октябрьской социалистической революции. К этой знаменательной исторической дате наш народ приходит с выдающимися победами во всех областях хозяйственного и культурного строительства, в подъеме благосостояния народа. А какие огромные успехи достигнуты в общественно-политической жизни народа! Исторические решения XX съезда партии, получившие горячее одобрение нашего народа, вызвали невиданный подъем политической и трудовой активности, творческой инициативы широчайших масс, создали условия для дальнейшего расцвета народных

талантов. В ходе грандиозной созидательной творческой деятельности растет коммунистическая сознательность трудящихся, все полнее раскрываются превосходные душевные качества и лучшие черты характера и морального облика советского человека — человека новой эпохи, строителя коммунизма.

Могучий Октябрьский революционный вал неудержимо движется вперед, сметая все преграды и препоны на пути к коммунистическому обществу.

На историческом опыте доказано, что наше движение вперед к коммунизму происходит не по проторенной, гладкой и ровной дороге. От тех, кто идет в первых рядах строителей коммунизма, требуется умение ясно видеть великую цель и перспективу движения к этой цели, глубоко понимать закономерности общественного развития, иметь могучую энергию и негибаемую волю и, не страшась трудностей и не жалея сил, прокладывать путь и вести за собой миллионы строителей нового общества.

Сорокалетний опыт социалистического строительства в нашей стране показывает, что советский народ, тесно сплоченный вокруг своего испытанного вождя — Коммунистической партии, вооруженный всепобеждающей революционной теорией марксизма-ленинизма, с честью выполнит стоящие перед ним великие исторические задачи. Можно не сомневаться в том, что советские писатели, поэты, художники, скульпторы, композиторы будут и впредь достойными сынами своей социалистической Родины, отдадут все свои силы, свой талант, чтобы воспеть героические подвиги нашего великого народа — строителя коммунистического общества.

(Журнал «Коммунист» № 12 за 1957 год).



НА СОРОКОВОМ ГОДУ

Очерки наших дней

ИГНАТИЙ ДВОРЕЦКИЙ

★

СТОРОНА СИБИРСКАЯ

Был задан вопрос: «Что нового в Сибири?» В нем слышалась холодная вежливость. Всерьез таких вопросов без начала и без конца не задают. «Ну что же, — думал я, — пожалуйста...»

Нынче в Иркутском театре музыкальной комедии дают «Огни сибирские»; при облесполкоме организован отдел по подготовке водохранилища Братской ГЭС; на строительстве алюминиевого завода, в Шелехове, создан новый участок — «Заводстрой»; книжное издательство выпустило очередной том трудов Иркутского государственного университета — там есть интересная статья М. К. Одинцовой о производстве железа в XVII веке в Восточной Сибири... Так, вероятно, будет выглядеть одна из страниц летописи, составленной для потомков.

Потомок будет благодарен. Москвичу или киевлянину, современнику революционных преобразований в Сибири, труднее: ему негде об этом почитать. Он может, например, раскрыть книгу «Французские встречи», или «Восемнадцать дней в Тибете», или «По Индии» и узнать, как течет жизнь в Париже, Лхасе, Дели (и это очень хорошо), но ни один библиограф Союза не укажет ему добротную книгу о том, что происходит сегодня, скажем, между Леной и Енисеем.

Я отвечал так, потому что во мне говорила горечь.

Было по-человечески совестно, когда главный инженер проекта города Железногорска Виктор Яковлевич Бабецкий протянул мне ту самую статью о производстве железа в XVII веке в Сибири, сказав: «Не пора ли, милые, толково и ясно рассказать людям, что происходит в XX веке в той же самой Восточной Сибири?» Разговор случился месяц назад в местах, кои для экзотичности принято называть глухоманью, в маленькой хибарке, обмазанной глиной, у подножия рудной горы Коршунихи, на расстоянии более пяти тысяч километров от Москвы и примерно семисот километров от Иркутска. Ткнув пальцем в слепое заледенелое окно хибарки, Бабецкий сказал: «Через три-четыре года вот там, за тем распадком, вырастет город. Каменный. Со всеми удобствами. Приезжайте».

Кто слышал о Железногорске и удивительной Коршунихе?

Наши перья стали почему-то медлительными.

Говорят, человеческому характеру свойственно очень скоро привыкать к хорошему. Очень верно кто-то напомнил недавно: мы восторженно и радостно удивлялись Днепрогэсу и довольно спокойно восприняли известие о строительстве крупнейшей гидростанции мира в дикой, неезженной тайге. Объясняют это так: небольшой Днепрогэс на заре советского строительства значил куда больше, чем самая крупная стройка сейчас, когда их тысячи. Но разве трудная борьба, начатая сегодня партией за обновление сибирской земли, не есть этап совершенно исключительной значимости для народа и государства?

По-видимому, пишущим надо больше ездить, больше видеть. Проверено опытом: когда новое входит в тебя не через газетную информацию, а является произведением твоей активности, твоих нервов, ума, мечты или произведением твоих рук,— ты не устанешь восхищаться им, понимая все трудности, удивляться ему.

Очевидно, в этой связи я сделал минувшим летом на Падуне такую запись:

«Братск. Падун. На правом и левом берегах Ангары строят жилые дома. В Зеленом (палаточном) городке на тротуарах играют дети. Хозяйки готовят пищу на железных печках, вынесенных из палаток. В тайге комсомольцы рубят просеки на сотни километров, подводят высоковольтную линию. Топографы «выносят в натуру» контур будущего водохранилища.

Вокруг прокладывают железные и шоссейные дороги. Идет подготовка к сооружению бетонных и железобетонных заводов.

Более трехсот предприятий страны выполняет заказы Братской ГЭС, а будущие потребители электроэнергии — крупнейшие предприятия — уже выбирают по соседству строительные площадки.

Поражает масштабность работ. Поражает непривычное сочетание техники, культуры, пришедшей в среднюю часть Ангары с первым паровозом по только что проложенной железной дороге, и совершенно дикой, девственной природы. Крутые диабазовые скалы, река, день и ночь грохочущая на порогах, темные, непроглядные леса — словом, тайга, суровая, манящая, заселенная птицами и зверями и, надо думать, мало в чем изменившаяся со времен протопопы Аввакума, заключенного в свое время в одну из башен Братского острога.

В кажущемся хаосе стройки, лесов, гор трудно представить, что вот здесь, на этом самом месте, всего лишь через несколько лет будет ежегодно вырабатываться двадцать два миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

На стройке живет Иван Молчанов-Сибирский — поэт, общественник, уважаемый и известный в наших краях еще с тридцатых годов, когда он во главе созданной им «базы курносых» ездил из далекой Сибири к Алексею Максимовичу Горькому.

Человек немолодой, с больным, много испытанным сердцем, он живет, как и все, в тесном, переполненном общежитии на Заверняйке, куда люди приезжают и откуда уезжают внезапно — с утренней зарей, и днем, и глубокой ночью. Большой спокойный человек, он стесняется спросить у местного начальства о каком-нибудь хотя бы попутном транспорте и прыгает в пыльные грузовики, «голосуя» на дорогах. А потом, ночью, не спит, тяжело дышит и принимает лекарство.

Но утром он на ногах, словно ничего не случилось. Спешит на правый берег или отправляется на бечевники, карабкается по откосу, чтобы потолковать с безусыми взрывниками. И всем говорит, что чувствует себя отлично.

Один раз, где-то посреди воды, на Ангаре, катерок с ходу налетает на подводный камень. Молчанов падает с кормы, больно ударяется о железный крюк. Порваны брюки. Мы бродим по палаточному городку, ищем иголку и нитки и уходим к порогам чинить одежду. Молчанов, крепко уставший, опять тяжело дышит, но весел, очень возбужден всей этой неповторимой атмосферой молодой стройки вокруг. И тут происходит разговор, на мой взгляд, какой-то очень светлый по своему подтексту... Молчанов, который буквально очарован Падуном, говорит вдруг, что завтра же с первым паровозом уедет на Иркутскую гидроэлектростанцию, где — он получил известие — начнется первое перекрытие реки. Люди, проникшиеся к нему симпатией, начинают отговаривать: да поживите, да не торопи-

теть. Молчанов отвечает, что позже он вернется на Падун, это решено. Кто-то из молодых уверенно говорит:

— Стоит ли туда-сюда мотаться? Почти семьсот километров в один конец... Мало ли еще перекрытий на Ангаре предстоит — насмотритесь!

Молчанов невесело усмехается, молчит. Я не помню, что именно говорит он затем. Или: «Надо ехать», или: «Нет, перекрытие пропустить не могу». Но не слова меня удивляют — тон этого застенчивого человека, неожиданно очень твердый, и его взгляд, как будто мы чего-то не понимаем, и так плохо, что не дано понять нам это, что-то такое интимное, о чем не всегда можно сказать словами.

И сразу, как бывает, взгляд, интонация выражают так много, что совестно ему возражать. Может быть, даже немного неловко становится. Конечно, не может Молчанов пропустить это первое в истории перекрытие Ангары. А вот так сказать: «Насмотритесь еще!» — могут только небережливые мальчишки. Единственное им оправдание — что у них действительно все впереди.

Двадцать пять лет назад — я это хорошо помню — другие мальчишки в Иркутске горячо спорили, будет ли когда-нибудь построена гидроэлектростанция на Ангаре. Тогда это казалось мечтой, причем мечтой дерзкой и невероятной далекой. Молчанов был тогда комсомольцем. И для него и для его сверстников это не просто одна из многочисленных строек Сибири — это мечта всей жизни, это волнение, это счастье, это мысли о нашей революции, это трудности, титанический труд всего поколения, величайшее свершение...»

Да, мы можем без преувеличения сказать: наша Сибирь, весь этот сказочно богатый край, становится теперь, после XX съезда партии, сплошной новостройкой.

Недавно я узнал, что в шестой пятилетке на строительство в одной только Иркутской области будет затрачено примерно столько десятков миллиардов рублей, сколько было затрачено в первой пятилетке на всю страну.

Это было как раз тогда, когда сооружался ДнепрогЭС.

Ныне же нашей народной власти исполняется сорок лет. И ныне советские ученые и инженеры уже практически ставят вопрос о создании планов преобразования Сибирского континента вперед по крайней мере еще на восемь пятилеток, то есть еще на сорок лет.

Они говорят о таких работах, которых еще не видел мир. А то огромное, что делается в Сибири сейчас, называют лишь прелюдией будущих преобразований.

Не нужно думать, что на каждом углу, на каждом повороте дороги — стройка. Сибирь слишком огромна. Это не какое-нибудь маленькое европейское государство, которое, по выражению Маяковского, можно «в три часа... умыть и причесать».

Вот когда мы плыли парходом из Братска в Иркутск, спеша на перекрытие Ангары, которая вскоре и была перекрыта и дала первый промышленный ток, вот тогда как-то особенно ощутили беспредельность этого края — не края, одной области!

Мимо проплывали редкие деревни с черными тесовыми крышами. Они казались древними и одинокими. Темный хвойный лес как бы прижимал их к берегам. Правда, тут же, откуда-то из-за деревьев, выбегали к парходу босоногие деревенские ребяташки. Они появлялись так: двое-трое на велосипедах, остальные за ними, не отставая ни на шаг. И ощущение одиночества тотчас исчезало. На остановках женщины продавали кедровые орехи, грузди прошлогоднего засола, яйца.

Потом надолго потянулись приангарские степи.

Но вот пристань Черемхово, угольный бассейн. Здесь каждый год открываются новые разрезы, уголь в них добывается под открытым небом. Явление примечательное.

Скажем, один из многих — Храмцовский разрез. Он растянулся более чем на четыре километра. С одной стороны раскинулись гороподобные внутренние отвалы. По бровке отвала проложена широкая железнодорожная колея, по ней движется состав. И паровоз и тяжелые пятидесятитонные думпкары, груженные породой, кажутся тут, в разрезе, на бровке отвала, просто крохотными — так все огромно здесь. Вы идете на глубине двадцати пяти метров от земной поверхности, над вами светит яркое солнце, а рядом и дальше, куда хватает глаз, черпают уголь уральские экскаваторы, стучат станки канатно-ударного бурения, бульдозеры катят перед собой тяжелые глыбы, а выше, на уступе, и еще выше, на следующем уступе, другие экскаваторы снимают с угля десятиметровый пласт породы. Горы переносятся с места на место, и почти не видно людей — все при машинах. Эта картина вызывает гордость.

Таково ощущение. Для полной же ясности следует добавить: советский Черембасс дает угля в год столько, сколько добыто за все двадцать лет существования бассейна до революции.

За городом Черемхово, перед самым Иркутском, справа выплывает молодой красавец Ангарск. Рядом с городом одновременно строятся несколько крупных заводов. Этому городу шесть-семь лет, на его просторных асфальтированных площадях растут сосны, еще не привыкшие к виду автомашин. В нем совершенно нет того, что называют хибарами, в нем нет ни одного деревянного дома. Живописные каменные ансамбли делают его весь солнечным и весенним. Нарядные многоэтажные здания, отличные магазины, столовые, детские сады. В квартирах, разумеется, все удобства — паровое отопление, ванны, краны с горячей и холодной водой.

Этот город во всем — от замысла до воплощения — для человека, и только для человека.

Лет восемь назад я проезжал по этим местам на пятитонке, груженой штукатурной дранью. Вокруг стояли нетронутые леса, деревня от деревни — двадцать пять, тридцать километров. Ночью, переправившись на пароме через реку Китой, грузовик плутал до рассвета.

Как из-под земли, здесь вырос город, которому, честно говоря, могут позавидовать многие старые города Центральной России.

Но... Пароход пришел в Иркутск. Ему остается лишь повернуть назад — плотина Иркутской ГЭС накрепко перегородила Ангару. Теперь даже очень маленькое суденышко из Ангары в Байкал попасть не может. И очень жаль. Со временем все же придется строить обводной канал заново на том же самом месте, создавать строительный коллектив, заново привозить машины, которые уходят сейчас на другие стройки.

Другие стройки... Где бы ты хотел побывать у нас, приезжий человек: на Лене, Ангаре или в совершенно диких местах на берегах Нижней Тунгуски, на Витиме, на Байкале? Наша Иркутская область огромна: семьсот восемьдесят две тысячи квадратных километров. Это, пожалуй, трудно представить. Скажем иначе: на территории области могут свободно разместиться три Великобритании. Но и это весьма тривиальное сравнение не поможет представить нашу просторную таежную страну, местами совершенно незаселенную, богатую сказочно.

Вот что сообщают историки. В 1654 году илимский воевода Оладьин, узнав от ясашных людей, что в Илимском уезде «у Тунгуски-реки в горе есть железная руда», послал туда служилого человека, рудознатца Ше-

стачко Коршунова с товарищем, которые руду сыскали и привезли в Илимск. Шестачко Коршунов учинил из той руды опыт. А по опыту «из тое руды железо родится доброе, на всякое дело годится». Илимский воевода так писал в Сибирский приказ: «Заставить железо варить из тое прискные руды некого, а нанять нечем — в твоей государевой казне денег нет». На этот «железный и рудяной» завод, по мнению воеводы, требовалось шесть человек и двести рублей денег.

Прошло триста лет. Нигде в народе не было слуха об илимской руде, но вот совсем недавно в Сибири стали упорно поговаривать о какой-то Коршунихе.

Удивительная гора эта находится в районе среднего течения Ангары, где сейчас полным ходом идет размещение так называемого «Братского энергопромышленного комплекса», как это определено XX съездом партии.

Коршуниха сильно интересовала меня, хотя ничего я о ней толком не знал. Года два назад в Иркутске, а затем в Братске я слышал, что там базируется крупная геологическая экспедиция, но, странно, никто не знал, как туда проехать, хотя знали, что находится Коршуниха сравнительно недалеко. (Такова беда наша: зачастую не слышим и не знаем, что делается рядом, лишаемся простой человеческой радости.)

На Падуне встречаю журналиста Юру Полухина, выпускника Московского университета, давно уже ставшего убежденным сибиряком, влюбленным в наш суровый край. Полухин говорит:

— Есть возможность проехать на дрезине триста километров по новой дороге. Разыщем Коршуниху. Бери у меня полушубок. Едем.

Но прежде чем открыть Коршуниху, я открыл для себя дорогу.

Новая железная дорога, еще не принятая Министерством путей сообщения, от города Тайшета, стоящего на Транссибирской магистрали, прошла через глухую тайгу, через горы, болота, участки вечной мерзлоты, через Ангару до Лены — семьсот километров. Часть дороги проходит параллельно Ангаро-Ленскому тракту, на который, я помню, каждое лето раньше привозились тысячи автомашин («Якуттранс», «Союзтранс», «Верхленттранс» и прочих «трансов») с шоферами, ремонтниками, походными мастерскими, чтобы успеть до конца навигации перебросить грузы Северу. Это стоило бешеных денег, и это была адская работа — шоферы по сей день помнят, что такое Ангаро-Ленский тракт.

Нечеловеческие усилия нужны были, чтобы построить семисоткилометровый железнодорожный путь — нерв, связывающий предприятия будущего Братского энергопромышленного комплекса.

По-настоящему я это понял несколькими днями позже. Я был в Усть-Куте. Поселок, года три назад ставший городом, растянулся десятка на два километров. Жизнь прожизана веселой строительной горячкой. Между гор, поросших хвойными лесами, над замерзшей Леной поднялись порталные краны. Соединенные в ансамбль белые каменные склады похожи издали на санаторный город. Над крышами домов — чистые дымки. Мороз поднимает их вверх прямыми столбами. Гудят машины и самолеты, и бегают заиндевелые сибирские лошадки, запряженные в легкие кошевки. Новая дорога уперлась в берег великой реки. Самая северная железнодорожная станция Восточной Сибири — Якурим — принимает грузы...

Словом, многое готово. И один из строителей дороги, сидя в просторном и теплом кабинете, где под рукой у него и телефоны и селектор, которым он в любую минуту может охватить всю дорогу, говорит чуть грустно и мягко, но сквозь эту грусть и мягкость, я слышу, прорывается в голосе металл, и огромная воля — в глазах, которые внезапно делаются суровыми.

— От Тайшета до Братска в первый раз я добирался семнадцать суток. Дорога уходила в просеку. Из леса не видно было солнца. Вода, болота. Жили тогда в палатках, некоторые с детьми. Трудно. Когда укладкой шли от Заярска до Илима, морозы стояли — на градуснике не хватало цифр. Шпалы кололись от удара костылем. Если падал рельс — разлетался на куски от мороза. Автопокрышки при движении рвались, машины стояли, но укладка шла. Я понимаю, ничего удивительного в этом нет. Так всегда идут передовые отряды строителей. Мы все время идем по поймам рек: Большая Чуна, Ангара, Кежма, Илим... Много рек, речушек. На разъезде Аралькид сняли мхи — летом было, — под ними лед до пяти метров. Попадались кости мамонта. Вырезали лед, сменили полностью грунт... На Илеме унесло мост — стоил несколько сот тысяч. Все было сделано: рвали льды, была команда дать нагрузку на мост — поезд с балластом. Загнали двадцать пять четырехосных вагонов с балластом. Мост стало разворачивать водой, еле успели убрать состав... Многому научились.

Говорил Степан Федорович Прокопенко, начальник второго строительного района дороги.

Он замолчал. Вид у него был будничным. Плотный седой человек в сером коверкотовом кителе. Он строил дороги в Монголии, на Дальнем Востоке. Теперь он стал сибиряком. Мне говорили о нем стрелочники и инженеры. Я знал, что его любят. Скупые его слова сказали о дороге больше, чем десятки газетных статей...

С моим спутником, Юрой Полухиным, мы как бы въехали на новую дорогу с ее середины: автодрезина «Калужанка» ожидала нас на станции Братск-1. Да, есть уже такая станция, и есть уже станция Братское море.

Стояли холодные дни, было минус тридцать девять по Цельсию. В «Калужанке» имелась печь из котельного железа, она была раскалена докрасна.

Мне утро это почему-то крепко врезалось в память. Еще не кончилась ночь. Едва светало. В луче прожектора «Калужанки», идущей со скоростью сорок километров в час, кружилась и сверкала снежная пыль, летя навстречу.

Мы проскочили мост — первый железнодорожный мост через Ангару, пошли берегом.

С одной стороны по откосам и за ними уходили вдаль мохнатые темные леса, с другой — ледяное поле реки. Красный Яр, Правобережный, Сулопцево, Кежма, Заярск... На разъездах стояли поезда, груженные лесом, всюду штабеля бревен и снега; на Сулопцево кранами грузили в вагоны шпальник. И все это казалось страшно затерянным в безбрежных снегах и лесах. И тихо очень.

Я закрываю глаза и хочу все это заново себе представить.

Полухин стоял у окна. Он все любил здесь и все знал.

Над Ангарой, где расходились во льду полыньи, поднимался пар. Против пристани Заярск стоял посеребренный изморозью пассажирский поезд «Красноярск — Лена». Градусник показывал минус сорок два.

И снова штабеля бревен и снега, снега.

Но нас не обманывала тишина. Мы знали: за снегами, в разбросанных кругом леспромхозах, валят и треляют лес; на берегах Лены строят клубы и школы; от станции Видим строители дороги ведут правобережный подход к месту будущей плотины — на Падун, роют на перемычке глубокие колодцы, чтобы заложить сразу тысячу двести тонн аммонала и про- извести взрыв невиданной силы.

Полухин, этот бывший москвич, говорил о лесах. Я впервые слышал такие точные цифры. Пятьсот тысяч квадратных километров, или шесть-

десять процентов всей территории области, занято лесами. Целая страна. Запасы спелой и приспевающей древесины составляют шесть миллиардов кубометров.

И еще он мне назвал одну совершенно потрясающую цифру. В зоне Братского водохранилища началась сводка леса — вот откуда бесконечные штабеля бревен... Чтобы очистить ложе, будет вырублено около сорока миллионов кубометров древесины.

С чем можно бы сравнить такой огромный объем лесозаготовок?

Обычная двуручная пила, введенная в пользование специальным указом Петра Первого, та самая пила, которой пилим мы для дома дровишки, да березовый кол — стяжок, да еще пеньковая веревка, чтобы сподручнее было подтащить на себе лесину, — вот и весь «струмент» — кормилец лесоруба; так было по всей России лет сорок назад.

Сейчас в тайге нет участка, где бы не постукивала от смены до смены передвижная электростанция на салазках или на колесах — «ПС-40» или «ПС-60», где бы не было десятка электропил и электросучкорезок, пятка трелевочных тракторов «КТ-12», двух-трех автокранов. По Сибири множество леспромхозов имеет собственные узкоколейные железные дороги со своими паровозными и вагонными парками.

Вдруг мне вспоминается, что когда я добирался на участок Междугранок Зиминского леспромхоза, почти на «край света», у Саян, то шофер Коля Брызгалов, проклиная ухабистую дорогу, говорил мне: «Ну, зачем ты туда едешь? Вот ты поглядишь, в этом паршивом Междугранке есть люди, которые даже паровоза не видывали...» И верно: там я встретил стариков, в глаза не видавших железную дорогу. Но те же самые старики давно уже привычно пользовались «на краю света» радиоприемниками, электрической лампочкой, автомобилем, электропилой, трактором, рацией и прочим и прочим.

Лесные предприятия Сибири стали арсеналом самой разнообразной техники. Вот почему слова Полухина о том, что со дна будущего Братского моря всего за несколько лет будет спилено и вывезено сорок миллионов кубометров леса, удивили меня, но совсем не показались фантастическими.

Однако хватит цифр.

К концу дня перед нами выросла огромная, покрытая снегом и редким леском, местами почти голая гора. Стуча колесами, «Калужанка» мчалась прямо на нее. Вдруг у самого подножия дорога вильнула, долго шла низинной, ельником, в обход горы. Наконец мы обогнули гору и с противоположной стороны увидели старую забитую штольню.

Перед нами была Коршуниха — гигантская кладовая железных руд. В ней одной столько запасов, сколько в уральских горах Магнитная и Благодать, вместе взятых. Одна Коршуниха может питать своими рудами два современных металлургических завода в течение пятидесяти лет. И она — Коршуниха — не одна: в Ангаро-Илимской железорудной провинции, как ее называют геологи, открыто еще двадцать одно месторождение...

Мы бросились искать людей.

За несколько минут дрезина добежала до соседней станции. Первый же встречный сказал, что никаких геологов здесь нет, они перекочевали на Татьяновское месторождение, разобрали и увезли дома.

И вдруг мы ощутили растерянность. Рядом была знаменитая гора. Мы так мечтали ее увидеть, но на что она нам, если нет людей. Мы ожидали увидеть шум и кипение, это бы нас удовлетворило.

Полухин стоял разочарованный и печальный.

— Там люди-то приехали, — сказал тот же человек, — против Коршунихи, на бугре.

Полухин засмеялся и пошел вперед. Бугор. Несколько домишек, обмазанных глиной, на голом снегу. Над одним домиком — красный флаг. Здесь должна быть жизнь.

Мы побежали вверх по тропинке к домику. На нем увидели две вывесочки: «Устькутское строительно-монтажное управление...» и «Прием по личным вопросам от... и до...».

При виде первой вывесочки мы обрадовались, как дети. Так вот как начинаются крупнейшие стройки — с флажка и маленькой серой хибарки!..

Тотчас выяснилось, что поблизости уже работает более ста плотников, а в распадке сложены привезенные на днях новые сборные дома. Есть уже и штат и бухгалтерия. И начальник стройуправления — Макар Федорович Ковтун. Мы стали расспрашивать его о Коршунихе, о будущем руднике и городе. Но беда — Ковтун ничего этого не знал. Он знал только то, что предстояло ему построить в ближайшие месяцы.

Это был крупный мужчина, добродушный и неторопливый.

Я долго не мог простить ему объявления: «Прием по личным вопросам от... до...». У Ковтуна чуть побольше сотни рабочих, и на дно он раз по десять видит каждого из них. Зачем среди этих хибарок, где так трудно пока живется, все эти «от» и «до»? Для престижа? Может быть, не стоило досадовать, но в этот день в «Калужанке» Полухин рассказал мне о ноябрьском комсомольском активе Братской ГЭС. Выступал рабочий деревообрабатывающего комбината Виктор Виноградов. Он сказал, что суровые сибирские условия, временные бытовые недостатки легко преодолимы и никого не пугают, а самая большая трудность, встречаемая им, — это бюрократическое отношение к людям со стороны отдельных руководителей стройки. Я не слышал выступления Виноградова и, честно говоря, не придавал ему большого значения. Но каким-то образом оно увязывалось в моем сердце с объявлением, которое вывесил Ковтун. И еще меня беспокоило, что он, видимо, не поинтересовался будущим, перспективами того чудесного места, где собирается жить и работать. Завтра к нему приедут наши боевые комсомольцы из Москвы, Ленинграда, Харькова, из других мест. Что он им расскажет? Какую вдохновенную картину будущего нарисует?

Потом, когда мы сидели в обмазанной глиной хибарке Ковтуна — еще более тесной, чем занимаемая конторой, — в которой едва поместились две узенькие железные кровати, я увидел низкий потолок, крохотное заледенелое оконце и белые занавесочки, маленький деловой будильник на столе, кусок масла в пергаменте и трехкилограммовую банку сгущенного молока — единственную еду в доме, увидел Ковтуна в домашней обстановке, посмотрел фотографии двух его чудесных детей, фотографии, которые он носит на груди в корочках паспорта, понял, как скромно он живет, как, в общем, нелегко ему здесь, вдали от семьи, в непривычных суровых условиях, — и ощущению досады прошло.

В этой хибарке одну койку занимал Бабецкий — главный инженер проекта города Железногорска. Он вчера приехал. И сегодня, вооружившись суковатой палкой, отыскивал репера под снегом на месте будущего города. Мы говорили о том, как много сделали на Коршунихе геологи, ушедшие сейчас в другие места. Они пробурили в этой горе множество скважин общей длиной более восьмидесяти километров. Взяли и химически изучили более тридцати тысяч проб. Они годами жили в брезентовых палатках, вынесли много трудностей и неудач и узнали о Коршунихе все, что необходимо.

Главная масса руд сосредоточена в жерлах древних вулканов. Залегает огромным, почти сплошным столбом и содержит до шестидесяти двух процентов железа. Мы говорили о Железногорске. Жилые дома в

городе будут с центральным отоплением, с ваннами, будут асфальтированные улицы, водный бассейн в долине речки Россохи. В городе предусмотрено все, чтобы в нем хорошо жилось, — Бабецкий знал это досконально.

Начала жить еще одна новая стройка в Ангаро-Илимском районе, где скоро возникнет крупнейшая база горной металлургии страны. Директивами партии по шестой пятилетке в Коршунихе предусмотрен крупный рудник. К концу пятилетки он даст продукцию.

Передо мной несколько записных книжек. Мои обычные дневники. Последняя запись — март 1957 года.

Это скорее репортаж.

Я предлагаю его вниманию читателя, как говорят лесники, выборочно.

Вдруг откуда-то врывается разговор литературный.

Провинциальный ли, столичный —
 Читатель наш воспитан так,
 Что он особо любит личный
 Иметь с писателем контакт,
 Заполнить устную анкету
 И на досуге, без помех,
 Призвать, как принято, к ответу —
 Не одного тебя, а всех.

В тайге, на энергопоезде, инженер Калинин сердито говорит: «Вы все теперь много и страстно спорите, я почитываю отчеты... Раскапываете важные и несомненно нужные истины, у вас тоже своя борьба. Я понижаю ее значение. А для меня, читателя-современника, делаете еще шибко мало. Как будто стоите где-то в стороне от практики жизни... Да нет, не в стороне — вы народ такой активный, я знаю, а какую-то труднейшую черновую работу не выполнили...»

Я ему отвечаю, что да, у литераторов нынче много споров и откровенных дискуссий, резких, страстных, поучительных, — и они о сегодняшнем нашем дне, что дискуссии эти — замечательное дело; присутствуя на них, я всегда с благодарностью думаю о XX съезде нашей партии...

— Черт возьми! — кричит Калинин. — Простите мой наивный практицизм... Не могли бы вы — так сказать, параллельно — столь же много писать о насущном, сколько спорите нынче? Не теряете ли вы в этих спорах вдохновение, и терпение, и желание, так необходимые для утверждения тех самых истин практическим делом литератора — стихом, романом, очерком, — по крупицам, изо дня в день? Я бы очень хотел, чтобы писатель сильной, крепкой хватки — будь то очеркист или стихотворец — обратил взгляд на нашу Сибирь, на те сложные человеческие процессы, которые сейчас на ее земле происходят.

Горячо соглашаюсь с Калининным.

Георгий Иванович Зоткин за день раз двадцать обходит участок. Человек неприметный: средний рост, высокий морщинистый лоб, редкие пряди светлых волос; курточка какая-то на нем. Когда заговорит о деле, начнет сердиться, — становится другим человеком: голос густой, душевный напор огромен, гнев и достоинство. Ходит большими шагами — участок крупный, на глазах растут огромные цехи: арматурный, железобетонных конструкций, котельный, цехи деревообработки. Все это называется производственной базой.

Кабинетик Зоткина при конторе пуст. На столе в граненом стакане одиноко стоит букетик таежных цветов. Хорошо, когда любят цветы! А на

полу песок — нанесли сапогами со стройки. Ходят, спрашивают, где начальник участка Промстрой. Отвечают: «Сейчас придет».

Приходит весь в глине. Морщит лоб, вызывает нормировщика, старшего прораба, звонит на бетонорастворный узел, сердится — нет раствора. Потом говорит:

— У нас работает орловская молодежь. Приехали они к нам, внесли живую струю. Это люди культурные, рабочий класс. У них, брат, идеология. Они говорят: «Что мы, сидеть сюда приехали? Давайте нам раствор! Давайте нам кирпич! Почему задержка?» Они сидеть не хотят ни минуты. Злятся на нашу нераспорядительность. Это тебе не какой-нибудь оргнабор... Это люди с заводов, с предприятий. Мы еще мало им внимания уделяем, живут в палатках, со снабжением у нас перебои — они не ноют. Требуют работы.

Зоткин молчит, берет карандаш, кладет на место. В человеке ни грана самодовольства, гордость и тревога, спокойствие и нетерпение.

До свидания, Георгий Иванович! Я вас очень любил.

Я иду по строительной площадке. За ней горы, покрытые лесами, через дорогу — травяная поляна, зеленые кусты, опоры высоковольтной линии. На поляне и встанет алюминиевый завод. Скоро и другие алюминиевые заводы на базе дешевой сибирской электроэнергии возникнут в Восточной Сибири. Мимо пронесится пассажирский поезд. По новой ветке его мчит электровоз, ветер свистит — через горы, тайгу, на Култук, мимо Байкала, на Слюдянку, а рядом — Иркутск...

Иду. Рывтины, доски, обломки кирпича, ржавая арматура.

Парень копает траншею. На парне черный, залепленный землей комбинезон. Он нажимает плечом. Обычная штыковая лопата. Он стирает ладонью пот.

Можно бы пройти мимо. Но у парня на руке не хватает двух пальцев. Трудно держать лопату тремя.

— Орловец? — спрашиваю его.

— Да.

— А другой специальности у тебя нет?

— Тракторист.

— Трудно! — Показываю на искалеченную руку. — Ты почему не сказал в отделе кадров, что ты тракторист?

— Сказал.

— Ну?

— Говорят: скоро переведем по специальности.

— Давно говорил?

— Недели две.

Его зовут Коля Монахов. Он смотрит на меня, покачивает черенок лопаты. Глаза большие. В темных глазах прячется смех. Сильный паренек!

Начальник отдела кадров, конечно, обязан был дать ему трактор. И он это немедленно сделает.

Коля Монахов не хочет ходить и напоминать. Он не хуже других. Копать кому-то надо. Созданы две бригады землекопов и бетонщиков. Строительство разворачивается. Есть такие места, что ни бульдозером не подъедешь, ни канавокопатель не поставишь, — надо руками... Это трудная работа, но никто не собирается отступать.

— Да чего там, — говорит Коля Монахов, — сейчас такая заваруха, постепенно утрясется, дадут трактор.

Нас обступают.

— Я тоже тракторист, — говорит Саша Бошаров, — я работал в Орловской области.

— А я мастер хлебопечения, — говорит Пётр Сапрыкин, — в Русско-бродском районе...

— А я в самом Орле работал, — говорит Николай Кретов, — в ателье мод. Я сидел на брюках.

— Был мастером-брючником?

Он кивает утвердительно и говорит:

— Мне лопата не страшна. Я, например, строительной специальности вообще не имею. После армии два года работал в ателье. Захотелось вместе с ребятами в Сибирь... Я здесь хочу стать электросварщиком. А портновское дело пригодится на старости.

Всего их в бригаде — двенадцать. Специальности самые неожиданные. А пока копают и бетонируют.

Бригадиром у них Николай Иванов, арматурщик из Орла.

Такие они простые парни! Работяги.

Корреспонденты ходят, удивляются им. Парни ничему не удивляются. Прежде всего потому, что они вдвое, а то и втрое моложе лысоватых корреспондентов. Психология у них решительная. Их предупредили: будет трудно. Ну что ж, легких работ не бывает. Удивляться нечему — не Северный полюс.

Вот на Северный полюс, плавать на льдине, отправились бы, наверное, гуртом.

Это понятно. Стоим, перекуриваем. Я показываю через забор, туда, где новая промстроевская столовая поблескивает салатными красками. И вот что говорю. Там, в столовой, официантка, зовут ее Вале́й (нарочно не называю фамилии). Такая шатенка... Девчонка? Нет, не девчонка, лет двадцати пяти — двадцати шести. Плотненькая? Да. Утром, когда завтракали, она рассказала. В Минске она завербовалась в Сибирь, на строительство новой железнодорожной магистрали Тайшет — Лена. Комсомолка. Получила в райкоме путевку. Приехали с подругой в Тайшет. Оказалось, дорога уже построена. Сказали им: «Будете строить наш Тайшет». Обе с подругой ответили: «Мы ваш грязный Тайшет строить не будем, мы ехали на новую стройку». И сгоряча укатили в Иркутск. Два дня жили на вокзале, собирались домой. Потом совесть замучила, пошли все же в райком комсомола. Там их стали ругать. Обе ответили: «Мы и так все почувствовали, хватит... Отправляйте на стройку». Так и приехали на Аллюминстрой.

Орловцы сдержанно смеются — симпатии их отданы Вале.

Это тоже понятно. На строительстве дороги в таежной глуши было бы труднее, чем в обжитом Тайшете. Но на дороге, так представлялось Вале, — самый «передний край». Это очень важно для человека, он сердцем откликнулся на призыв партии.

Кто-то говорит:

— Грязный он, Тайшет, или не грязный — совсем неважно. А надо было сразу сказать, что в Тайшет. Сказали бы, что так надо для пятилетки — сделать Тайшет чистым, — Валя поехала бы.

— А комсомольская дисциплина? — кричит кто-то. — Если требуется, значит требуется!

Вот так идет спор во время перекура. Говорят: тот, кто вербовал Валу в Тайшет, не мог не знать, что дорога Тайшет — Лена построена. Значит, он врал.

— Нет, это не «святая ложь», — говорят парни, — это глупая ложь, и ненужная, и страшная...

Слово «страшная» — не преувеличение.

Человек оставил дом, родных, друзей, за тридевять земель отправился вдаль. Он услышал зов партии, он едет работать. Он еще очень молодой человек, едет впервые и не очень хорошо представляет, что его ждет. Однако молодой человек не слеп. Он отлично понимает, что поступает

благородно, как патриот, чувствует себя коммунистом, революционером, человеком незаурядным. И он и есть незаурядный человек. В нем все приподнято, все счастливо. Он готов жить в холоде, в голоде — сердце его не сдаст. Не дадут ему сапог, но объяснят почему, — если причина уважительная, он легко стерпит. Обвяжет портянки веревочкой и будет так ходить. Не дадут хлеба — стерпит, поест картошки. Если же дать хлеб и сапоги, но обмануть его при этом, слукавить в чем-нибудь, что касается его самых чистых патриотических стремлений, — он душевно заболит. В этот час сердце его начнет черстветь. Еще два-три таких случая — он может стать равнодушным, начнет думать: «Что мне, больше других надо?» И примется искать в жизни теплое местечко.

Вот так мы разговариваем.

Бошаров, Сапрыкин, Монахов, Иванов, Кретов, да все они готовы выполнять любую, самую трудную работу, потому что в сибирскую дорогу поехали с открытыми глазами и по собственной охоте. Нужно построить алюминиевый завод в срок, чего бы это ни стоило. Они его построят.

Вечером — комсомольское собрание. Под открытым небом, на танцплощадке. Собрание открывает секретарь парткома Алюминстроя Иннокентий Михайлович Хворов. Критика, шум, тысячи претензий: главное — производственные неполадки, необеспеченность работой. Здоровая атмосфера. Еще бы! Председатель стройкома, начальники цехов и участков поднимаются, дают объяснения. А вид смущенный. Все закономерно. Вполне здоровая атмосфера. Потом поднимается один... (чуть не сказал: «тип»!) Рослый, здоровый, красивый. Рубашка на нем зеленая с молнией, приехал по оргнабору. Он требует покоя и уюта немедленно: «Быт ни к черту, развлечений мало, уеду!» Ах, уедешь? Не дали говорить этому, в зеленой рубашке. Принялись гнать от стола президиума. Несколько сот человек кричали в один голос, скандируя: «Уходи! Ты нам не нужен! Уходи!» Зеленый не может раскрыть рта...

Хворов сидит в президиуме, пьет воду из графина. Добрые глаза смеются.

Мне хочется сказать: «Спасибо вам, секретарь парткома, за такое собрание».

На участке Жилстроя быстро, очень быстро строят для орловцев хорошие двухэтажные дома с центральным отоплением. И сами же орловцы их строят. Среди домов на фанерном щите долго висит картинка. На картинке в полный рост Маша Ш. Под картинкой подпись:

Гулена наша, Маша, ночами долго бродит,
А утром на работу позднее всех выходит.
Состроит Маша глазки, задорно захохочет,
А про себя подумает: «Спешите, что ж, кто хочет...
Мне личные вопросы дороже кирпичей...
С работой не сравню я задумчивых ночей».

Все подходили, читали, смеялись... Маше не поздоровилось! Говорили, подействовало на нее сильно.

Месяц висела картинка со стихами. Месяц картинку не снимали.

Другую картинку сняли сразу. Она появилась в коридоре конторы треста. Вывесили комсомольцы. Вернее, не картинка — стенная газета. И на ней в пол-листа фигура Целикова. Целиков — начальник жилищно-коммунального отдела. Подпись примерно такая: «Начальник ЖКО груб с посетителями». Газету оформляла Валя Дергачева, комсомолка, работает воспитателем. Подчинена Целикову. (Всюду воспитатели подчине-

ны начальникам жилищных хозяйств. Тогда почему их называют воспитателями?)

Наутро стенной газеты в коридоре нет. Иду в партком. Иннокентий Михайлович Хворов объясняет: «Стенгазету сняли комсомольцы... Что-то там поправить» — и отводит свои хорошие, добрые глаза. Иду в комитет ВЛКСМ к секретарю Лене Кулику. «Нет,— говорит Леня,— поправлять там нечего было. Тут такая история...» — и долго, упрямо смотрит в стол. Врать не хочет. Молчит. Встречаю Валю Дергачеву. «Я,— говорит,— сняла стенгазету. Сама сняла». И сильно краснеет не то от стыда, не то от обиды. И молчит.

Картинка про Машу Ш. провисела месяц. Про Целикова — не провисела и двух суток. На Машу подействовало. На Целикова — не знаю. Я думал: «Вот так, наверное, с «пустячка» начинается недовольство в коллективе». Но, может быть, слишком грубо было написано в стенгазете? Это надо выяснить. А, собственно, зачем? Беспокоит другое. Вывешивали стенгазету громкогласно. Снимали тайком, крадучись, ничего не объяснив.

Маленькое, маленькое темное пятнышко осталось от этого на душе у людей.

Такое маленькое, что на первый взгляд и незаметным оно осталось за другими, большими, громкими, хорошими делами, в которых участвовали и Хворов, и Кулик, и Георгий Иванович Зоткин, и Целиков, и Валя Дергачева, и сотни замечательных орловских и иркутских комсомольцев.

Семьсот километров отделяют меня от Шелехова, от Алюминстроя.

Я стою на берегу Ангары, на мысу, на бечевнике — узкой дороге, прокладываемой в скалах к месту будущей плотины. Мне виден противоположный берег. Там строят правый бечевник. За ним — горы, безбрежная тайга. Между бечевником и тайгой — желтые новые дома из соснового бруса. Впереди расходится Ангара, обходя острова. На островах — тальники, а дальше зеленые хвойные леса — и, кажется, вода в Ангаре зелена от них.

В реку обрываются отвесные диабазовые скалы. Высоко по откосу, в ослепительном блеске простора, солнца, зеленых лесов, карабкаются вверх молодые, сильные, жизнерадостные парни — взрывники. Цепляются за выступы скалы, кустарник, корни деревьев. Добираются до места разметки шпуров. Крутизна. Вниз из-под ног летят здоровенные камни, ладают в воду.

Стучит компрессор, начинают бурение. С вершины скалы по веревке скользит ловкий, гибкий юноша в брезентовой куртке. Через плечо подпрыгивающая машинка «КПМ-2». Альберт Антонов. Простой, сдержанный парень. Сменный техник. Говорим. О чем? Да что в голову придет. Закончил Подольский индустриальный техникум. Мечтал строить Братскую ГЭС. Да кто не мечтал? Ребята приехали из Мурманска, из Белоруссии. Во-он тот парень — стоит над шурфом, Колька Коваленко, — он Куйбышевскую строил... Там, между прочим, плотником был, а здесь — по буровзрывным работам. Да... Грунт здесь крепкий. Диабазы — пятнадцатая категория. Какая самая крепкая? Шестнадцатая считается, крепче нет. На сплошном диабазе рвем шпуры до восьми раз, чтобы выбрать шурф на четыре метра. Диабазы... Но ничего. Ерунда. Ох и здорово будет здесь лет через пять! Погляди: красота!

Солнце, простор, зелень лесов до горизонта.

Внизу грохочет экскаватор, сбрасывает в Ангару взорванную породу.

Подходит к бечевнику быстрый катерок. В нем человек, окруженный подчиненными. У человека строгое лицо, даже суровое. Причаливают.

Экскаватор умолк. Машинист с ключом в руках, чертыхаясь, вылезает из кабины.

Строгий человек быстро идет по берегу. Не оборачивается, не улыбается, не говорит «Здравствуйте!». Подчиненные — за ним. Почему-то неловко смотреть. Приходит в голову дикая мысль: наверное, раздраженный Наполеон ходил так со свитой.

— Нет, это не Наполеон, — говорит Альберт Антонов, — это же Шныров, заместитель главного инженера по левому берегу.

Спускаюсь, неуверенно иду следом. Шныров останавливается у экскаватора. Смуглый, загорелый человек в соломенной шляпе — Сергей Васильевич Порох, начальник буровзрывных работ, — дает пояснения. Шныров слушает с каменным лицом. Ловлю себя на ощущении — боюсь, а вдруг заметит, скажет: «Что вам здесь надо?»

Кто-то из «свиты» говорит Шнырову громко:

— Опять экскаватор стал... Диабазы. Зубья у ковша не выдерживают — летят зубья. Тросы рвутся... Экскаваторщики стараются изо всех сил, а заработок мал... Больше ремонтируются, чем работают. Вина не их. Надо бы подумать, товарищ Шныров...

Но Шныров уже все понял. Как странно он реагирует. Он в ответ кричит на подчиненного. Нет, он не кричит, но резким криком отдаются его слова:

— Вы думайте! Вы думайте, о чем говорите!

Под чистым, безоблачным небом, у сине-зеленой прозрачной воды становится вдруг тихо. И стыдно всем.

Шныров слегка бледнеет от возмущения.

— Вы забыли, что у меня для таких разговоров кабинет есть! — кричит он (в присутствии того самого экскаваторщика, о котором идет речь).

И поворачивается круто. И уходит. Через минуту катерок, Шныров и «свита» исчезают за поворотом реки.

И все. Больше ничего.

Экскаваторщик, взопревший от усталости, секунду смотрит вслед катерку. Потом изо всех сил бросает тяжелый ключ оземь и, не зная, куда деть себя от обиды, садится тут же на камень.

Какой у него горький взгляд! Диабазы никогда бы не довели его до такого состояния. Шныров довел бестактностью.

Говорят, Шныров — хороший, опытный инженер, деловой работник. Вероятно. Но за его тон в обращении с людьми я его терпеть не могу. Такими методами можно, наверное, построить бечевники, ГЭС, десять ГЭС... Но сколько можно поранить душ? Чем это можно измерить?

По строительству, запыхавшись, ходит киносценарист с «Мосфильма». В сапогах, в плаще, в руках портфель, ловит заместителя главного инженера по правому берегу Георгия Владимировича Дуракова. Наконец поймал. Через три дня, совершенно счастливый, шутит:

— Помните, Остап Бендер бегал со сценарием по кинофабрике? Вот так и я бегал за Дураковым по строительным площадкам.— И уже серьезно: — Он все время на ногах, ходит стремительно, я — за ним. Человек немолодой, беспокойный, весь в делах. Я — за ним. Беседовать некогда. «Ночью, — говорит, — пожалуйста, побеседуем...» Разговаривали ночами. Был у него дома. Квартирка, признаться, весьма... Даже необходимой мебели нет. Это для него второстепенное. Страшно деловой человек, понимаете, и какой-то застенчивый, деликатный. Наблюдал со стороны, как он говорит с подчиненными, с рабочими... Нет, нет, не размазня. Строгий, серьезный, но деликатный, отзывчивый, хорошо воспитан. Такой, понимаете, весь быстрый. Буду о нем писать.

Так случилось, что невольно пришлось сравнить двух главных инженеров — правого берега и левого берега.

Проходят дни. Множество знакомых. Шофер постройкома Толя просит: «Устрой, пожалуйста, чтобы меня кто-нибудь сфотографировал для газеты... Я недавно демобилизовался. Ребята из моей роты увидят снимок, скажут: правду писал — строит Братскую ГЭС...» Какой-то незнакомый Самсон в роговых очках и клетчатой рубашке с засученными рукавами на ходу говорит: «Вы в Москву? Запишите телефон... Скажите маме: Сема жив. Больше ничего», — и сам же бешено хохочет, подтягивая рукава на загорелых руках.

Но сколько жалоб — на баню, на столовую, на автобус, на палатки, на почту, на телефон, — все плохое! Нигде я не слышал столько жалоб. Не могу понять: почему так много жалующихся? Стройка только начинает жить, кругом тайга, неудобства, отдаленность, не может же все сразу быть гладко. Присматриваюсь. Вижу, что многие недостатки быта действительно от невнимания к строителям. Но многое — просто потому, что не успели. Как говорят, «зашились». Это надо разграничивать. И понимать. Жалуются же на все, не разделяя, даже на то, что начальник строительства часто болеет. Люди особые? Не понимают? На строительстве алюминиевого завода в Шелехове трудностей совсем не меньше. Но как их там легко переносят! Там говорят: «Мы же знали: едем на голое место. Все у нас будет, все сделаем сами!» Там везде — в палатках, домах, за дружеским столом — говорят о заводе, который построят; здесь о будущем ГЭС говорят на собраниях, в домах же чаще всего жалуются на бытовые трудности. Это называется: плохо поставлена политико-воспитательная работа.

Я сравниваю Алюминстрой и строительство ГЭС и начинаю понимать: здесь меньше душевного внимания к человеку.

Здесь люди хуже информированы о жизни стройки, о причинах недостатков, которые приходится переживать.

И от этого естественные трудности воспринимаются, как отсутствие заботы.

Нет, в таких случаях нужна самая широкая осведомленность коллектива, потому что самому скромному строителю, будь то плотник или каменщик, хочется быть равным участником большого, трудного патриотического дела.

В этом плане мне вспоминается один разговор о коттеджах, которые тогда строились в поселке Постоянный для руководящих работников ГЭС. Впрочем, коттеджи были почти готовы, оставалось очень немного отделочной работы. Но с этой самой отделочной работой почему-то медлили. Многие же люди, из тех, кому жить в коттеджах, ездили на работу с Заверняйки, а это тридцать километров в одну сторону.

Как-то, заинтересовавшись, я спросил: почему медлят? Мне откровенно ответили, что да, можно бы форсировать строительство, переезжать, но вот, посоветовавшись, решили — пусть коттеджи постоят, неловко переезжать в них, так как и без того много нареканий на жилье, ведь некоторые люди еще с декабрьских морозов живут в палатках.

Этот ответ был подан как тайна — «между нами». А тайна была уже известна многим. Строители не дураки. Такая «тайна» ничего, кроме вреда, принести не может.

Ответ был подан как дальновидный, тактичный.

Но нет, людям, которые в таком решении нашли единственный выход, не хватило партийного такта немедленно вручить ключ от коттеджа много-много семейному рабочему и высоко поднять тем самым свой авторитет, подать пример коммунистического поведения другим товарищам. И с другой сто-

роны, не хватило мужества немедленно, несмотря ни на какие разговорчики, вселиться в коттеджи и освободить хотя бы квартиры, занимаемые на Заверняйке, для других остро нуждающихся.

Да, тут, к сожалению, не шло речи ни о каких прямых и ясных разъяснениях в коллективе.

Нельзя строить особняки, пока люди живут в палатках. Эта элементарная этическая норма должна быть возведена в закон. Там, где начинается новая стройка, где тайга, пустыня, ледяной север, где особенно трудна борьба советских людей за украшение человеческой жизни,— трудно должно быть всем. Тогда скорее станет легче всем.

Говорят: сибирский характер. Говорят, что сибиряка — где бы то ни было, еще не зная его имени, а зная только, что он точно из Сибири,— тотчас встречают с уважением и симпатией.

В Нижнем Ангарске, в самой северной точке Байкала, я стою на берегу. Мягкий летний день. В неповторимой байкальской бирюзовой воде отражаются облака, плывущие медленно.

У пристани рыбаки с рыбокомбината чинят сети. Одного из них я знаю. Мы с ним часто откровенно беседуем. У него типичное для сибиряка скуластое лицо, бронзовое, обветренное, маленькие умные глаза, белые выгоревшие брови. Речь у него тоже своеобразная: вместо «откуда» он говорит «откуль»; вместо «зачем?» говорит сибирское «по чо?». На нем старенькая сплюснутая кепка, твердый брезентовый плащ. Зовут его Константин Перфильевич Баландин.

Крепкий, кражистый, он садится на бревно — их много раскидано по берегу, — сворачивает папиросу, внимательно следя за морем, которое быстро меняется, и вот что рассказывает про свою жизнь:

— Мы, баландинские, потомственные рыбаки. В прежние годы далеко за рыбой ходили. Там омуль не такой, крупнее. Другая раса, говорят. Жизнь суетливая, опасная. Рыба на этом берегу потеряется — мы на другую сторону валим, догоняем. Моторы откуль в те годы? Ходили гребями. По сто тридцать километров гребями от нашего места к Малому морю. Башлык говорил: «Весла нет — человека нет!»

— Кто такой «Башлык»? — спрашиваю я.

— Бригадир по-теперешнему.

— Какое странное название... Как это понимать?

— В точности не скажу, а догадка есть. Вот эта штуковина от плаща башлыком называется — для сбережения головы от дождя и ветра. Выходит, что башлык — как бы голова, бригадир всему.

— Вы его выбрали?

— Башлык сам людишек подбирал, чтобы были крепки головами, не угорали во время штурма. Ветер хватит — помирать не охота, обязанность была еще башлыку лодку подобрать крепку, отдуисту.

— Что это значит?

— Чтобы от всех ветров отдувалась. Вот к Малому морю придем, лагунов пятнадцать рыбы засолим, отправляем домой гребями, сами остаемся. А если пошел баргузин, не сидим — он нам попутный. Ставим парус. За шесть часов до дому дойдем. Рыбу привезем, в баньке еще попаримся, продукты заберем и по новой рыбу искать. Так сетили. Семен Нелюбин был у нас башлыком в двадцатых годах, не растеривался при штурме. Бывало, в два ведра воду отливали, богу молились. А кто на воде не бывал, тот богу не молился. Молния сверкает, дождь, гром. Нелюбин говорит: «Лежи, ребята, тишеет ветер, зыбь помене». Слабых успокаивал. По четверо суток болтало. Если ветер в ночь подул, жди утренней зари; утренняя зари его не задавила — жди обеда; в обед не перестал — жди до вечерней зари или, там, опять до утренней. У кого голова

плоха, на море беда. Летняя вода тяжелая, по ней грести легче, она зыби не дает. К примеру, култук подул, стих — и сразу зыбь останавливается. А осенняя вода легкая, ее веслом ударишь — она делается как крупинки, что дробь, потому что настывает, ее раскачивает сильно. Ветер подул — зыбь еще сутки ходит. Мертва. За многие годы где только не сетили. На Инхалук ходили, в Япишкин, в Нерпинку, в Кукуй, в Костыли, на Никулинскую губу — это кабанские плесы; а у Ольхона — в Тошкай, на Базарну губу, в больши и малы Хужиры, на Кобылью Голову. Возле Ольхона сарма если хватит — значит не дойдешь; такой ветер на берегу корову переворачивает; тащит назад вместе с водой, весла закинуть нельзя. Тогда отпускаешься по ветру, покуль сарма не перестанет. Башлык садится на корму, мы ложимся в лодке спать, сдаемся по ветру,

— Спать? — удивленно переспросил я.

— А чего ж делать? Год-то она дуть не будет. Спать.

Баландин замолчал, и было ясно, каков этот по виду прстоватый сибирский человек. Вот такие, как он, могучие русские люди осваивали Сибирь. И что для них стоило пройти сотню верст «гребями», выдержать десятибалльный шторм на Байкале! Я тотчас дословно записываю своеобразный рассказ Баландина, чтобы использовать в рукописи, которую в эти дни заканчиваю, — как кстати! Но не могу удержаться чтобы не привести его и в этих заметках.

Должно быть, уважение к сибирякам есть уважение к людям, перед которыми жизнь на каждом шагу ставит подлинные трудности, и они умеют с ними просто и мужественно управляться.

Заблуждение думать, что все люди, выросшие в Сибири, таковы. И с полным правом мы теперь называем истинными сибиряками многих и многих из тех москвичей, воронежцев, ленинградцев, киевлян, орловцев, разных людей, приехавших к нам ж и т ь. Многие из них оказались кровной родней сибирским аборигенам по закалке, выдержке, по любви к Сибири.

Выражение «сибирский характер» весьма условно. Но есть качества мужественных душ, к которым так и хочется применить это красноречивое выражение. Люди с такими качествами нужны нашему краю, как воздух.

Таких людей к нам едет все больше и больше.

Нет ничего дороже их чувства преданности делу, за которое они по личной охоте решили взяться. Об этих людях нужно сложить песни, написать книги, правдиво рассказать об их жизни и помочь людям увидеть в ней поэзию.

«Моторы откуль в те годы?» — сказал Баландин. Сейчас, конечно, не те годы. В том же маленьком незаметном Нижнем Ангарске нынче за рыбой гоняются не «гребями», а на моторных ботах и катерах, и возле пристани стоит множество моторных суденышек с надписями: «лодка-лавка», «лодка-почта», «лодка-аптека», «лодка-кино» — это для обслуживания дальних рыбацких плесов.

Теперь только на каком-нибудь одном шагающем экскаваторе установлены десятки моторов.

Техника, культура, гигантский размах нашего советского строительства облегчили жизнь человека в суровых краях.

Многие люди, поселившиеся в сибирских городах, порой совершенно забывают, что они в Сибири, и удивляются: да какие же здесь трудности?

У них квартира в новом благоустроенном доме со всеми удобствами, наискосок от дома — булочная, за правым углом — промтоварный магазин, за левым — гастрономический; театр — через три-четыре квартала, кино — за два, а каток и лыжная база — через двор. К их услугам автобус, трамвай, такси и прочее.

Взять Новосибирск, Красноярск, Иркутск... В Иркутске сорок лет назад не было ни одного высшего учебного заведения, сейчас — государственный университет, крупные институты: горнометаллургический, сельскохозяйственный, медицинский, иностранных языков, финансово-экономический, стоматологический. Двадцать техникумов.

Сейчас в городе работают четыре театра, Восточносибирский филиал Академии наук, научно-исследовательские институты, отличные библиотеки... Как и многие города Сибири, Иркутск за сорок лет Советской власти превратился в подлинный культурный центр.

Но далеко не все наши сибирские города благоустроены так, как мы могли бы их благоустроить. Чаще всего, как, например, в очень запущенном шахтерском городе Черемхово, это объясняется робостью и неповоротливостью местных органов, а государство в большинстве случаев средств не жалеет.

Многим же новоселам, особенно сейчас, когда строительство разворачивается все шире, приходится и придется жить в поселках временных и даже в палатках, как живет тысячный отряд комсомольцев и молодежи, строящий высоковольтную линию электропередачи из Иркутска в Братск, в тайге. Постоянные поселки и новые города, такие же чудесные, весенние, как Ангарск, придется построить самим.

Наконец, даже при всей той поистине могучей технике, которой щедро насыщаются новые стройки, тайга с ее пространствами, морозами и всякими не очень приятными неожиданностями не становится для человека милостивее. Передовым отрядам строителей всегда приходится трудно. Порой очень трудно. Сибирь остается Сибирью.

А впрочем, как это понимать? Какой меркой мерить? Есть люди из самых передовых отрядов, их мои слова заденут. Они считают, что живут так, как им хотелось, как нравится, вот такую именно жизнь они любят и — счастливы.

И все же следовало бы наказывать тех вербовщиков, кои, ратуя за Сибирь, говорят о ней по меньшей мере как о земном рае. Это приносит людям вред.

Когда в Кремле комсомольцам сказали, что на целине они встретят много трудностей, у них будет плохое жилье и даже земляной пол, комсомольцы ответили на эту правду аплодисментами, поехали и покорили целину.

Жизнь идет. Ничто не может остановить нашего стремительного движения вперед. Сибирь строится. Строится основательно, с размахом невиданным, удивительным. Этот размах — свидетельство мощи, возросшей мощи первого в мире социалистического государства. Вчера была целина. Сегодня другая целина — Сибирь.

Близится сороковая годовщина революции... И вот привычные, казалось бы обыденные, факты приобретают в сознании яркое, новое освещение. Я вспоминаю о тех иркутских комсомольцах, которые мечтали увидеть на Ангаре мощнейшую гидроэлектростанцию с мировой славой. Теперь же мы строим на Ангаре уже не одну станцию: Иркутскую, Братскую... И спрашиваю себя: почему я веду речь только об этих поистине гигантских фабриках электроэнергии и словно забываю о том, что необходимо было пережить, какую уйму всего переделать? Ведь начиналось все буквально на голом месте.

В те самые годы, когда мы, мальчики, предавались мечтам, в 1930—1931 годах, двадцать пять лет назад, на месте будущей Братской ГЭС уже появились первые изыскательские партии, потому что прежде всех других о будущих гидроэлектростанциях России мечтал Ленин.

И все — с самого начала. Для решения элементарных инженерных задач, для рабочего проектирования не было даже необходимых топографических планов. По Ангаре, а впрочем, и кругом на тысячи верст тайги, не было государственной нивелирной сети. А в Европе эта работа велась больше сотни лет. Может быть, все это очень простые вещи, если вспомнить, что надо было, скажем, и учиться строить турбины. Но и самого «простого» у нас не было.

О многом мы теперь словно бы не помним, ибо это многое сделано. Но ведь даже без новых гигантских ГЭС уже к 1954 году мощность электростанций в Иркутской области по сравнению с 1928 годом выросла в сто раз. Это что-то значит. Ведь это только в одной сибирской таежной области!

Не могу забыть орловских комсомольцев. Впрочем, Леня Кулик, секретарь комитета ВЛКСМ, предупредил меня: «Не пишите «орловских»... Как-то неудобно. У нас здесь и воронежцы и иркутяне... Пишите уж теперь «сибиряки». Леня Кулик — по образованию инженер, недавно работал в Орле. Никогда до этого в Сибири не бывал.

Получил письмо от Галы Мореевой. Она тоже из Орла, работала на заводе «Трансмаш» токарем. Она хорошо жила в Орле. Там мама, единственный родной человек. В Шелехове — такова производственная необходимость — Галя приобрела квалификацию штукатура.

Галя пишет:

«Живы-здоровы, работасм на прежнем месте. Скоро будем сдавать на разряд. Мне исполнился двадцать один год, справляли день рождения, было очень весело. Палатки покинули, нам дали комнату, живем пока все вместе — Люся, Люда и я. Комната хорошая, большая, светлая, всем необходимым мы обеспечены. Скоро к нам приедет еще одна большая группа комсомольцев из Орла. Мы их с нетерпением ждем. Ездили на Байкал. Вот где действительно увидели чудеса Сибири. Такую красоту я еще не встречала нигде. Ночевали двое суток в тайге, варили на костре обед. Какое огромное удовольствие!»

Следом — письмо от Лени Кулика:

«Прибыло к нам еще четыреста орловских комсомольцев и молодежи. Всех перевели в новые дома и общежития. На месте недавнего пустыря около железной дороги вырос комсомольско-молодежный город.

Так как зимой нам отдыхать негде — клуб маленький, спортзала нет, — решили своими силами построить спортзал и новый клуб на четыреста мест. Много, правда, пришлось выдерживать боев кое с кем, впрочем, исключая нашего управляющего трестом Петра Федотовича Красильникова, который исключительно хорошо относится к нам и помогает. Согласие на стройку дали, проект утвердили. Короткий митинг, подъем флага, и ударная комсомольская стройка началась.

Создан целый штаб стройки. Начальник штаба — физорг Володя Королев. Замначальника — прораб Гриша Грязнов. Главный инженер — механик базы механизации Павел Дарюга. Министр иностранных дел штаба — механик, член комитета ВЛКСМ Геннадий Мосин (его обязанность — связь с другими организациями) и т. д.

После окончания этих объектов решили объявить ударно-комсомольской стройкой строительство средней школы, а затем будем просить о сооружении одного из цехов алюминиевого завода. Это — на будущее.

Опишу еще один случай. Недавно у нас на стройке почти прекратилась работа из-за отсутствия шифера. Жилые дома и культобъекты стояли без крыш. А мы жили тогда в палатках. Управление треста давало телеграммы и в главк, и в министерство, и на Красноярский шиферный завод, но ничего не помогало.

Тогда управляющий попросил нас дать от имени комитета ВЛКСМ телеграмму секретарю Красноярского крайкома партии товарищу Органову. Я телеграмму дал и заодно поговорил с комсомольцами. Составили письмо комсомольцам шиферного завода и послали представителя комитета ВЛКСМ с этим письмом в Красноярск. Письмо опубликовали в «Красноярском комсомольце», на заводе собрали партийное бюро, комсомольское собрание. Через четверо суток мы получили шифер.

Знаете, когда мы начали переводить людей из палаток в дома, то создали комиссию по переселению, и ребята и девушки после работы шли к своему дому (а мы заранее сообщили, кто где будет жить) и помогали строителям вводить дома в эксплуатацию. Как приятно было видеть, с каким энтузиазмом и задором рабстали ребята, а еще приятнее было услышать от старых рабочих и руководителей, что они не думали о такой помощи и очень благодарны за нее.

Самое главное — это то, что у нас начал сколачиваться крепкий актив, способный выполнить любое поручение.

Комсомольцы наши селятся в Сибири накрепко. У нас уже отгремело двадцать пять свадоб. И даже уже родился первый орловский сибиряк. Отец его — Владимир Коврижкин — член комитета комсомола стройки, работает слесарем на базе механизации».

И в заключение Леня Кулик несколько строк посвящает себе.

«Я первое время растерялся, — пишет он, — просто-напросто растерялся. Не знал, что делать, с чего начинать свою работу. Я это вам, кажется, говорил. А потом ближе познакомился с ребятами, начали работать все вместе, и теперь уже хорошо вижу путь, по которому нужно идти. Можете не сомневаться, что в 1960 году, как намечено, наш Алюминиевый вступит в строй».

Октябрь 1956 года. Открытое партийное собрание на улице Воровского в московском клубе Союза писателей, посвященное с и б и р с к о й т е м е. На собрании один литератор сказал: задача писателей в том, чтобы средствами искусства художественного слова помочь в разыскании полезных ископаемых и затем помочь в практическом и производственном их освоении. Другой возразил, что речь должна идти не об освоении средствами художественного слова природных богатств — наземных и находящихся в недрах, — а об освоении душевных человеческих богатств: надо правдиво изображать жизнь и своими средствами способствовать строительству и улучшению жизни.

На хорах, среди курящих, этот различный подход вызвал не очень бурную дискуссию.

— Конфуз, — говорил кто-то, делая насмешливую мину, — призывать художников к изысканию полезных ископаемых!

Я слушал и думал: «Если бы вы знали, товарищи, как сейчас Сибири нужны и хорошие художники и темпераментные, умные политработники, готовые пойти на работу в партком Братской ГЭС или Иркутскалюминстрой или, еще лучше, владеющие очерковым или публицистическим пером!» Меня охватило естественное нетерпение, желание увидеть, как кто-то поднимается и говорит: «Я завтра еду туда».

Мне рассказывал очевидец: это было года два назад, зимой, в Братске, в палатках, занесенных снегом, далеко-далеко от Москвы. Сидели как-то вечером молодые инженеры-комсомольцы. Их было мало, они недавно приехали, и по вечерам им было грустно; у них часто появлялось такое чувство, словно они забыты всеми. И вдруг в тот самый вечер заговорила Москва. Простыми словами на весь Союз диктор стал рассказывать об этих самых инженерах-комсомольцах, о том, как они живут и что делают. До этого ни в печати, ни по радио ни разу еще не упомина-

лось о Братской ГЭС. Какими счастливыми сразу стали эти люди, сколько было улыбок, возгласов, а у девчат на глазах появились слезы.

О них рассказала Москва! Жизнь и труд приобрели неожиданно совершенно иную окраску. Их собственный авторитет возрос в их глазах, и они даже стали гордиться теми житейскими трудностями, которые переживали до этого и которые должны были еще пережить.

Пусть далеко не свеж этот пример организующей и вдохновляющей силы слова и тоски по нему, но он, по-моему, многозначителен.

В листке «Московского литератора» я внимательно прочел не так давно слышанную речь: «Наша литература может решить очень важные задачи — помочь народу в этом утеплении Сибири, помочь разрушить представление о ней как о месте, где живут только до тех пор, пока это необходимо в силу контракта... Во время поездов по Иркутской области мне приходило на ум, что нам до зарезу нужен добрый, пусть даже средний, но правдивый бытовой роман о новоселах, о новых районах, о том, как складывается там жизнь». Эти слова принадлежат Александру Твардовскому. Понимает же это, разумеется, не один Твардовский. В чем же дело?

Минул октябрь, ноябрь, декабрь.

И вот я снова в Шелехове. Жму руку Лене. Мы идем на Промстрой, в библиотеку, в магазин. Мы задираем головы на башенные краны, — как все изменилось на Промстрое! Я встречаю Георгия Ивановича Зоткина. Он все такой же деловой, простой, сердечный человек. Мы идем по цехам, построенным под его руководством. Сдан в эксплуатацию арматурный на пять тысяч тонн арматуры в год. В пусковом состоянии завод железобетонных изделий на пятнадцать тысяч кубических метров сборного железобетона. Накануне пуска цехи — лесопильный, деревообделочный, антисептирования...

— Эх, молодцы у меня тут работают! — говорит Георгий Иванович. — Комсомольская бригада Олега Панюшкина. Каменщики. Обязательно познакомьтесь.

Иду по жилому городку. На улице мороз — минус тридцать пять. Захожу в строящийся двухэтажный дом № 20-б. На первом и втором этажах идет штукатурка. Еще нет лестничных маршей. Лезу по залепленным глиной трапам. В коридорах тесно, расставлены козлы. В замерзшие окна просачивается тусклый свет, а на улице ослепительное зимнее солнце. Вдруг я вижу моих знакомых, моих друзей. Гала Мореева и Люда Никольская! Обе в комбинезонах, в руках терки. Веселые, работают. Здравствуйте, дорогие девчата!

Начинается длинный разговор, который невозможно передать полностью. «Девчата, как вы зарабатываете?» Вздыхают: «Сейчас плохо... Разряд пока маленький, учимся... Но и на разряд наш заработок сейчас не вытягивает...» — «В чем дело?» — «Нет фронта работ, зима штукатурку — плохое время...» — «Что же вы теперь, оставите Шелехово, уедете?» — «Ну, нет, — говорит Гала, — мы не уедем! Это вы бросьте! Для чего же мы сюда приезжали? Струсили? Ну, нет! Открылся участок Заводстрой, весной будет настоящий фронт работ». Румяная толстуха в синем комбинезоне кричит из коридора: «Раствора не хватает, вот в чем дело! Каждый день простой! И заработка нет. Пусть Галка остается, а я уеду домой, если так будет продолжаться. Пусть дают работу!»

Зовем бригадира Ильина. Подходит. Показывает табель, наряды. Говорит:

— Не обеспечены раствором. Пытаемся активировать, акты нам не подписывают...

На приеме у главного инженера треста Стрижевского. Мы знакомы. Как и управляющий Красильников, как и секретарь парткома Хворов, Стрижевский — уважаемый в коллективе человек. Он не верит, что в бригаде Ильина плохие заработки из-за простоев. Тотчас берет телефонную трубку. На проводе Ильин. Стрижевский спрашивает, возражает и — соглашается.

— Каждый случай актируйте, — сердито говорит он в трубку. — Не будут подписывать акты — немедленно докладывайте мне!

Спасибо, товарищ Стрижевский, хочу думать, что это не только слова. Спасибо за девчат! Дело в том, что у Галы Мореевой мама в Орле. Гала приехала в Сибирь по призыву партии, потому что она и мама ее — простые советские женщины, верят партии. Наша партия всегда звала людей только на хорошие дела. Я знаю, для вашей стройки положение в бригаде Ильина — частное, случайное недоразумение. Гала Мореева это тоже понимает. Она верит в жизнь, верит в людей. И она верит вам. Нельзя подрывать ее светлую веру. Я не прошу вас с ней нянчиться, нянчиться не надо. Гала — сильный человек. При случае ее всегда поддержат товарищи, коллектив. Вы поддержите. Но — поменьше недоразумений... Как это будет хорошо!

В «Восточно-Сибирской правде» статья Веслава Иваницкого, специального корреспондента варшавской газеты «Экспресс вечорны»: «Иркутский аэропорт приветствует нас шумом идущих на посадку и поднимающихся самолетов. На варшавском аэродроме Окенче, через который проходит немало международных линий, никогда я не видел столько самолетов одновременно. Да, человек, который осваивает великий Сибирский край, вооружен сегодня самой новой техникой. В Сибири даже конные повозки встречаются редко...» Очень приятно слышать это от корреспондента «Экспресс вечорны».

Иркутский аэродром. Его теперь называют воздушными воротами в Китай. Залы ожидания набиты битком. Сидят даже на чемоданах, дремлют сидя. Девушка из справочного бюро дает стереотипный ответ: «Север закрыт. Ничего не известно». Между тем на взлетных дорожках то поднимаются, то опускаются комфортабельные «ИЛы» «Хабаровск—Москва», «Пекин — Москва», «Москва — Пекин», «Москва — Иркутск»... Садится «ТУ-104» «Пекин — Прага». Китайские товарищи проходят на второй этаж, в ресторан... Вдруг залы мгновенно пустеют, веселые, возбужденные пассажиры группами уходят на летные поля. Север «открылся». В воздух один за другим поднимаются самолеты на Киренск, Братск, Якутск, Усть-Кут, Бодайбо... Летят на стройки. На новые стройки...

Сажусь в насквозь промерзший «АН-2». Самолет долго не трогаются: примерзли лыжи. Чувствую, кто-то основательно колотит по левой лыже чем-то вроде кувалдочки; легкий наш самолет раза два вздрагивает, бежит...

Под ногами город, Ангара, нитки высоковольтной линии. И тайга... Редкие пятна снега и тайга, тайга, кажущаяся нам черно-серой, мохнатой. Увы, сейчас это совсем не красиво, а скорее мрачно-вато. Но какая же она могучая, какая необозримая даже с самолета! Удивляет и влечет. И постепенно покоренный ее могуществом, я не читаю, нет, ору во всё горло соседу своему, врачу из облздрави, стихи Дмитрия Кедрина:

Не езжена вдоль и не пройдена вширь,
Покрыта тайгой непроезжей,
У нас под ногой распростерлась Сибирь
Мохнатую шкурой медвежьей.
Пушнина в сибирских лесах хороша,
И красная рыба в струях Иртыша...

Врач из облздрави; девочка-товаровед, только что окончившая техникум; научный работник, направленный на строительство для борьбы с мошкой (там он быстренько, если дело не пойдет, получит прозвище «мошкодав»); электросварщик из Иркутска, любящий «все зачинать сначала самому»; подполковник в отставке, решивший поселиться на новой железнодорожной станции в тайге, где служит его сын; крупный инженер из института градостроительства — все приникли к окнам самолета. Что там, в этой неоглядной тайге? Ни одной деревеньки! Как заманчиво все начинать самому. Какое счастье чувствовать себя сильным, добрым, смелым!

Уже на Падуне зима. Крепкий двухметровый лед сковал Ангару.

Делают перемышку.

Мороз около сорока и ветер, — как в трубу, его тянет между отвесных скал.

Все бело от искристого снега. Сильно пахнет сосной. Под ветром плотники собирают ряжи из соснового бруса.

Янтарно-желтые ряжи стоят на торосистом льду. Их опускают в проделанные во льду майны на дно реки.

Рядом готовят майны: лед опиливают, взрывают, вычерпывают волокушей — что-то вроде огромных загнутых граблей из железа толщиной в руку. Волокушу со льдом едва тянут два трактора.

Пока тянут — лед смерзается, надо разбивать (рвать уже нельзя). Крапы, став рядом с майной, поднимают и бросают с высоты бетонный куб весом в четыре тонны. Ближе чем на семь метров крану приблизиться к майне нельзя... Всюду на срубках развешаны спасательные круги.

Приземистые бульдозеры отпихивают лед, стоят канавокопатели — техники много.

Брызги летят из-под бетонного куба, куб срывается; в месиве льда и воды его цепляют снова и снова бросают. Ветер, мороз, вода. Адская работа.

В приоткрытую дверку кабины вижу меховые унты крановщика Ивана Анисимовича Глебова — напряженные ноги на рычагах. Другой крановщик — Сысоев Сергей Матвеевич — стоит на льду, курит. Три года он строил Иркутскую ГЭС, теперь строит Братскую.

Распоряжается высокий спокойный человек в крытом полушубке. На козырьке зимней шапки морская «капуста» — эмблема, оставшаяся со времен работы в Главсевморпути. У него железное рукопожатие. Говорит:

— Щеглюк Василий Давыдович, прораб по разработке майн.

Старый северянин. Был капитаном на Яне и Хатанге. Там, на Севере, спасая суда, не раз занимался ледовыми работами. Знает это дело до тонкости. Ему приходилось строить ледорезную дамбу намораживанием сорока тысяч кубометров льда...

И вот что говорит:

— Помудрили тут — чем резать лед? Из Черембасса нам прислали две врубовые машины. Вон они на льду лежат... Помаялись. Ничего не получилось. Боятся врубовки воды, покрываются ледяной коркой, не берут. Потом так приспособились: канавокопатели превратили в ледорезные машины, оставив на них по одному бару...

Над торосами тянется электролиния. Мы идем мимо сверкающих от инея домиков, построенных на салазках, чтобы к весне увезти. Все это на могучей застывшей реке, на сорокаградусном морозе, под ветром.

Ищу слова о людях, строящих первую перемышку на Падуне. Романтика? Мужество? Скромность? Нет, эти слова всего не передают... Не нашел.

Ночью в разных концах поселка Постоянный — костры. В кострах горят целые деревья. Люди греют землю, чтобы утром рыть в ней траншеи и котлованы.

В снегу — вырванные с корнем деревья, нагромождение стволов, разлапых пней, сучьев с зеленой и желтой хвоей, и рядом — живой лес. И в этот живой лес кварталы вдвигаются точными квадратами.

Сколько построено домов! Сколько строится! Никто уже не живет в палатках. Квартиры просторные, светлые, для одиночек — общежития. И связь стала лучше, говори хоть с Москвой. На аэродром садятся самолеты. Регулярно ходят новые вместительные автобусы. Хорошее сообщение. В магазинах мясо, сливочное масло, сахар, всяческие консервы — от мясных до фруктовых. Все необходимые продукты в неограниченных количествах. Декабрь, а я покупаю на Падуне отличные лимоны, пью душистый чай... Вот чего не хватает, так это регулярно не хватает водки. Если это не случайно, то, по-моему, неплохо задумано. Такой опыт следует перенимать...

Машина уносит меня от Постоянного по льду Ангары в Анзэбу — центр лесопромышленного управления строительства Братской ГЭС. У ГЭС — свое лесное управление! И огромное. И все же леса не хватает. Стройка величественная.

В анзэбской столовой отлично кормят. Есть все продукты. Тепло. За чистыми столиками пьют свежее молоко из пивных кружек.

Возле буфета тихий разговор: сегодня на перемычке грузовик с ходу влетел в майну, пошел ко дну. Шофер успел выскочить, девушка, сидевшая рядом, погибла.

Слышу это и не могу поверить, не могу представить. Я же вчера был на перемычке... Погиб человек. Из-за глупейшей неосторожности. Так вот для чего там висели спасательные круги!..

Конечно, подобное может случиться везде — и на юге и на севере.

Но нет, нельзя относиться легкомысленно к суровой сибирской природе. Люди привыкают и забывают об этом, появляется легкомыслие. Тогда беспомощны спасательные круги.

Вечером захожу в барак. Электрический свет. Закопченные бревенчатые стены. На стенах развешана одежда. Патефон, гармошка, висит охотничье ружье.

Ряды кроватей. Теснота. У стола несколько молодых парней читают.

Когда вхожу, вижу сильного мускулистого юношу. Он без рубахи стоит у дверей, выжимает штангу. И это после тяжелого трудового дня! Он электропилищик. Сегодня валил лес, тот самый лес, что идет на брус для перемычки, для новых домов... Какой сильный и выносливый! Да, он чувствует себя неплохо, хорошо питается. У всех ребят хорошие заработки. За декабрь он получил на руки тысячу триста рублей. Зовут его Петр Шакуров.

В бараке живут люди с одинаковыми биографиями, одного возраста: демобилизованные войны, приехали по комсомольским путевкам из Москвы. Это одна из лучших производственных бригад — бригада Кайгородцова: электропилищики, грузчики, подкатчики, чоккеровщики.

Говорят: барак — ничего... Переживем. Через год-два у нас будут хорошие квартиры.

Знакомые слова. Правдивые, разумные — это все понимают. Но когда всюду на стройках слышишь такое, говоримое с потрясающей, естественной простотой, невольно еще раз задумаешься о совершенно особой природе характера советского человека.

— Конечно, переживём!

— Да вот беда, многие наши ребята жениться собрались. А как заводить семью в общем бараке? Некоторые семейные вот так и живут... Обещают комнаты. Но что-то очень долго обещают. Мы предполагали сами оборудовать еще один барак, нас похвалили, но ничего не дали, не организовали... Барак тот так и стоит...

Вот это очень плохо. Вспоминаю, на Алюминстрое в Шелехове вопрос поставлен так: женишься — получай комнату. Как ни трудно, а комнату мы тебе даем, пока одну. Пока. А ведь в Шелехове тоже тесно живут.

— Скучно у нас, — говорят парни. — Вот сами себе патефон купили... Газеты приходят с опозданием, нерегулярно. Нет повседневной информации о жизни всей нашей стройки, о том, что делается рядом, в соседних районах. Мы же не можем жить слепо, жизнью одной своей деляны.

Но больше не об этом: чоккеров на лесоразработках не хватает. А как же без крюка цеплять лесину? Угля в кузнице не хватает, скобы надо делать... Эстакады надо строить... Много людей приходится оставлять на дневальство — бригада расселена по разным местам.

Словом, куда ни повернешь — речь все о том же человеческом внимании.

На Братской ГЭС люди вниманием не избалованы. Вот на эту самую Анзебу приезжали недавно разные представители и комиссии, даже из центра, расследовали, выясняли взаимоотношения. Опять было очень много жалоб. Много споров. Сейчас дело налаживается. Но как легко можно было бы обойтись без комиссий!

А может быть, все это из-за того, что по-прежнему очень редко встречаются с рядовыми строителями главные руководители стройки, в руках которых сосредоточено много силы, власти, прав, которые обладают более широким, исчерпывающим знанием обстановки? На Падуне я встретил множество рабочих, которые даже в лицо не знают руководителей стройки.

Это непонятно и удивительно. Особенно это удивительно сейчас, когда виднейшие руководители партии и государства (люди, занятые куда больше, чем товарищи Наймушин, Гиндин, Болезин и их первые заместители) находят время для повседневных встреч с народом, из конца в конец пересекают огромную страну, выступают перед рабочими и крестьянами, посещают их дома, честно и прямо отвечают на все недоуменные вопросы.

Советский хозяйственник, какой бы крупный пост он ни занимал, обязан помнить всегда и везде, что он не только хозяйственник — он воспитатель. На новых стройках, где жизнь начинается с кола, это приобретает совершенно исключительное значение.

Мы не просто строим, не просто работаем — мы строим коммунизм.

Я иду каменистой тропой через тайгу на Душкачан, на Холодную, где раскинулся эвенкийский колхоз охотников и оленеводов. Впереди с ружьем на плече (без ружья нельзя) шагает Гавриил Тихонович Ганюгин, третий секретарь райкома партии. Ганюгин — эвенк. Молодой человек, 1924 года рождения. Мальчиком он кочевал с родителями по тайге. Когда ему было пять лет, отец сделал ему первые лыжи, настоящие, обил камусом, а девяти лет он самостоятельно добыл первую белку. В то время он не признавал хлеба, питался мясом. Потом — учение: десятилетка, областная партийная школа. Был зоотехником, председателем колхоза, заведовал отделом агитации и пропаганды райкома... Культурный, образованный, по-настоящему интеллигентный человек. Сейчас, когда Совет-

ской власти исполняется сорок лет, судьба таких людей, как Ганюгин, кажется нам вполне обыкновенной судьбой...

Идем через подлесок, над нами горы щетинятся соснами. В распадах сырой туман. Моросит дождь. Ганюгин не торопится, часто наклоняется, рвет голубику, кладет в рот.

У тропы, на поляне, шалаш из березняка, дымокур. Парнишка-пастух с книжкой за пазухой, с ружьем и тремя огромными зверовыми собаками охраняет коров. Собаки подозрительно ворчат, обнюхивают нас. Парнишка говорит: «Утром за коровой медведь гонялся...»

Под ногами брусника, багульник. Пахнет грибами.

Каменистая тропа спускается в низины, огибает озеро Туркукитское, и Ганюгин, должно быть обрадованный, что вырвался из стен кабинета, тянет меня выше, в горы, избегает широких троп, старается забраться все погуще и, вижу, не на шутку мечтает встретить медведя. Заводит меня в чащобу, из которой небо кажется с ладошку, и говорит: «Там, повыше, тропка есть очень хорошая...»

Он говорит о своем родном Северо-Байкальском районе. Район весь таежный и гольцовый. Много озер, болот. В лесах — соболь, белка, красная лиса, колонок, горностай, росомаха, рысь... Развели ондатру: в 1932 году выпустили в озера всего двести ондатр, а начиная с 1939 года ежегодно выбивали этого зверька от тридцати до сорока тысяч штук — так расплодился! Пушнины добывают на миллионы рублей. Район занимает огромную территорию. Есть места, где не ступала нога человека, есть места, где никто не бывал с тех пор, когда старики эвенки вели кочевой образ жизни. Зимой на самолетах туда забрасывали боеприпасы, табак, муку, чай и другие товары, садились на льду озер — решили «опромышлить» новые участки.

И население этого огромного района — всего шесть колхозов да коллектив Нижнеангарского рыбокомбината!

Совершенно нетронутый, неисследованный край. Сколько же по Сибири такой богатейшей, щедрой земли, которая с нетерпением ждет сильного, энергичного человека!

Не случайно мне вспоминается это путешествие.

На Холодной, куда пришли мы с Ганюгиным и где встретились с охотниками и оленеводами, спрашивая о том или ином человеке, все чаще слышим: он на курорте. На какой же курорт уехали все эти люди? «Да на наш, на районный курорт в Хакусы», — сказали мне.

Возвращаюсь в Нижний Ангарск. Байкал штормит. У пристани разгружается тысячетонный лихтер. Рядом попрыгивает на волнах притаивший его пароходик. На берегу, в киоске Союзпечати, продают последний номер молодого бурят-монгольского журнала «Свет над Байкалом» (север Байкала принадлежит Бурят-Монголии). На аэродроме ждут самолета и свежих газет. Рыбацкие суденышки прижались к берегу.

Наутро погода улеглась. На попутном ботике, идущем за рыбой, плыву в Хакусы. Через три часа приближаются синие горы с темными впадинами и острыми хребтами. Солнце покрывает прозрачный Байкал ослепительными блестками.

Берег. Дикая природа. Жметя к земле стланник, стелется бледно-розовый олений мох. Домики в сосняке: столовая, спальный корпус, ванный... Из подземного источника по желобу бьет горячая целебная вода. Температура плюс сорок шесть. Из ванного корпуса с мохнатыми полотенцами через плечо выходят рабочие и работницы рыбокомбината: Лидия Ивановна Суходоева, Иван Иванович Овсянников, Мачасафа Шаяхметова... Медленно ухсдят по песчаной дорожке. Молодая заведующая лечебной частью фельдшер Анфиса Черкашина рассказывает мне о

том, как хорошо помогает курорт жителям района. Лечат ревматизм, кожные заболевания.

В общем, еще одна из чудесных примет советского времени: малонаселенный таежный район на свои средства создал курорт для рядовых труженников.

Но знает ли общественность, что в разных местах побережья и вокруг Байкала существуют десятки самых различных горячих целебных источников, многие из которых не уступают некоторым кавказским, и по существу нет настоящих курортов, не считая двух-трех карликовых?

Среди этих источников — железистые, щелочно-углекислые, углекисло-железисто-содовые, грязелечебные, сероводородные, сернистые. Есть воды, обладающие радиоактивными свойствами. Температура источников — двадцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят градусов и выше.

Местное население давно пользуется этими целебными водами на свой страх и риск. В Давше, где живут работники соболиного заповедника, над источником возвели стены и крышу и ходят к нему, как в баню, с мочалкой.

Природа вокруг изумительная, девственная, нетронутая, величественная. Красивейшее в мире озеро-море, песчаные пляжи, гишина, сосновый воздух, а солнечных дней, как хором утверждают специалисты, здесь больше, чем в Кисловодске.

Да, в Сибири есть все — и источники и солнце в изобилии.

И при всем этом сотни тысяч людей с Сахалина, Камчатки, Колымы, Чукотки, Дальнего Востока, из Западной и Восточной Сибири должны ездить лечиться на юг через всю страну, изнывая в поездах по двадцати суток (туда и обратно).

Многие, не все, но очень многие из тех, кто нуждается в серьезном лечении и отдыхе, были бы бесконечно благодарны Министерству здравоохранения и ВЦСПС, если бы те взялись наконец за строительство крупных, оснащенных новейшим оборудованием курортов в районах Байкала.

И, думается мне, немало москвичей, киевлян, ленинградцев, коренных ожан пожелает лечиться и отдыхать у нас на Байкале.

И не только курорты... Есть множество нерешенных задач и для работников промышленности, и для работников здравоохранения, и для работников культуры... И не удивительно, что задач много: Сибирь строится, Сибирь надо о б ж и в а т ь.

И нет нужды перечислять эти задачи — они известны.

Их решат люди — рабочие, инженеры, ученые, работники культуры, которых все больше и больше селится на сибирской земле.

Я писал письмо другу... Звал в Сибирь.

Я заготовил пышную фразу: «В Сибири ты найдешь беспокойную жизнь и трудное дело, которое захватит тебя так, что сделает счастливым». А написав, подумал: «Какая же все это чепуха! Перемена климатического пояса не делает людей злых добрыми, равнодушных — беспокойными. Ты, в общем, останешься таким же, как прежде, и если в Москве трудных дел для себя не находил, то и в Сибири, конечно, не найдешь...»

Вспомнив об этом, я отбросил пышные фразы и написал другу просто: «Приезжай, потому что в Сибири сейчас, по моему глубокому убеждению, передний край строительства страны».



ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

ПТЕНЕЦ ГОЛУБКИ

И вдруг
Раздался треск яйца —
И мы увидели птенца.

Он ростом был не больше пули,
Которая осталась в дуле
Оружья, брошенного в поле,
Когда убийцу побороли,
Обезоружили, связали.

Вот был каков птенец голубки.
Он вылупился из скорлупки,
Как в опереньи из свинца,
Чтоб коршуны
Не растерзали!



ВЛ. ПАВЛОВ

★

ПРОВОДНИК

Рассказ

Я познакомился с Мьколой Слупачеком 6 июня 1943 года. Я точно запомнил эту дату. Примерно дней на десять раньше наше партизанское соединение дважды Героя Советского Союза генерал-майора А. Ф. Федорова пришло под Ковель и расположилось лагерем в лесу неподалеку от села Езерцы.

Ковель — крупный железнодорожный узел, из которого расходятся пять важных в стратегическом отношении линий: на Сарны, на Ровно, на Брест, на Люблин и на Владимир-Волынский.

Перед нашим соединением стояла задача — блокировать эти линии, прервать или хотя бы сократить движение немецких поездов.

Один за другим из лагеря соединения уходили отряды на отведенные им участки.

Наконец настала и наша очередь. Мы шли на ближайшую к лагерю дорогу Ковель — Сарны.

Это был редкий в нашей профессии подрывников-диверсантов случай, когда нам пришлось хотя бы небольшой срок действовать всем вместе. Обычно подрывники придавались по одному, по два стрелковым подразделениям и под их охраной ставили мины.

На этот раз почти вся наша диверсионная рота во главе с заместителем командира соединения по диверсионной работе старшим лейтенантом Егоровым отправилась на первую пробную установку новых по тем временам мин замедленного действия. Мы их сокращенно называли «эмзедушками».

После, как говорил Егоров, «производственных» испытаний этих мин подрывники, понаторев в новом деле, должны были разойтись по отрядам.

Кроме нашей диверсионной роты, в группу входили еще рота и подрывной взвод отряда имени Щорса под общим командованием комиссара отряда Пысенкова.

К вечеру мы подошли к селу Холузье, где, как доложила разведка, расположился местный партизанский отряд капитана Макса.

В другое время и Пысенков и Егоров, идя на задание, обязательно обошли бы село, расположенное всего-навсего в десяти километрах от железки. Но карта картой, а в незнакомой местности, кишевшей к тому же националистами, без проводника никак не обойтись; где ж еще найти надежного человека, если не у местных партизан?

У капитана Макса этот день был удачным. Утром его отряд устроил засаду на шляху и отбил у немцев несколько повозок, или, как говорят в этих местах, фурманок с рыбой. Рыба была выловлена немцами в прудах, объявленных собственностью Третьего рейха.

Конечно, не рыбе радовались капитан Макс и его партизаны. Но рыба для партизан — еда редкая. А свежий зеркальный карп, хорошо поджаренный на подсолнечном масле, и в мирное время первоклассная закуска.

Короче говоря, когда мы вошли в село, пир был в самом разгаре. Чарка не миновала и нас.

После долгого и напряженного марша я и мои товарищи — Гриша Мыльников, Володя Клоков, Саша Машуков — развалились в тени деревьев, в небольшом садике, окружавшем хату, где расположился штаб капитана Макса.

Вечерний ветерок забирался под наши распахнутые гимнастерки, кители и штатские пиджаки, приятно охлаждал тело. Мы только что основательно подкрепились, выпили, и теперь нам хотелось только одного — спать. Но спать не пришлось. В штабной хате раздался сильный шум, и на пороге появилась толпа партизан, среди которых выделялись высокие фигуры Пысенкова и Егорова.

— Где вы, Володи? — крикнул Егоров. — А ну, ко мне!

Мы с Клоковым встали и подошли к командиру.

— Вот что, орлы, — вполголоса заговорил Егоров, отводя нас в сторону. — Есть шанс отличиться. Проводников нам дали. Нечего откладывать. Берите эмзедушку — и шагом марш! — Он прищурился и подзадорил: — Может, вы устали? Может, других назначить?

Мы с Володей переглянулись. Устать-то мы, конечно, устали, но все-таки какой подрывник откажется первым установить новую мину? А главное — первым из всего соединения открыть счет взорванным немецким эшелонам на линиях Ковельского узла!

Через полчаса мы выступили. Наша группа состояла из двух минеров — Володи Клокова и меня, взвода охранения, назначенного Пысенковым, и проводников из отряда капитана Макса.

Проводников было трое.

Старший из них, долговязый парень в пилотке, надетой поперек головы на манер папахи, был вооружен польским пистолетом «висс», за нимением кобуры пристроенным к поясу веревочками и проволочками, сплетенными наподобие авоськи, винтовкой какой-то невиданной системы и назывался Стефан Тульча.

Другого, разговорчивого, светловолосого, в коричневой домотканной свитке, звали Иваном.

Третий, угрюмый, сутуловатый, был Мыкола Слупачек.

Мыкола, как и Иван, не имел оружия. Но его городской пиджачок с ватными плечами был крест-накрест пересечен на груди пустыми пулеметными лентами, а за голенищем торчал нож.

Сумерки застали нашу группу на опушке леса, примыкавшего, по свидетельству наших вожатых, к железной дороге. Мы сделали короткий привал, и Стефан с Иваном тотчас же заспорили: Стефан утверждал, что нужно идти к «цигельне, од якої до зализныци нема и шагу», Иван требовал дойти «до гуры и ставить бия мосточку». Неизвестно, чем кончился бы этот спор, если бы командир взвода, по фамилии Казей, не спросил у Мыколы:

— Чего ж ты молчишь? По-твоему-то как?

— Треба идти прямо. Тут до зализныци висим километрив. Не бильш. Место доброе.

Иван и Стефан зашумели, замахали руками: «и станция тут рядом», и «будка, де нимцы сидять», и «не знает вин, Мыкола, сам, що каже». Стефан заключил:

— А... Мала ще дытына... Нерозумна.

Мыкола не стал спорить. Он молча сидел у пенька и с независимым видом обстривал ножом веточку.

— А ты знаешь? — спросил Казей. — Не заведешь?

Мыкола посмотрел на него и усмехнулся.

— Ось наше поле, — показал он рукой вдоль опушки. — А тут, у лиси, я скотину пас. Наймитом у пана.

Может быть, именно потому, что Мыкола не спорил и не доказывал, а Стефан и Иван казались чересчур суетливыми, а может и потому, что усталость давала себя чувствовать, Казей сказал Мыколе:

— Поведешь группу. Где поближе.

Мы с Володей не принимали никакого участия в разговоре. Нам нужно было еще раз проверить мину и заряды. Такое уж у подрывников правило — проверяй, проверяй, еще раз проверяй.

Когда совсем стемнело и над лесом поднялся тусклый серп молодого месяца, мы двинулись дальше. Шли просекой, которая, судя по карте, упиралась в железную дорогу. Под ногами чуть слышно шелестела трава. В сапоги проникала сырость.

Впереди шел Мыкола, за ним — Казей, потом наш пулеметчик Леша Копаница и мы с Володей.

Сначала шли быстро. Потом Мыкола обернулся на ходу и прошептал: — Тут треба тыхо. Станция близко.

Теперь мы пошли медленнее, округлыми движениями переставляя ноги с пятки на носок, чтобы шаг стал неслышным.

Несколько раз Казей свистящим шепотом матюгнулся, когда Копаница задевал за ветку пламегасителем, издававшим тихий мелодичный звон, и когда кто-то невидимый в темноте глухо кашлял в шапку или в рукав.

Наконец впереди забрезжил просвет. Лес слева кончился. Поверх кустов, казавшихся в темноте очень густыми, стали видны огоньки. До нас донесся сонный брех собак и еще какой-то глухой шум. Там была станция. Впереди, прямо перед нами, тускло блеснули рельсы. Мы остановились, сгрудились.

По неписаному партизанскому закону на железной дороге во время установки мин командование переходило к подрывникам.

Володя Клоков шепотом проинструктировал:

— По местам! Два человека — с нами, остальные — в охранение. Если пойдет патруль, подпускать поближе и держаться, пока не кончим.

Казей вполголоса назвал фамилии — кому вправо, кому влево, и люди разошлись, сразу же растаяли в темноте.

— Товарищу, разрешить, и я разом з вами? — шепнул Мыкола. — Я тильки побачу. А?

Володя не ответил. Он тщательно отряхивал себя руками. Не дай бог пристанет травинка, веточка, оставишь на железке — немцы сразу обнаружат мину.

Эту мину мы ставили с Володей целых сорок пять минут. Просто удивительно, как нас не обнаружили!

Володе пришлось немало повозиться, прежде чем он выкопал яму. Сначала он ощупью собрал и отложил в сторону какие-то камушки и щепки, которые оказались сверху. Потом лопатой осторожно срезал верхний слой балласта и отложил его отдельно, на разостланную между рельсами плащ-палатку. Потом начал копать. Слежавшийся балласт поддавался туго, лопата скребла, как о железо, высекала искры. Володя сквозь зубы шипел проклятия, поминал всех святых. Пока он возился с ямой, я смонтировал мину, обмотал изоляцией оголенные провода в местах соединений, установил получасовое замедление, воткнул детонатор в запальную шашку.

Раза два подходил Казей.

— Скоро вы? Вот-вот патруль пойдет.

За нас лаконично отвечал Мыкола:

— Закинуть! — скажем!

Нам было не до разговоров. Во время работы — установки мины — подрывник должен выключиться из жизни, забыть обо всем: о войне, о том, как его зовут, где он находится, о своем собственном существовании... Все его внимание, все его мысли прикованы к мине — ящику, начиненному гремучей смертью. Он не может позволить себе вздохнуть, отереть пот, сделать лишнее движение. В этот момент можно выстрелить у него над ухом, можно уколоть его иголкой, ударить. Он не дрогнет, не повернется. Иначе — взрыв, гибель. Такова уж профессия подрывника-диверсанта.

Зато охрана, выставленная возле подрывника, должна слышать и видеть за него.

Наконец яма была готова.

С трудом мы запихнули в нее самодельный деревянный ящик, в котором помещались мина и заряд. Я положил на кнопку неизвлекаемости грузик — четырехсотграммовую головую шашку, придерживая ее левой рукой, взялся правой за деревянную палочку-предохранитель и щепнул Володе:

— Засыпай!

Володя руками стал сгребать с плащ-палатки землю, утрамбовывая ее вокруг мины кулаком.

Скоро я почувствовал, что мои руки засыпаны.

— Снимаю. Спускайся под насыпь. Ложись.

Володя пробурчал в ответ что-то непонятное, вроде «погибать — так вместе», и пригнул голову поближе к яме. Я медленно, двигая одними пальцами, потащил предохранитель.

Чуть... Еще чуть... Еще.

Палочка освободилась. Я осторожно вынул руки из ямки и облегченно вздохнул.

— Есть!

Володя разогнулся. Мы быстро засыпали яму, осторожно положили верхний слой, разложили камушки, щепки. Потом я для маскировки несколько раз наступил на это место ногами: я был обут в трофейные немецкие сапоги.

Мы свернули плащ-палатку с оставшейся землей. Мыкола подхватил ее и потащил в лес — высыпать.

Осторожно перешагнув бровку насыпи, чтобы не оставить следа, мы пошли к лесу.

Когда все собрались на том месте, где оставались пулеметчик и провонники, по путям, стуча сапогами о шпалы, прошел патруль.

Теперь-то нам это было безразлично. Главная часть дела закончена. Лишь бы утром немцы не обнаружили мины. Но мы с Володей этого тоже не боялись. Не в первый раз!

Состояние у всех было приподнятое. Мы с нетерпением ждали рассвета. Как всегда после пережитого напряжения, до смерти хотелось курить.

Мы по очереди закутывались с головой в нашу единственную плащ-палатку, да так, чтобы нигде и щелочки не оказалось, и вылезали оттуда потные, полузадохшиеся от табачного дыма, но вполне довольные.

Медленно наступал рассвет. То, что ночью мы принимали за густой кустарник, оказалось саженым редким соснячком. Сквозь него просматривались какие-то строения, кто-то уверял даже, что видит семафор.

На всякий случай Казей решил отвести группу поглубже в лес, а на опушке оставить наблюдателей.

Ждать всегда неприятно, а около вражеской железной дороги, да еще рядом со станцией, на которой наверняка есть гарнизон, вдвойне неприятно. Несмотря на усталость, никто не спал. Есть не хотелось. Сидя на желтой, усыпанной прошлогодней хвоей земле, все напряженно вслуши-

вались, вглядывались. Только Мыкола как ни в чем не бывало свернулся под деревом калачиком, подложил под голову свою противогазную сумку, заменявшую ему вещмешок, и тихонько посапывал носом. Спокойствие и хладнокровие среди подрывников особенно ценятся. Мне этот хлопек положительно нравился.

В девять часов наблюдатель доложил, что прошел патруль и мину не заметил.

В половине десятого вдалеке возник посторонний шум. Он приближался, становился все явственнее. Скоро из него отчетливо выделились характерный перестук колес и частое паровозное пыхтение.

Поезд шел быстро, но нам казалось, что он ползет, как черепаха. Стефан отошел поглубже в лес. Проснулся Мыкола. Все привстали, вытянули шеи, прерывисто задышали.

Сейчас... сейчас...

Но ничего не случилось. Шум поезда переместился влево и стал постепенно затихать.

Мы медленно опустились на землю. С поста прибежал наблюдатель — рыжеватый паренек, который не первый уж раз ходил со мной на дорогу. Удивленно развел руками и, как будто мы и без него не знали, сообщил:

— Ничего ему не исделалось. Пробежал — и хап што. Без звука!

Донесся гудок. Володя Клоков (он был инженером и до войны работал на железной дороге) философски отметил:

— На проход пошел. До следующей станции без остановки.

Казей с сомнением в голосе спросил:

— Может, еще взорвется?

Второй поезд, которого мы ожидали с неменьшим нетерпением, тоже прошел невредимым.

Казей заколебался. Мы должны были прийти и доложить, что собственными глазами видели, как взорвался поезд. Ведь мы испытывали новую мину. Такое было задание.

Но вот прошли уже три поезда, а толку нет. Может быть, мина неисправна? Может быть, она неправильно поставлена?

— Эх, вы! А еще подрывники знаменитые! — пробурчал Казей.

Со всех сторон мы с Володей чувствовали на себе угрюмые взгляды. Кто ж, как не мы, виноват, что впустую потрачено столько трудов, — шли, рисковали, тащили эту проклятую тяжеленную мину, надеялись. И все зря. В лагерь придется идти с пустыми руками.

«Что могло случиться? — терзался я. — Замедление установлено на тридцать минут. Прошло шесть часов. Давно уж пора быть взрыву. Неужели я где-нибудь ошибся, неправильно подключил, не вставил взрыватель? — Я мысленно перебрал в памяти события ночи. — Нет, как будто все правильно... Как будто... А вдруг?»

Только Мыкола не разделял всеобщих сомнений и был непоколебимо уверен, что взрыв обязательно произойдет.

— Кому треба — хай иде, — сказал он. — А нам треба побачить, як пид потягом выбухне. От як!

Для меня и эта неожиданная поддержка в тот момент была очень приятна.

Я решил выйти к железной дороге и посмотреть, что там происходит. Осмотреть мину я, конечно, не мог. Но было невтерпех сидеть на месте и ждать.

К моему удивлению, Володя меня не отговаривал. Он только сказал:

— Ты недолго. И, пожалуйста, постарайся без стрельбы.

— Пойдешь со мной? — спросил я Мыколу.

— Пийду. Може, вы мени стрельбу дадите?

Я попросил Казея, и он дал ему винтовку, отобрав ее после долгой перебранки у одного из своих подчиненных.

Вдвоем мы прошли метров двести, раздвинули кусты и увидели железную дорогу. При дневном свете она показалась мне совсем иной — мирной, привычной. Гудели телеграфные провода, пахло мазутом.

На путях стоял человек в какой-то странной полувоенной форме и что-то рассматривал у себя под ногами. Мне показалось, что он стоит над местом, где закопана наша мина.

Мыкола жарко зашептал мне в ухо:

— Це зализничный робитник. Наймит немецкий. Зараз побигнет, скаже...

Я вышел из кустов, поднял автомат к плечу и громко сказал:

— А ну, иди сюда!

— Руки в гору! — крикнул вслед за мной Мыкола.

Человек вздрогнул, поднял голову, но, вместо того чтобы идти ко мне, повернулся и побежал. Теперь терять было уже нечего. Я нажал на спусковой крючок. Моя очередь заставила его споткнуться, но он не останавливался. Еще минута — и он исчезнет за поворотом. Тогда пиши пропало. Я посылал вслед очередь за очередью. Но то ли я торопился, то ли он был уже вне досягаемости автомата, попасть я не мог.

Рядом хлопнул одиночный выстрел. Человек упал, скатился под насыпь и замер. Я повернул голову: Мыкола поднимался с земли. В руках у него дымилась винтовка.

— Готов, — сказал он. — А зараз ходим швыдче.

И верно: справа и слева от нас будто прорвало плотину. Залопотали автоматы, вперемежку захлопали винтовочные выстрелы. Звонко кашлянул миномет, над головами пропела мина, в лесу прокатился взрыв. Единым духом мы добежали до своих. Группа уже заняла оборону.

Задерживаться здесь нельзя было ни на минуту. Казей выслал вперед походное охранение, и мы двинулись. Я шел последним, едва волоча ноги. На душе было хуже некуда: «Ну, что мы скажем Егорову, когда придем?»

Мыкола шел рядом и старался меня успокоить:

— Ну, чогу вы журитесь? Вона ще выбухне. Ось побачите.

— Эх, Мыкола, Мыкола! Ничего-то ты, друг, не понимаешь!

— Все я разумию. А тильки вы не журитесь. Ось побачите — буде добре.

Когда мы уже подходили к противоположной опушке, сзади опять зашумел поезд. Теперь его шум казался очень далеким и был похож на шум леса в непогоду.

Никто даже не обернулся.

И вдруг сзади раздался взрыв. Его звук прокатился по лесу, гулким и звонким эхом плеснул в опушку, будто ударили в огромный медный таз, и, замирая, умчался в чащу.

Мыкола даже подпрыгнул.

— Сработала, сработала! А що я казал?

Володя закричал:

— Ура-а!

Группа остановилась. Я подбежал к Володе.

— Вернусь. Нужно посмотреть. А вы идите в лагерь.

Володя вначале не соглашался. Но ему и самому очень хотелось узнать, что же там взорвалось. Могло быть, что немцы просто обезвредили мину. И после того, как я торжественно пообещал только посмотреть «одним глазком» и немедленно возвращаться, он скрепя сердце отпустил меня. Проводником со мной вызвался идти Мыкола.

Мы двинулись лесом: на просеке наша группа, конечно, оставила след, и можно было наткнуться на немцев. Кто знает, может быть, они организовали преследование?

Мыкола шел чуть впереди меня неслышным шагом настоящего лесного жителя — полесовщика.

Есть такой особый шаг, к которому уроженец лесных мест привыкает с самого раннего детства. Под его поступью не треснет ветка, не пригнется трава — кажется, он и следов после себя не оставляет.

Вот так и шел Мыкола. Он ни разу не оступился в яме, скрытой под мхом и густой порослью багульника и черники, сплошь покрывавших землю. Отгибая ветку, чтобы пройти, он делал это так, что ветка выпрямлялась и оставалась неподвижной, а не ударяла идущего сзади. А когда встречалось препятствие — упавшее дерево или колдобина, — коротко предупреждал:

— Увага... Пид нози...

Сознаюсь, хотя и я за два года партизанской войны успел основательно попривыкнуть к лесу и к быстрым переходам по нему, я с трудом попевал за Мыколой.

Метров за пятьдесят до железки, когда сквозь деревья уже просматривались телеграфные столбы, Мыкола остановился и тихо проговорил:

— Десь тут есть рив. По нему незаметно пидойдем.

— Какой еще ров?

— Окопы. Ще за ту вийну зустались. Ось побачите!

Старые, обрушившиеся, заросшие травой окопы, оставшиеся еще с первой мировой войны (в этих местах воевал когда-то генерал Брусилов), сослужили нам хорошую службу. По узкому ходу сообщения, начинавшемуся еще в лесу, пригибаясь, мы вышли на опушку, дошли до места, где окоп расширялся, — здесь, наверное, когда-то было пулеметное гнездо — и осторожно высунули голову. Мы оказались на скате выемки. Внизу, на железнодорожном полотне, валялись разбитые вагоны, паровоз, платформы, меж которых торчали искалеченные грузовые автомобили. Все кругом, будто снегом, было запорошено чем-то белым (как позже оказалось — мукой), блестело на солнце множество консервных банок.

Вокруг разбитого состава возились немецкие солдаты и ремонтные рабочие. Что-то кричал, размахивая руками, немецкий офицер в фуражке с высокой тульей. На противоположном скате выемки стоял пулемет, возле него — часовые.

Мыкола подтолкнул меня в бок, выразительно тряхнул винтовкой и показал пальцем на немецкого офицера.

Я вспомнил Володины наставления и молча погрозил ему кулаком.

Дело сделано, надо было возвращаться.

Можно ли описать чувства, которые испытывает партизан, а в особенности подрывник, возвращаясь с удачно выполненного задания?!

Хочется петь и говорить, говорить, говорить. Припоминаешь все мелочи только что пережитого, каждое движение, каждое слово. Выскиваешь самое смешное. Подшучиваешь над товарищами. Да и все драматическое, страшное представляется теперь веселым и простым. Все, даже самое малозначительное, кажется важным и интересным.

В такой момент совершенно не думаешь ни о какой опасности, забываешь, что находишься во вражеском тылу.

Мы с Мыколой шли и разговаривали так громко, что перед нами испуганно вспархивали лесные птицы. Сейчас нам было море по колено. Связанные только что пережитым, мы оба были готовы друг за друга в огонь и в воду. Он стал называть меня на ты, хотя я и был старше его и тогда уже командовал взводом.

Мыкола и впрямь не был похож на обыкновенного проводника.

Нам, партизанам рейдирующих партизанских соединений, всегда были нужны проводники. Чаще всего их находили в селе и забирали по добром согласию, а иногда и поневоле. Обычно проводником был старик

или во всяком случае человек пожилой, которому и на самом-то деле лучше всего было сидеть на печке. Бывало, что в опасную минуту они теряли всякое самообладание, и только самые радикальные меры заставляли их двигаться дальше. Конечно, это относится не ко всем, а лишь к некоторой части, но попадались и такие.

Брали мы проводников и в местных отрядах. Но, если говорить честно, какой командир отдаст хорошего бойца? Даже на короткое время. Мало ли что может случиться на войне? Капитан Макс, пожалуй, единственный, кто дал подходящих хлопцев.

После того как мы с Мыколой основательно разобрали события, припомнили все подробности и вдоволь насмеялись, как-то незаметно, само собой, получилось так, что Мыкола стал рассказывать о себе. Собственно говоря, рано или поздно это неизбежно должно было произойти. Так всегда случается между новыми друзьями. Сейчас я уже не помню многого из того, что он рассказал мне в тот раз, всех подробностей и поворотов его трудной биографии. Если бы мне пришло тогда в голову, что я когда-нибудь буду писать о Мыколе, я бы постарался тут же сделать заметки в блокноте. Но сейчас приходится полагаться только на собственную память.

Я не помню, как начался наш разговор.

Кажется, я спросил у него:

— А ты давно партизанишь?

— А нидила як у загони!¹

— Что ж ты делал раньше?

— У Ниметчине був. Як прийшов до нас німець, мене и забрали. Значала на фольварку робыл у хазяина. Потим утек — пиймалы.

— Ну и что же?

— Спросыли: чего утекал? Колы б сказал, що до дому хотив, назад бы к хазяину повернулы. А я сказав, що жить тяжко. Ну, мене — у лагерь, в Эссен. Е у Ниметчине таке мисто. Робыл на заводе. Потим утєк. Аж до Польши добрався... И знов мене захопили. Ийсты пришов просыть — як раз на жандарма наскочил...

— Вернули назад в лагерь?

— Судили. Палок дали. И у тюрьму — у Франкфурт-на-Майне. Сразу у камере сидел. Потим почалы на будивнитство гонять. Ну я знов втек. Зараз уже умный був. Шел ночью. Стежками да лесами. У села и носу не казав.

— Как же ты кормился?

— А так. Де травой, де грибами. А где попадет — у погреб заберусь. Як той злодий!

Помню, что меня очень удивил рассказ Мыколы. Глядя на его небольшую, щуплую фигуру, не верилось, что этот деревенский паренек один без оружия прошел всю Германию, Чехословакию, перевалил Высокие Татры, пересек Польшу...

За разговором мы незаметно дошли до шляха — грунтовой дороги, соединявшей родное Мыколино село Маневичи со станцией того же названия.

Шлях был пустынен. Как всегда в таких случаях, прежде чем переходить его, мы остановились и залегли на обочине — послушать, посмотреть.

Все было как будто спокойно, и я собирался уже встать, когда Мыкола схватил меня за руку и прошептал:

— Почекай. Фурманка стукочет!..

Я прислушался, но так ничего и не услышал.

— Идем. Тебе, наверное, показалось.

¹ Загон — отряд.

— Ни. Зараз побачишь. Годи.

И верно, из-за поворота появилась крестьянская повозка, запряженная парой лошадей. По мягкому песку шляха она катилась почти бесшумно. Мыкола сначала внимательно рассматривал ее, а потом встал, вышел на середину дороги и поднял руку.

— Стой!..

На всякий случай я взял фурманку на прицел.

Фурманка остановилась. Мыкола что-то быстро-быстро заговорил на польско-украинском диалекте, который я в то время еще не очень-то хорошо понимал.

Я подошел к фурманке. Сидевшие в ней — закутанная, несмотря на теплынь, в темный клетчатый платок старуха, молодая девушка в белой косынке и бородатый пожилой мужчина, свесивший ноги через край, — испуганно смотрели на нас.

Мыкола повернулся ко мне, подмигнул.

— Ции люды едут на станцию, на базар, товарищ майор. Вони хочуть допомогти радянським партизанам. Верно я кажу? — Он повернулся к фурманке.

Все трое, как зачарованные, одновременно кивнули головами и продолжали молчать. Мыкола извлек со дна фурманки буханку хлеба, шмат сала, узелок с яйцами и ком масла, облепленный капустными листьями.

— Паняй! — скомандовал он. — Доброй дорози!

Мужчина облегченно вздохнул и разлепил пересохшие губы.

— Може, вам ще чего треба, пане майор? — проговорил он сильным голосом. — У нас е трохи. Будте ласка...

Я решил, что мой вид — немецкий офицерский китель, трофейный кинжал у пояса, пистолет, автомат, белая кубанка с красной партизанской ленточкой — производит весьма солидное впечатление, раз меня называют майором.

— Нет. Больше ничего не надо, — с достоинством отвечал я. — Спасибо вам. Поезжайте.

Фурманка тронулась. Я заметил, что девушка смотрит на меня. И чтобы не ударить лицом в грязь, я коротко и веско приказал Мыколе:

— За мной! — и взмахнул автоматом.

Отойдя поглубже в лес, мы развели костер и за неимением иной посуды приготовили завтрак в молочном глечике, положив туда сало, масло и все яйца. Вероятно, оттого, что мы были голодны, эта смесь оказалась нам очень вкусной.

Отдохнув, мы без всяких приключений к вечеру добрались до лагеря и узнали, что Егоров и все подрывники недавно ушли на дорогу снова ставить мины.

Усталые, но счастливые, мы с Мыколой забрались под телегу и немедленно заснули, прижавшись друг к другу спинами.

Утром я проснулся оттого, что кто-то дергал меня за ногу. Я протер глаза. Приподнялся и Мыкола, больно ударившись головой о дно повозки. Рядом с нами сидел на корточках Егоров, держа в руке наполненный до краев стакан.

— Ну что, взорвали? — спросил он.

— Взорвали, товарищ старший лейтенант.

— Тогда получайте! — Он протянул стакан мне, а когда я выпил, налил Мыколе.

С того самого дня Мыкола стал моим постоянным спутником. Его даже приняли в действительные члены «крокодильского общества».

«Крокодилами» называли себя кадровые подрывники, самые удачливые, самые смелые. Тот, кто жался поближе к лагерю, избегал заданий,

у кого дрожали коленки перед выходом на линию железной дороги, наконец, тот, кто оказывался плохим товарищем, безжалостно зачислялся в разряд «аллигаторов», никогда не поднимался выше второго номера (то есть того, кто на марше нес заряд, а на линии копал яму), да и вообще, как у нас говорили, был «на подхвате» — ухаживал за лошадьми, ходил в караул и в наряды, чистил картошку.

При всяком удобном моменте от «аллигаторов» старались избавиться: формируется, к примеру, новый отряд (бывали у нас такие случаи) — Егоров непременно сплавит туда «аллигаторов»...

Зато право называться «крокодилом», хоть это и было всего-навсего шуткой, заслужить удавалось не так-то просто. Для Мыколы это было большой честью. Приобщение Мыколы к славному «крокодилему» племени произошло в начале августа, когда запасы взрывчатки начали подходить к концу. Конечно, каждый уважающий себя подрывник имел в вещевом мешке неприкосновенный запас толовых шашек, отчего лежавшие вместе с ними хлеб и сало делались горькими, как хина.

Тол ревниво оберегался от посторонних взглядов, шашки украдкой пересчитывались: не стащил ли кто?

Но и неприкосновенным запасам рано или поздно приходит конец.

Взрывателей, капсулей-детонаторов, бикфордовых и детонирующих шнуров, саперных батареек и всяких других приспособлений для взрывания оставалось еще очень много.

Батарейки, правда, находили себе применение для карманных электрических фонарей. В футляр фонаря четырехгранная саперная батарейка не влезала, но ее привязывали снаружи изоляционной лентой. Фонарик, конечно, получался горбатым, громоздким. Но для партизана и такой был вполне подходящим...

Все остальные, как говорил Мыкола, «выбуховы речовины» лежали на фурманках бесполезным грузом.

Где взять взрывчатку? Ведь не сидеть же в конце концов сложа руки и любоваться, как по железке идут на фронт немецкие поезда!

Командир подрывного взвода отряда имени Шорса Борис Калач разыскал где-то в лесу пяток позеленевших от времени снарядов, оставшихся еще с империалистической войны. Когда он привез их и скинул с фурманки возле егоровской палатки, посмотреть на диковину сбегались все бывшие в лагере партизаны. Начались споры. Одни говорили, что снаряды эти немецкие. Другие, наоборот, уверяли, что русские. Спорили до хрипоты, пока кто-то не предложил почистить один из снарядов и найти фабричную марку. Когда отдраенный песком и золой снаряд заблестел, на его боковине обнаружился орел с опущенными крыльями и надпись: «Крупп. Дейчланд. 1915». Кто-то сострил:

— Ударим кайзером по Гитлеру!

Снаряды долго и безуспешно разогревали на костре, чтобы выплавить взрывчатку. Потом выяснилось, что начинены они вовсе не толом, а тугоплавким мелинитом, который к тому же при сильном нагревании взрывоопасен. Тогда снаряд остудили и снесли на железку. Но то ли от времени, то ли от нагревания он почему-то так и не взорвался.

Знаменитый «крокодил» сибиряк Вася Кузнецов, по прозвищу «Чалдон», охотился за невзорвавшимися бомбами в селах, которые немцы бомбили с воздуха. Рассказывали, что одну такую бомбу Вася разыскал в селе Мульчицы. Она глубоко воткнулась в землю рядом с одной из хат, и поверх торчали только кончики лопастей стабилизатора. Само собой разумеется, хозяин хаты держался вдалеке от своего жилища, причитал и охал.

— Ну что, — спросил Вася, — хочешь, выручим? Сколь поставишь?

Нечего и говорить, что хозяин, до смерти обрадованный, согласился на все условия: притащил четверть самогона, шмат сала килограмма на

три, краюху хлеба, яиц, соленых огурцов. Партизаны основательно подкрепились и приступили к делу. По распоряжению Васи хозяин привел пару волов и принес длинную веревку.

Вася осторожно обкопал бомбу, освободил от земли хвостовую часть и обвязал ее. Другой конец веревки привязали к ярму, и Вася, отойдя на всякий случай за сарай на противоположной стороне улицы, важно крикнул:

— Цоб-цобе!

Волы дернули — ни с места.

Вася погрозил им издали хворостиной.

— Цоб! Штоб вам...

Волы дернули сильнее. Раздался взрыв, и через сарай полетели доски, камни, обломки...

Хозяин хагы, растерянно открыв рот, смотрел вслед удирающим в поле волам.

А запорошенные песком и пылью партизаны, упершись в бока, корчились от смеха.

Словом, все наши попытки раздобыть взрывчатку приносили мало пользы.

Однажды в мой шалаш, сделанный из жердей и еловой коры, на четвереньках влез Мыкола и таинственно зашептал:

— Знайшов, де взять толу!

— Где нашел?

— Про то я ведаю. Пусты мене з ранку — привезу.

— Один?

— Тут помощников не треба. Дило хитрое.

Подумавав, я согласился.

Утром, когда еще не рассвело, Мыкола запряг фурманку, переоделся в рваную крестьянскую свитку и лапти, напялил на голову соломенный «брыль», сунул за пазуху «императорский» наган, великодушно предложенный Ваской Кузнецовым, и двинулся в путь.

День прошел без особых тревог. К вечеру над лесом появился немецкий двухвостый «фокке-вульф», и у партизан и у фронтовиков получивший одинаковое название — «рама».

Васька Кузнецов приладил в развилке дерева противотанковое ружье, безнадежно надеясь, что самолет пролетит над самым лагерем.

Рама кружила над лесом до тех пор, пока не спустились сумерки.

Наконец шум ее мотора стал удаляться и затих.

Васька выругал страшными сибирскими проклятиями немецких летчиков, так и не давших ему отличиться, слез со своего поста и присоединился ко мне — хлебать партизанский суп из эмалированного бельевого таза, который почему-то получил название «командирского».

«Мустафа» — Петька Заводцов — мастерил у костра партизанские «штиблеты» — чуни из свежесодранной коровьей кожи. Иногда их называли еще и «мокасины». Такие чуни летом довольно долго пованивали, отчего на время сна ноги приходилось завертывать в какую-нибудь дежюгу. Зато они делали поступь бесшумной, ходить в них было легко, а главное, они совершенно не промокали.

Гриша Мыльников краской, приготовленной из угля и золы, разведенных в котелке, пытался выкрасить свои брюки. Эти брюки были известны во всем соединении из-за присущего им странного свойства: днем они были самыми обыкновенными — серенькими, полосатыми, а в темноте превращались в белые, и мелькание Гришиных ног можно было ночью заметить чуть ли не за километр. По этому признаку часовые узнавали Гришу издали, и пароль у него не спрашивали. А на железной дороге он несколько раз подряд наткнулся на засады.

Алеша Садоленко ковырял в зубах и все время оглядывался в поисках слушателей необыкновенных историй, рассказывать которые он был большим любителем. При каждом повороте головы в его ухе вспыхивала круглая цыганская серьга, а на руке тихонько позвякивала ржавая собачья цепочка, заменявшая ему браслет. Когда-то Алеша был клубным художником и любил пооригинальничать.

Володя Клоков, как и всегда в свободный момент, спал, справедливо полагая, что еще будет время, когда спать не придется...

В чаще леса однообразно ухал филин.

Словом, в этот спокойный вечер делать было совершенно нечего, и всякий выбрал себе занятие по вкусу.

И вдруг совсем рядом раздался взрыв.

Мы повскакали с мест, схватились за оружие. Гриша Мыльников с проклятиями и крихтением безуспешно пытался натянуть мокрые брюки.

Ездовые спешно кинулись запрягать лошадей.

Прибежал связной, передал приказ по тревоге собираться к штабу.

Засуетились командиры отделений, собирая людей.

Васька шепнул мне:

— Может, рама замедленные скинула? Чего зря гоношиться-то. Глянуть бы надо...

В это время на дороге, проходящей через лагерь, загрохотала фурманка.

На фурманке кто-то стоял, отчаянно накручивая в воздухе концами вожжей. Это был Мыкола. Фурманка остановилась, взмыленные лошади тяжело поводили боками.

— Не лякайтесь! — закричал Мыкола, соскакивая на землю. — Це я выбух учинил. Есть мины!

И он рассказал, как утром через охраняемый немецкими солдатами переезд отправился на ту сторону железной дороги. Накануне в Маневичах он узнал, что там в селе, которое называлось Волчецк, возле кладбища бульбаши¹ закопали много ящиков с минами от батальонных и полковых минометов.

Мыкола спрятал фурманку на кладбище, разыскал, как он говорил, «похоронку» и почти целый день вскрывал ящики и грузил мины.

Надо сказать, что этот самый Волчецк, получивший среди партизан и местных жителей название «Волчья», был самым что ни на есть бульбовским селом. В нем была хорошо вооруженная «боевка», насчитывавшая около сотни человек. В противоположность партизанским селам жители Волчеи поддерживали националистов, не упускали случая насолить партизанам. Появись только партизаны в селе, через час все бульбовские начальники в округе — всякие доморощенные батьки Мазепы, Цыганки, Вишни — узнавали об этом.

И мы, уже опытные к тому времени партизаны, удивлялись, как Мыколе удалось остаться незамеченным.

На обратном пути Мыкола разошелся до того, что выменял у немецких солдат, охранявших переезд, несколько сигарет за кусок сала.

Стоило солдатам ворохнуть лежавшее поверх мин сено, Мыкола бы погиб.

Не доезжая до лагеря, Мыкола разжег в лесу костер, кинул в него мину и подождал, пока она не взорвалась.

— Салют. Хай немец знае, що у нас зараз е взрывчатка, — пояснил он в заключение.

Мыколе, конечно, не прошло даром такое баловство.

¹ Так партизаны называли украинских националистов.

Егоров посадил его на «гауптвахту» — под сосну, приставил к нему часового и приказал весь следующий день держать его на воде и хлебе.

Ночь Мыкола проспал под сосной сном праведника, а утром обнаружилось, что вокруг спящего наставлены котелки с супом и картошкой, лежат каравай хлеба, куски сала и даже бутылка самогона.

Егоров выругался, плюнул, снял часового, разрешил Мыколе идти. Но Мыкола не желал уходить из-под сосны. Самогон он выпил и теперь, размазывая пьяные слезы, бормотал:

— Ну за що? Хиба ж я не старався? Нема на свиты правды!.. От буду сидеть тут... и усе...

Наконец он заснул, а когда встал, начал деятельно готовиться к выходу на задание.

Весь следующий день мы прожили, питаюсь всухомятку: в кухонных суповых ведрах теперь «варились» мины. Мы выплавляли из них тол.

Калач и Чалдон, устроившись поодаль, вывертывали из мин взрыватели.

На следующую ночь в лагере оставались только ездовые и часовые, охранявшие штаб. Остальные ушли на железную дорогу.

Само собой разумеется, Мыкола пошел с моей группой.

В начале октября я взял Мыколу в центральный лагерь нашего соединения.

Лагерь к этому времени основательно изменился.

Вместо шалашей появились благоустроенные землянки. «Кухни» — места, где разводились костры и готовилась пища, — были обнесены аккуратными березовыми заборчиками. Возле кухонь сделаны бревенчатые столы и скамейки. Штаб разместился в роскошном рубленом доме, реквизированном у какого-то полицая и перевезенном в лес. Был даже театр — помост, вокруг которого полукругом располагались ровики для сидения.

Мыкола, успевший хорошенько изучить «крокодильи» нравы, пошутил:

— Эге! Да тут цило мисто! Може, де и шинок знайдется?!

Мы с Мыколой сначала заглянули в нашу «подрывную» землянку. Она располагалась на низком месте, и под дощатым настилом хлюпала вода. Поэтому наша землянка называлась «крокодилим болотом».

Возле печки, сделанной из железной немецкой бочки, что-то штопала наша повариха Софья Осиповна. В дальнем углу несколько «аллигаторов»-ездовых резались в «тысенцу» — тысячу и одно.

Когда мы вошли, Софья Осиповна обрадованно воскликнула:

— Уй, Володька! А я все думаю, где наш Володька подевался? Совсем, думаю, позабыл нас... — Она помолчала и тише прибавила: — Може, у Володьки найдется какая завалаящая одежка для Верки? Совсем обносилась девчонка!

Верка, семнадцатилетняя дочь Софьи Осиповны, сидела возле матери. Услышав разговор об одежке, а может потому, что заметила нового человека — Мыколу, она независимо отвернула голову, и ее длинный нос, за который она была прозвана «Пантуфлей», стал виден в полный профиль.

Просьба Софьи Осиповны для меня не была неожиданной. Я сказал Мыколе:

— А ну, крокодил, поднеси дивчине подарок!

Мыкола вынул из своей противогазной сумки шелковую косынку, добытую накануне у полицая, и неловко сунул ее в руки девушке.

Та развернула и обрадованно воскликнула:

— Глянь, мама, совсем такая хустка, что ты подарила мне перед войной у Корюковке! Ой, спасибо!

Она нагнула косынку, построила Мыколе глазки и повела бровью. Но Мыкола, равнодушный к женским чарам, не понял кокетства. Он потоптался, кашлянул, осмотрелся по сторонам и сказал:

— Пийдем. Що тут робить?

Пока ездвые грузили на нашу фурманку ящики с толом (к этому времени его успели уже подбросить на самолетах с Большой земли), я потащил Мыколу «в рацию» — на нашу партизанскую радиостанцию.

Начальник радиции Толя Маслаков согласился устроить нам внеочередной радиосеанс, взяв с меня клятвенное обещание при первом же удобном случае прислать ему бензину для движка.

Он повесил наушники на ветку кустика, росшего возле входа в землянку радиции, покрутил лимбы приемника, и сквозь вой и треск вдруг прорвался ясный и твердый голос, передававший сводку Совинформбюро.

Я, конечно, не помню сейчас, о чем именно говорил диктор. Но сводки в то время были радостные — наши наступали на всех фронтах, и Мыкола хогь и не ахал и не восхищался, но слушал, затаив дыхание, только изредка качал головой и причмокивал: «Це, це».

Когда диктор кончил и заиграла музыка, он облизнул губы и спросил у Маслакова:

— А ше можно?

Но Толя жалел питание и выключил приемник.

Назад мы с Мыколой возвращались вечером. Сначала мы молча шли следом за фурманкой, на которой, подмостив поверх ящиков с толом мешок с овсом, клевал носом наш ездвой.

Потом Мыкола спросил:

— Слухай, Володько, а Москва большая?

— Большая.

— Ну яка? Ось я за Советами (это означало — при Советской власти) в Ривном був. Велике мисто! Чи ж Москва бильш?

— Больше, Мыкола, гораздо больше. Таких городов, как Ровно, с сотню в Москву влезет.

— Слухай, Володько, а колы вот я, як вийна закинчится, до тебе прийду, пустять мене в Москви жить?

— А почему же нет? Ты ж гражданин советский? Советский! Приезжай и живи!

— И всякого пустять?

— Ну, конечно, всякого! А зачем тебе?

Мыкола помолчал, наморщил лоб. Потом опять спросил:

— Слухай, а якого-с куркуля, що зараз у бандеровской банди ходить, тоже пустять?

— Ну, такого, конечно, не пустят. Какой же он советский?!

Мыкола, как мне показалось, вздохнул.

— Ты ось кажешь — я советский... Да я за Советами тильки и увидал, яка вона може буты жизнь... Може, ты цього и не разумиешь. А у мене — колы бы до нас не пришли Советы — всю б судьбыну паны позапсувалы¹. Так и ходил бы доси у наймитах, скотыну пас... Ось ты, мабудь, думаешь, что я так себе на вийни. Думаешь, казакуе хлопец — та и годи. А ни! Ось мому батьку, братам моим що треба? Землю! Щоб кинь був. Пара корив... Хатына добра. И усе. З ранку поихал орать у поле, ввечери — назад. Повечерял добре, хату зачинил на замок, да на пичь — спаты. А мени тоей хаты хучь бы и зовсим не було. Дуже хочется свит побачить, з людмы побалакать, в Москве побыть... Грамоте навчиться... Один я такий из всей родыны... Як ты думаешь, допоможе мени радянська влада? Мусю ж я поихать у Москву?!

¹ Позапсувалы — испортили.

— Должен, Мыкола. Должен. Да ты приезжай ко мне — в обиде не останешься!

— Добре. Ты, Володько, не забудь, що посулил! А я от тебе не вид-стану! Пока вийны не кинчим!

Раз в лагере появились землянки и заборчики вокруг кухонь — значит немцы начнут выселять нас с насиженного места. Уж это было верной партизанской приметой. Так оно вскоре и случилось.

Жаль, конечно, было покидать наш уютный лагерь. Но ничего не поделаешь. Не на шутку обеспокоенное взрывами на линиях Ковельского узла, немецкое командование бросило против нашего партизанского соединения крупные силы. Сначала командир соединения попытался остановить немецкую дивизию на опушках леса и на подступах к Езерцам. Но потом, когда из Ковеля подошли танковые и моторизованные части и немцы начали непрерывно бомбить лагерь с воздуха, а боеприпасы стали подходить к концу, он отдал приказ заминировать лагерь и лесные дороги и отойти за реку Стырь.

В боях на подступах к лагерю наша группа не участвовала, а когда соединение начало отход, мы получили приказ вернуться в район станции Маневичи и во что бы то ни стало продолжать диверсии на железной дороге. По замыслу нашего командования, немцы должны были почувствовать, что партизаны и не думали уходить.

Октябрьским вечером около села Серхов мы встретились с уходящим соединением.

Как сейчас помню этот вечер. Было ветрено, моросил мелкий дождь. Тревожно шумел лес. По небу быстро бежали на восток, будто спешили уйти вместе со всеми, подсвеченные багровыми лучами заката облака.

Тревожно было и на душе. Мы стояли на обочине лесной дороги. Мимо нас двигались ряды бойцов — знакомые, а сейчас ставшие особенно родными и близкими лица. Кое-кто на ходу кивал, сочувственно улыбался через силу и шагал дальше. Мягко погромыхивая обмотанными тряпьем колесами, катились фурманки. Вдоль колонны взад и вперед сновали конные связные. С задков пулеметных тачанок смотрели назад тупорылые «станкачи».

Проехала санчасть. В фурманках на сене глухо стонали раненые.

Мы окружили Егорова. Его «персональная» фурманка стояла тут же, на обочине. Беспечно оглядывался вокруг Данила — ездовой.

Стояли молча, потому что все уже было сказано. Да и о чем говорить в таких случаях? Мы и сами знали, что нужно быть осторожными, избегать встреч с немцами, подслугу не засиживаться на одном месте. А главное — нужно ставить мины на железной дороге.

Наконец прошел арьергард. Распрощались. Может быть, больше и не придется увидеться. Война. Кто знает, что будет?

Протарахтела и заглохла фурманка, увозившая Егорова. Тревожно шумел лес. Моросил нудный мелкий дождик.

Итак, мы остались одни.

Я оглядел группу. На кого можно положиться? Политрук Павел Медяный, Васька Кузнецов, наша «подрывная» медсестра Нина Кузнеченкова, Мыкола — это надежные кадровые «крокодилы». Еще, пожалуй, Антропов и Зебницкий — тоже хлопцы обстрелянные, бывали на дороге. А во семь остальных мне почти не известны. Их назначили в группу только что. Это стрелковая поддержка.

— Пошли, што ль, — сказал Павел, откидывая с головы капюшон плащ-палатки. — Чего ждать?

По одному, гуськом мы углубились в лес и двинулись на юг, к железной дороге.

Наутро начались и первые неприятности. За ночь в обход сел, в которых, как мы знали, уже появились немцы, Мыкола благополучно провел нас болотом, значившимся на топографической карте непроходимым. Потом мы прошли еще километров двадцать полем и лесом и вышли к Копнинским хуторам. Эти хутора всегда служили надежной партизанской базой. Расположенные в гуще леса, они были удобны и близостью к железной дороге и еще тем, что для живших на них поляков партизаны всегда были желанными гостями. К тому же с тех пор, как мы появились в этих местах, немцы сюда не заглядывали. Поэтому, а может быть, и оттого, что перестал моросить дождь, что на вершинах деревьев сверкнуло солнце и весело зачирикали птицы, мы смело вышли из леса на картофельное поле, за которым виднелась черепичная крыша крайнего хутора, принадлежавшего одному из наших старых знакомых.

Картошка была уже убрана. Рыхлая почва раскисла от дождя и сразу налипла на наши сапоги огромными комьями. Мы с трудом передвигали ноги. Но на душе стало веселее: мы вымокли, устали, потому что уже больше суток были на ногах, проголодались и сейчас радовались близкому отдыху, возможности обсушиться и перехватить горяченького.

Павел, шедший рядом со мной, подтолкнул меня локтем и хитро улыбнулся.

— Сейчас мы и этого дела найдем... — Он выразительно щелкнул себя пальцем по горлу. — Точно.

Мыкола понимающе хмыкнул. Кажется, он хотел что-то сказать, но вдруг остановился, рухнул на землю и не своим голосом закричал:

— Лягайте! Нимцы!

Я успел заметить, как дверь домика растворилась и из нее метнулись серо-зеленые фигуры. Хлестнули очереди. Перед самым моим лицом словно кто-то горстью загреб землю: немцы били разрывными.

— Отход! — закричал я.

Но как отходить? Над нами будто заходила гигантская коса. Это бил немецкий «универсал». Свистели пули. Их зеленые трассы то утыкались перед самым носом в картофельные грядки, то разбрызгивали землю слева, то щелкали справа, в кустах смородины. Нечего было и думать приподняться. А ползти задом по раскисшей, превратившейся в трясину земле было нечеловечески трудно. К счастью, мы не успели далеко отойти от леса и приблизиться к дому. До него оставалось еще метров двести, и немецкие автоматы нас не доставали. Зато и наши автоматы не принесли немцам никакого вреда. Я поискал глазами Мыколу. Он только что был где-то рядом, но сейчас исчез, как сквозь землю провалился.

От домика в разные стороны вдоль противоположной опушки побежали немецкие солдаты.

— Обходят! — крикнул мне Павел.

Я и сам понимал, что это означает. Пока мы ползем, немцы с двух сторон зайдут нам в тыл и под перекрестным огнем нам некуда будет деваться. Сзади послышался стон.

«Кого-то зацепило», — подумал я.

Нужно было во что бы то ни стало заткнуть глотку немецкому пулемету. Но почему молчит наш ручник? Ведь в нем наше единственное спасение!

Наверное, то же самое пришло в голову и Павлу.

— Пулемет! — закричал он. — Давай пулемет!

И вдруг сзади в автоматную трескотню вплелось громкое татаканье пулемета. Струи трассирующих пуль скрестились над полем. Красная трасса нашего «дегтяря» уткнулась в сверкающую багровую звездочку вспышек немецкого пулемета, и она погасла.

Возле дома вспыхнула, зачадилла черным хвостатым дымом соломенная скирда. Мы с Павлом вскочили, пригибаясь, побежали к лесу. На опушке уже собрались все остальные.

К моему удивлению, у Мыколы винтовка была закинута за спину, а в руке он держал ручной пулемет. У оставшегося безоружным пулеметчика Сенькина — огромного неуклюжего детины — под глазом наливался всеми цветами радуги огромный синяк. Но удивляться было некогда.

— Кто ранен? — спросил я.

Никто не ответил. Над лесом поднялась красная ракета, со стороны дома по-прежнему трещали выстрелы. Нужно было спешить.

Мы бегом ринулись в глубь леса, потом, когда выстрелы зазвучали тише, перешли на шаг и наконец остановились перевести дух. Едва мы присели, Мыкола сразу же накинулся на Сенькина:

— У, боягуз проклятый! Штоб твоему батьку трясця! — Мыкола замахнулся и еще раз произнес: — У!..

Сенькин отшатнулся, зажмурил глаза.

— Что случилось? — спросил Павел.

— Струсил он, вот что, — с трудом разлепила почерневшие губы Нина. — Засунул голову в грязь и лежит. Вот Мыкола и дал ему ума..

Теперь все стало ясно. На Сенькина смотрели враждебно, с презрительными усмешками. Трусость у нас считалась самым страшным пороком. Партизан может простить многое, но только не трусость. Чувствуй себя внутри как хочешь — трясись, дрожи, но виду не показывай. Зато лихому смельчаку и почет и слава.

Сенькин сидел один, в стороне, опустив голову, торопливо, будто это сейчас и было самым важным, оттирая с рукава налипшую грязь.

Павел сказал ему:

— Еще так сделаешь — расстреляем. Понял?

Я спросил:

— Мыкола, когда это ты успел научиться из пулемета стрелять?

— Навчился, — отвечал Мыкола. — Очи е. Бачил, як другие роблять, ну и навчился.

Небо снова затянуло тучами, и опять начало моросить. Кругом все было мокро: трава, деревья, мы сами. Каждый кустик при малейшем прикосновении обдавал дождем.

Мы оказались в скверном положении. Ясно: уж если немцы забрались в лесные дебри и заняли Копинские хутора, то уж в селах-то наверняка стоят крупные силы, того и гляди начнут прочесывать лес. Пищи у нас почти не было — по нескольку сухарей на брата. Мы вымокли с ног до головы, вымазались грязью, очень устали.

А сейчас, после смертельной опасности, только что пережитой нами, усталость чувствовалась еще больше. Нужно было что-то предпринимать.

Я, Павел, Васька Кузнецов и Мыкола устроили военный совет. Я вытащил завернутую в кусок непромокаемой ткани от минного мешка топографическую карту и осторожно развернул ее.

— Куда двинем, Мыкола?

— А що нам треба, товарищ командир? (При посторонних Мыкола переходил на официальное обращение и называл меня «товарищ командир». Этому правилу он не изменял никогда, даже в самых тяжелых случаях.)

За меня ответил Павел:

— Нам, Мыкола, треба видпочить, подзаправиться и назавтра обовязково вийти на железку.

Мыкола помолчал, сдвинул свою кепчонку на нос, почесал «в потылице».

— Ось що, — наконец проговорил он. — Ведаю я одно доброе місце. Е тут у лиси невеличкий хуторок біля Польской Гуры... Да ни, на плане

не шукайте — все одно нема. Ще як началась вийна, з нашего села выехал туды один дядько. Уж там немец не найде — за то я голову кладу... Тильки...

— Ну что — только? Не тяни!

— Тильки не ведаю я, чем ций дядько дыше... Мутный якись вин.

— А далеко ль до хутора?

— Километрив з десять. По тый бок шляху.

Решили идти к хутору. Все равно другого выхода у нас не оставалось: прежде чем идти на дорогу, нужно было отдохнуть.

Переход был очень трудным. Теперь мы шли, соблюдая все предосторожности, выслав вперед дозор. Люди с трудом переставляли ноги. Винтовки, автоматы, вещевые мешки сделались невыносимо тяжелыми. Особенно трудно приходилось Нине. Павел забрал у нее винтовку и медицинскую сумку, но это мало помогло. Лицо ее сделалось землисто-серым, мокрые волосы, вылезшие из-под шапки, прилипли ко лбу, по щекам текли слезы не то дождя, не то слез, не то пота.

Время от времени все ее тело сотрясали жестокие приступы рвоты. Поступь ее сделалась неверной, шаткой, и Павел, шедший рядом с ней, поддерживал ее правой рукой.

— Что с тобой, Нина? — спросил я. — Может, чем отравилась?

Она пыталась улыбнуться, но на лице получалась страдальческая гримаса.

— Так... Женское... Дойду как-нибудь.

Тяжела женская доля на войне, а особенно в партизанском отряде. Как ни верти, а женщина слабее, мягче, чем наш брат мужчина. В грозных и страшных военных событиях девушка или женщина ищет себе покровителя, защитника, на которого можно было бы опереться в трудную минуту.

Да и какая война может сломить такую силу, как любовь!

Конечно, и на фронте и у нас в отрядах встречались разные мужчины и женщины.

Многие сходились, заранее зная, что любовь их недолговечна, непрочна и после войны, если только останутся, в живых, они снова станут чужими людьми.

Но у Павла с Ниной была другая любовь — настоящая. И я даже в этот трудный момент чуть-чуть завидовал Павлу, что нет возле меня вот такой же маленькой и слабой Нины.

К трем часам дня мы добрались до шляха. Еще издали мы услышали рокот моторов и остановились. Васька Кузнецов и Мыкола пошли в разведку. Здоровяка Ваську Кузнецова — кряжистого увальня — я знал давно, чуть ли не с начала войны, и уже перестал удивляться его выносливости. Васька и сам не прочь был прихвастнуть перед нами иной раз на марше.

— Для меня это так — что прогулка в парке. Но, когда я с тятьей золотышко в тайге старался, — во была ходьба! А это что!

Но сейчас и Васька хоть и бодрился, а видно было — устал.

Зато Мыкола, хотя по сравнению с Васькой он и выглядел комаром, был действительно неутомим, свеж, движения его оставались по-прежнему бодрыми, четкими. Прямо удивительно, откуда только у него бралась сила.

Лежа ожидали мы разведчиков. Поглядеть со стороны, нас можно было принять за покойников. Только по сопению тех, кто лежал особенно неудобно, можно было определить, что мы живы.

Вернулся один Мыкола. Он опустился на колени возле меня и зашептал:

— Нимцы тильки цо проихалы. Василь сторожить. Вье!..

Мы поднялись и поплелись к шляху. За кустиками, росшими у обочины, нам навстречу привстал Васька.

— Скорей! Того и гляди поедут. Глянь, сколь следов-от!

И верно, на мокром песке шляха тянулось множество рубчатых полос, оставленных немецкими машинами. Я заметил и следы гусениц: видно, у немцев были танки.

Было уже совсем темно, когда мы добрались до хутора, на который нас вел Мыкола.

Хутор расположился на маленькой полянке, которую со всех сторон тесно обступил лес. Небольшая хатка под соломой, навес для коровы, крохотный огородик — вот и все хозяйство.

Владелец хутора, невысокий дядько с волосатым лицом и плутоватыми черными глазками, встретил нас довольно приветливо.

Он помог перенести потерявшую сознание Нину на «пол» — дощатый помост между стеной и печью, заменявший кровать. Подсунул ей под голову подушку в наволочке из цветастого ситца. Велел жене сварить нам картошки.

— Пробачайте... Бильш нема ничего!

Ночь прошла без всяких приключений. Утром мы с Павлом решили идти на дорогу двумя группами. Одной должен был командовать я, другой — Павел. Проводником группы Павла мы «назначили» хозяина хутора, которого, как выяснилось, звали Осеем.

Этим мы убивали сразу двух зайцев — получали проводника, хорошо знающего местность, и брали заложника: после установки мин мы решили вернуться назад на хутор.

Как водится, Осей долго спорил, жаловался, что у него и «у грудях болить», и «у спину вступило», что «нози дуже поганы, зовсим не ходють» и что «диты дрибны, а жинка хвора...».

Жена Осея хватала за руки то меня, то Павла, то с причитаниями кидалась к Мыколе.

— Ой, рятуйте мене, люды добры! Ой, забьют чоловіка, сироты зустанутся! А-а-а!..

За подол матери с ревом цеплялись дети.

Видно было, что Мыкола чувствовал себя неважно. Он покраснел, отводил глаза, что-то утешительно бормотал.

Наконец он взял женщину за руки, силой усадил на скамью и сказал:

— Слушайте, титка Хадора, не кричить... Кажу вам — жив буде ваш чоловік. Чи вы не розумієте, яка війна иде?! Ось побачьте: у его, у его, — он сбвел нас рукой, — и жинки и диты, як и у вас. А идут — треба... Не кричить. Як треба, так треба.

— Але ж... — начала было тетка, но Мыкола строго перебил ее:

— Все, титка Хадора. Не треба бильш...

Мы с Павлом только диву дались, когда увидели, что тетка Хадора замолчала, разыскала холщовую «торбу» и начала засовывать в нее хлеб, невесть откуда появившееся сало, огурцы Осеем в дорогу.

К вечеру мы покинули хутор. Павел со своей группой двинулся к разъезду Польская Гура, а я — к станции Маневичи.

Сначала мы пошли просекой: лесом быстро не пойдешь, а нам нужно было торопиться. Но скоро нам пришлось свернуть — на просеке нас ждала засада. Хорошо еще, что мы вовремя увидели ее и немцы нас не заметили.

До железной дороги мы добрались за полночь. На линии было неспокойно. Еще издали мы слышали стрельбу. Над лесом то и дело взлетали осветительные ракеты. Конечно, и стрельба и ракеты нас не смущали: немцы, охранявшие железную дорогу, всегда стреляли для соб-

ственного успокоения. Но на этот раз выстрелы густо доносились сразу из многих мест. Значит, охрана была усилена.

И верно, как только лес поредел и впереди замаячил черный хребет насыпи, мы сразу же увидели, что на том месте, к которому мы вышли, нечего и думать о минировании. Прямо против нас оказался немецкий пост, время от времени напомилавший о своем присутствии длинными пулеметными очередями.

Мы двинулись лесом вдоль линии в надежде найти где-нибудь удобное местечко. Прошли километр, другой, я посадил себе изрядную шишку на лбу, а обстановка на линии не менялась: через каждые полторы сотни метров стояли немецкие посты, периодически постреливали из пулеметов и автоматов и пускали ракеты.

Кто-то из нас оступился в яму с водой, вскрикнул, загремел котелком. Нас заметили.

И сразу железная дорога превратилась в сплошной огненный вал. Над нашими головами затрещали, защелкали пули. На головы частым дождем посыпались ветки, хвоя. Где-то слева, наверное со станции, ударила пушка.

К счастью, лес для партизана — надежная крепость. Если не считать шишек, ссадин и царапин, полученных во время поспешного отступления, огневой шквал не причинил нам никакого вреда.

Мы отошли поглубже в лес и остановились перевести дух. Я сосчитал людей: все восемь человек оказались на месте.

Передохнув, мы решили вернуться на хутор: небо посветлело, близился рассвет, и было совершенно ясно, что мины поставить сегодня не удастся. Я уже собрался было встать, когда вдруг совсем недалеко раздался треск сучьев. Кто-то продирался сквозь чащу. Мы замерли: неужели немцы послали погоню? В такой обстановке можно было ожидать всего. Я шепотом скомандовал:

— Приготовиться!

Щелкнули затворы. Партизаны ползком, на ощупь занимали места поудобнее, выбирали деревья потолще. Треск приближался.

Напряжение разрядил Мыкола.

— Да це не ниец,— сказал он громким шепотом.— Це вебрь, кабан дикий, злякался, скризь лис лезе... Зараз уче — поверне.

И правда, треск прекратился, до нас донеслось громкое сопение, потом кто-то фыркнул и, опять постепенно затихая, зашумел, затрещал по кустам, по валежнику.

Мне стало почему-то неловко. Я хлопнул Мыколу по плечу и попробовал пошутить:

— А ты здорово научился свинью от эсэсовца отличать.

— А як же, вона ж не стреляе,— совершенно серьезно отвечал Мыкола.

На хуторе нас поджидал Павел со своей группой. Ему тоже не повезло, и он вернулся несолоно хлебавши. Нечего и говорить, что нам было не очень-то весело.

Павел молча выпил из жестяной кружки самогон, извлеченный из подполья Хадорой, обрадованной благополучным возвращением мужа, крякнул и пододвинул кружку мне. Говорить никому не хотелось. Обидно было положить столько трудов, рисковать и так ничего и не сделать. Теперь приходилось все начинать сначала.

Зато на Осея — после пережитых страхов и оттого, что он выпил,— напала необычайная разговорчивость. Он вел теперь себя, как заправский партизан, вскакивал, размахивал руками, показывал во всех подробностях, как он «пидползал», и как «воны такой тумульт вчинили, що аж небо червоним зробилось», и как какой-то немец бегал по линии и кричал: «Ось воны, ось воны...»

Позабыв, что сам он был без оружия, Осей показывал, как целился, как спускал курок.

— А я як бахну, так вин до горы дрыгом и перевернувся.

Никто не отвечал ему, но его это не беспокоило, и он все говорил, говорил, говорил...

Только когда мы уже вставали из-за стола, Мыкола заметил:

— А вы трусились, дядько Осей! Колы б не мы, на своем хуторе вы и вийны б не побачили!

— Га! Теперь я и сам у партизаны б пошел. Але ж — стрельбы нема! Дайте мени стрельбу! — закричал разошедшийся Осей.

Я заметил, как Хадора сильно дернула его сзади за рубаху.

Этот день и ночь мы решили переждать на хуторе, хорошенько выяснить, каково положение в окрестных селах и на станциях, и постараться увидеться с нашими связными. К утру вернулись посланные нами разведчики, и картина стала совершенно ясна. Убедившись, что нашего соединения нет, карательные немецкие части двинулись на юг, дошли до железной дороги и теперь, по всем признакам, деятельно готовились к отъезду.

Поэтому мы с Павлом решили за ночь установить все шесть мин, которые у нас были, и двигаться на восток к Мульчицким хуторам, поближе к соединению.

Мыкола предложил ставить мины там, где железная дорога проходила по полю: на горьком опыте мы убедились, что охрана на лесных участках была очень сильной. Минировать в поле, конечно, рискованно. Если обнаружат, уйти будет трудно, но выбирать не приходилось.

Вопреки нашим опасениям, все сошло как нельзя более благополучно. Мы без всяких осложнений поставили все шесть мин в степи, недалеко от станции Рафаловка, пересекли шоссе, по которому перед нашим носом прошла большая колонна автомашин, и двинулись к Мульчицким хуторам.

По дороге, уже днем, мы совершенно случайно встретили немецкую легковую автомашину. Машина с трудом, разбрызгивая грязь, двигалась по проселочной дороге, то и дело застревая. Тогда раскрывались дверцы, выскакивали два немецких солдата и толкали ее дальше.

Мы шли сбоку от дороги и заметили машину с заросшего кустами пригорка, когда она буксовала на подъеме. Засев в кустах, росших по обочинам проселка, мы дождались, пока машина не поравнялась с нами, и в два счета расстреляли ее. В машине, кроме солдат и шофера, оказался еще и немецкий лейтенант. К сожалению, нам не удалось никого взять живым, о чем особенно сокрушался Павел: ему очень хотелось добыть «языка».

Никаких важных документов в машине мы не нашли. Немцы, видно, совершали «хозяйственную операцию»: в багажнике лежал мешок сала и несколько буханок хлеба, внутри машины мы нашли большой бидон с медом, под сиденьем — несколько бутылок польской «монопольки» и с десяток фляг, наполненных сливками.

Взять все трофеи с собой мы, конечно, не могли и выбрали только то, что можно было унести. Само собой разумеется, в это число входило оружие, мундиры, часы и все прочие предметы чисто немецкого происхождения. Сняли мы и аккумуляторы и зарыли их на приметном месте: они могли пригодиться радистам.

Зато Мыколе привалила особенная радость: теперь он вооружился немецким «козлом» — автоматом. Об этом Мыкола давно мечтал.

На Мульчицких хуторах никаких немцев не оказалось. Мы выпались, отдохнули, а к вечеру встретились с разведчиками нашего соединения.

Зима сорок четвертого года выдалась гнилой и плаксивой. Оттепели и туманы начисто слизывали снег с деревьев, на полях чернели проталины, в болотах обнажились кочки, покрытые космами жесткой бурой травы.

В землянки сверху просачивалась вода. С бревен наката непрерывно капало. На земляных нарах пришлось выкопать водосточные канавки. Утром все просыпалось мокрыми. Хлеб, вещевые мешки, заменявшие нам подушки, одежда в течение нескольких часов покрывались зеленой плесенью.

По утрам Павло Медяный оструганной палочкой замечал «ватерлинию» — уровень воды под полом, ставил очередную зарубку и сокрушенно качал головой. Раза два ночью объявлялся аврал.

Гриша Мыльников подавал команду:

— Свистать всех наверх!

Мы брались за ведра, котелки, за немецкие каски: вода подходила к топке печи.

Иногда доски пола расходились, кто-нибудь проваливался ногой в воду. Тогда мы хором орал:

— Человек за бортом!

Словом, наше «крокодильское болото» превратилось в самую настоящую трясицу.

Впрочем, нас, «крокодилов», это обстоятельство не особенно смущало. Во-первых, потому, что мы по-прежнему не часто бывали в лагере. А во-вторых, даже в мокрой, но теплой землянке все-таки лучше, чем просто на снегу в лесу или в болоте.

Гриша Мыльников — человек сугубо армейский, — если только бывал в лагере, просыпался раньше всех и громко командовал:

— Подъем! Выходи строиться на зарядку!

Зарядка была обязательна только для «аллигаторов». «Крокодилы», в том числе и Мыкола, могли на зарядку не выходить. Была, однако, какая-то особая лихость в том, чтобы выскочить полуголым из банной атмосферы землянки, побегать, растереться докрасна снегом. Поэтому никто в землянке не задерживался.

После зарядки — завтрак, традиционный партизанский суп с пресными лепешками, которые Софья Осиповна за неимением других жирных веществ жарила на воске. Нельзя сказать, чтобы лепешки были очень хороши на вкус, но на вид не хуже, чем из кондитерской: глянцевитые, с поджаристой корочкой.

После завтрака начинались дела. Готовились к выходу на задания группы, ездовые смазывали и чинили фурманки и сбрую, ухаживали за лошадьми, остальные чистили оружие, резались в «тысенцу», просто разговаривали или спали. Егоров отправлялся в штаб — получить инструкции, узнать новости...

Я заметил, что Мыкола начал частенько крутиться возле «кухонного костра», в дымном и благоуханном царстве Софьи Осиповны и Верки. Софья Осиповна сначала была довольна — удобно иметь хлопца под рукой: то дров притащит, то поможет отчистить закопченные на костре ведра, то сбегает за водой... Но потом, когда она заметила, что Верка делается уж больно разговорчивой и шумной в присутствии Мыколы, начинает рассказывать о том, как жили до войны в Корюковке (нет, не Мыколе, а любому подвернувшемуся под руку), Софья Осиповна забеспокоилась.

— Може, вы, Алексей Семенович, — сказала она как-то Егорову, — накажете хлопцам, шоб не сидели на кухне.

— Да разве они там сидят? Что-то я не замечал этого.

— Сидят, уй как сидят. Ходите як-нибудь, побачьте. Особенно той — Мыкола.

— Вот оно что! Мыкола, значит, в зятя к вам метит! — Егоров захохотал. — А чем не зять? Орел!

Но Софья Осиповна еще пуще усилила бдительность. Она стала прогонять Верку, как только Мыкола появлялся в районе кухни.

Но Мыкола этого будто и не замечал. Он приходил, усаживался на корточки и молча грел растопыренные ладони над огнем. А Верка, не обращая ни малейшего внимания на сердитые материнские взгляды, на окрики, садилась с противоположной стороны костра на круглый обрубок и начинала:

— А вот у нас, у Корюковке, ох и добрый клуб был. Танцы. Мороженое продавали. А ты знаешь, что такое клуб?

Мыкола мотал головой и односложно отвечивал:

— Ни.

— У! Это дом такой, специально, чтобы веселиться. Все приходят разодетые, гарные такие. Музыка. У нас и оркестр был з цукерного заводу. С барабаном. Як громыхне, аж стекла трясутся... А ты чул колынебудь оркестр?

— Як у Ривном буь, чул. У парке. Тильки мене у парк тый не пустылы. Треба було квиток купыть. А у мене грошей нема. Так я музыку слухал бия плетня...

— Не плетня, а огады. У нас вокруг клуба тоже колысь была ограда. Чугунна. Ох и гарна!.. Тильки немец зараз ее зничил... Разом з клубом...

И над Веркой и над Мыколой сначала подтрунивали, а потом перестали — привыкли.

Трудно сказать, чем поразила Мыколино воображение эта веснушчатая некрасивая девушка с длинным носом и рыжими волосами. Он мог часами, не прерывая, слушать ее. А если она начинала расспрашивать, смущался, краснел, отвечал односложно: «Да... Нет...»

Однажды я краем уха слышал, как Мыкола спросил:

— Слухай, Вера, а кого записуют у той?..

— В який это «той»?

— Ну, у космомол?

— Во-первых, не у космомол, а в комсомол. А у-других, то, що не кожного хлопца и не кожную дивчину у комсомол примуть. Тильки найкращих, наисознательнейших. За яких и другие комсомольцы, а то и коммунисты поручаются. Рекомендацию дадут. Зразумело?

— Слухай, а от ты поручишься за мене?

Верка приподняла брови, скосила глаза, усмехнулась.

— Як заслужишь. Може, и поручусь. Побачим...

Мыкола хотел было что-то сказать, но поперхнулся, махнул рукой и замолчал.

Очень может быть, что Мыкола в конце концов расхрабрился бы и договорил то, что хотел. Но как раз в этот момент раздался сильный шум, посышались приветственные возгласы, и все бросились к землянке Егорова, возле которой остановились только что прибывшие с задания «крокодилы» — Гриша Мыльников и Вася Кузнецов. Они тяжело переступали с ноги на ногу, одежда их промокла, лица осунулись, почернели от усталости.

Но и по улыбкам, которые им никак не удавалось сдерживать, и по захватски сдвинутым на затылок кубанкам, и по тому, как небрежно, с особым партизанским форсом — стволами книзу — висели у них на плечах автоматы, и по сигаркам, небрежно приклеенным к углам губ, и по тому, что от них пахивало самогонкой, — по всему можно было догадаться, что задание выполнено.

Я принес из землянки толстую бухгалтерскую книгу — гроссбух, в которой вел точный учет взорванным эшелонам и минам-эмзедушкам, установленным на длительные сроки, сел на пустой ящик из-под тола и приготовился записывать.

Как всегда, у меня за спиной расположился Мыкола. Он напряженно дышал мне в ухо, кричал и заглядывал через мое плечо в книгу. Мыколе нравилось смотреть, как я ставлю красные крестики на схеме, обвожу кружками места, где мины взорвались.

Я закрыл книгу. Мыкола вздохнул.

— Слухай, Володько, колы ж я сам буду минировать? Ты ще когда посулил! Скоро вийна кинчится, а я все ни як...

Я хлопнул Мыколу по плечу.

— Не журись, Мыкола! Как только пойдём на дорогу, даю слово, ты будешь ставить мину сам.

Скоро такой случай представился.

В феврале 1944 года движение поездов на железной дороге Ковель — Сарны заметно оживилось. Поезда шли в основном на запад. Эвакуировались немецкие учреждения, вывозились награбленное имущество, трофеи, военное снаряжение, войска, подвижной состав... Немцы удирали.

Наш генерал приказал бросить все диверсионные группы на дорогу, прекратить движение немецких эшелонов, не дать возможности немецкому командованию беспрепятственно отвести тылы. Это было особенно важно еще и потому, что вслед за немецкими эшелонами двигались специальные путеразрушающие машины, перепавивавшие железнодорожный путь, не оставлявшие за собой ни одной не переломанной шпалы, ни одного целого рельса. После прохода путеразрушителя железную дорогу приходилось строить заново.

В нашу группу, кроме меня и Мыколы, входили еще Васька Кузнецов, Белов, Клягин, Озеров, Васька Мельниченко, по прозвищу «Дарданелл», и еще несколько человек стрелковой поддержки.

Мы двинулись в знакомые места — в район станции Маневичи. На сей раз ехали с удобствами — на санях.

Не задерживаясь, миновали Холузье, пересекли шлях и утром остановились передвезать на хуторке, где жил наш связной, по имени Гриц. Жена Грица, расторопная, нестарая еще женщина, сварила нам большой чугунок картошки с мясом, расстелила на полу несколько снопов соломы. Мы плотно подзаправились и улеглись спать.

Проснулись мы около двух, наскоро проглотили обед, приготовленный гостеприимной хозяйкой, и начали собираться, чтобы засветло подойти к железной дороге.

День выдался теплый. Мы шли болотистой просекой, то и дело проваливались ногами сквозь снег в скопившуюся под ним воду. Деревья стояли голые и мокрые, каждое прикосновение к ним обдавало холодным душем, и скоро мы вымокли до нитки. Пройдя километров пять, я остановил группу передохнуть.

— Ну, Мыкола, — сказал я, — сегодня будешь ставить! Ты готов?

— Я завжди готов, товарищ командир!

Мы с Мыколой вместе проверили мину и взрыватели. Я отдал ему свой маскхалат. Мыколе предстояло переползти пространство между лесом и железной дорогой. Там на земле лежал снег, и маскхалат был совершенно необходим.

Примерно в километре от железной дороги Мыкола, шедший впереди, знаком остановил группу и тихо сказал:

— У тым краю просеки — пост з кулеметом. Немецка охрана. Треба вертати у лис.

Мы свернули и пошли лесом. Теперь мы двигались гуськом: впереди Мыкола в моем маскхалате, за ним я, за нами по одному вытягивались остальные.

Вскоре мы набрали на чей-то свежий след, шедший как раз в нужном нам направлении. Мыкола остановился — по чужому следу идти опасно: можно наткнуться на засаду, подорваться на mine.

Мы собрались в кучу. Осторожный Озеров сказал:

— Лучше, пожалуй, обойти это место. Нарвемся еще.

Но Васька Кузнецов, Дарданелл, Клягин замахали на него руками:

— Так мы и до утра не доберемся!

— А ну его к черту, по лесу болтаться!

— Айда. Чего там! Пройдем малость, свернем!

До сих пор не понимаю, как я мог согласиться с ними. Может быть, это случилось потому, что и мне, конечно, тоже надоело лазить по мокрому и холодному лесу, хотелось выполнить задание поскорее, вернуться в тепло, обсушиться, отдохнуть. А может быть, и я и все остальные попросту хотели прихвастнуть друг перед другом лихой партизанской беззаботностью.

Вот что случилось дальше.

Мы пошли по следу. Железная дорога была уже совсем близко, когда мы оказались на крошечной полянке, вернее — в разрыве густой заросли елового молодняка.

Мыкола зачем-то повернул ко мне голову: видно, хотел что-то сказать. Таким я и запомнил его — влоборота, небольшого, с обветренным спокойным лицом, в белом маскировочном халате, ярко выделявшемся на фоне темно-зеленой хвои...

И вдруг хлестнула длинная автоматная очередь. Я успел заметить низкий пороховой дымок, запутавшийся в ветвях молодой елочки, метрах в двадцати от нас. Рядом твинкнули пули. Посыпались ветки...

Все остальное произошло мгновенно. Не раздумывая, мы залегли, точнее, попадали, открыли ответный огонь. У нас уже выработался условный рефлекс: наткнулся на засаду — сначала огрызнься, чтобы враг почувствовал, а потом соображай, что делать, — отходить, наступать или вести бой на месте.

Расстреляв примерно по полдиска, мы прекратили огонь, прислушались — ничего.

Только слева, понемногу затихая, трещали ветки: кто-то уходил прочь.

Чалдон швырнул гранату, поднялся, пригибаясь, двинулся вперед.

Мы напряженно следили за каждым его движением, не отрывая пальцев от спусковых крючков.

Чалдон раздвинул ветки, осмотрелся и углубился в ельник. Было слышно, как он продирался сквозь чащу.

Через минуту Чалдон вернулся.

— Драпанули, — лаконично сказал он. — По следам видать, двое было. Кукушки.

Он присел на корточки и вытянул руку. На мокрой ладони желтели стреляные гильзы немецких автоматных патронов.

Со стороны железной дороги донеслись раскаты пулеметных очередей. Забеспокоилась потревоженная шумом боя немецкая охрана.

Нужно было уходить с этого места. Мы встали.

И тут я увидел, что Мыкола по-прежнему лежит, неестественно отогнув голову набок, с завернутой за спину рукой... Шапка его сбилась на затылок, волосы на побелевшем лбу тихонько шевелились, на губах пузырилась кровавая пена.

А на груди, на животе, прикрытых белым саваном маскхалата, медленно расплывались кровавые пятна.

Мы бросились к Мыколе. Лицо его исказилось гримасой. Он с трудом прошептал:

— Володько... Помираю... Пить...

Дальше я повел себя очень странно: швырнул в снег автомат, выхватил нож и, размахивая им, кинулся в ельник догонять немцев. Кажется, я что-то кричал, грозился.

Меня догнали, силой остановили, привели назад...

Мы наскоро перевязали Мыколу, разорвав на бинты мой маскировочный халат.

У Мыколы оказалось восемь ран. Были прострелены грудь, живот, шея. Но крови почему-то вышло мало, и вдруг у нас появилась надежда — может, все-таки удастся спасти Мыколу.

Мы подняли его и понесли. Мы торопились.

Я плохо помню, как мы добрались до хутора Грица, где нас дожидались сани. Тут же были запряжены наши лучшие лошади. Дарданелл вызвался отвезти Мыколу в лагерь. Чалдон Васька Кузнецов, Белов, Клягин сопровождали их. Сани уехали, а я собрал группу и двинулся назад, в лес.

* * *

На рассвете наша группа взорвала вражеский поезд. Через день мы вернулись в лагерь. Я увидел одиноко сидевшую у кухонного костра заплаканную Верку в той самой хустке, что подарил ей Мыкола при первой встрече, и не стал ее ни о чем спрашивать.

Только потом, уже в землянке, Васька Кузнецов сказал мне, что Мыкола умер еще в дороге.

Этой же ночью я впервые за много месяцев услышал на востоке глухой гул приближавшегося фронта.



ВЛАДИМИР ЛУГОВСКОЙ

★

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Ты помнишь ли
След от луны —
Серебряные плошки
За кормой?
Ты помнишь ли,
Как на березах
Насквозь видны
Сережки
Под луной?
И поцелуй,
И хруст шагов
В лесу,
И задыханье соловья,
И то, как звезды
Пьют росу,
И то, как все это
Был я,
И то
Как это ты была.
Всем, всем на свете:
И лучом звезды
И детским лепетом
Ночной воды.
Ты шла,
Как ходит ветер,
Запах рощ неся.
Ты вся
Была землей и небом
И еще
Была свечой,
Еще была пожаром
И еще —
Всем человечеством,
Что обнял я
Так жарко
За плечо.
Я не считаю лет,
Которые прошли.
Великолепен
Мудрый мир земли.
Всегда и всюду
Двое так идут
И думают:

Все мирозданье — тут.
Все — только руку протяни — все тут.
Все — только пристальной взгляни — все тут.
Все — только крепче обними — все тут.
И соловьи поют,
И поцелуй,
И хруст шагов в лесу.
И сердце я твое несу
В ладонях, словно пламень голубой.
Так пусть века
Наполнятся тобой.
Пусть люди так идут,
Без страха, без тоски —
Объятие, пожатие руки.
Бессмертна наша поступь
У реки.
Вот только были у меня
Черны виски.
Да у тебя на платье
Были васильки.
Но это все
Такие пустяки!



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

**

Ты знаешь сам, прильнув к плечу плечом, —
В ее груди тобою сердце бьется;
Его просить не надо ни о чем:
Само на грусть и радость отзовется.
Нет мягче и доверчивей его!
И ты не потому ли им играешь,
Что все еще не знаешь одного —
Ты гордости его еще не знаешь.
Оно снесло б и горечь испытаний,
Лишь биться б для тебя, тебя любить.
Ты это сердце бойся оскорбить.
Когда оно от боли твердым станет,
То и слезой мужской не растопить.



ВАСИЛИЙ ЖУРАВЛЕВ

★

ИЗ КАЗАХСТАНСКОЙ ТЕТРАДИ

РАЙОН МЕНДЫГАРЫ

Незнаменитый до поры,
как предстоящее сраженье,
район родной Мендыгары
влечет мое воображенье.
Он разбросал своей рукой
озер зеркальные осколки
да перелески над рекой,
так называемые «колки»;
да шапки утренних стогов,
пропахших вяленою викой;
да разнотравие лугов,
усыпанное земляникой.

Орла подбросив в облака —
свою властительную птицу,
пустил он в степи беляка
и следом быструю лисицу.
И там, где от цветов бело,
уже, собрав во всем составе,
как по команде, на крыло
он стаи стрепетов поставил.
И до зимы, до пскрова,
в многообразии единых,
он выпустил из рукава
метели крыльев лебединых.

Незнаменитый до поры,
к себе влекущий неустанно,
район родной Мендыгары
среди просторов Казахстана
зовет багульника нарвать,
ухи наваристой отведать...
И глаз уже не сторвать
ни от запутанного следа
сайги на россыпях солей,
ни от черемух первоцвета,
ни от летящих ковылей,
сверкающих, как бабье лето.

Стою в лесу, как в терему,
на ярмарку явившись птичьей.

И не пойму я, почему,
богатый рыбою и дичью,
весенней влагой напоен,
как отцветающая дрема,
лежал заброшенный район,
весь почернев от чернозема;
лежал среди болот и пней,
богатство жизни осыпая,
все беспробудней и сильней
в медвежьей спячке засыпая.

Десятилетия и века
он, сонной не меняя позы,
дремал до этих пор, пока
не появились здесь совхозы.
И потому в долинах рек,
пересыхающих от жажды,
наш возвеличивая век,
я возвеличиваю дважды
взметнувших к небу топоры
да жаток солнечные вскрылья
работников Мендыгары —
степных саперов изобилья.

ЗАБЫТАЯ ЗЕМЛЯНКА

Вдали,
за новостройкой дружной,
давно забытая уже,
такой печальной и ненужной
стоит землянка на меже.
Она растоптана ногами,
и заросла вся лебедой,
и разворочена снегами,
и заболочена водой.
Свидетельницу первых песен
и самых первых наших бед —
ее засасывает плесень
и разрушает короед.
А ведь еще не за горою
та незабытая зима,
когда нам чудились порою
какой-то сказкою дома,
когда казалась золотою
землянка, сгнившая дотла,
когда она была мечтою
для всех так жаждавших тепла.



ВЛ. СОЛОУХИН

★

ВЛАДИМИРСКИЕ ПРОСЕЛКИ

*«Я видел, может быть, полсвета
И вслед за веком жить спешил,
А, между тем, дороги этой
За столько лет не совершил.*

*Хотя считал своей дорогой
И для себя ее берег,
Как книгу, что прочесть до срока
Все собирался и не мог».*

А. Твардовский.

«О, красна ты, Земля Володимирова!»

(Из старинной рукописи).

Вернувшись из далекого путешествия, обязательно будешь хвастаться, рассказывать диковинные вещи. Ну не совсем уж так, чтобы одним шомполом сразу семь уток убить, но случалось, мол, и нам заарканить ненецким арканом гордую шею белоснежного лебедя.

Да и распишешь еще, как он ударил в этот миг лебедиными крыльями по черному зеркалу тундрового озера, и дробил, и бил его в мельчайшие дребезги.

Великое удовольствие смотреть при этом на удивленные лица слушателей, что и не верят и верят каждому твоему слову. Путешествия потеряли бы половину своего смысла, если бы о них нельзя было рассказывать.

Вот так-то хвастался я однажды своему приятелю, а потом вдруг спросил:

— Ну, а у тебя что нового? Ты где побывал за это время?

— Да мы что же... Где уж нам лебедей ловить! Ездил я тут за одной бытовой темкой, между прочим в твои родные, во владимирские то есть, края. Места, брат, у вас! Вот, помнишь, как отъедешь от Камешков, будет перелесок справа...

И он начинал мне говорить о перелеске, как будто я только что вернулся из этих мест. А у меня краснели уши, и стыдно было перебить его: «Да не был я в Камешках и перелеска твоего не видел».

Другой приятель допекал еще горше:

— Заходим мы, значит, в Юрьев-Польский ранним утром. Только что дождь прошел: земля курится, трава сверкает. Городок деревянный, тихий, над домами трубы дымят. Через город река течет, и так она до краев полна, что вот-вот выплеснется. И вся ли та река прямо в центре города кувшинками заросла? Горят они, желтые, на тихой утренней воде. По-над водой мостки тесовые — там и тут. На мостках ядерные бабы икрами сверкают, вальками белье колотят. А вокруг пелухи орут. Вот каков Юрьев-Польский! А рска эта, как ее... Колочка?

— Да, да, Колочка.

— Да нет же, Колокша! А река эта, Колокша, рыбой, говорят, полна.

Тут уж я не только что краснел, провалиться готов был на этом месте. «Колочка! Сам ты Колочка! Ну ладно, что в Камешках не бывал, а тут не знаешь, что Юрьев-Польский на той же Колокше стоит, что течет в шести верстах от твоего родного порога. Да и до Юрьева-то самого едва ли тридцать верст. А ведь не был вот, не видал, не знаешь. По разным Заполярьям, Балтикам да Адриатическим морям разъезжаешь, а о красоте родной земли другие люди тебе рассказывают».

Так постепенно возникала и росла хорошая ревность, а вместе с тем осознавался моральный долг перед Владимирской землей, красивее которой (это всегда я знал твердо) нет на свете, потому что нет земли роднее ее

Тогда и пришло непреодолимое желание увидеть ее всю как можно подробнее и ближе.

Совпало так, что к этому времени через один пустычок понял я вдруг настоящую цену экзотики. Дело было за чтением Брема. Мудрый природоиспытатель описывал некоего зверька, водящегося в американских прериях. Говорилось, между прочим, что мясо этого зверька отличается необыкновенно нежным вкусом, что некоторые европейцы пересекают океан и терпят лишения только ради того, чтобы добыть оного зверька и вкусить его ароматного мяса.

Тут, признаюсь, и у меня текли слюнки и поднималось чувство жалости к самому себе за то, что вот помрешь, а так и не попробуешь необыкновенной дичины. «Обжаренное в углях или же тушенное в духовке, — безжалостно продолжала книга, — мясо это, несомненно, является лакомством и, по утверждению особо тонких гастрономов, вкусом своим, нежностью и питательностью не уступает даже телятине».

Телятина — слово грубоватое, и, казалось бы, трудно от него перекинуться в эстетический план, но так всколыхнулось все во мне, такое напало прозрение, что тут же не показалось грубым подумать: «Конечно! Правильно! И пальма-то сама или там какая-нибудь чинара постольку и красива, поскольку красотой своей не уступает даже березе».

Помню, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На табличках были написаны мудреные названия: питтоспорум, пестрокаймленная юкка, эвкалипт, лавровишня... Уже не поражала нас к концу дня ни развесистость крона, ни толщина стволов, ни причудливость листьев.

И вдруг мы увидели совершенно необыкновенное дерево, подобного которому не было во всем саду. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как молодая травка, оно резко выделялось на общем однообразном по колориту фоне. Мы в этот раз увидели его новыми глазами и оценили по-новому. Табличка гласила, что перед нами береза обыкновенная.

А попробуйте лечь под березой на мягкую, прохладную траву так, чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не нашепчет вам береза, тихо склонившись к изголовью, каких не нашепчет ласковых слов, чудных сказок, каких не навеет светлых чувств!

Что ж пальма! Под ней и лечь-то нельзя, потому что или вовсе нет никакой травы, или растет сухая, пыльная, колючая травка. Словно жестяные или фанерные, гремят по ветру листья пальмы, и нет в этом громе ни души, ни ласки.

А может, и вся-то красота заморских краев лишь не уступает тихой прелести среднерусского, левитановского, шишкинского, поленовского пейзажа?

Короче говоря, было принято твердое решение — будущее лето целиком посвятить Владимирской земле. Но что значит посвятить? Ездить по ней? Тогда на чем?

Мне в жизни приходилось передвигаться на многих видах транспорта: на поезде товарном (зайцем на так называемых тормозах), на поезде пассажирском, в цельнометаллическом мягком вагоне, на поезде узкоколеечном по десяти километров в час, на паровозе без всякого поезда, в тендере (причем паровоз ехал задом наперед), на паровозе — в кабине машиниста, в вагонетке подвесной дороги (причем на самом высоком месте вагонетка застряла), на оленьих нартах по летней тундре, на собаках по зимней тундре, на верблюде, на верховой киргизской лошаденке, на верховой кабардинской лошади, в розвальнях, на телеге, на кубанской линейке, на самолете «ПО-2», на самолетах двух-, трех- и четырехмоторных, на ишаке, на вертолете, на автомобилях самых разных моделей и марок — от «мерседеса» до «козлика», на рыбацьем боте, на рыбацьем сейнере, на глассере, на океанском пароходе, на речном буксиришке, на плотках, на волах, на ледоколе, на аэросанях, на льдине, на лосе, заложенном в упряжь...

Должен сказать, что, если смотреть на вещи серьезно, самым удобным и спокойным транспортом из перечисленных мною является речной пароход. Но он-то больше всего и не подходил к случаю.

А не пойти ли пешком, возникла вдруг озорная мысль. Выйти из машины среди чиста поля и пойти по первой попавшейся тропинке. Наверно, тропинка приведет к деревне. К какой? Не все ли равно. От деревни будет дорога до другой деревни, а там до третьей... Ночь настала — ночуй. Стучись в крайнюю хату и ночуй. Утро пришло — иди дальше. И так полтора месяца. Ведь если в день проходить даже десять километров, что совсем не тяжело и что будет прогулкой, и то уйдешь за четыреста пятьдесят верст.

Беда заключалась в том, что мечта возникла в декабре, а выйти в такой поход можно было не раньше июня.

Любимым занятием моим с этих пор стало сидение над картой. Сначала это была карта Советского Союза. Но Владимирская область на большой карте занимала пространство, которое можно было бы закрыть пятикопеечной монетой. И сколько я ни крутился на таком пятячке, ничего не могла рассказать мне карта. По ней, правда, хорошо было видно, что Владимирская земля находится между землями Московской и Нижегородской, если ехать с запада на восток. Тут мне вспомнились слова из книги, что «она (то есть Владимирская земля) находится в том пространстве междуречья Оки и Волги, где из Владимиро-Суздальского, а потом Московского великого княжества выросло Московское государство, развернувшееся впоследствии в великую Российскую империю, протяжением своим превзошедшую все государства мира».

Значит, это и есть корень России.

Вскоре удалось раздобыть подробную карту области, на которой в каждый сантиметр укладывалось всего лишь пять километров земли. Здесь было много зеленой краски, за которой скрывались леса, и много заштрихованных пространств, означавших болота. А за белыми пятнами угадывались уже раздольные поля и луга.

Белого цвета больше всего было в верхней части карты, то есть на севере, это так называемое Владимирское ополье. Зелень вся как бы стекла вниз, образовав знаменитые Мещерские леса и болота. Из двух частей: Ополья и Мещеры состоит Владимирская область. Вот что в первую очередь сообщила мне карта.

С этой картой можно было беседовать ночи напролет.

— Какие звери водились раньше на Владимирской земле? — спрашивал я у карты. И она отвечала:

— Водились здесь туры. Вот читай: Турино сельцо, Турино деревня, Турово, Турыгино... Были и соболя. Разве не видишь названия деревень: Соболь, Соболево, Соболи, Соболецво, Соболята... А вот Лосево, Лосье, Боброво, Гусь...

— Кто же жил раньше на Владимирской земле? — спрашивал я карту.

— Жили здесь раньше некие племена финского корня: Мурома, Меря и Весь. Да, они исчезли, но не без следа. До сих пор живут названия рек, городов, озер и урочищ: Муром, Суздаль, Нерль, Пекша, Ворша, Колокша, Клязьма, Судогда, Гза, Теза, Нерехта, Суворощь, Санхар, Кщара, Исихра...

Но вот появились славяне. Они рубили свои избы неподалеку от финских селищ и начинали мирно пахать поля. Привольно было земли, и никто не мешал друг другу. И вот уж в ряду с какой-нибудь Кидекшей появляются села Красное, Добрынское, Порецкое... По названию можно узнавать, откуда шли славяне. Вон Лыбедь, вон Галич, вон Вышгород — все это киевские словечки.

Говорила карта и о поэтичности народа, потому что черствый, сухой человек никогда не дал бы деревне такого названия, как Вишенки, Жары или, например, Венки.

Славяне были культурнее местного населения, а впоследствии их стало и больше. Они не прогнали, не истребили Мурому, Мерю и Весь, а просто проглотили их, растворили в себе, или, как говорят ученые, ассимилировали. И живут до сих пор только названия, которые могут показаться чудными чужому, стороннему человеку, но которые не вызывают никаких недоумений у самого последнего мальчишки: Ворша так Ворша, лишь бы купаться было можно да ловились на удочку пескари.

Так рассказывала карта.

Хлеб в лесу да на болотах родится неважный. Владимирцы давно поняли, что одной землей не проживешь, поэтому и уходили из своих деревень на отхожие промысла, поэтому и появились все эти владимирские богомазы, лапотники, овчинники, шерстобиты, валялы, шорники, вышивальщицы, угольщики, смолокуры, серповщики, игрушечники, корзинщики, рожечники, рогожники, дегтярники, столяры, щетинники, колесники, сундучники, бондари, плотники, гончары, кирпичники, медники, кузнецы, каменотесы...

Каждое ремесло имеет свой аромат. Шорники пахнут сырмятиной, угольщики — березовым дымком, овчинники да валялы — овечьей шерстью, рогожники — душистой мочалой, богомазы — олифой, бондари да колесники — дубовой стружкой, гончары да кирпичники — просыхающей глиной, корзинщики — горькой ивой, про смолокуров с дегтярниками и говорить нечего...

Старинные туристские справочники, или, как их называли, путеводители, усиленно рекомендовали путешествовать по Владимирской земле. В них подробно описывалась дорога от Владимира до Суздаля, или так называемая Стромынка — дорога от Москвы через Александрову слободу до Юрьева-Польского, а уж оттуда до Суздаля и Владимира. Это объясняется тем, что очень много во Владимирской земле разных монастырей, старинных церквей, редчайших, рублевской или ушаковской работы икон, а также мест, связанных с пребыванием царствующих особ. Там молился Иван Грозный, туда он засадил свою жену, там жила опальная жена Петра Великого; в той деревне сидел Димитрий Пожарский, когда пришли к нему с поклоном нижегородцы: иди, мол, спасай Россию! А там был похоронен сам Александр Невский. Сохранился царев указ о том, как перевозить останки этого князя и воина, когда было реше-

но перевезти их из захудалого губернского городишка Владимира в стольный Петербург. Может, князя Александра и сразу похоронили бы в Петербурге, но беда в том, что Владимир был в год его смерти великим городом, а на Петербург не было ни малейшего намека. А повелевал указ следующее: «Подняв раку с мощью святого от места ее благоговейно, с подобающей честью вынести... и поставив оную и распростерши балдахин... проводить его обыкновенным церковным пением и колокольным звоном, как мощи святого проводить долженствует, и в том провождении ехать оным путем умеренно, со усмотрением мест, дабы в удачных никакого свыше потребности медления, а в неудачных — вредительной скорости не употреблялось».

Что же касается Димитрия Пожарского, то с его могилы свезли куда-то только мраморный мавзолей, а останки князя и поныне в Суздале. Но мы придем еще на его могилу, и у нас будет время поговорить об этом подробно.

Так вот старинные путеводители усиленно рекомендовали путешествовать по Владимирской земле. И совершенно напрасно в новых сборниках туристских маршрутов, где есть непременно Военно-Грузинская дорога, село Архангельское и озеро Иссык, не упоминают ни Юрьева-Польского, ни Суздаля, ни Муром, ни Мстеры, ни Гусь-Хрустальный, ни Боголюбова, ни самого Владимира... Поэтому, заглянув в такой справочник, я тут же и закрыл его.

— А палатку, термос и прочее ты уже купил? — спрашивали меня бывалые туристы.

— И не собираюсь.

— Как же, что же за поход без палатки? Вся и прелесть-то в том, чтобы чайку на костре вскипятить, ущицу организовать, а для этого удочки необходимы.

— Нет, ночевать удобнее в избах крестьян и питаться у них же. Так что ничего такого не потребуется. Ни куска хлеба не будет взято в запас, ни кусочка сахара. И непонятно, зачем для ночлега от людей бежать, когда тут-то и удобно поговорить с ними, узнать, чем живут, что думают...

День первый

Отсюда начинается достоверное и последовательное описание всего приключившегося с автором этих записок и его спутниками во время путешествия по Владимирской земле. Путешествие это началось 7 июня 1956 года, в полдень, от деревянного моста через реку Киржач, коя служит в этом месте границей между областями Московской и Владимирской. А дело было так.

Автомобиль «ЗИМ» с аншлагом «Москва — Владимир» выбрался наконец из каменного лабиринта столицы и, прибавив скорости, устремился по прямой и широкой автостраде. Да, местами это была уже готовая автострада, бетонированная, с односторонним движением и даже с зеленой посередине. Местами же путь автомобилю преграждали горы песка, вздыбленной земли, скопления землеройных машин. Поговаривали, что это не просто улучшается старое и доброе Горьковское шоссе, проведенное по древней знаменитой Владимирке, но строится великая дорога Москва — Пекин.

«ЗИМ» то рвался вперед со скоростью ста километров, то, переваливаясь с боку на бок и с обочины на обочину, пробирался по разъезженным песчаным колеям не быстрее пешехода.

На улице стояла жара, не приносил прохлады даже ветер, хлопающий и ревущий в приоткрытые стекла автомобиля. Пассажиров в машине было трое. Их могло бы быть и двое, если бы утром в Москве моя жена не

поставила на своем и не поехала провожать меня в это «ужасное» путешествие.

Никогда не знаешь, как повернется ход событий, поэтому на всякий случай я представляю вам мою жену: ее зовут Роза, она темноволоса, смугла... Впрочем, не прав ли был гениальный француз, говоря, что жена не имеет внешности? По крайней мере, не дело мужа описывать ее.

Третьим пассажиром был майор с квадратной рыжей бородкой. Из всех троих он один имел трезвые намерения доехать до того места, до которого куплен билет.

Вдруг легко, но властно защемило в груди. Тут было от чего волноваться. Всю зиму с нетерпением ждал я этого дня, и одно то, что он пришел, было основательным поводом для волнения. Но это все пустяки. Главное я скрывал и от самого себя. Главное было в моем наступающем одиночестве. Вот сейчас выйдешь из машины, шагнешь в сторону от дороги в высокую июньскую траву и на два месяца один затеряешься в зеленых просторах. Было от этого немного тревожно и боязно. Всегда тревожно и боязно перед неизвестностью. Я не знал, где и чем пообедать уже сегодня, где и как проведу эту ночь. Будут попадаться неведомые деревни, но ведь никто не ждет меня там, и вообще не авантюра ли все это? Есть туристские маршруты с благоустроенными туристскими базами. По этим маршрутам ходят многочисленные группы до зубов оснащенных людей. Все это понятно.

Но думать было поздно, да и некогда.

— Остановите, пожалуйста, машину.

Легко подпрыгнув, автомобиль соскользнул на обочину и остановился, как бы натолкнувшись на невидимую стенку. Водитель озабоченно обернулся.

— Кому-нибудь плохо?

— Нет, хотим выйти. Спасибо, что подвезли.

— Но у вас билет до Владимира. До него еще почти сто километров!

— Тем лучше. Мы останемся здесь. Нам понравилось это место.

— Вольному воля,— пробурчал водитель.

И «ЗИМ» исчез. Рюкзак показался мне гораздо тяжелее, чем когда я примерял его в Москве.

— Пошли. Проводишь меня на ту сторону реки и проголосуешь на обратную машину.

Под деревянным мостом стояли бревенчатые обшарпанные быки. Коричневая неглубокая вода беззвучно обтекала их. Белые, словно сахар, песчаные отмели, уходя под воду, приобретали цвет червонного золота. Потом они снова появлялись над водой в виде маленьких островков и возвращали себе свою сверкающую белизну. Один берег реки отлог. Молодой ивняк отступил от воды метра на два и так раскудрявился, такой закипел зеленью, что и песок под ним кажется зеленоватым. Другой берег обрывист, хотя и невысок. Тут, должно быть, постоянно что-то с хлопьями сползает в воду, обрушивается, подмывается. Стройные частые сосенки подбежали к самому обрыву и заглядывают в воду. Но вода текуча и узловата, она размывает очертания деревьев.

Пройдя мост до конца, мы очутились во Владимирской области. Прощались. Я сбегал с насыпи влево и пошел вдоль реки навстречу ее течению. Ничего примечательного не было вокруг. Безногий инвалид, оставив одежку и костыли на траве, полз по песку к воде, чтобы искупаться. Женщина, подоткнув юбку и зайдя в воду до колен, полоскала белье. Поодаль остановилась «Победа», и семейство, приехавшее в ней, располагалось на отдых, устанавливая в лиде тента сверкающую белизной простыню.

Тропинка, которую я выбрал, обогнула большой песчаный карьер, изоборожденный следами шин и гусениц, и вывела на просторную плоскую

луговину, по которой там и тут, то группами, то в одиночку, росли деревья. В это-то время я и услышал за спиной учащенное дыхание бегущего человека. Обернулся — Роза.

— Что-нибудь я забыл?

— Ничего не забыл. Я пойду с тобой.

— Куда?

— Куда ты, туда и я. И не возражай. Так я тебя одного и отпустила. И не смотри, пожалуйста, таким взглядом на мои босоножки. Каблуки у них мы сейчас отобьем, а то дойдем до магазина и купим какие-нибудь парусиновые.

— До какого магазина?

— До сельпо. Думаешь, я меньше твоего понимаю в деревенской жизни? В каждом селе есть сельпо, там и купим. Короче говоря, давай мне половину вещей и пойдем дальше.

— Так сразу и половину!

— Ну ладно, не хочешь половину, давай фотоаппарат.

Вот каким образом я утратил свое одиночество, еще не успев насладиться им.

Река, вдоль которой мы пошли, то и дело круто поворачивала то вправо, то влево, так что поблескивающее зеркало ее упиралось вдали то в заросли ивняка, то в песчаный обрыв. Наконец нам надоело это, и мы решили уйти от реки по первой дорожке. Вскоре вправо, на довольно крутой пригорок, заросший дубами, повела тропа. Мы пошли по ней, и через полчаса матерый сосновый лес окружил нас. Безмолвно и тихо было в этом лесу. Там, высоко-высоко, где яркая зелень сосновых крон оттенялась яркой же безлистной облаков, может, и бродили какие ветерки, у нас внизу было тихо. В неподвижном нагретом воздухе крепко пахло медом, и некоторое время мы не могли решить, откуда исходит медвяный запах.

Все знают, как красиво и заманчиво выглядывают по осени из темной глянцевиной зелени яркие кисточки брусники, словно капельки свежей крови, но мало кто замечал, как цветет этот вечнозеленый боровой кустарничек. Нам и в голову не могло прийти, что вон та невзрачная цветочная мелюзга может напоить огромный бор своим ароматом. Я сказал «невзрачная цветочная мелюзга» и тем незаслуженно оскорбил один из самых изящных и красивых цветов. Нужно только не полениться сорвать несколько веточек, а еще лучше опуститься на колени и бережно разглядеть.

То, что издали казалось одинаковым, поразит вас разнообразием.

Вот почти белые, но все же розовые колокольчики собрались в поникшую кисть на кончике темно-зеленой ветки. Каждый колокольчик не больше спичечной головки, а как пахнет. Это и есть цветы брусники.

А вот тоже колокольчик, но очень странный. Он совсем круглый и похож больше на готовую ягоду, уже и покрасневшую с одного бока. А еще он похож на крохотный фарфоровый абажурчик, но такой нежный и хрупкий, что вряд ли можно сделать его человеческими руками. Будет чем полакомиться осенью и ребятишкам и тетеревам. Ведь на месте каждого абажурчика вызреет сочная, черная, с синим налетом на кожице ягода — черника.

А вот собрались в кисточку крохотные белые кувшинчики с яркими красными горлышками. Кувшинчики опрокинуты горлышками вниз, и из них целый день льется и льется аромат. Это целебная трава толокнянка. Нет, только издали похожи друг на друга боровые цветы. Если взглянуть, по тонкости работы, по изящности и хрупкости ничем не уступит брусничный колокольчик другому большому цветку. У ювелиров, например, мелкая работа ходит в большой цене.

Временами между кочками или пнями попадались аккуратно посланные светло-шоколадные коврики кукушкина льна, этого непременно обитателя сухих сосновых лесов.

На серой лесной земле, на плотной зеленой дерновинке светились тут и там небольшие белые-белые пирамидки. Это кроты разглашают лесную тайну, что стоит этот лес на чистых речных песках.

Попадались и большие поляны, где лес был начисто вырублен. Залитые солнцем, паслись на таких полянах маленькие сосенки. Казалось, матерые деревья выпустили своих детишек поиграть да порезвиться, а вот придет вечер — и позовут, покличут обратно под свой темный и мрачный полог.

Одного мы не могли разгадать. Тянулись рядом с дорогой, по обе стороны от нее, необыкновенно ухоженные, разметенные тропы, да еще вроде и присыпанные песком. Думали мы, думали, да так и оставили до случая.

И было цветение сосны. Стоило ударить палкой по сосновой ветке, как тотчас густое желтое облако окружало нас. Медленно оседала в безветрии золотая пыльца.

Еще вчера, еще сегодня утром принужденные жить в четырех стенах, отстоящих друг от друга не больше чем на пять метров, мы вдруг захмелели от всего этого — от борových цветов, от солнца, пахнущего смолой и хвоей, от роскошных владений, вдруг ни за что ни про что доставшихся нам. Меня еще сдерживал рюкзак, а Роза то убежала вперед и кричала оттуда, что попались ландыши, то углублялась в лес и возвращалась, напуганная «огромной птицей», выпорхнувшей из-под самых ног.

Между тем впереди, сквзсь дерегья, сверкнула вода, и вскоре дорожка привела к большому озеру. Озеро это было, можно сказать, без берегов. Шла, шла густая сочная трава лесной поляны, и вдруг на уровне той же травы началась вода. Как будто лужу налило дождем. Так и думалось, что под водой тоже продолжается трава и что затопило ее недавно и ненадолго. Но сквзсь желтоватую воду проглядывало плотное песчаное дно, которое уходило все глубже и глубже, и по мере того, как уходило оно в глубину, чернее и чернее становилась озерная вода.

Были устроены узкие длинные мостки, невдалеке от которых, привязанная к дереву, дремала на воде плоскодонка. Четко, как нарисованная тушью, отражалась она в коричневатом зеркале озера. На поляне, шагах в тридцати от берега, стоял большой, не старый еще бревенчатый дом с террасами. На другом берегу озера белели каменные постройки. Оттуда доносились голоса, обрывки песен, девичий смех.

Неслышно подошел и встал сзади нас человек. Мы оглянулись, когда он кашлянул, и не знаем, долго ли стоял он молча. Ему было лет шестьдесят. Он был брит, сухощав и морщинист, а на голове копна не то курчавых, не то непричесанных волос. Болотные резиновые сапожищи бросались в глаза прежде всего.

— Дворец-то ваш? — кивнул я на дом с террасой.

— Нет, милый, я ведь здешний лесник, а у лесника какие дворцы. Завхоз был один, вон там работал, — старик показал на другой берег озера, — да, сорок лет работал, и разрешили ему здесь поставить дом. Ну, вот он и поставил. На царском месте дом-то, можно сказать, стоит. А тоже ведь помер, завхоз-то.

— Давно лесничаете?

— Как же не давно, когда сорок лет. Я еще при хозяине здесь лесорубом работал. Это ведь все Ивана Николаевича Шелехова владение было. Ба-агатый человек был Шелехов.

— А где он жил, не в тех ли каменных домах, что за озером?

— Нет, милый, в домах монастырь был Введенский, и озеро по нему Введенское называется. Хрошее озеро, рыбное. Вон колышек в воде забит. Поезжай на рассвете с удочкой, привязывай лодку к колышку, и что же — за час конная бадьа скуней. Сушью бадьа-то, без воды. Опять же вода интересная. Сделается она к вечеру вроде как кипяченая. У меня

от резиновых сапог суставы ломит, так я вечерком полазаю босой часа два или три — и опять бегают мои ноги. А другим и невдомек, что может быть такое средство. В другой раз, чтобы попусту не лазать, возьмешь бредешок. И ногам облегчение — и две корзины лещей. Лещ-то убывает теперь. Леща торфяная вода губит. Задыхается наше озеро почесть каждую зиму, а рыбе это ущерб. Конечно, глубины большой нету, шесть метров — самая глубина. Вон Белое озеро рядом, у того другая статья. Вода — что слеза! И глубины метров тридцать пять будет. Ямой оно, Белое-то озеро, огромной ямой. Зато и холодна же вода. Рыба от холодной воды вся и ушла. Видать, подземное сообщение у того озера с рекой... или с морем каким... — И он вопросительно посмотрел на нас, как мы будем реагировать. Может, проверить хотел на новых людях правдоподобность самого звучания нравящейся ему невероятной гипотезы. — Да, там уж не полазаешь по воде, чтобы ноги-то, значит, не гудели.

Все же нужно было вернуть старика на то место, с которого он так резко утрусил в сторону.

— Если не в каменных домах, то где же жил твой Шелехов, во Владимире, что ли?

— Во Владимире?! Скажете тоже. Стал бы Шелехов жить во Владимире. В Варшаве, вот где он жил. Но только скажу я тебе, не жил он, а лежал в параличе. А в лесу своем и в добром здравии не бывал ни разу.

— Как же так, имел такое богатство, такую красоту и совсем не пользовался?

— Зачем «не пользовался»? Деньги к нему текли. А насчет красот-то, так ведь их только наш брат, лесник, в достоверности ценить способен, потому как вся жизнь в лесу. Кошка к собаке и та привыкнуть может, если подольше да сызмальства приучать, а человек к лесу и подавно, то есть так привыкаешь, как к жене или вообще живому существу. Вон сосна, она все одно что живая, с ней и поговорить можно.

Мы попрощались со стариком, но тут я вспомнил про загадочные тропинки возле дороги и вернулся. Старик посмотрел на меня ласково.

— А это, мил человек, мы от пожара. Вот идешь ты бором, кинешь спичку или окурок — начнется пожар. А как же, непременно начнется! Однако дорожка эта огонь в лес не пустит. Мы, мил человек, блюдем лесок-то, а как же, очень даже блюдем!

Перед нами встал роковой вопрос, куда же идти теперь, глядя на закатное солнце.

В начале пути, когда мы отходили от реки, мелькнула в стороне деревенька. Значит, нужно было добраться хотя бы до нее. Теперь нас не прельщали уж красоты леса. Быстро наступающие сумерки подгоняли нас. А когда мы добрались до деревеньки, совсем стемнело. В одном из домов зажегся свет. Набравшись храбрости, мы пошли на огонь...

На этом окончился первый день нашего странствия.

День второй

Бодро, хорошо идти по земле ранним утром. Воздух, еще не ставший знойным, приятно освежает гортань и грудь. Солнце, еще не вошедшее в силу, греет бережно и ласково. Под косыми лучами утреннего света все кажется рельефнее, выпуклее, ярче: и мостик через канаву и деревья, подножия которых еще затоплены тенью, а верхушки влажно поблескивают, румяные и яркие. Даже маленькие неровности на дороге и по сторонам ее бросают свои маленькие тени, чего уж не будет в полдень.

В лесу то и дело попадают болотца, черные и глянцево-зеленые. Тем зеленее трава, растущая возле них. Иногда из глубины леса прибежит ручеек. Он пересекает дорогу и торопливо скрывается в лесу. А в одном месте к нашим ногам выполз из лесного мрака, словно гигантский удав, сочный,

пышный, нестерпимо яркий поток мха. В середине его почти неестественной зелени струился коричневый ручеек.

Нужно сказать, что коричневая вода этих мест несколько не мутна, она прозрачна, если зачерпнуть ее стаканом, но сохраняет при этом золотистый оттенок. Видимо, очень уж тонка та торфяная взвесь, что придает ей этот красивый цвет. Из ручейка, текущего в мягком и пышном зеленом ложе, мы черпали воду горстями, и она оставляла впечатление совершенно чистой воды.

На лесной дороге, расходясь веером, лежали тени от сосен. Лес был нестарый, чистый, без подлеска — будущая корабельная роща. В стороне от дороги вдруг попался сколоченный из планок широченный диван без спинки. Он весь был изрезан надписями, именами тех, кто захотел увековечить себя подобным образом. Мы отдохнули на диване, наблюдая, как по стволу сосны с быстротой и юркостью мышонка шныряла вверх-вниз птичка поползень.

Вскоре окрашенные в белую краску ворота дома отдыха «Сосновый бор» объяснили нам и присутствие дивана в лесу и происхождение надписей на нем. Нам нечего было делать в доме отдыха, и мы свернули на окружную дорожку.

Километра через два слева потянулись кусты, какие могут расти только по берегам небольшой речки. Из кустов вышел на поляну рослый краснощекий парень. На нем были штаны, закатанные выше колен, и выпущенная поверх штанов широкая белая рубаха. На ногах ничего не было. В одной руке он держал удочку, а в другой — кукан с рыбешкой. Пробираясь сквозь кусты, рыболов осыпал себя росой, и теперь она посверкивала в его волосах. Светилось и лицо парня, довольного своим уловом и тем, что вот посторонние люди видят его улов. А может, просто хорошо было ему на реке ранним утром.

— Как же называется эта водная артерия? — полюбопытствовали мы.

— Это наша Шеридарь, — ответил парень, — с ней не шути, без разбегу ни за что не перепрыгнешь.

— Какая рыбешка водится в вашей Шеридари?

— Э, тут полно всякой рыбы. Есть щука, окунь, плотва, пескарь, язь, красноперка, голавль.

— А налимов разве нет?

— Как же, есть и налимы, вот ведь совсем вылетело из головы. Без налимов никак нельзя.

— Наверно, водятся и ельцы?

— Водятся, — обрадовался шеридарский патриот подкачке. — Вот он, елец-то, на кукане. Сейчас под Кукуевой дачей в проводку выхватил. Ельца очень даже много.

— Ну, желаем удачи. Время на нас не тратьте, теперь самый клев.

— Не, жена и так небось добела раскалилась. Я ведь утайкой. Надо бы поросенка на базар везти, а я вот на Шеридарь. Ну да ничего, ушицы небось и ей хотца.

Мы посочувствовали парню и ушли далеко от него, как вдруг услышали, что он догоняет нас и окликает. Подождали.

— Вот ведь беда какая, совсем забыл...

— Да что забыл-то?

— Ерша! Ерша забыл! Еще и ерш в Шеридари водится. Ну, будьте здоровеньки. Хорошо, что догнал, а то ведь вот беда, ерша-то я и забыл!

Неожиданно кончился лес, и, распахнувшись до дальнего синего неба, ударила в глаза росистая яркость лугов. Сплошные заросли лютика густо позолотили их. Из убегающей вдаль и почти сплошной желтизны кое-где могучими округлыми купами поднимались ветлы.

По длинной и зыбкой лазе, сделанной из трех связанных бревен, мы перебрались наконец через Шеридарь и пошли направо, держась неда-

леко от ее берега. Роскошные вначале луга постепенно перешли в луг умирающий, покрытый кочками. Ведь у луга, как и у всего живущего, есть своя молодость, зрелость, умирание. Щучка и белоус — эти злые враги цветущих лугов — обильно разрослись здесь, закупорив почву своими плотными, теперь уж сросшимися в войлок дерновинками. Из-под войлока не пробиться цветам.

Солнце начало припекать, ноги разгорячились от ходьбы, и мы приглядывали место, где бы искупаться. Но берег был дурной, метра за два до воды начиналась топь, грязь, да и вода не внушала доверия. На ней местами лежал белый налет, вроде паутины, плавали разные палки и бойко бегали водомерки. Наконец попался округлый омуток, метров десять — пятнадцать в ширину. Песчаная отмель резко и косо уходила в воду, обещая порядочную глубину. Подобные бочаги на малых реках бывают очень глубоки и студены, на дне у них, как правило, шевелятся в тине родники. Действительно, вода показалась ледяной, но какое блаженство было шлепать босыми разгоряченными ногами по этой воде.

В незнакомую воду бросаться всегда тревожно, если даже это и Шеридарь. По крайней мере тревожнее, чем заходить в незнакомый лес и город.

У каждой реки есть своя душа, и много в этой душе таинственного и загадочного. Пока не поймешь ее, не почувствуешь — всегда будет тревожно. Мне показалось, что под кустом у того берега обязательно должен прятаться рак. Я переплыл и пошарил в норе. Действительно, там был рак. Через этого рака и Шеридарь оделалась ближе, понятнее: точь-в-точь как на нашей Ворше, раз должен там сидеть рак — значит он и сидит.

Потом, когда, отдохнув, мы отошли от реки, попалась нам ватага мальчишек. Мы спросили у них, глубок ли омут.

— Что вы, дяденька, вам и по шейку не будет. Самое большее — по пазушки.

Если бы знал я, что в омуте «и по шейку не будет», не лезла бы в голову разная блажь про речные души. Раз есть дно, значит не может быть никакой души, никакой сказки.

На горе, куда нам предстояло подняться, из-за деревьев выглядывала беленькая церковка с зеленой крышей. От ребятишек мы узнали, что это село Воскресенье.

Дорога в село шла между церковью и пионерлагерем. Слева в пионерлагере за аккуратным забором виднелись разные деревянные горки, качели, турнички. Пионеров самих не было. Наверно, это их видели мы издалека, когда шли лугом.

Первое, что бросилось нам в глаза в селе Воскресенье, — это отсутствие садов и огородов. Давно замечено, что в лесных местностях, где крестьянам приходилось постоянно бороться с лесом, нет в деревнях ни деревьев, ни садов. Взять хотя бы республику Коми. Там под окнами избы или сзади нее вы никогда не увидите дерева. А зачем оно, если кругом тайга! В какой-то степени это приложимо и к наиболее лесным районам средней полосы. Но чтобы в русской деревне не было даже и огородов, это совсем странно. Каждый дом в Воскресенье стоит как бы на лугу, среди высокой травы и ярких цветов, главным образом лютика и одуванчика. Подивившись на это, мы пошли дальше.

Дорога повела то лугом, то полем, то темным лесом.

— Как называется село? — спрашивали мы часа через полтора у девушки, что с трудом вырливала на велосипеде по узкой тропинке.

— Перново, — кинула девушка на ходу.

Может, ничего не осталось бы в памяти от этого села, кроме его названия, если бы не вдумали мы напиться здесь молока. Потом мы пили молоко в каждой деревне, так что к вечеру, по самым грубым подсчетам,

набиралось литра по три-четыре на брата. В Пернове мы осмелились спросить молока впервые.

Тетенька, в окно которой мы постучали, бросила шитье (она шила что-то на машинке) и отправила нас к соседке.

— Уж у нее-то, наверно, есть. А мы и корову не держим.

Соседка сокрушенно покачала головой.

— Нет, милые, своих шесть ртов, все припиваем. А спросите вы вот у кого. Этот дом тесовый — раз, под красной крышей — два, потом еще четыре дома пропустите (здесь все многосемейные), а в седьмом доме поинтересуйтесь, у них народу мало.

Старуха лет шестидесяти, плотная и полная, восседала в ояне с наличниками, как бы вставленная в ажурную рамку.

— Много возьмете?

— Да хоть пол-литра.

— Эк вы жадные, стану я из-за пол-литра крынку починать. Берите всю. — Она исчезла из окна, и минут десять ее не было. Потом она вынесла нам две литровые банки. Я как отхлебнул, сразу и понял, что молоко если не наполовину, то на треть разбавлено водой, хорошо если кипяченой. Безвкусная жижа никак не пилаась, хоть выливай на землю. Негромко, про себя, заговорила Роза:

— Вот бабушка добрая — жирного молока нам продала. А бывают такие бесовестные старухи, не только снятым — разбавленным торгуют. Поболтаешь по банке, а стенки чистые-чистые остаются. — При этом, конечно, она поболтала молоком по банке, и стенки, конечно, остались чистые-чистые.

Старуха побагровела.

— Вы думаете, мне деньги ваши дороги? Вот ваши деньги, — и она бросила их на землю, но тут же схватила снова, видя, что Роза сделала некое движение в сторону тех денег.

— Бабушка, да мы не про вас, мы про тех, бесовестных...

Я воспользовался переполохом и вылил молоко в пыль. Оно должно стояло синей лужицей, не впитываясь и не растекаясь. Мальчик с удочками, лет семи, наверно внучонок, внимательно смотрел на происходящее.

Почти напротив старухи магазинчик. Больше из любопытства, чем из нужды, мы зашли в него. Вот добросовестно записанный мною немудреный ассортимент магазинчика: колотый сахар, рожки, повидло, треска в масле, концентраты пшенной и рисовой каши, сельдь атлантическая пряного посола, соевый белок, сухари (из простого хлеба), конфеты и пряники. Этот магазин отличался еще и тем, что повидло в нем не пузырилось и не было на прилавке растаявшей халвы.

Продавщица, молодая женщина, сказала, что хлеб в этой деревенской лавке бывает каждый день. Возят его из Покрова, то есть из ближайшего города. Мы рассказали ей про старуху и про молоко.

— Ах она старая ведьма! — возмутилась продавщица. — Ах она кулачка такая! Вы бы и не связывались. А у нас в магазине, может, и побольше бы товаров было, да я ведь не продавец, а завклубом.

— Почему же вы встали за прилавок?

— Старый продавец вроде той бабки делал. Мука стоит два сорок пять, а он ее по три десять. Его и посадили. Теперь временно мне приходится торговать.

...С первого дня стало ясно, что идти придется только с утра и к вечеру, потому что уже к одиннадцати часам устанавливалось тридцатиградусное безветрие. Дышать становилось трудно, мы обливались потом, а от спины, когда снимешь рюкзак, начинает куриться парок, словно к ней прислонили утюг. Было решено с одиннадцати до четырех или даже пяти часов лежать в тени, по возможности около речки.

На выходе из Пернова, где так неудачно окончилась первая попытка напиток молюка, прямо к нашим ногам грибежала, откуда ни возьмись, речушка с красивым названием Вольга. Убрать только из слова мягкость, и пожалуиста — великая русская река. Правда, для того чтобы стать Волгой, нашей Вольге не хватало бы еще кое-чего. Но это уж дело десятое.

Коричневая водичка пробиралась между луговыми цветами, через кустарники, мимо развесистых ив и раки, бережно заслоняющих ее от жадного солнца. Сидение наше на Вольге не обозначилось ничем замечательным, разве только тем, что понаблюдали, как шестеро парней возились с бредешком в небольшом омутке. Получасовое старание их увенчалось изловлением щуренка граммов на четыреста и плотицы. Тут подошли двое мужчин, посмотрели улов и серьезно сказали: «Ого, порядочно». Оценка эта, надо думать, определилась не вежливостью мужчин, а масштабами и самой речки и ее рыбных ресурсов.

Разморенные жарой, с болью во всем теле (еще не втянулись в путешествие), мы побрели дальше. На карте виднелся впереди маленький прямоугольничек — какое-то Головино. Оно и стало нашей заветной целью на сегодня.

Добрести бы к вечеру до Головина, а там будем ночевать, попросим самовар, отлежимся.

В это время сзади и послышались те звуки, в которых с закрытыми глазами можно узнать урчание грузовика, пробирающегося по проселку. Все же нужно отдать должное нашей стойкости — никто из нас не поднял руки, чтобы остановить автомобиль.

Из кабины высунулось веснушчатое круглое лицо с улыбкой, что называется, от уха и до уха.

— Садитесь, чего мучиться-то, с ветерком подброшу.

Мы сели и, не заметив как, оказались в Головине. Только одно место успела сфотографировать память. Начинаясь прямо у дороги, уходила в глубину леса округлая ядовито-зеленая трясина, а по краям ее все мертвые и мертвые деревья. Сначала маленькие елочки, потом выше, выше и, наконец, большие, почерневшие, отравленные ели и сосны. Передние ряды елочек уж и упали в трясину и тонут в ней. Другие стоят как бы на коленях, по пояс. Само сочетание ядовитой зелени с черным обрамлением оставило жуткое впечатление. Кажется, это было на середине дороги от Пернова до Головина. Мы думали, что впереди будет много еще трясин, и не очень жалели об этой. Но больше ничего подобного нам не попадалось.

В Головине, у крайнего дома, мы расплатились с водителем (он взял с нас два рубля) и пошли вдоль села. Навстречу нам бежала с другого конца женщина в годах, одетая довольно небрежно, босая и, как нам показалось, растрепанная. Она бежала и что есть силы трясла колокольчик, каким в школах собирают детей на урок.

Выбрав дом поопрятнее, мы постучались в окно.

— Не пустите ли ночевать?

— А вы кто такие?

— Страннички, с чужбины на родну сторонушку пробираемся.

— Ступайте с богом!

Бог надоумил нас прийти в правление колхоза.

По узкой лестничке поднялись вверх и наткнулись на запертую дверь председательского кабинета. В комнате направо сидели бухгалтер и счетовод. Неважный вид был у этого помещения. Стены закопченные, голубенькие обои висят клочьями. Потолок в середине обуглен, и бумага с него оборвана. Должно быть, к потолку была подвешена лампа, и от нее чуть не случился пожар. На полу похрустывала семечковая лузга. Сесть нам не предложили. Мы подумали и расселись сами.

Тут внизу раздались брань и крики. Ругалась женщина. Вот она появилась сама. Мы узнали в ней ту, что бегала по селу с колокольчиком. Она-то и пошла проводить нас на ночлег.

— А вы кто же в колхозе? — любопытствовали мы у женщины.

— Бригадиром зовусь. Село-то эх растянулось. Побегай вдоль него да оповести каждого, чтобы на работу шел. Теперь, правда, сами идут, да еще и ругаются, если нарядить забудешь.

— Почему так?

— Денег стали давать на трудодни, поправляться начали. А ведь что было — слезы, да и только! Вы завтра с председателем потолкуйте, он вам все расскажет.

— А зачем вы с колокольцем бегаєте?

— На работу колхозников зову. И утром бегаю, и в обед, и при всякой нужде.

— В других деревнях это проще — вешается на столбе кусок рельса или буфер. Подойдет бригадир, постучит железной палкой...

— Не знаю, чего наши думают, конечно лучше было бы.

— Сами вы чего думаете? Вы же бригадир! Дайте наряд, все и сделают.

Тут мы дошли до места.

На ночлег нас определили в просторный дом, где пахло вымытыми стенами, чистотой.

Молодая хозяйка дома показала нам и сарай с сеном. Но сено было там прошлогоднее, прелое, кроме того, из погреба тянуло затхлой сыростью. Мы остались в избе.

К потолку горницы подвешены елочные игрушки, на стене бумажная тарелка репродуктора, в переднем углу иконы, на комодке патефон и пластинки. Рядом швейная машинка. Во весь пол постланы мягкие коврики, сшитые из разноцветных тряпочных лоскутков. На застекленной дверце посудного шкафа с обратной стороны приделаны картинки — породы кур. На стенах — для красоты — плакаты: жеребец-битюг Сатир, огромный розовый хряк, плакат с призывом вступать в Общество Красного Креста, плакат, где три пионера держат в руках книжки и улыбаются, и, наконец, плакат-лозунг: «Играйте в волейбол!» В окне виден широкий луг, речка и лес позади нее.

Молодайка начала хлопотать с самоваром. В колхозе она не работает, а сидит с детьми. Работает в колхозе тетя Настя — мать мужа.

— А где сам муж?

— Он вообще-то в плотницкой бригаде — свиарник да овчарню ставят. Теперь в колхозе большое строительство пошло. Ну, а сегодня вся бригада поехала рыбу ловить.

— Выходной разве?

— Председатель в Покров уехал, да и жарко очень, вот и ушли на рыбалку. Сейчас придут, выпивать начнут, проколобродят до полуночи.

На столе появился самовар, сахарница с мелкими кусочками рафинада, тарелка с черным хлебом.

Дед мой любил пить чай с полотенцем, то есть он вешал на шею полотенце и пил, вытирая обильный пот, стаканов по пятнадцать. Видимо, осталось что-то и во мне от деда, потому что полотенце скоро понадобилось. Нужно сказать и то, что целый день мы шли по жаре и что, самое главное, чай был необыкновенно вкусен и душист. Как ни пытались мы выяснить у хозяйки, что за чай, из чего приготовлен и как, она ничего не могла сказать. Твердила только, что чай делает бабка. Вот придет и расскажет, если захочет.

Стало темнеть, и в доме появилась высокая сухая старуха. Это была тетя Настя. Мы так и набросились на нее с расспросами о чае. Она сдержанно улыбалась, довольная, что ее чай хвалят, скромничала.

— Что уж хорошего-то, листочки пьем.

— Да чьи листочки?

— И земляничные можно пить и малиновые, а кто любит брусничные, а кто и смешивает.

— Что же, вы сушите их в печке, и все?..

— Было бы очень просто. Тоже надо знать, когда сорвать листочки-то...

— Вот и расскажите, когда же?

Но старуха ни за что не хотела рассказать, как она делает столь вкусный чай. Даже в дорогу дала нам горсть, вытряхнув остатки из огромного осьминного мешка, а рассказать не захотела.

Потом у Верзилина, в его книге о съедобности диких растений, я вычитал рецепт приготовления чая из земляничных и малиновых листьев. Но не думаю, чтобы бабка пользовалась таким рецептом.

Верзилинского рецепта нам попробовать не удалось, но должен сказать без преувеличения, что вкуснее бабкиного я чаев не пивал. Замечу также, что он был красивого темно-золотого цвета.

Часов около одиннадцати, когда мы засыпали, вернулся с рыбалки хозяин. Он включил репродуктор во всю мощь и ушел выпивать. Пришел снова в два часа, а под утро начал стонать и охать: болела голова. Однако, когда мы встали, его не было. Так мы и не увидели нашего хозяина.

День третий

День, насыщенный событиями и впечатлениями, пролетает быстро, но зато потом, в воспоминаниях, он кажется огромным.

День бездарный (если, к примеру, проваляться с утра до вечера на диване) тянется с год, а станешь вспоминать — пустое место, словно его и не было.

Мы жили в путешествии насыщенными днями, и теперь, когда прошло время, кажется, что поход длился не сорок дней, а гораздо, гораздо дольше.

Рано утром, позавтракав молоком с хлебом и яйцами всмятку (это была наша обыкновенная еда и в завтрак, и в обед, и в ужин), пошли искать председателя колхоза.

Возле его избы, в зеленой травке, паслось десятка два хорошеньких желтых цыплят; может быть, цыплята запомнились потому, что председатель пил чай и мы четверть часа ждали его на завалинке. Потом он вышел. Это был мужчина лет тридцати восьми, безусый и безбородый, с розовым лицом. Из-под верхней губы выглядывала как бы еще одна губа, особенно когда он улыбался. Председатель оказался словохотливым человеком.

— Ну, что ж вам рассказать? Я ведь недавно председательствую — второй год. Колхоз был объединенный, дела в нем шли очень плохо. Вы это знаете: ошибки, культ личности и прочее. Колхозники получали на трудодень сущие пустяки, вот они и разбегались в города, конкретно в Покров, Орехово-Зуево, Ногинск... А кому некуда было бежать, жили грибами, ягодами, картофелем с усадьбы. На колхозную работу не шли. Земля долгие годы не видела навоза. Скот весь содержался в соседней деревне. Там скотный двор до крыши навозом оброс, а земля истощилась. Коровы давали по четыреста литров в год, то есть курам на смех... Потом начались крутые меры по подъему деревни. Это вы тоже знаете. Тут нужно главное выделить. А главное, на мой взгляд, изменение налоговой политики — раз, повышение заготовительных цен — два, сокращение долгов и ссуды колхозникам — три. Взять те же заготовительные цены. Восемь рублей давало государство колхозу за центнер хлеба.

А сейчас, как-никак, двадцать рубликов. В прошлый год колхоз разъединили и правильно сделали. Потому что главная задача объединения — создать большие поля — здесь, в нашей полосе, все равно не удастся: там овражек, там буеражек, там лесок, там рошица. А руководить хуже — все далеко, все не под руками. При разъединении поступили с Головином несправедливо: выделили нам самых плохих коров, самых старых кур, самых тощих свиней.

Ну что ж, начали мы колхоз поправлять. Работать никто не идет, а мы — аванс по три рублика на день. Колхозничек зашевелился. На лесозаготовки раньше народ отрывался, а мы говорим: «Ни-ни!» Кончился год — на трудодень по пятерке. Ого, как взволновался народ. Старушке восемьдесят пять лет, а туда же шумит: «Почему работы не даете?» Хорошо, говорю, бери цыплят на воспитание. С цыпленка платить буду. Что же, взяла бабка шестьсот цыплят. В прошлом году на трудодень по пятерке, а в этом — аванс шесть рублей, а всего планируем по червонцу. Взлет! Так вот и поднимаем...

Скотный двор поставили, овчарню. Теперь за свинарником очередь. Про клевер забыли, какой он есть. А мы теперь клеверок, клеверок сеем. Десять га целины подняли под эту, как ее... траву... под тимофеевку. Коровы с каждым годом молока прибавляют. Мало еще, но прибавляют, черт их дер! Теперь вот из Рязанской области в наш колхоз девять семейств перебралось. Значит, и народ прибывает. В прошлый год восемь тысяч рублей израсходовали на питание горожан, что помогать нам приежали, а теперь своими силами справляемся.

— Почему рязанцы приехали?

— А я завербовал, сагитировал. Так говорю и так: «Давайте в наш колхоз!»

Тем временем мы дошли до мехцехов, которыми председатель обязательно хотел похвастаться.

— Здесь мы делаем дранку для крыш. Стоит она триста рублей за кубометр, а если осиной продавать — пятьдесят рублей, значит обращаемся мы с осиной по-хозяйски. А здесь у нас циркулярная пила.

— И леском приторговываете?

Председатель весело подмигнул мне и ничего не ответил.

— А вот была мельница. Когда-то она работала.

Размытая и разрушенная плотина мельницы (все на той же Вольге) представляла жалкое зрелище. Разваливался и сарай, хранящий еще внутри, на перекрытиях, толстый слой почерневшей мучной пыли, может быть двадцатилетней давности. Но сытный и вкусный мучной дух, какой бывает на мельницах, давно выветрился.

— В ближайший год восстановим и пустим эту штуку. Пусть крутятся жернова, веселее жить будет.

Председатель, конечно, прихвастнул в той части, что приписал себе то, что от него вовсе не зависело. Лесозаготовки отменили сверху, а не то чтобы «у нас ни-ни», авансирование деньгами колхозников проводилось в масштабах страны, рязанские семьи он не вербовал, они приехали сами. Строительство стало возможно благодаря государственным ссудам, а отнюдь не председателевой изворотливости. Но это все мелочи — главное было в том, что колхоз действительно креп.

Ведь мы вышли в поход как раз в то время, когда в деревне начали сказываться результаты государственных мер и постановлений. Забегая вперед, следует сказать, что в каждой деревне мы видели новые скотные дворы, свинарники, овчарни, зерносклады... В каждом, даже очень слабом колхозе (скоро попадется нам такой) чувствовалось оживление, вывозился на поля накопленный за десятилетия навоз, больше молока давали коровы. Я представил себе такое. Допустим, через сто лет возьмет

историк современные нам газеты и начнет выписывать из них только сводки по надюю молока в колхозах. Так вот, даже по одним этим сводкам (даже если условно допустить, что он мог не знать других событий) он должен будет заключить, что в жизни страны около 1953/54 года произошло что-то такое, от чего коровы (по всей стране!) начали давать больше молока.

Мы нарочно не пропустили ни одной деревни и везде спрашивали: так ли это? Да, это было так.

...Развернув карту, мы увидели, что от Головина нет в глубину Ополя, куда мы стремились, никаких дорог и дорожек, а дороги от него идут на город Покров, то есть назад, почти к тому месту, от которого мы вышли.

В нескольких сантиметрах от Головина заманчиво маячило село Жары. Но пространство между этими селами было залито ровной зеленой краской, и только тонюсенькая голубая ниточка некой речки Кучебжи прорезала лесной массив.

А между тем, глядя на карту, было ясно, что Жары для нас — ключ к Ополю, что там мы попадаем на проселки, ведущие к городу Кольчугину, а там не за горами и Юрьев-Польский — «столица» Владимирского ополя. Это был путь в глубину, тогда как, возвратившись в Покров, мы вышли бы снова на автостраду Москва—Горький, то есть вынырнули бы на поверхность, не успев окунуться.

Вот почему, несмотря на то, что головинский председатель сулил до Покрова автомобиль, мы решили форсировать лесное пространство и обязательно выйти к Жарам.

— Не советую,— качал головой председатель.— До Маховой сторожки еще кое-как доберетесь. А там обязательно заплутаетесь. Нет до Жаров дороги, для нас это неезжая сторона. Зайдете сейчас в лес, ну есть тропа, заросшая, но есть. Потом пойдут тропы вправо, влево, что будете делать? Если же выйти на Кучебжу и продираться до Жаров ее берегом, то это тяжело, потому что продираться придется через кусты, через малинник, через крапиву, через болота. Река к тому же вилает, путь удлинится втрое. Лошаденку я бы вам дал, но на лошади и вовсе не проехать. В иных местах топь не пустит.

Мы все же решили идти.

Тогда председатель велел позвать некоего Петровича, который один знает дорогу и все может разъяснить.

Петрович был заросший щетинкой темноволосый мужик с красным распухим веком. Он старательно принялся рассказывать все повороты, но потом сам запутался и вдруг сказал:

— Ладно, версты четыре я вас провожу, а там уж и расскажу дорогу. А здесь все одно собьетесь!

В сопровождении Петровича мы углубились в лес.

Кто хоть раз приглядывался к лесам, тот сразу отличит лес колхозный от леса государственного. В колхозном лесу нахламлено, валяются и гниют сучья, валежник, верхушки деревьев, торчат повсюду непомерно высокие пни, там и тут истлевают деревья, которые спилить-то спилили, но так почему-то и не вывезли. Деревья в колхозном лесу режут где попало, без системы, молодняк не прореживают. Что уж тут говорить о противопожарных дорожках, посыпанных песком, вроде виденных нами у Введенского озера.

В лес государственный вы входите, напротив, как в хорошо прибранную комнату, в нем просторно, красиво, торжественно. Сучья где попало не валяются, а если они и есть, то в аккуратных кучах, припасенные к сожжению или вывозке. Не встретишь тут и высокого пня, а если и есть пни, то на порубке, когда целые делянки сводятся начисто. Пустые места тут засажены молодыми деревьями, молодые деревца растут по линейке.

Сначала Петрович вел нас колхозным лесом. В этом не могло быть сомнений. Впрочем, сначала мы больше слушали Петровича, чем смотрели по сторонам: идя с провожатым, не обращаешь внимания на дорогу.

Из разговоров с Петровичем постепенно вырисовывался тип мужика, для которого свет сходится узким клином, а там, в самой узости клина, в самом его просвете, маячит не что иное, как кругленькая медная копейка. Какой бы ни заходил разговор, Петрович умел незамедлительно свести его к одному и тому же.

В глухом лесу от Розы можно было ждать естественного вопроса, и она его вскоре задала:

— А что, волки в этом лесу водятся?

— Полно́ их, — успокоил ее Петрович. — Да трудно взять. Ко мне прошлый год в сарай забежал. Ну, я его и покончил. Молодец волк, сам деньги принес — пятьсот рубликов!

— Наверно, грибы здесь?.. — старался я перевести разговор с неприятной темы о волках.

— Неуж мало! Я один год, вскорости после войны, восемнадцать ведер груздей засолил, и продал я их в одно питательное учреждение за восемнадцать пол-литров водки.

— Зачем вам понадобилось столько зелья? Да и продешевили..

— Продешевил!.. Водка на базаре в то время стоила сто двадцать рубликов пол-литра. Вот и считай..

— И теперь солите, грузди-то?

— Солю. Шофера кажинный раз ко мне заезжают. Закуска нужна шоферам. Супротив же соленого груздя ни одна закуска устоять не может. Те грузди я, значит, меняю у шоферов на колбасу.

Мы помолчали. Среди тишины Петрович вдруг мечтательно вздохнул:

— Глухаря бы добыть!

— Любите эту охоту?

— Как не любить, ежели четыре килограмма чистого мяса, пушай даже по десятке за килограмм..

Когда шли еще луговиной, около деревни, Роза нащипала на ходу крупного сочного щавеля и теперь, вытягивая из кармана по одной щавелинке, ела. Петрович покосился.

— Вот и щавель тоже... Другая баба мешок наберет — четыреста рублей за чулок. Или вот перновскому охотнику повезло..

— Клад нашел?

— Не клад. Рысь на него напала. Сейчас поляна будет, около нее.

— Хорошенькое везенье!

— Как же, ведь рысь-то он убил. Премия полагается, и шкура цену имеет.

— Петрович, а почему вы эту дорогу лучше всех знаете? — снова повел я подалее от рыси.

— Я одно время здесь за товарами в Костино ездил. Около году. Вот дорога (он показал на заросшие травой, еле заметные колеи), я ее пробил. И повадился я так: из каждой поездки чтобы привезти одно полено. За год я такую поленницу навозил, что ежели бы продать..

Но тут наступил решающий развилоч, и мы не успели услышать, что было бы, ежели продать всю поленницу.

— Значит, так, — объяснял Петрович. — Держитесь все время лева, и будет Махова сторожка, а там спросите у лесника. От Маховой сторожки вам чуть побольше половины пути останется. Лоси попадаться будут или там в кустах трещать — не пугайтесь. Лось — зверь смирный. Вот бы свалить — это сколько же пудов одного мяса, да рога, да шкура...

Но мы уже горячо поблагодарили Петровича и оставили его одного мечтать о лсях, которым он задал бы перцу, если бы не было риска платить десять тысяч рублей штрафа за каждую голову. Если бы только тюрьма, он, я думаю, рискнул бы, а вот десять тысяч рублей!.. Поневолу дрогнет рука.

Петрович ушел обратно, и мы впервые внимательно огляделись. Не то чтобы на каждом суку нам чудились рыси, но лес обступил таким плотным кольцом, так темно было в его глубине и так близко от нас начиналась эта темнота, что подумалось: «А может, прав был председатель, не стоило забираться в такие дебри!» То есть тревожила не самая густота леса или его темнота, а то, что дорожка была еле заметна, а по временам исчезала совсем, так что шагов пятнадцать приходилось делать наугад, а там вроде и снова обозначалась тропа.

Почти тотчас, как попрощались с Петровичем, попалось топкое грязное место. Мы перебрались через него, прыгая с кочки на скользкое бревно, с бревна — на брошенное кем-то полено, с полена — на трухлявый пенек. Как перебрались через топь, пришлось некоторое время искать продолжение дороги, и тут мы увидели, что никакой дороги дальше нет, кроме тропки, протоптанной некими парнокопытными животными. Тропа выходила непосредственно из трясины.

— Ну да, — сокрушалась Роза, — мы идем по лосиной тропе, а уж она, конечно, приведет не к Маховой сторожке!

— Подожди, может это шли коровы. Бывает, что в лесу пасется скотина. Теперь ищи на тропе помет, по помету мы живо узнаем, кто здесь ходит. Если увидишь такие продолговатые крупные орехи (перед выходом я полистал Формозова), значит мы действительно на лосиной тропе.

Продолговатые орехи не замедлили появиться, тропа была усыпана ими. Как ни старались мы найти еще чьи-нибудь следы, ну хоть намек на ступню человека или лошадиное копыто, ничего не было видно на земле. Была надежда, правда, что лоси приведут к воде, может быть к Кучебже, и тогда волей-неволей придется идти по ее берегу.

— Смотри, новый след, — испуганно закричала Роза, — да какой большой!

— Это собачий след, — успокоил я ее. А сам-то знал, что за собака оставила на влажной лесной земле отпечаток лапы, величиной с человеческую ладонь. Матерый серый хищник медленно шел за лосиным стадом: может, отобьется, отстанет глупый лосеночек.

Наконец лосиную тропу нашу пересекла узкая извилистая дорога. Она густо заросла травой, колеи ее заполнили молодые, чуть повыше травы березки. Так и убегали они вдаль двумя рядками. Больше стало света и солнца, повеселело на душе. Теперь куда-нибудь да придем. Поскольку мы все равно превратились в следопытов, начали и тут, раздвигая траву, искать, кто прошел или проехал до нас. Старания всегда увенчиваются успехом. Вскоре мы обнаружили довольно четкий велосипедный след. Там, где прерывалась трава, рубчики велосипедных шин были очень хорошо заметны, а там, где попадалась сыринка, они так и пропечатывались, хоть считай их по штучке. Правда, умения нашего не хватило ни на то, чтобы догадаться, в какую сторону ехал велосипедист, ни на то, чтобы узнать — давно ли он ехал, ни тем более на то, чтобы определить марку велосипеда или профессию велосипедиста, как это сделал бы, наверно, опытный следопыт, особенно если он из приключенческой книжки.

Потом началась старая порубка, заросшая плотным, как овечья шерсть, кустарником. Стремительно и величественно поднимались из кустарника редкие медно-красные сосны, уцелевшие от порубки или, может быть, оставленные для обсеменения земли. Свободно гуляет теперь ветер в их высоких зеленых шатрах, ничто не мешает разлетаться семенам да-

деко по ветру. Стояли сосны далеко друг от друга, разъединенные и словно задумчивые, как могли бы быть задумчивы несколько ветеранов, чудом уцелевших от истребленного, могучего некогда войска. Судя по этим оставшимся красавицам, здесь шумела и гудела, раскачиваясь на ветру, выхолденная корабельная роца.

Жарко и душно стало сразу, как только мы вышли на порубку. Тени не было. Полдненное солнце лилось и лилось на дорогу. Под солнцем ярко светились, соперничая с ним, необыкновенно высокие, сочные и крупноцветные купальницы. Словно желтая роза, был каждый цветочек. Собранные в букет, купальницы пахли прохладой и речным туманом. Иногда дорога пересекала обширные, в полном цвету и блеске рощицы ландышей. О приближении к такой рощице мы узнавали по запаху за тридцать или сорок шагов. Как и купальницы, ландыши были здесь необыкновенно крупные и сочные. Листья их шириной чуть не в ладонь, цветы величиной чуть не с лесной орех создавали впечатление нездешнего, экзотического растения. Так шли мы часа два или более, не зная, туда ли идем, куда нужно, или все дальше, непоправимо дальше уходим от истинного пути.

...Махова сторожка и правда оказалась не чем иным, как бревенчатой избой, обнесенной дряслем. Одной стороной она примыкала к лесу, с другой стороны расстилалась обширная цветущая луговина, на дальнем краю которой угадывалась речка. Было видно, как по речке луговина далеко углубляется в лес и вправо и влево. Шагах в ста от избы, на просторе, росла могучая береза. Под тенью этого дерева могла бы расположиться и рота солдат. Тем вольготнее расположились мы двое.

В лесу нельзя было не только что сесть отдохнуть, но даже остановиться, потому что тотчас появлялись рои жирных, неизвестно на чем отъевшихся желтых комаров. Здесь, на луговине, гулял ветерок, и пока мы отдыхали, ни один комар не пропищал над ухом. Одно это было блаженством.

Оборудовав место отдыха, то есть постелив на цветы все, что было можно, мы отправились к избе на разведку. Я заглянул в окно и увидел за столом семерых (нет, не братьев-разбойников) здоровенных мужиков. Перед ними стояло два алюминиевых блюда, или, лучше сказать, таза, наполненных макаронными рожками, а также несколько крынок молока. Буханки хлеба громоздились одна на другую на краю стола.

В огороде, рядом с избой, работала девушка, надо полагать дочь лесника. С ней мы и вступили в переговоры. Оказалось, ни самого Махова, ни лесничихи нет дома, они в три часа утра ушли не то сажать, не то оккупывать елочки и вот до сих пор не приходили.

— Нельзя ли купить молока и хлеба?

— Молоко, что было, все подала к обеду рабочим (значит, тем, что сидели в избе), а больше еще не доила.

— Когда придет время доить корову?

— Можно подоить сейчас, но парное молоко будете ли вы пить в такую жару?

— Опустите его в колодец, и оно остынет.

— Если вы не торопитесь, пожалуй, я так и сделаю. — И девушка побежала в лес, откуда послышался ее голосок: «Зорька! Зорька, Зорька, куда ты запропастилась, холера!» Потом зазвенел колокольчик, и Зорька, дородная, важная корова, вышла на поляну. Она шла гордо, как бы сознавая свое великое значение в жизни людей.

— Барыня она у нас, — рассказывала девушка, меж тем как первые струйки молока со звоном ударились о дно подойника. — Вон у нее угодья-то какие. Думаете, она подряд траву ест? Как бы не так. Ходит целый день и выбирает по травке. Там травку сорвет да там листик. За-

зналась совсем, воображает! Ее бы на солому на месяцок, небось живо бы перестала воображать!

Корова слушала болтовню молодой хозяйки и простодушно жевала жвачку. А между тем в ведре пухла, подымаясь все выше, желтая маслянистая пена — парное коровье молоко, в котором есть все, что нужно человеку для поддержания жизни, и которое обеспечит вам железное здоровье, если вы будете пить его каждый день.

Говорят, что вкус молока и его питательность зависят также от травы, которую корова ест. Значит, Зорька знала, какую выбирать лесную траву, потому что молоко ее было не только вкусно, но как бы еще и ароматно.

Мы сидели под березой четыре часа, отдыхая и наслаждаясь отдыхом. Правда, я отнял у себя минут сорок на то, чтобы сходить на речку. Желтые пятна на луговине оказывались, когда подойдешь поближе, зарослями купальниц, сладкого корня, козлобородника, который в детстве, помню, мы называли солдатской едой. Его сочные стебли, очень сладкие, брызжут белым густым молоком. Оно оставляет черные пятна на лице, на руках, на новой рубашке.

В нежной розоватости луга повинны были вкрапленные в зелень махровые соцветья раковых шеек.

С приближением к воде менялась растительность. Вот уж показал из травы свои яркие малиновые башенки чистец лесной, выбросила пурпурные стрелы плакун-трава, мелькнули в кустах белые цветы ясноти. У самой воды остро запахло дягилом и мятой. Высоченные деревянистые стебли зонтичных легко переросли прибрежный кустарник и теперь главенствовали тут, создавая ландшафт.

Как и следовало ожидать, Кучебжа оказалась крохотной лесной речкой с ледяной, почти черной водой. Когда я вступил в воду, нога моя выше колена ушла в пухлый ил и множество пузырьков с урчанием вырвалось на поверхность.

Дочь лесника долго и старательно рассказывала нам дорогу, наговорила семь верст до небес и все лесом, в заключение же успокоила:

— Только все равно вам одним не дойти, заплутаетесь.

Тогда мы обратились к рабочим; они давно отобедали и теперь нежились в холодке, куря махорку.

— Ни боже мой! Подождите Махова, он вам расскажет в тонкости, а мы не знаем. Мы ведь покровские, с лесничества. Знаем только, что Потапычева сторожка попадетя.

Ждать Махова было некогда. Заночевать в лесу — перспектива неувлекательная.

И опять повел нас велосипедный следок. Мы так привыкли к нему, что, когда встретился развилка и встал выбор, идти ли влево, где не было следка, или вправо, где следок был, — мы пошли вправо.

Километра через полтора мы увидели парня в голубой рубашке, сидящего посреди дороги. Возле него лежал велосипед. Парень, обливаясь потом, старательно набивал покрывку травой, выбирая траву сухую, прошлогоднюю.

— Авария?

— Да, проколол вот шину, а залатать нечем. Приходится пользоваться подручными средствами.

— Так ли мы идем на Жары?

— Жары? Что-то я не знаю. На Костино здесь дорога, а на Жары — не знаю.

— А Потапычеву сторожку знаешь?

— К сторожке вам надо было левой держать. Вы зря сюда свернули. Здесь — на Костино.

Пришлось возвращаться на старое место. Ладно, разгадали зато таинственный велосипедный след. Сделал его зоотехник, находчивый парень в голубой рубашке.

Заливистый лай собачонки послышался впереди. Это мы подошли к Потапычевой сторожке. Старушка, повязанная черным платком, рассказала, что сейчас будет Колобродово, а там и Жары совсем близко. «А лес сейчас и кончится, на краю мы живем, на краю, не сумлевайтесь».

Большая была радость, когда расступились последние ряды деревьев и лесные выпустили нас на волю, на простор полей, кое-где перехваченных веселыми перелесками. А вот и Колобродово. Женщина лет сорока пяти идет от речки, неся на коромысле два полных ведра. Когда она подошла к своему дому, мы тоже подошли к ее дому и спросили напиток. Но речная вода была теплая. Весь день держалась жара около тридцати градусов: Тут и присели отдохнуть.

У женщины было тонкое продолговатое лицо с большими серыми глазами, но тонкость, нежность лица лишь проступала отдельными сохранившимися черточками из-под морщинистой огрубевшей маски. Так из груды обломков может высунуться вдруг угол золоченой рамки богатой картины или крыло рояля. Они-то и расскажут, как было в доме, пока он не разрушился.

— Далеко ли идете? — спросила женщина.

— Верст восемьсот осталось.

— Господи Исусе!..

Редко стоят дома в Колобродове. Между соседними домами можно видеть две или три ямы, заросшие лопухами и крапивой. Иногда тут же стоит целая печь с трубой, но чаще лежат кирпичи, сложенные в штабель. А то и нет ничего. Два дерева со скворечниками да горькие лопухи. Было похоже это на выпавшие от цинги зубы. Некоторые дома стоят еще исправные, но заколоченные наглухо.

— Мало домов-то осталось, мало, — подтвердила и женщина. — Все больше после войны разбежались — и в Покров, и в Орехово, и в Ногинск, а то и в Москву. Плохо было у нас в те годы. В Лошаках и вовсе один дом остался. Живет там тетка Поля, теперь в Жары хочет перебраться. Мы ведь объединенные с Жарами. И перевезли бы ее в Жары, да грязь была. А второе дело — мужиков во всем колхозе нет, некому и перевезти. В других колхозах, слышно, на поправку идет, а у нас до такой ручки доведено, что не знаю, как и поправим. Главное — народу нет. Ну, да в Жарах вам лучше расскажут. Там и председатель живет.

Шли мы теперь полевой дорогой. Вместе с нами выбралась из лесов и Кучебжа. Она текла недалеко от дороги, и не было теперь на ее берегах ни дягиля, ни мяты, ни плакун-травы, ни разных там зонтичных растений — осока да осока росла теперь по ее берегам.

Сгущались сумерки, когда вошли мы наконец в село Жары, которое утром казалось таким недосыгаемым. Вдоль села расставлены телефонные столбы, линия уходит за околицу и пропадает за отдаленным лесом. Еще бросилось в глаза, что все деревья стоят как деревья, а ветлы пожухли, пожелтели, завяли и резко выделяются среди жаровской зелени. С каждой ветлы, если встать под ветви, капает обильный дождь. Листочки свернулись в трубочки. Если развернуть трубочку, там оказывается некая пена, а в ней червячки. Какая-то гадость напала на ветлы в Жарах и погубила их все.

Старик, сидевший на крыльце, у которого мы спросили про ветлы, ответил:

— Кто их знает. Все одно что кипятком ошпарили.

Нужно было подумать и о ночлеге, тем более что усталость брала свое.

Но долго не приходил сон. Закроешь глаза — и подступают из темноты купальницы, дандыши, лосьи следы, густая зеленая хвоя...

День четвертый

Может быть, собравшись в кружок, вспоминают про нас московские друзья: «Да, ушли, и неизвестно, где теперь находятся». Отрешенность эта иногда пугала: случись что-нибудь в глухом лесу, по крайней мере два месяца не хватит ни один человек.

«Что-то не слышно ничего о них».

«Ходят. Затерялись в земных просторах, как иголка, брошенная в омут».

Что значит «ходят»? Это — общее слово. Вам не видно в Москве, что в данную минуту мы сидим за чисто выскобленным столом и наслаждаемся утренним чаепитием вместе с хозяйкой дома — тетей Домашей.

Тетя Домаша, или, если хотите, Домна Григорьевна, женщина лет пятидесяти, крепкая и плотная, одета в красное ситцевое платье белыми цветочками. Она важно подносит блюдечко ко рту и, дуя, шумно схлебывает. Одновременно мы беседуем.

— Очень уж много председателей было в нашем колхозе, и каждый временно себя чувствовал. Ну, правда, один хороший попался.

— Председатель?

— А то кто же! Кочнев фамилия была. Этот мог порядок навести и, пожалуй, навел бы.

— Отчего же не навел?

— А как стал он брать нас в железные руки, нам не понравилось. Стали жаловаться в район. С районом он не очень ладил. Крупно, одним словом, разговаривал. Дескать, раз вы лучше моего понимаете, становитесь на мое место. Ну и сшибли! А мог бы порядок навести. Правду сказать, тогда и народу было много. На покос выйдем — жуть! А теперь что ж — мостик развалился, починить некому. Председатель теперешний ночью, чтоб от людей не стыдно, сам чинил.

— Что ж новый председатель, хорош или нет?

— Как вам сказать? На ногу-то он вроде бы ничего, легкий.

Чаепитие окончилось. Мы вышли из избы и сели на траве в тени от дома. Развернув карту, глядели, прикидывали, как будем пробираться на Кольчугино. У соседнего дома сидели на лавочке три старухи. Они говорили о нас:

— Да нет, они рекой шли. Отдыхали около кустиков. А я еще подумала, начальство какое по молоку и мясу.

На велосипеде подъехал к нам мужчина лет тридцати пяти, темноволосяй, выбритый, в рубашке с засученными рукавами. Он слез с велосипеда и коротко потребовал:

— Документы.

— Ваши попрошу.

Документов у мужчины не оказалось.

— Я председатель здешний. Вон хоть тетя Домаша подтвердит.

Дал ему паспорта, но он и смотреть на них не стал.

— Эти документы мне не нужны. Я хочу знать, кто вы такие.

— Там все видно: граждане Советского Союза, пол, возраст, брак, все проставлено.

— А на каком основании здесь? Что за карта?

— Путешествуем. По картё сверяемся. Разве запрещено?

— То есть как путешествуете? Зачем? Кто послал? Чего в тетрадь записываете?

Чтобы закончить дело, я показал председателю корреспондентское удостоверение журнала «Огонек», а также членский билет Союза писателей.

— Н-да! А из Покрова никакой бумаги не имеется? Это все не то. Фикция! Должна быть бумага из Покрова.

Все же мы вскоре поладили. Председатель сел рядом с нами.

— Вот вы ходите, интересуетесь, пишете, — говорил Федор Яковлевич. — Увидели плохой колхоз — и сразу в тетрадку: «Председатель никуда не годится!» Встать бы вам самим на мое место. Да, я тридцатитысячник. Приехал из города дела поправлять. Но вы мне людей сначала дайте. С кем поправлять-то? У колхоза долг государству триста тысяч рублей из года в год переходит. В наличности же — ноль-ноль копеек. Дали ссуду на строительство скотных дворов, но пришлось эти деньги истратить на инвентарь, на семена, и вышло, что ни дворов, ни денег. Аванс нужно платить колхозникам. Ну, дали за апрель по три рубля. Теперь второй месяц не плачу. Нечем. Было у меня на книжке своих одиннадцать с половиной тысяч рублей. Накопил, пока в городе жил. Отдал я эти деньги в колхоз. Все равно, что слона горошиной накормить захотел. Опять же картина — ни у меня этих денег, ни в колхозе.

— Как дальше будете?

— Не знаю. Хоть бы лесу кому кубов сто продать. Никто не покупает. Машина есть в колхозе, посылаю ее на сторонние заработки. Подработала она пятнадцать тысяч рублей, зато свои дела стоят. Земля пять лет не унаживалась. Тетя Домаша у меня самая активная рабочая сила, можно сказать — опора колхоза. Захромала вот третьего дня. Так что нечем у нас интересоваться и нечего тут записывать. Шли бы дальше!

Понимать колхозные дела в Жарах нужно было так: условия, о которых говорил головинский председатель, — изменение налоговой политики, повышение заготовительных цен, государственные ссуды, введение планирования снизу, авансирование колхозников деньгами, — все эти условия являются объективными, равнодействующими для всех колхозов страны. Но колхозы разные. Можно равномерно полить пересохшую грядку живительной влагой. Все же растения сильнее отудобят в первую очередь, растения послабее дольше не наберутся сил, им труднее будет перейти к росту и расцвету. Колхоз в Жарах и есть такое очень слабое растение. Может быть, для таких колхозов нужны еще и другие радикальные меры.

Напрашивался и еще один вывод. Вовремя, очень вовремя были приняты партийные меры по подъему сельского хозяйства!

...Тетя Домаша обмолвилась словом, что Жары славились своими горшками. И тут я вспомнил, как, бывало, отец приезжал с базара и ставлял на лавке горшки. Они были легкие, звонкие, в них виднелись остатки соломы. От огромного (на всю семью щи варить) до копеечного — на детскую кашку, они стояли рядом, такие чистые, такие вроде бы хрупкие, что не только в печку сажать, а и в руки взять боязно. «Чьи горшки-то?» — спрашивала мать. «Жаринские...»

— Есть тут один старичок, который все помнит. У него председатель колхоза на квартире стоит, — пояснила нам тетя Домаша.

Двинувшись вдоль села, мы зашли в магазин и увидели старика, такого старомодного, что хоть картину пиши.

Бодрый, с белой небольшой бородкой, в высоком картузе с лаковым козырьком, в темной рубаше, перепоясанной крученым поясочком (только

бы еще гребешок к пояску), он покупал соленую треску, брезгливо поворачивая ее за хвост то на ту, то на другую сторону. Таким я всегда представлял себе деда Каширина.

Мы почти не сомневались, что это и есть дедушка Антон, «который все знает», но все же спросили:

— Не знаете ли вы того дедушку, у которого председатель живет?

— Ступай скорей, сейчас он уедет.

— Нам председатель не нужен, нам хозяин его.

Дед растерялся и тут же признался чистосердечно:

— А я думал, до конца жизни никому больше не понадобится.

Пошли с ним по селу. Деду Антону было теперь семьдесят шесть лет. Он производил впечатление сдержанного, воспитанного человека, привыкшего и уважать других и требовать уважения к себе. Да, он работал мастером на гончарном заводе. А всего заводов в Жарах было пять. Производили в год до трехсот тысяч штук разных изделий: плошек, крынок, пирожниц, кружек, горшков, цветочниц... Работали по гончарному делу шестьдесят пять человек. Зародилось дело при прадедах. «Мы, молодые, уж не помнили», — так и сказал про себя: «мы, молодые». Было в селе три чайных с постоялым двором. Почему нарушилось дело? Упал спрос. Все больше теперь алюминиевая посуда пошла да чугунная. Завод к тому же начал переходить из рук в руки. То его району передадут, то опять колхозу. Лет пять назад один начальник решил из местной глины черепицу делать. Позвали деда Антона. «Скажи, годится ли глина?» Дед Антон закрыл глаза, растер глину в щепотке и говорит: «Не годится!» Тогда сочли деда Антона вредителем, сующим палки в колеса районного прогресса. Черепица все же не получилась.

Тем временем мы пришли на место бывшего завода. Сохранился низкий длинный навес на столбах, остов обжигальной печи и груды черепков там и тут.

Обратно шли не селом, а задами, через цветущие залогии.

— Так, — говорил дед Антон. — А вы, значит, путешествуете. Ну да, ну да... Путешествуете. Чем уж вы там заряжены, нам неизвестно, а вроде бы путешествуете.

Вдруг он обернулся, снял картуз и широко повел рукой.

— Простору-то сколько, а?..

Желто-розовые луга под порывом ветра всколыхнулись, прокатилась по ним голубая волна, словно поклонились травы старику за то, что заметил их. Дыханием, всем существом чувствовалось, что от самой желто-розовой луговины до самого синего неба нет в воздухе ни одной пылинки, ни одной соринки — ничего, вредного человеку.

— Куда уходят с этих-то воздушных! Нельзя землю бросать. — Старик вдруг возбудился, выпрямился, глаза заблестели, голос окреп. — Нельзя золото бросать! Ведь это — золото, золото! — И он снова водил рукой по окрестным залагам. — Придет время, спохватятся... Поймут... Нельзя бросать... Золото...

Потом он, спохватившись, надел картуз, строго откашлялся и пошел вперед, не оборачиваясь. Когда мы прощались, никакого огня, никакого воодушевления в глазах у него уже не было.

— Значит, путешествуете? Ну да, ну да, а чем уж вы там заряжены...

Города как магниты. Поезжайте в северные области: в Новгородскую, Псковскую, Вологодскую. Там только и слышишь: Ленинград, Ленинград, Ленинград! Работать устроился в Ленинграде. За покупками поехала в Ленинград. Учиться буду в ленинградском институте... Огромные пространства нашей страны незримо разделены на поля притяжения больших городов. Подобно тому, как сила магнита притягивает к себе

железную опилочную мелочь, города втягивают, всасывают в себя людей, живущих на прилегающих пространствах.

Но и каждый маленький городок, который сам подвержен тяготению, — тоже магнит. На что уж мал Покров, а сколько мы слышали, пока шли через его «магнитное поле»: люди выехали в Покров, сын живет в Покрове, председатель скоро вернется из Покрова, хлеб в магазин привезли из Покрова...

Но вот в Жарах мы впервые услышали новое слово — Кольчугино — и стали слышать его все чаще и чаще. Значит, где-то здесь мы и переступили незримую линию. Постепенно сложилось впечатление, что все дороги, по каким бы мы ни пошли, все равно приведут в Кольчугино.

Одна из них, широкая и прямая, пересекала молодой березовый лес. Хоть бы один листочек шевельнулся у березы, хоть бы легкий ветерок проскользнул мимо, хоть бы на минуту прикрыло облаком разомлевшее солнце. Тянуло спрятаться в тень и переждать жару, но в тени под березами, может, и не так жгутся прямые солнечные лучи, зато там душно, меньше кислорода, больше влаги. К отсыревшему телу так и льнут комары, а тут еще появились слепни, да так много, что идешь, машешь руками, а руки сами натапливаются на эту нечисть и отшвыривают ее. Но глаза страшатся, а ноги делают. Вот кончился березовый лес. Вот кончается и поле. Для леса жара — беда не смертельная. Полям приходится хуже. Растения приостановили рост и переключились на жестокую экономию влаги. Для них это как блокада, и вопрос решается так же, как при блокаде: что придет скорее — смерть или подмога, избавление, жизнь, в данном случае в виде дождей.

Воспушки — село длинное, построенное в две улицы. Видно, как топорливо оно латается, подрубается, обновляется, строится, наворачтывая упущенное за свои худшие годы. В каждом доме было что-нибудь новое: там крыльцо, там терраса, там три нижних венца, там крыша, там наличники, там забор, там двор, там ворота, а там и весь дом. Срубов пять или шесть стояли на улице, приготовленные к превращению в дома. Кое-где белые смоляные лежали бревна, приготовленные к превращению в срубы. А там доски, которыми завтра обошьют крыльцо, а там тес, в который завтра оденут избу.

На улицах не то, что в Жарах, — оживление. Нарядные девушки ездят на велосипедах и ходят пешком небольшими группами.

Дом, где помещается чайная, пожалуй, был исключением: ничего нового не видно в нем. Мы устремились в дверь, но, увы, она была заперта изнутри. Тогда я в отчаянии полез в открытое окно и увидел пустую комнату, застланную газетами. На табуретке стояла женщина и большой кистью водила по потолку.

Усевшись на крыльце сельсовета, мы думали, что нам попросить в первую очередь у местных властей — горячего супа или лошадь. Но тут подошла женщина и бросила мимоходом:

— Чего сидите? Чай, нынче воскресенье, нет никого. И в метеесе выходной и в колхозе, приходите завтра.

Рюкзак сразу стал тяжелее, словно в него добавили пару увесистых кирпичей. Ноги заболели шибче. Настроение упало.

На выходе из села открылись направо и налево чудесные виды: большие пруды, зарастающие травой, кувшинками, осокой, рогозом, остролистом... И по берегам прудов и на островах — развесистые деревья. Пруды эти вернее было бы назвать болотами, но все же сверкали белизной облаков и синевой небес открытые участки воды.

Мы замедлили шаг, и скоро нас догнала молодая женщина. Она рассказала, что были здесь хорошие пруды и был еще до войны некий председатель сельсовета, который принял «мудрейшее» решение разрушить

плотину и спустить воду. Имел ли он далекую мысль реконструировать данный объект на новый лад — история умалчивает, так или иначе ничего, кроме болота, не получилось. Председателя этого мало кто и помнит (сколько их сменилось за это время!), а вот дело рук его живёт. Впрочем, не поздно было бы и теперь взяться той же МТС вычистить пруды, поставить плотину, вернуть земле и людям ее красоту, оздоровить место, что вот-вот станет очагом малярии.

...Потом по дороге мы купались в маленькой речке под названием Большая Липня. В ней, несмотря на знойный день, текла студеная вода, потому что большую часть своей жизни Большая Липня проводит в лесах, а здесь, где мы купались, только ненадолго выбежала на луговое раздолье и не успела еще обогреться.

Потом мы снова шли. Из леса, почти под ноги нам, выскочила лисица. Она была тощая и безобразная. Шерсть на ней висела клоками. И ей было жарко.

На исходе дня лесная дорога сбежала в глубокий овраг, круто повернув вправо, выскочила стремительно наверх и, не разобрав за деревьями, врезалась в большое село Караваяво, пропоров его насквозь от околицы до околицы. Дома все каменные да каменные — было раньше Караваяво торговым селом. Сидят на лавочке перед домом женщины, всматриваются в нас: что за люди, вроде незнакомые, нездешние.

— Бабоньки, где бы ночевать устроиться?

— А вы кто такие будете?

— Люди.

— От какой организации? (Ого, грамотный народ!)

— Мы сами, без организации.

— Как так без организации? Этого не бывает.

Кое-как отыскали мы заместителя председателя колхоза, и он устроил нас на ночлег в небольшом деревянном домике с двойными зимними рамами. Было в доме душно и жарко. Но через минуту Роза уже спала, постелившись кое-как на полу. Тем не менее в ее дневнике за этот день впоследствии была обнаружена запись: «Сегодня первый день начинает зацветать ромашка. Уже обозначились белые лепестки, но они еще как бы собраны щепоткой. Завтра, наверно, раскроются. Второй день цветут колокольчики. Видела гвоздичку, у которой из всей звездочки выпрямился пока один яркий лучик».

День пятый

Ранним утром, когда все спали, я вышел на цыпочках из душевой, жаркой избы и как будто не на улице оказался, а вошел в тихую, неизъяснимо прозрачную солнечную воду — такая охватила свежесть. Трава еще не обсохла от росы, хотя сверкания росного, когда висят на траве крупные седые капли, уже не было.

С главной улицы тихого, безлюдного еще села повела тропинка в проулок, под гору. Гора становилась все круче, и вот впереди свернула затуманенная река, а за ней запереливались красками уходящие в далекую даль луговые просторы. Это Пекша, первая порядочная река на нашем пути!

По берегу, по берегу добрался я до мельничной плотины, которая теперь была прорвана. Вода обрушивалась на торчащий из прорванного тела плотины лотьяк и, падая, дробилась об него так, что по тихому мельничному омуту, ниже плотины, плавали клочья пены. Ивняк навис над омутом. Ни один рыболлов не мог бы смотреть на это спокойно. Именно такие мельничные омуты описываются в рыболовных книгах как самое верное и надежное пристанище рыб.

Не успел я прыгнуть в воду и проплыть хотя бы двадцать метров, как к реке подошел молодой парень. Он сел на траву и стал расшнуровывать башмаки.

— Рыбищи, наверно, тут,— осведомился я, когда парень подплыл ко мне,— прорва?

— Что вы, нет ни одной рыбины. Кольчугино в верхах стоит — вся рыба передохла.

Одевались мы вместе. Парень оказался заведующим сельским клубом. Звали его Володя Сахаров.

— Я слышал, вы всем интересуетесь? — спросил он.— Пойдемте склепы смотреть.

— Какие склепы?

— Настоящие, фамильные — графов Апраксиных, князей Воронцовых.

В прицерковной траве валялись и то и дело попадались нам под ноги то черепная кость, то бедро, то обломок человеческого таза. Там и тут виднелись в высокой траве опрокинутые каменные памятники. Удалось разобрать несколько стершихся, забытых землей надписей: «Секунд-майор Андрей Алексеевич Кузьмин-Караваев, Владимирской губернии предводитель дворянства. С 1797 по 1802 год...», «Действительный статский советник граф Николай Петрович Апраксин...», «Князь Константин Федорович Голицын. Помяни его, господи, когда приидеши во царствие твое...»

— Вот сколько старины в нашем Караваеве,— заключил Володя.— А то еще в Митине — рядом село — стали пень корчевать, а в корнях — бочонок с вином.

— Выпили?

— Знамо, выпили, не выливать же. Там имение барское, в Митине, теперь больница в нем. Не так давно повадился бывший барский управляющий. «Возьмите,— говорит,— меня завхозом. Привык,— говорит,— к этим местам. Молодость здесь прошла, и умру здесь». Не взяли. Раза четыре из Москвы наезжал, а не взяли. Такая мысль есть, что знает он, где клад в имении закопан. Ему ведь там все уголки, закоулки знакомы. Видать, хитрый старик. Дескать, устроюсь кладовщиком и достану.

— А может, и правда на места молодости потянуло?

— А хоть бы и так. Места его молодости лежат совсем в другой стороне. У нас, в Советском Союзе, их нет. Конечно, можно бы и взять его завхозом, но ведь он для нас вроде привидения — выходец с того света. Мы только из книжек Тургенева про управляющих слышали. А тут пожалуйста! Да и что ему среди нас, живых современных людей, делать? Как хотите, а на мой взгляд, правильно его не взяли.

Пока мы занимались склепами и разным гробокопательством, утро кончилось. Володя потащил меня в клуб показывать архивы сельской библиотеки, основанной еще в 1898 году. Нужно было читать какие-то пожелтевшие счета и отчеты, где значились все расходы библиотеки с точностью до копейки.

Володя показал списки книг, поступающих ежемесячно. Тут была и художественная литература и политическая, но больше всего сельскохозяйственная, которую в деревне, кстати сказать, читают мало.

— Библиотека ваша, конечно, выросла с тех пор?

— Еще бы не вырасти! Когда копаешься в этих отчетах, разные мысли приходят. Бедные они были по сравнению с нами, это верно, но главное не в бедности. Как думаете, в чем главная разница между их старой библиотекой и нашей новой?

— Ну, книг, наверно, больше стало...

— Книг, конечно, больше, но это не закономерная разница, случайность. Библиотека их могла бы быть и обширнее.

— Ну, книги, наверно, не те были. Все-таки много новых книг с тех пор написано.

— Не там копаете,— смеялся Володя Сахаров, все скрывая от нас свою загадку.— Это все незакономерные разницы.

— В чем же все-таки закономерные-то?

— В основном, для чего и есть наша библиотека,— в читателях. Кто был читателем в прежней библиотеке? Пять-шесть человек из всего села, никак не больше. Дьячок, да попадья, да волостной писарь, да Крашенникова дочка — вот и весь состав. Остальные — безграмотные, да и не до книг. Теперь же наши читатели — все село, от мала до велика. Старушка какая-нибудь, старичок седенький — туда же, очки на нос, и пожалуйте ему последнюю новинку. «А нет ли, — говорит, — у вас Вернада Шова, который из английской жизни все описывает?» Значит, подавай ему Шоу — и никаких гвоздей. Вот в чем главное, — довольный, засмеялся Володя.— Читателей сколько стало у нас, да и они не те. И так, наверно, по всей стране, по всем библиотекам.

А в это время в доме, где мы остановились, шел интересный разговор. Хозяйка, женщина лет пятидесяти шести, с усталым, несчастным и как бы окаменевшим в несчастье лицом, рассказывала свою жизнь. У нее было трое детей: старшая дочь — теперь бы ей было тридцать три года — погибла во время войны, младшая — летотехник — живет в Волжске, сын работает в Донбассе.

Но вот Роза спросила хозяйку, есть ли у нее муж и что за мужчина сидел вчера в кухне. Я тоже обратил внимание на этого мужчину. Он сидел на лавке, опершись локтями на колени, и курил махорку. Тощее лицо его с впалыми висками и щеками показалось мне липким, как бы туберкулезным. Впечатление усугубляли жиденькие, словно прилипшие к черепу волосы. Было ему около шестидесяти.

— Не знаю, как назвать его, — печально вздохнула женщина. — Муж он был мой, тридцать шесть лет хорошо жили. А потом задурил, спутался с девкой из соседнего села.

— Молодая?

— Дочери его первой ровесница — с двадцать третьего года. Пять лет волюнил. То к ней уйдет, то опять ко мне. А вот уж два года, как совсем ушел. Он-то, может, за молодостью погнался. Ее не пойму, что ей в нем, молодой да здоровой?

— Вчера-то навестить приходил?

— Квартирант он у меня теперь. Живет у нее, а работа его здесь, в Караваеве. Пекарь он, в пекарне незаменимый. Попросился на квартиру — не отказала, будь он проклят!

Признаться, нас удивил такой поворот в событиях. Любовные и семейные драмы разнообразны, и нет двух похожих. Но чтобы из мужа на тридцать восьмом году супружества превратиться в платного квартиранта — согласитесь, такое случается не часто.

Алексея Степановича Глинкина мы нашли в правлении колхоза, в двухэтажном каменном помещении.

— Что же, если спутница обезножела, поможем.— И тотчас дал распоряжение запрягать лошадь.

Было в этом правлении чисто, прибрано, аккуратно, не то что в Головине или в Жарах. Далеко ли ушли мы от Жаров, а какая большая разница.

— У нас дела неплохи,— подтвердил и председатель.— То есть хвалиться особенно нечем, но растем. В этом году надеемся шестьсот тысяч дохода получить. Но для нас это не средства, нам нужен миллион.

Я не мог спастись от литературной ассоциации и шутливо спросил:

— Вам как его, по частям или сразу?

Может быть, Алексей Степанович тоже читал «Золотого теленка» и принял игру, а может, так совпало, но он ответил:

— Мы бы взяли и по частям, но нам нужно сразу. Да вы не смейтесь. Через год будет у нас этот миллион. Каждая корова, если считать с пятьдесят третьего года, стала давать молока на шестьсот литров больше. Кроме того, коров у нас было пятьдесят, а теперь сто пятнадцать. — Тут председатель опять вздохнул. — Но нам нужно двести двадцать пять. Сад колхозный на тысячу деревьев мы разбили. Тоже доход будет приносить. Строительство, можно сказать, все осуществлено. Овчарня, свинарник, зерносклад, овощехранилище, скотный двор... Весь колхоз радиофицирован. В пяти деревнях из шести уже есть радио. Вот объединение, нужно сказать, нас подкузьмило. Увлечлись. Подошли шаблонно. Давай создавай гиганты! И получилось так, что земли наши теперь Пекча делит. Это такое неудобство, что хоть снова разъединяйся. Да... Ну, авансик, конечно, аккуратно даем, по два рубля на трудодень. Колхозники ожились, избы свои начинают латать, подрубать, прихорашивать.

— Вы говорили, что коровы на шестьсот литров стали больше давать молока. А почему?

— Во-первых, просто потому, что внимание обратили, добиваться начали удоев-то. Было так, что никто никогда не интересовался, сколько дает корова. Шла доярка от коровы к корове да в одну бадью все и сдаивала. Теперь не то, теперь граммы считаем и за граммы эти боремся. Активность началась.

— Вику не сеете на зеленый корм?

— Вику! — У председателя просветлело лицо, как будто вспомнил о чем-нибудь из безвозвратного золотого детства. — Вывелась вика у нас. В этом году не удалось семян достать. Но мы обязательно достанем. Вика! Питательность какая! Вкус, витамины, и земля одновременно удобряется, а не наоборот. Затраты труда никакой. Бросил семена в землю и жди урожая. Подсевай в разные сроки — самый лучший зеленый конвейер.

Вошедший колхозник сказал, что лошадь запряжена и можно ехать.

Прихотливо извивающаяся линия маршрута ползет по карте за нами следом. Глубоко уж врезалась она во Владимирскую землю и врезается с каждым днем все глубже и глубже. Нельзя представить, что лишь четыре дня назад выехали мы из Москвы. Кажется, прошло с тех пор не меньше двух недель, так много впечатлений легло между нами, едущими сейчас на телеге по селу Караваеву, и тем деревянным мостом через реку Киржач, от которого начиналось странствие.

Два паренька лет по двенадцати едут с нами за возчиков. Одного зовут Коля, другого — Николай. Так они просили называть их, чтобы не было путаницы. Оба они одного росточка, оба русоголовые, бойкие, смышленные. Кажется, и разница вся между ними только в произношении их тоже одинаковых имен. Чувствуется, что и Коля и Николай нетвердо знают дорогу и волнуются, как бы не завести чужих людей куда не следует.

— Главное, на Троицу не попасть, — шепчет Коля. — Через Троицу в два раза дальше будет.

— Не попадем, — шепотом отвечает Николай. — Правей держать будем и не попадем. Тпру!.. Травки подбросить, чтобы помягче.

Мальчики уходят в кусты и возвращаются с двумя охапками мягкой сочной травы, перемешанной с цветами. Они разравнивают ее по телеге.

— Устраивайтесь как следует, — по-хозяйски предлагает Коля.

Едем не спеша. На горè, где лошади потяжелее, я спрыгнул с телеги и пошел тихонько сзади. Коля с Николаем переглянулись и тоже слезли с телеги. О чем-то пошептались. Должно быть, такого поступка они не

ожидали от городского человека и теперь срочно исправляли свое коллегиальное мнение о нем. Где им было знать, что я умел уж ходить за плугом, когда их еще не было на свете. Так и едем: по ровному месту — на телеге, в гору — пешком, а под гору — так и трусцой, при этом Николай крутит над головой конец веревочных вожжей и кричит: «Эй, она царя возила!» Лошадь трусит и недоуменно прядет ушами. Она явно не может припомнить подобного случая в своей биографии.

Плывут навстречу перелески, осталась позади старинная дубовая роща с развалинами церкви, заложенной будто бы Иваном Грозным, когда шел он воевать Казань, и вскоре мы въехали в самый настоящий колхозный лес. Все в нем перепутано настолько, что без топора и не продережсья сквозь чащу. Хотя бы путные росли деревья, а то так себе, все больше осина. Видно, что здесь между каждым двумя деревьями идет борьба не на жизнь, а на смерть, и в сущности перед нами не просто лес, а поле битвы, не прекращающейся ни днем, ни ночью.

Дорога становится все уже. Теперь нельзя ехать, не подобрав ноги на телегу: оцарапает колени, еще и прижмет и прищемит между накладкой и какой-нибудь истлевающей на корню осинкой.

Чем дальше мы ехали по узкой и тесной дороге, по которой до нас вряд ли кто проехал в предыдущие два месяца, тем тревожнее перешептывались Коля и Николай.

— Куда-нибудь вывезет, — доносились обрывки разговора.

— Только бы на Троицу не попасть!

— Теперь хоть бы и на Троицу — всё деревня!

Дорога пошла под гору. Земля под колесами отсырела. Далеко впереди забрезжил свет, и Коля с Николаем повеселели.

Широкая, метров двести, река цветов и травы пересекала лес. Мы подъехали и остановились на ее берегу. Никакой дороги в траве не было видно.

— Ничего, на той стороне опять будет дорога, — шепнул Коле Николай. — Только бы переехать на ту сторону.

Переехать мешала канава, наполненная жидкой грязью, она отделяла лес от реки цветов. В канаве плавали три бревна. Я попробовал наступить на одно из них, оно начало погружаться в жижу. Два обломанных бревна торчали из грязи острыми концами. Поскользнувшись, лошадь могла напороться на них. И вообще сломать ногу ей здесь ничего не стоило. Обязанности распределились так: я тянул лошадь под уздцы, Коля правил, Николай понукал прутом, Роза наблюдала из безопасного далека. Лошадь упиралась, приседая на задние ноги, причем голова ее совсем вылезала из хомута.

— В сторону! — вдруг не своим, требовательным и грубым голосом закричал один из мальчиков, я уже не понял который.

Инстинктивно поддавшись требовательности окрика, я отпрянул в сторону и в то же мгновение на уровне своего лица, в двух вершках от него, увидел мелькнувшее в воздухе кованое копыто. Лошадь, как зверь, прыгнула через канаву. Оглоблей отшибло меня в сторону, и телега прогротала мимо. Нужно было обладать немалышеской опытностью, чтобы предугадать прыжок лошади, да еще и успеть предупредить о нем. А лошадь между тем мирно стояла среди луга, выше чем по брюхо утопая в разнотравье и разноцветье.

Удивительно перепутались здесь лесные цветы с луговыми. Еще на опушке можно было найти розовые кошачьи лапки или белые пирамидки заячьего уха, а уж рядом дремали, смежив на дневное время свои венчики, цветы собачьего мыла. Лиловые кисти кукушкиных слезок росли рядом с медвежьим луком, вороний глаз цвел неподалеку от куриной слепоты, а метелки лисьего хвоста высоко поднимались над полянками петушиного гребня. И царские кудри, и золотые розги, и ятрышник с люб-

кой — эти российские родственники бразильских орхидей, и яркие связки золотых ключиков — все это росло, цвело, шумело пчелами и шмелями, скрывая от нас дорогу.

Коля и Николай разошлись в разные стороны искать, нет ли где колеи. Их русые головы мелькали в высокой траве. Но колеи нигде не было, и мы поехали зигзагами по цветущему лугу. Лошадь упиралась, шла неохотно. Приходилось не только понукать ее лозой, но и тянуть за узду.

— Нужно выехать на старое место и пустить лошадь одну, — пришло в голову Николаю. — Если она была здесь хоть один раз, то сама найдет дорогу.

Так и сделали. Лошадь сама, и гораздо охотнее, пошла не вправо, куда мы ее тянули силой, а левее, и скоро, преодолев сырое, чавкающее пространство, вывезла на колею. Николай торжествовал. Да и все мы торжествовали. Оно хоть и красиво заплутаться в цветах, но все же лучше не заплутаться.

Дорога пошла хорошая, торная, а Коля с Николаем переглядывались все тревожнее и таинственнее. Они явно были чем-то обескуражены и даже не шептались, как сначала: «Не попасть бы только на Троицу».

Показалось село. У крайнего дома спросили старушку, что это.

— Троица, сударики, Троица, она самая и есть.

— Далеко ли до Дубков?

— Как вам сказать, мерили тут черт да Тарас, а у них веревка обрвалась. Один говорит — давай свяжем, а другой говорит — так скажем. Поезжайте, доедете.

Из всей Троицы запомнилось, как через дорогу бегали девушки с тарелочками. На каждой тарелочке лежало печенье, штук по десяти. Нам объяснили, что здесь дом для престарелых и теперь у них полдник.

Справа долго тянулось фиолетовое поле цветущего люпина. Земля истрескалась. На дороге толсто и пышно лежала пыль. Когда же въехали в Дубки, то есть попали на каменную дорогу, соединяющую Владимир с Кольчугином, проскочивший грузовик поднял такую дымовую завесу, что пришлось закрыть рот, чтобы не хрустело потом на зубах.

Дубки стоят на горе. Отсюда хорошо было оглянуться назад. До горизонта тянулись леса, черные на переднем плане, синие вдали и затуманенные там, где обрывается глаз. Кое-где расползались по лесной черноте белесые дымные пятна лесных пожаров. Кое-где ярко проглядывала зелень лугов. Радостно было оглянуться на эти леса еще и потому, что по ним протянулась незримая извилистая ниточка пройденного нами пути.

До Кольчугина оставалось двенадцать километров.

Дни шестой, седьмой, восьмой и девятый

Никто не мог объяснить толком, почему в этом, в те времена глухом лесном углу, от которого до ближних медных руд вот уж и правда хоть четыре года скачи — не доскачешь, зародился некогда медеплавильный заводик. Может быть, обилие леса, то есть топлива, и есть главная причина, а может, и то, что с головой был первый заводчик и правильно прикинул: в глухом лесном краю рабочих людишек — бери не хочу, и совсем они дармовые.

Как бы то ни было, но однажды, сколько-то там десятилетий назад, потянуло над лесами вонючим ядовитым дымком желтоватого цвета, какого не могло быть ни от гнилушек, ни от хвои, ни от прошлогодних листьев, ни от дурман-травы. Вместе с первой медеплавильной печью возник (где теперь стоит Дворец культуры) кабак, и пошло на лад медеплавильное дело.

Одно из ярких воспоминаний моего детства — бестрепетное желтое зарево, проступающее над дальним лесом в особенно темные ночи. «Там Кольчугино, — говорили люди, — большой завод, большой город». А мне, наслушавшемуся сказок, представлялось все одно и то же: слетаются с разных сторон огнеперые жар-птицы клевать янтарное Иванушкино пшено. Поэтому и светится небо за черным еловым лесом.

...В проходной завода, а вернее сказать — заводов, потому что их тут два, у нас тщательно проверили пропуска, сличая их с паспортами, и началось хождение по цехам. Первый цех, куда мы пришли, был литейный. После ослепительного полудня световое состояние цеха показалось нам полумраком. В полумраке что-то маячило, вспыхивало, полыхало то красным, то зеленым, то голубым огнем. Тревожные звонки проносающихся над головой кранов, шипение, свист и как бы шумные вздохи машин делали музыку этого цеха. Вот льется струя металла в продолговатую форму. Внутренние стенки формы были смазаны, и теперь смазка сгорает красным пламенем, а самый металл облизывают трепетные, бегучие зеленые языки. Значит, вот откуда разноцветье вспышек.

Молодая женщина с продолговатым бледным лицом над белым (потому что белая кофточка) треугольным вырезом черного рабочего халатика вместо доброй феи повела нас. Она оказалась заместителем начальника цеха Ниной Григорьевной Яковлевой, воронежской уроженкой, окончившей одиннадцать лет назад Институт цветных металлов, что возле Крымского моста.

Нина Григорьевна объясняла нам сухо и деловито. Она и старалась, и видно было, что хотелось ей рассказать как можно живее, да ведь не все специалисты обладают популяризаторскими способностями, как, впрочем, и не все популяризаторы достаточно хорошо знают дело.

Из сплавов частью в Кольчугине, частью на других заводах страны делают разные изделия. Вот уж мы идем мимо больших брикетов золотистой прессованной стружки (значит, попадает бронза и под резец), а вот уж видим, как на наших глазах за несколько минут из раскаленного металлического полена получается длинная тонкая труба. Она (не подберу другого слова) течет из стана прозрачно-красная и остывает, становясь обыкновенной желтой латунной трубой.

Из одного стана труба льется тоненькой струйкой, из другого хлещет целым водопадом. Потом в такую трубу можно будет просунуть и голову. А там из стана стекает не труба, а медный пруток, а там течет, извиваясь, тонкая бронзовая лента.

Здесь, в цехе, я и вспомнил, как шли мы через деревни и села, опустевшие наполовину.

— Где же народ?

— В Кольчугине.

— Куда подевались все?

— Ушли в Кольчугино.

Вот сидит, подперев щеку рукой, русый парень в белой рубахе. Он сидит над резервуаром с кислотой, а задумчив так, будто присел около тихоструйного, с кувшинками, омутка. Мимо парня льется и льется в резервуар бронзовая лента. Она должна зачем-то побывать в кислоте.

— Давно работаете?

— С сорок шестого.

— Откуда пришли на завод?

— Недальние мы, из деревни Новоселки.

Другие рабочие тоже называли окрестные деревни. Все, как один, называли окрестные деревни. И правда, города — магниты.

Из многих разговоров поняли мы, что прельщает людей городская жизнь главным образом определенностью заработка: хоть и пятьсот руб-

лей, а знаю твердо, что получу. Придет день получки, отдай — не грехи! А там целый год работаешь, и неизвестно, что тебе в конце года дадут.

— Теперь, — говорю им, — изменилось, авансировать стали ежемесячно, где по два рубля на трудодень, где по пяти, а где и по червонцу.

— То-то слухи пошли. Вот надо письмо сродственникам в деревню послать. Пусть отпишут. Ежели так — конечно. А то ведь что же зря-то!

Посмотрев разнокалиберные трубы, разнопрофильные прутки и ленты, назначение которых для нас не совсем ясно, мы вдруг попали в мир вещей знакомых и понятных. Нас окружили со всех сторон умывальники, чайники, кастрюли, сковороды, соусницы, мороженицы, половники, а также те знаменитые мельхиоровые вилки, ложки, ножи и подстаканники, что продаются не в каких-нибудь там посудохозяйственных, а в ювелирных магазинах.

Подставляется мельхиоровая полоска под ударную тяжесть двухсот семидесяти тонн, и тотчас получается из полоски оформленная ложка, даже и с рисунком. Ложка еще некрасива, и над ней придется поработать. Ее будут воронить, шлифовать, серебрить, пока не станет она в одном месте блестящая, словно зеркало, а в другом матовая, с черниной, как бы старинное серебро. Еще недавно шлифовка была ручной: три да три неудобное ложечное корытце, пока не увидишь в нем своего искаженного кривизной отражения. Теперь женщины сидят возле станков. Диск с плотными тряпочными краями вращается быстро и равномерно. Подставь под него металл, надави как следует — и работа закончена.

Для подстаканников берут длинную полоску с протампованным рисунком, сворачивают ее в кольцо и спаивают. Потом также воронят, серебрят, шлифуют. Десятки изделий («Вот какой наш ассортимент!») перечислил нам бригадир Шамолин. Да всего не упомнишь!

— Ассортимент богатый, а рисунки очень однообразные. В магазинах и то заметно. Как пойдут три богатыря, так и идут несколько лет. Или Кремлевская башня. На дешевый алюминий и на благородный мельхиор вы ставите однородные рисунки. Правильно ли это? — Тут Роза не удержалась от чисто женского сравнения и сказала, что нельзя одну и ту же расцветку пускать, например, и на ситец и на крепдешин...

То мы ходили по одному заводу, а то вдруг, не заметив как, оказались под крышами другого завода, под названием «Электрокабель». Остро и душно запахло горячей резиной, и мы увидели огромные куски резинового теста — то черные, то красные, то желтые. Они лежали всюду, они окружали нас со всех сторон, они двигались в разных направлениях. Десятки машин мяли и тискали резину, цедили ее между горячими валками, раскатывали, как лапшу, вытягивали, распаривали, рвали на части и спекали снова.

Конечно, дело привычки, но любоваться всем этим долго нельзя — очень уж тяжел резинный дух.

Не успели мы удивиться ловкому обращению с резиной, как увидели нечто совершенно необыкновенное — сотни машин производили проволоку. Материал (металлический прутки) исчезает в станке непрерывно и быстро. С другой стороны из станка вытягивается то, что нужно. То пускают в станок круглое — получают квадратное, то пускают квадратное — получают круглое, то пускают квадратное — получают прямоугольное, то пускают толстое — получают тонкое, то пускают обыкновенное — получают обернутое в резину, то пускают обернутое в резину — получают оплетенное нитками, то пускают обыкновенное — получают обернутое в бумагу, то пускают обернутое в бумагу — получают просмоленное, то пускают несколько тонких проволок — получают толстый жгут, то пуска-

ют голый жгут — получают нечто, одетое в свинцовую трубу, а в той свинцовой трубе — ни мало, ни много семьсот переплетенных проволок. Сотни машин работают непрерывно. Текут, текут и текут десятки, сотни, тысячи, сотни тысяч километров всевозможной проволоки, проводов, шнуров, кабелей. Они потом опутают человеческие жилища, протянутся между ними по воздуху, соединят их под землей и под водой, если даже жилища эти на разных концах земли. Когда попадетесь вам кусок шнура или кабеля, покопайтесь в нем — может быть, вы обнаружите тонкую оранжевую ниточку. Если обнаружите, то знайте, что сделан ваш шнур или кабель в городе Кольчугине. Оранжевая ниточка — марка кольчугинского завода. Она вплетается всюду.

Но самое чудо все еще было впереди. Мы вошли в цех, наиболее просторный и чистый из всех остальных цехов. Девушки в белых халатах степенно прохаживаются между станками. Нам показалось, что станки работают вхолостую. Они делают вид, что тянут проволоку, а на самом деле ничего не тянут. Так, наверно, работали андерсеновские ткачи из сказки о голом короле. Они ведь тоже изображали, будто ткут, режут, шьют, примеряют.

Вдруг в ближайшем станке, там, где должна была бы тянуться проволока, если бы ее запустили в станок, блеснуло что-то нантончайшим блеском, как если бы луч солнца высветил паутинку, спрятавшуюся в еловой тени. Да, да, вот теперь различают глаза, как нечто неуловимое, почти невидимое пробегает через станок, временами поблескивая.

— Помилуйте, ведь это тоньше волоса, как же вы ее тянете?

— Волос! Волос — грубая веревка по сравнению с нашей проволокой. Тянуть ее нетрудно, а вот как мы ее ткем!..

Нарастал, между тем, по мере продвижения нашего по огромному цеху, шум ткацких станков. Сотканная из невероятных проволочек ткань была зрима, осязаема, даже прочна. То совсем золотая, то серебристая, она красиво переливалась на свету.

— Вот бы на кофточку, — не удержалась моя спутница.

— Можно и на кофточку, только очень дорого обойдется.

— Зачем и кому нужна такая ткань?

— Видите ли... у нашего завода более девятисот потребителей — перечислять трудно.

Как все же получается проволочка, по сравнению с которой человеческий волос — грубая веревка?

Нам показали и это.

Берется алмазик величиной со спичечную головку, с двух сторон его делают плоским, потом опускают в электролитный раствор и подводят иглу. С иглы начинает стекать электрическая искра, что-то вроде непрерывной миниатюрной молнии. За двенадцать часов молния пробивает в алмазе микроскопическую дырочку. Сквозь эту дырочку и будет протягиваться проволочка. Внутренние стенки дырочки, различимые лишь в микроскоп, умудряются шлифовать алмазной пудрой. На обработку одного алмазика нужно затратить семьдесят два часа. Мы видели длинные ряды шлифовальных станочков и длинные ряды непрерывно работающих голубых молний в ваннах с электролитом. Сутки за сутками пробиваются алмазы, число которых назвать не умею.

Выйдя с завода, никак нельзя было пройти мимо прохладного уютного скверика, зеленеющего под окнами заводоуправления. Все диванчики были свободны, и мы сели на первый попавшийся, а через несколько минут рядом с нами опустился на голубые, недавно выкрашенные планки старик, полыхивающий трубкой. Уже одно то, что сел он рядом с людьми, а не на свободный диванчик в отдалении, говорило об общительности

его характера. Старик явно искал себе собеседника. Он и разговор начал первым.

— Хожу вот,— мундштук трубки сделал неопределенное движение в сторону заводских корпусов,— уж и делать стало нечего, а хожу. Посижу перед заводом — и домой. словно бы на работе побывал. Дома-то скучновато. Привычка...

— Пенсионер?

— Он самый и есть.

Однако разговор наш тянулся вяло, пока не случилось маленькое дополнительное обстоятельство. Мимо сквера прошла группа ремесленников.

— Вот и смена вам, да еще какая! Так что можете отдыхать на своей пенсии спокойно.

— Смена!.. Им, чтобы старика заменить, учиться да учиться надо. Однако доучатся. Так это все просто у них, что даже досадно становится. Если бы потруднее немного все им давалось, вот и было бы в самый раз.

— Это зачем же труднее-то? По-моему, чем легче достигается ремесло, тем лучше.

— Не скажи (он сразу легко перешел на ты), а характер? Вот ты сказал, что это смена моя идет. В ремесле, может, и смена, а в характере я еще сомневаюсь. Разве знает вот тот малец в новенькой форме, как мне-то ремесло досталось? Скажи ему, мол, дорогу в жизнь пробивать нужно, а он, того и гляди, засмеется. Чего, скажет, ее пробивать, если все ясно: кончил семилетку, иди в техникум, кончил техникум, иди на завод — один путь; кончил десятилетку, иди работать на завод, учись заочно — второй путь; кончил десятилетку, поступаешь в институт — третий путь; иди в ремесленное училище — четвертый путь. И все пути известные, все верные, к одной цели ведут. Ему сейчас затруднительно не как бы устроиться, а куда, какую специальность выбрать, какой институт, какое ремесленное училище, какой техникум. Что и говорить — тяжелая жизнь, если от выбора растерялся. А рассказать ему, как тебе-то приходилось, он и не поверит, скажет — сказки.

— Вот вы и рассказали бы.

— Мою жизнь долго рассказывать. Целую книжку исписать можно.

— Да вы о первых-то днях, о самом начале-то жизни рассказали бы.

Старик задумался. Трубка его погасла. Он вычистил ее спичкой; набил листовым табаком и раскурил снова. Раскурив, усмехнулся, улыбнулся чему-то в прошлом.

— Забастовку тоже первую вспоминаю. Потеха! Потом-то уж в настоящих забастовках пришлось участвовать. Однако первая памятнее всех. О ней вот разве рассказать, если слушать терпения наберешься.

Рассказывал старик живо, возбуждаясь, вновь переживая все пережитое. Трубка то и дело гасла. Рассказ его был пересыпан живыми сценками, выразительными деталями. Так что мне почти ничего не пришлось ни убавлять от рассказа, ни прибавлять к нему.

«Жили мы тогда,— начал он,— в маленьком городке, недалеко от Питера. Отец мой работал в Питере поваром, а мать — у господ прислугой. Нас было три брата, а я старший, да еще три сестры. Выпала мне доля первому уходить с домашних харчей. В городке у нас никакой промышленности не было, кроме кустарей: ведро сколотить, самовар вылудить, кастрюлю запаять... Отец же надумал сделать из меня настоящего металлиста.

Вот под вечер прибежал я с рыбалки домой (как сейчас помню, пару линьков выудил), а в избе у нас сидит маляр, дядя Моисей. С матерью разговор ведут.

— Отвезу, отчего же не отвезти,— говорит дядя Моисей.

А мать ко мне обращается:

— Завтра поедешь в Питер к отцу, смотри не потеряйся по дороге, за Моисея Прохорыча держись, да и в Питере-то хорошенько!..

Отец мой был очень религиозен. Первым делом повел меня в часовню Христа Спасителя служить молебн. Отстоял я там со свечкой, отпели там мое хоть и бедняцкое, а все привольное детство, и дал отец два дня отдыху.

— А там, слышь, и определять поведу.

По Троицкой улице возле дома двадцать восемь остановились. Дом двухэтажный, деревянный, он и сейчас еще цел. Дернул отец за проволоку, задребезжало в глубине дома. Ждем. Пока ждали, успел я прочитать вывеску: «Слесарно-механические мастерские Карпоновского».

Открыл сам хозяин, сутулый старик лет шестидесяти, с седой бородой, маленькими глазками и большим багрово-сизым носом. Я уже понимал, отчего такие носы у людей получают, потому как и у отца не от церковных поклонов некоторое покраснение замечалось. За хозяином и хозяйка выплыла, маленькая, толстая, вся полужидкая какая-то, еще и не причесанная, а было уже не меньше двенадцати часов.

Теперь-то я понимаю, что дела Карпоновского в то время шли к концу. Появилась фабричка, производящая хирургический инструмент, и кустарная мастерская, занимающаяся тем же, не могла выдержать конкуренции. К моему приходу Карпоновский ничем уж не гнушался: ножи точить, ножницы, самовары хромировать — все, пожалуйста. Рабочих он не имел ни одного человека, работали у него ученики. Я теперь должен был стать шестым.

— Значит так,— диктовал хозяин моему отцу.— Раньше трех лет парень твой уйти от меня не может. В день кладу ему одиннадцать копеек, получать он их будет харчами, а на руки — ничего. В баню — два раза в месяц. В город в воскресенье на четыре часа.

После этого хозяин повел нас показывать спальню. Это была комната без единого окошка, скорее не комната, а чулан. Вплотную друг к другу, образуя как бы нары, стояло шесть коек. Из спальни дверь вела в мастерскую. И вот я стою, окруженный пятью ее обитателями, у которых появление новичка вызвало законное любопытство. Хозяин с моим отцом ушли совершать spryski.

Приняли меня, новичка, хорошо: ни злых шуток, ни подвохов, ни запугиваний. Как будто со старыми дружками встретился. Сначала они мне одинаковыми показались. Потом уж каждый приобрел свое лицо, свой характер. Только один парень выделялся из всех остальных с первого взгляда — Никишка, статный русоволосый молодец, родом из Рязани; он был, конечно, здесь и главным, и старшим, и самым авторитетным. От него-то, видимо, и зависела атмосфера дружной семьи, царившая в мастерской.

По вечерам, после двенадцати часов работы, мы, лежа на койках, рассказывали друг другу небылицы. Это сближало, сдружало нас. Постепенно я постиг взаимоотношения людей в этом доме и характер каждого.

Никишка, как я правильно определил с первого раза, был нашим атаманом. Он не боялся хозяев, потому что им дорожили, на нем, на его золотых руках, держалось производство. Это именно он, выловив ерша из супа со сметками, положил одного ерша на стул и на глазах у хозяйки выстегал веревочкой, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе, всех сметков в тарелке пожрал!» С этого раза в супе стали попадаться сметки.

Второй по старшинству, Яшка, был такой же здоровяк, как и Никишка, но не было в нем того веселья и юмора, того легкого отношения к жизни, которое так и сквозило в каждом слове, в каждом жесте Никишки.

Яшка стремился к самообразованию, читал много книжек и поэтому ходил раздумчивый. Он все время пытался рассказывать о Льве Толстом и его учении, за что мы над ним подсмеивались, но он не сердился.

— Смотри, помрешь от воспаления мозга,— предрекал Никишка.

Лешка, жидкий парнишка с гладенькими жидкими волосиками, был сын лакея. Однажды под его подушкой мы обнаружили недоеденное пирожное. Взять было неоткуда — ни купить, ни украсть. Значит, дала хозяйка. Тогда за что? За какие-такие заслуги? Так мы узнали, что Лешка занимался ябедничеством.

— Темную ему устроить,— предложил кто-то из нашей компании.

— Разве можно бить человека! — возмутился Яшка, начитанный в толстовском учении непротivления злу.

— Да, бить не будем,— согласился и Никишка.— Объявим Лешке бойкот. Чтобы ни одного слова никто с ним не говорил. Взвоят!

Лешка взвыл на вторую ночь. Я проснулся от громких всхлипываний по соседству. Проснулись и все остальные. Тут же Лешка дал нам слово, что с ябедничеством будет покончено.

У одного нашего товарища, Васьки, отец работал в железнодорожных мастерских. Васька один из всех нас был причастен к настоящему рабочему классу, потому что одно дело — повар или прислуга у господ, а другое дело — рабочий железнодорожных мастерских. С этого-то все и началось.

Мы жили изолированным мирком, и никакие волнения к нам не проникали бы, если бы не этот Васька. Отец приносил новости из депо домой, они доходили до Васьки и, значит, до нас.

Дело кончилось тем, что однажды мы решили: нужно действовать и нам. Отставать, что ли, от российского пролетариата, разве мы не тоже пролетариат? Действовать так действовать, но вот как?

Яшка, тот сразу за свое: нужно, говорит, просвещаться, нужно овладевать культурой, без этого, говорит, нельзя управлять государством.

Управлять государством, по правде говоря, никто из нас шестерых не собирался, но все же стали мы просвещаться. Доставали дешевые книжонки с разными нравоучениями. Скучно, а все равно просвещаемся. И надо же было попасться среди всех этих книжонок брошюркам о Нате Пинкертоне. Тут уж мы так увлеклись просвещением, что за уши не оторвешь.

Следующее, что мы придумали организовать, была касса взаимопомощи. Эту идею тоже Васька принес. Касса будто сплачивает, укрепляет солидарность рабочего класса. Ну, солидарность так солидарность. Стали мы по пятаку в месяц вносить в кассу. Кассиром избрали Никишку. Но только не оправдал он наших надежд. Погубила Никишку пагубная страсть к бильярду, и проиграл он всю нашу кассу в сумме шестидесяти копеек.

На серьезное перешло незаметно. Однажды вечером, когда все легли спать, но еще не спали, в самые интересные часы нашей жизни, в часы увлекательных рассказов и душевных разговоров, Васька вдруг задал Никишке невинный, казалось бы, вопрос:

— Ты чем сегодня целый день занимался?

— Пустяками. Настоящей работы сегодня не было. Пришлось ножницы точить.

— Сколько же ты их выточил?

— Штук тридцать, наверно. Да тебе зачем?

— А сколько стоит одни ножницы выточить, ну-ка, скажи?

— Пятнадцать копеек.

— Значит, ты заработал сегодня четыре с полтиной. Да ты, брат, богат!

Никишка даже приподнялся на койке.

— Чего болтаешь?

— Как же, простой расчёт. Помножь пятнадцать на тридцать, вот и получишь четыре пятьдесят. Я тоже вчера отремонтировал кое-какой хирургический инструмент. Пятерку шутя зашиб.

— Да ты к чему все это, что на тебя нашло?

— А то и нашло, что грабит нас хозяин. Мы ему каждый день по пятерке зарабатываем, а он нам одиннадцать копеек, да и то не на руки, да еще хозяйка половину пропьет. А харчи — вы сами знаете. Обьедки со своего стола в мясорубку пускают, и вот, пожалуйста вам, форшмак. С чего бы это нас каждый день форшмаком кормить? Да с того самого, что объедками питаемся.

— А ведь и правда, братва, правильно Васька говорит.

— В баню тоже редко ходим.

— А какие его права в город нас после работы не пускать, что мы, в тюрьме, что ли, живем?

— И спим в чулане, без окон, без щелей, в духоте задыхаемся.

Про сон мы все забыли. До утра шейтались, возбужденные, возмущенные, как бы захмелевшие, и гнев закипал в груди.

— Разговор разговором, а делать-то что?

— Что все рабочие делают на больших заводах? Бастовать нужно, вот что!

— Бастовать?! Какая же из нас шестерых забастовка получится?

— А вот и получится. Сейчас самый момент. Хозяин выгодный срочный заказ получил, очень он заинтересован его выполнить. Если мы откажемся работать, он на все для нас пойдет. Пропустим момент — нам же хуже будет.

— А просить чего?

— Нужно подумать.

Через полчаса требование из четырех пунктов мы записали огрызком карандаша на осьмушке бумаги. Требования были такие: в баню ходить четыре раза в месяц, порционные деньги получать на руки, после работы уходить куда хотим, в воскресенье уходить на целый день.

Часа три осталось нам на сон. Утром встаем, переглядываемся, но отступать друг перед дружкой не смеем. А робость берет. Как-никак, мальчишки, не то что там жандармов или тюрьмы — отца родного боимся.

Тут новый вопрос: когда начинать забастовку — до завтрака или после завтрака? Васька, как самый последовательный пролетарий, выскливался за то, чтобы и не завтракать и уж тем одним показать характер, но большинство с ним не согласилось, решив, что на сытый живот бастовать будет легче.

Часы пробили семь, время приступать к работе, мы не приступили. У каждого мороз по коже. Служанка в мастерскую заглянула.

— Мальчишки, пора трудиться!

— Ступай скажи хозяину, что мы работать отказываемся, пусть приходит вести переговоры.

Адель испуганно посмотрела на нас и убежала. В дверях мастерской появилась хозяйка, но с ней мы разговаривать не стали.

— Хозяина зови, Кирилла Ивановича!

Хозяин прибежал в нижнем белье. Голос с похмелья хриплый, глаза красные.

— Что, бунтовать? Ах вы, сукины сыны! В Сибирь упеку!

Мне поручено было передать хозяину наше требование. Поэтому я подошел к нему и сказал:

— Мы не бунтуем, мы хотим, чтобы вы выполнили требование, написанное на этой бумаге.

— Ну вот что, я не с вами рядился, а с вашими родителями. И разговаривать я буду с ними. Зовите ваших отцов.

Отцы в городе были только у двоих: у меня да у Васьки. Пошли мы за ними. Отцы отнеслись к делу по-разному. Мой задумался и сказал:

— Не надо бы, сынок. Если тебе голодно было, сказал бы, я бы тебе помог.

Зло тут взяло меня и на родного отца.

— Да разве в этом дело? Ну, меня ты накормил бы, а Никишка, а Васька, а Яшка, а Колька Саркис, а Лешка как? Дело это наше общее.

— Ладно, приду.

Васькин отец отнесся к забастовке, наоборот, с одобрением и восторгом.

— Молодцы, ребята! А он, значит, не выполняет? Ах он подлец! Хорошо, разберемся.

Вскоре наши отцы пришли к хозяину. Меня в хозяйскую комнату позвали первого.

— И в бога не верует,— внушал хозяин моему отцу,— от иконы Николая Чудотворца отрезал кусочек меди да и употребил ее в паяние.

Хозяин рассчитал правильно. Отец мой побагровел, борода его затряслась. Не успел я подставить руки, как его кулак пришелся по моей скуле.

— На колени перед хозяином!

— Бей не бей,— спокойно ответил я,— а на колени перед хозяином ни за что не встану...

Когда я входил в мастерскую, увидел за дверями всех своих друзей — они подглядывали, что будет, не сдам ли я, выдержу ли характер.

Все наши условия хозяин в конце концов принял. Представьте же нашу радость от такой победы. Здесь-то я впервые и почувствовал себя человеком».

Старый пенсионер забыл про свою давно погашенную трубку.

— Так-то вот. Впервые человеком почувствовал, а вам-то это чувство как бы по наследству досталось. А ты говоришь: зачем потруднее? Да чтобы знали, что не всегда так было, как теперь. Не всегда шли люди по столбовой дорожке, но бывало, что пробивались сквозь мрак к далекому свету, которого еще и не видно было, а была лишь вера, что он есть и что он обязательно настанет.

Мимо сквера, где мы сидели, потянулись вереницы людей. На завод шла новая смена.

Вот, значит, как создавался рабочий класс, вот, значит, где были его университеты.

Приходили к такому вот Карпоновскому деревенские паренки — Никишки, Яшки, Васьки, приходили, пугаясь города, не разбираясь в нем, а потом завод, забастовка, и вот уж сотрясаются основы самодержавного государства.

Ведь и Михаил Леонтьевич-то, с которым мы теперь беседовали, сидя на лавочке, оказывается, Зимний штурмовал...

Знакомство с заводами Кольчугина можно было считать законченным. Или же оставаться на них на год, на два, изучать досконально и в тонкостях. Лишний день ничего не прибавил бы.

Но запомнилась горечь Володи Сахарова, когда купались мы в Пекше под селом Караваевом: «Что вы, нет ни одной рыбины. Кольчугино в верхах стоит — вся рыба передохла».

В промышленно-транспортном отделе райкома затеял я этот разговор. Попросил ответить, куда девается та кислота, над которой сидел в задумчивости новоселковский парень, протравливая бронзовую ленту.

Ответ был короткий:

— В Пекшу.

— Но ведь это кислота, так сказать, ядовитое вещество, может повлиять?

— Повлиять? Еще бы! Собственное подсобное хозяйство поливать нельзя. Гибнет все — и капуста, и морковь, и лук. Не только рыба, ни одна инфузория устоять не может. Это вам не шуточки, а кислота. Повлиять!.. Да, так вот. Принимаем меры. Добились того, что кислоту в Пекшу спускаем только пять раз в год. Это — большое достижение.

— А если бы фильтры, не лучше ли?

— Как же, строим и фильтры. Правда, давно и плохо они строятся — наверно, уж три года. Сейчас уточним.

Наш собеседник товарищ Поскребин снял трубку и попросил соединить с начальником капитального строительства. Через минуту в наших руках оказались интересные показательные цифры. Из двух миллионов рублей, отпущенных государством на строительство фильтров, завод израсходовал только семнадцать тысяч. Значит, и деньги есть, да нет желания. Конечно, если не выполнишь плана, будут ругать. Еще, чего доброго, снимут с работы. А фильтры не построишь — беда невелика, никто не спросит, никто не хватится.

Я все порывался сходить на то место, где стекают заводские воды в Пекшу и где начато будто бы строительство фильтров. Но товарищ Поскребин удержал меня.

— Нечего там смотреть... Черная мертвая земля, зловонная черная вода. Вот построим фильтры, тогда хоть снова пей заводскую воду.

И много раз в разговоре с заводским начальством я слышал ответ: «Вот построим фильтры, вот построим фильтры...»

И не то оказалось бедой, что фильтры строятся медленно, но то, что один знающий человек разъяснил: «Фильтры готовятся для городской канализации, а кислота и все заводские воды тут ни при чем. Как стекали они в Пекшу в своем чистом виде, так и будут стекать».

В самом скором времени, через несколько дней, нам предстоит поглубже окунуться в грязные сточные воды. Отложим до тех времен и более подробный разговор о них.

— Вот тоже задымленность, — продолжал товарищ Поскребин. — Сейчас это незаметно. Вы зимой приезжайте — снег у нас черный, как сажа. Из литейного цеха в воздух окись цинка летит. Вредно. Не так давно началось строительство новой трубы. Когда кончим, город вздохнет полной грудью. К тому же гареуловители поставим. Курорт будет, а не город. Окись цинка тоже собираемся улавливать. Уловленный продукт пойдет в лакокрасочную промышленность.

Приятно было слушать хорошие разговоры. Жаль только, что велись они в «неопределенно будущем времени».

Столько леса увидели мы по дороге в Кольчугино, что захотелось познакомиться с людьми, которым леса отданы в руки для охраны, обихаживания, приумножения.

Заходишь в лесхоз и сразу чувствуешь — попал в особый мир, со своими особыми интересами. На стенах висят плакаты, где нарисованы разные вредители леса: гусеницы, жуки-дровосеки, жуки-точильщики, листоеды. В ином лесхозе вместо плакатов сами эти вредители, умерщвленные; наколоты на картон и положены под стекло. Тут же выставлены тонкие срезы разных пород деревьев. В углу кабинета начальника может стоять дуга или тележное колесо. На столе — или огромный гриб трутовик, или звонкий кусок березового угля, на котором все сучочки сохранены и обозначены. Горсть отборных желудей, рассыпанных по подоконнику, может дополнять картину. А если прибавить к этому лосиные рога, прибитые к стене, то вот и лесхоз.

Кольчугинские лесоводы оказались людьми радушными. Главный лесовод (директор лесхоза) Михаил Алексеевич Кривошеин, полный седой мужчина, представил нам оказавшегося в его кабинете лесничего. Этот был, напротив, молодой, высокий, смуглый, на щеках бакенбарды острой стрелочкой, волосы приспущены на лоб, и он смотрит из-за них как бы из-за укрытия, как бы прираздвинув еловые ветви. С ним-то и завязалась наша главная беседа.

— Возьмем быка за рога, — сказал лесничий и ниже наклонил голову, глубже спрятался в свою засаду. — Есть две организации: лесхоз и леспромхоз. Разница между ними как будто невелика. Она в четырех буквах, но если вы будете думать так, то, значит, вы ничего не понимаете. Организации эти — небо и земля. Начнем с того, что одна из них (леспромхоз) призвана уничтожать леса, другая — их разводить. Но это бы все не беда. И то, что одна из них действует от Министерства лесной промышленности, а другая от Министерства сельского хозяйства, — тоже с полгоря. Но у одной из них в изобилии первоклассная техника, передвижные электростанции, тягачи, экскаваторы, механические пилы, автомобили. Это хорошо оснащенная армия, призванная наступать и вторгаться. Кроме того, у них высокая зарплата, премиальные, путевки на курорты, ордена, звания героев, лауреатство, о них пишут в газетах, создают книги, их снимают в кино, их имена звучат в эфире. Короче говоря, одна организация привилегированная, другая — заштатная. Нет, не нужно нам славы, но вот сидит инспектор по лесу. — Тут мы увидели в дальнем углу кабинета пожилого тихого человека. — Он с девятнадцатого года бесшумно охраняет миллионы гектаров государственного леса, то есть миллиарды рублей. Так скажите ему хоть спасибо!

Конечно, валка леса более эффектное зрелище, чем выращивание молодой посадки. Вот наклоняется могучее дерево, с грохотом ударяется оно о землю, создавая ветер. Лесоруб ставит ногу на побежденного богатыря, и сам он как богатырь. Впору в Третьяковку повесить. А мы копаемся в земле, хруща разным дустом присыпаем, гусеница напала — с гусеницами воюем. Какой уж эффект от войны с гусеницами! В прошлый год напали они на молодую посадку лиственницы. Наши женщины целый день по жаре ходили, каждую веточку сквозь руки пропускали и прямо в ладонях тех гусениц раздавливали. Руки их (да вы не морщитесь) по локти в зеленой жиже были. А сколько заработали эти женщины? По три рубля за день. Все потому, что устроились они на работу в организацию под названием — лесхоз. Такие уж в лесхозе нормы оплаты. А сколько леса они спасли? Ого, сколько!

Возьмем лесоруба. У нас, хоть мы и лесоводы, тоже лесорубы есть. Так же они целый день деревья рубят, только без техники-механики. Казалось бы, одинаковому труду — одинаковую оплату. Не тут-то было. В то время, когда лесоруб леспромхоза зарабатывает большие деньги, наш лесоруб больше девяти рублей в день не заработает — такие в лесхозе расценки. А лесники, эта армия добросовестных сторожей и тружеников, живущих по бесчисленным лесным сторожкам? Они оторваны от людей, они работают с трех утра до одиннадцати вечера. Министерство наше, сельского хозяйства, решает огромные проблемы, и, пожалуй, ему не до нас, но и дальше так быть не может.

Брали мы лесника, возьмем меня, лесничего. Вы разницу улавливаете? Он последнее звено в цепи, или, если хотите, первое, а я инженер леса, я с высшим образованием, я специалист, ученый, я, короче говоря, лесничий. И вот целый день заставляют меня сидеть в канцелярии, просматривать разные бумаги, вести скучнейшую, никому не нужную документацию, возникшую, как гриб, на недоверии человека к человеку. Путаюсь я

с колесами, дугами, рогожами, тарной дощечкой, дровами, а в лесу мне быть некогда.

Пришло время выдавать зарплату. У вас, говорят, леса полно, рубите, продавайте, платите. Тем самым топор вложен и в руки лесовода. В левой руке у меня клеймо, а в правой — топор. Так иду я по нашим лесам. Нужно отнять топор из моих рук! — почти закричал лесничий. — Ведь только на одно мое лесничество спущен план — десять тысяч кубометров в год.

— Как вообще лес у вас, убывает или прирастает год от году?

— Перерубаем. Процентв тридцать перерубу имеется, — ответил директор лесхоза. — Значит, вырастет сто деревьев, а срубим мы сто тридцать.

— Вы нас за резкость извините, — улыбаясь, заговорил снова молодой лесничий. — Ведь мы, лесоводы, со всем миром в конфликте, начиная от промышленника, кончая стадом коров. Вы говорите, животноводство нужно развивать, а для нас оно бич, потому что пастись то самое животноводство в наш лес пригонят. Вы про лося скажете: «Какое мирное, доброе животное!» А я вам отвечу, что он враг лесов, потому что уничтожает молодые посадки. Тут такое подразделение: хрущ подъедает посадки под землей, с корня, лоси съедают мутовку, козы обдирают кору, а человек приходит и выдергивает дерево вместе с мутовкой, корой и корнями. А то еще поджигает траву, а то еще сшибает скворечницы и синичницы, развешанные нами там и тут. Злы мы на всех. Но это оттого, что лес любим и лучше других понимаем: когда кончится он совсем, плохо жить человеку станет. Оттого мы и фанатики, оттого и злимся...

...На четыре дня мы включились в городскую жизнь, совсем выключившись из жизни земли, природы. Заходили в Кольчугино — расцветали первые ромашки. А что теперь? Что произошло за эти четыре дня? Многое ли изменилось в мире?

Оглядываясь по сторонам, стараясь взглянуть в каждую травку, мы возвращались в жизнь земли. Ясно было одно — зной за эти дни продолжал свое страшное иссушающее действие, выпив, может быть, самые последние капельки влаги.

«Победа» догнала нас и резко затормозила. Длинный хвост пыли, что отставал от автомобиля во время быстрой езды, теперь нахлынул, и солнце сделалось оранжевым, смутным. Когда пыль рассеялась, мы увидели секретаря Кольчугинского райкома, с которым познакомились в эти дни.

— Что же вы, не могли обратиться за помощью, сбежали пешком? — укоризненно говорил секретарь. — Садитесь, туда же едем.

Был секретарь рыжеватый блондин, лет сорока трех, с красным, как у всех рыжеватых людей, лицом и с небольшими светлыми глазками. Нос с крутой горбинкой придавал лицу и всему облику секретаря упрямое и вместе с тем по-деревенски стчаянное выражение. Звали его Александром Андреевичем Лобовым. В автомобиле сидел еще человек из области, с седыми усиками и портфелем, затасканным до тряпичной мягкости.

Человек из области оказался уполномоченным сельскохозяйственной организации. Называется эта организация — облсельхозотдел. Уполномоченный старался сквозь закрытое от пыли боковое стекло всматриваться в поля, а Лобов нетерпеливо говорил ему:

— Оставьте, вот приедем в «Красную ниву» все сразу и увидите. Мы еще семь дней продержимся, если же семь дней не будет дождя, все погибнет. Вот смотрите. — Он резко и зло опустил стекло, и в автомобиль ворвалась горячая, иссушающая струя воздуха.

Между тем показалось село Ильинское. Нам это село было нужно, потому что здесь мы попадали на древнюю Стромынку, по которой ездил некогда грозный русский государь в суздальские монастыри. Секретарю

и уполномоченному нужны были поля колхоза «Красная нива», на которых уполномоченный наглядно убедился бы, что все на полях катастрофически сохнет.

Председателю «Красной нивы» Сергею Ефимовичу Ваняткину было не до гостей. Подъезжая к правлению, мы заметили: что-то тут происходит. Толпились женщины с узелками, сновали ребятишки, замасленный парень расставлял скамейки в кузове грузовика. В правлении народу было еще больше. Однако суета не могла заслонить и чистоты, и порядка, и какой-то хозяйственной основательности во всем, на что бы ни упал взгляд. Ваняткин, круглый, толстый человек с круглым веселым лицом, затерялся в людской суете, и сам Лобов не скоро вытиснул его оттуда в просторный и прохладный председательский кабинет.

— Да ведь как же, — возмущенно говорил Ваняткин, — шумели, шумели: праздник животновода, областной слет животноводов, лучшие поедут на День животновода!.. Мы вон плакаты развесили: «Они достойны поехать на День животновода!» Пофамильно, поименно всех указали, кто достоин. Бабы платьев новых нашили, платков накупили, и вдруг накануне праздника — бац! — День животновода отменяется. Большое разочарование в народе, вот что я вам скажу.

— Куда же они у тебя собираются? — спросил секретарь.

— Куда, куда? — Испытующе исподлобья посмотрел на Лобова, одобрит ли. — В Москву решил отправить, на Сельхозвыставку. Дал по сто рублей, грузовик, сутки времени. Пусть посмотрят, ведь они и правда достойны. Молока в этом году на девятьсот литров каждая корова больше дала.

Впоследствии мы долго старались узнать, почему был отменен День животновода. По слухам, получилась заминка с планом, и стало, дескать, не до праздников.

Передовые животноводы, то есть женщины, толпившиеся перед правлением, расселись по местам, и грузовик скрылся за поворотом. Сразу стало тихо и безлюдно. Ваняткин повел нас всех вдоль улицы села, и вскоре мы вошли в просторную избу. Осталось загадкой, когда председатель, от которого мы не отходили ни на шаг, успел распорядиться. На столе стояло блюдо с огурцами, блюдо с картошкой, а также лежала охапка сочного зеленого лука. Бутылки в деревнях принято держать на полу, доставая одну за другой по мере надобности. Там, где можно было ожидать рюмочки, зловеще поблескивали в сумеречном свете тонкостенные чайные стаканы...

И секретарь райкома и председатель должны были вечером же уехать во Владимир на двухдневное совещание. Уезжая, они велели нам обязательно дожидаться их приезда: «Два дня вас не устроят, а здесь вы будете, как в доме отдыха, а в Юрьев мы вас потом на «Победу» за тридцать минут доставим!..»

День десятый

Я проснулся оттого, что хотелось пить. Белесый сумрак наполнял избу. За перегородкой хранили. Наверно, та глуховатая старуха, что вечером стелила постель. Сирень в палисаднике и фикусы в горнице мешали раннему утру хлынуть в окна. Окна были закрыты. Мы сами закрыли их с вечера, чтобы не налетели комары. Жажда лучше всего помогла вспомнить вчерашний вечер. Стол был прибран. Ни ужасных стаканов, ни огурцов, ни лука. Большая крынка стояла посреди стола на белой скатерти. В крынке было молоко. На переменах с Розой мы выпили ее до дна. Храп за перегородкой усилился. Было ясно, что больше нам не уснуть. Мы переглянулись и в глазах друг у друга прочитали одно и то

же решение. Я положил на стол деньги за молоко и ночлег. Через горницу шли на цыпочках, через сени — скорым шагом, с крыльца — бегом.

Словно бокал золотого вина, поймавший в себя лучик солнца, разгоралось утро. Безмолвствовал огромный притихший мир с серыми избами на переднем плане, затуманенными лесами — на втором и с зарей — на дальнем. Леса лежали в низине. Через них, должно быть, текла речка: только она могла образовать этот гигантский зигзаг молочного тумана, вписанный в черноту лесов. Вдалеке из тумана поднимался крестик церковки.

Вчера мы не расспросили дорогу и теперь пошли наугад вдоль села. Село кончалось больницей. Такая была тишина в мире, что подумалось про больницу: «Наверно, в этот час и там все спят, если кто и маялся и кричал всю ночь от своего недуга».

За селом началась Стромынка. Это было плоское широкое полотно, укатанное некогда лихими тройками да тарантасами, а теперь поросшее ровной травкой. По обеим сторонам полотна тянулись, все в цветущей гвоздике, обочины. Среди широкой зелени вьется хорошо заметная, но все же не укатанная до пыли колея. Так посреди зарастающей кувшинками речки пробирается чистая полоска воды.

По обочинам Стромынки местами росли деревья, то одинокие, то небольшими группами, а то зеленел кустарник. Земля вокруг была похожа на степь, и не удивительно: мы подходили к Юрьеву-Польскому. Значит, и в те времена, когда будущий основатель Москвы, называя своим именем новый городок, назвал его еще и Пóльским, — значит, и в те времена здесь был просторный степной остров посреди дремучих лесов.

Километрах в двух от дороги на матовой черноте земли дымился костер, оставленный пастухами: щелкал в перелеске пастуший кнут. От костра наносило на дорогу душистым дымком, похожим на дымок кизяка.

Иногда весь стромынский ансамбль — валки и канавы обочин, ровное зеленое полотно, наезженная колея — начинал поворачиваться, плавно загибаться, и эти повороты еще больше украшали привольный утренний пейзаж. Идти было легко и радостно — и потому, что решили сбежать, а не сидеть два дня в Ильинском, и потому, что на такой Стромынке невозможно сбиться с пути, и просто потому, что воздух свеж, солнце ласково, а мы еще достаточно молоды, чтобы не задумываться о бренности мира.

Мне под ноги попалась подкова, почти новая, с обломками гнутых гвоздей в прямоугольных дырочках. Она была огромная и тяжелая. Разве что конище Ильи Муромца или какого другого богатыря мог обронить такую подкову. Именно так показалось моей спутнице. А я не стал убеждать ее, что скорее всего расковался битюг из породы владимирских тяжеловозов. Подкову я убрал в рюкзак, и она до сих пор хранится у меня как память о реальном ощущении счастья, застигнувшего нас на Стромынской дороге.

Между тем поднялась, как из-под земли, плотная заросль ольшаника и перегородила Стромынку. Некоторое время мы старались сохранить направление и пробирались сквозь лес, надеясь, что вот он кончится и снова откроются дали с широкой дорогой, убегающей в них. Но ольха смешалась с березняком, напросились к ним в компанию рябинка да черемуха, а малина с бересклетом так запутали все дело, что ничего не оставалось нам, как возвратиться на то место, откуда началась лесная заросль.

Возвратившись на старое место, мы увидели, что нам на выбор предложено два пути: чахлая тропинка, ведущая вправо, вниз, в топкое место, и яркий тракторный след, загибающий влево.

Не много было логики в том, что мы пошли по тракторному следу. Мало ли куда и зачем понадобилось ехать трактору? Но очень четок был след по сравнению с тропинкой. Это и обмануло нас. Трактор некогда

продирался между деревьями, задевая за их стволы, сбдирая кору, расщепляя верхние слои древесины. Тракторист был опытный, он ловко лавировал, заводя нас все дальше и дальше в глубину леса. Скоро мы поняли, что идем не так, но слишком много осталось за нами ложного пути, чтобы возвращаться и все начинать сначала.

Тракторный след привел не в деревню, не на поле, не к сторожке лесника, ни даже хотя бы на другую дорогу. Расступились седые, в лишайниках, свисающих длинными бородами, ели, и открылось взгляду огромное поле битвы, вернее — избиения деревьев людьми. Тракторный след развернулся и много напетлял, накружил на порубке. Там и тут лежали в кучах не вывезенные еще березовые бревна. Тощие деревца поднимались в нескольких местах, вызывая ощущение сиротливости; у одной уцелевшей березы была сломана (падающей соседкой) верхинка, она свисала на кожице, засохшая и черная, тогда как береза сама зеленела и даже лопотала что-то под утренним ветерком. На краю порубки валялась, опрокинутая набок, большая железная печка, свидетельствующая о том, что лес рубили зимой. Пни, щепки, обрубки, сучья производили бы более удручающее впечатление, если бы порубка не успела зарости неизвестно откуда взявшимся стебелястым лилово-красным кипреем. Медленно обошли мы порубку кругом и не нашли ни одной тропы, которая вводила бы отсюда.

Заплутавшиеся в лесу бродяги лезут на высокое дерево и оттуда обрезают местность. В книжках про это пишут так: «Напрасно вглядывался он в туманные дали. Лесной океан расстилался до самого горизонта, и не было ему ни конца, ни края».

Порубка занимала низину, и я слез бы с дерева, действительно не увидев ничего, кроме того же леса, если бы в далеком просвете между черными вершинами елей не проглянула яркая, солнечная зелень поля. Теперь без всякой тропы стали мы пробираться сквозь лес, заботясь только о том, чтобы сохранить направление. Хлюпала под ногами сырь, трещал валежник, руки покрывались ссадинами. Но уже нарастал (как под реостатом), все нарастал и нарастал свет. И когда кончились последние деревья, сказочно разостлался перед нами луговой ковер, избегающий на пригорок. На пригорке дымилась ранними лиловыми дымками неведомая нам деревушка. Правее нее, на отдаленном холме, виднелось село. Метрах в двухстах от нас, в кустарнике, слышались мужские голоса, и мы пошли на них, чтобы все хорошенько расспросить. Через кустарник сочилась речушка, иногда она разливалась небольшими лужами. По одной из луж лазили четверо мужиков с семиметровым бредажком. Он был не столько вымочен в воде, сколько выпачкан в голубоватой илистой грязи.

— Неужели здесь водится рыба?

— Шел я вчера под вечер мимо речки, — рассказал один из рыболовов, — гляжу, а он, стервец, ходит!

— Кто ходит?

— Щурец, кому же здесь ходить! Мы, значит, пораньше да сюда. Вон тринадцать щурят вывели.

На траве валялись тощие оскаленные щурята.

— Щука водится, и другая рыба должна быть!

— Нет, иной рыбы незаметно.

— Чем же питается щука?

— Она больше мышами харчуется. — Так и не поняли мы, смеялись над нами рыболовы или говорили серьезно. — Поля кругом, мыша прорва, который попадет в воду — конец.

— Жди, когда попадет.

— Будешь ждать, если жрать нечего. Вон они как отощали.

Деревушка на бугре называлась Федоровкой, а село на холме — Клинами. Мы пошли в Клины межой горохового поля.

Золушке, проснувшейся утром в свей каморке, роскошный вечерний бал в королевском замке казался сном. Она и не поверила бы в этот сон, если бы не золотая туфелька под подушкой.

Матрос, вернувшийся к хлебопашеству в каком-нибудь лесном краю, будет хранить обломок коралла, и, может быть, к старости, когда туманная голубизна экваториальных морей станет казаться давно приснившимся сном, только этот коралл и напомнит матросу о том, что океаны шумят и сегодня.

Нам, вышедшим в светлые поля, наваждением, сном показалась лесная морока. Выход на поля был как пробуждение, и лишь букетик лесных цветов — прохладной нежной грушанки, серебрищейся в руке у Розы и так не похожей ни на что полевое, — утверждал существование леса, только что пройденного нами.

У околицы села, весь в кучевых облаках и отраженном камыше, лениво курился пруд. Пышнее кучевых облаков зелеными клубами поднимались из земли ветлы. Они были стары и огромны. Внутри у них была труха, но еще хватало сил тянуть, поднимать на подблочную высоту земные соки. Одна ветла упала в пруд, и теперь по ней можно было ходить. В большом пруду она потерялась, утратила свое горделивое величие, ее хватило только на то, чтобы достать верхушкой до того места, где кончались прибрежные камыши и начиналось чистое зеркало воды. Слово брызги от рухнувшей в воду ветлы, взметнулись вверх от лежащего трухлявого ствола зеленые молодые побеги.

Прочные дощатые мостки с перильцами уводили от берега на глубину, при которой не видно дна, хотя мне никогда не приходилось встречать пруда со столь чистой, прозрачной водой. Это не мешало, впрочем, водиться тут всякой живности.

Вот пробирается, ползет по подводному стеблю ногатое, усатое существо, похожее на мокрицу. Это водяной ослик, мирный поедатель всего, что гниет. А вот совсем уж чудно, завитушками вниз, скользит по поверхности воды улита-прудовик. Для нее поверхность воды — потолок, она и движется по нему как бы вниз головой. Между тем отделился от черной глубины и несется стрелой черный обтекаемый снарядик. Теперь хорошо видно, что это тигр подводных джунглей — жук-плавунец. Сейчас он выставит наружу кончик брюшка, подышит, наберет воздуха и снова канет во тьму. Подобно тому, как маленький кроважидный соболь нападает на кабаргу, впиваясь ей в затылок, жук-плавунец бросается на рыбу, гигантскую по сравнению с ним, и подчас одолевает ее. А если и не одолеет один, то запах крови соберет армию собратьев, и тогда уж быть рыбе растерзанной.

Посидев подольше, увидишь, как из той же придонной тьмы вдруг появляется большая тень, — это выплывает гигантский жук-водолюб. Ему тоже нужно подышать воздухом.

Если же запастись терпением и если посчастливится, может быть промелькнет и серебрянка — удивительный паук, строящий себе подводный домик из пузырьков обыкновенного воздуха. Про пиявок нечего и говорить — сплывают, извиваются черные бархатные ленточки, наводя ужас на купальщиц, подобных моей спутнице.

Словно шарик ртути, пролитой на стекло, но только иссиня-черные, катаются и юлят вертячки. Как циркачи на резиновой сетке, пляшут на упругой поверхности воды водомерки.

На мостках мы разбили наш табор, устроили купание и стирку. Вода была свежа и прохладна. Она золотисто мерцала в глубине, просвеченная утренним солнцем.

Постепенно просыпалось село. К двум косилкам, стоявшим поодаль, прошли четверо мужчин; они не спеша покурили и еще более не спеша стали копаться в машинах.

Женщина с корзиной подошла к пруду и начала полоскать белье не-вдалеке от нас. Она рассказала, что пруд совсем было зарос, но прошлый год экскаватором его вычистили, углубили, и теперь он еще поживет. «Омолодился пруд-то наш», — сказала женщина.

Две девочки и мальчонка-бутуз, все трое русоголовые, синеглазые, забрались на упавшую ветку и затеяли там игру. Она кончилась тем, что мальчонка-бутуз свалился в воду, после чего ему было приказано сидеть на берегу и сохнуть.

День начался. Мы уложили вещи и двинулись в глубь села.

У председателя Клиновского колхоза Ношина в этот день случились три неприятности. Во-первых, утонула девятипудовая супоросая свинья. Во-вторых, из соседнего, Фроловского, колхоза приехала делегация. Они, эти колхозы, соревнуются, и теперь люди захотели посмотреть, чего Ношин у себя достиг. А так как в Клинах по сравнению с селом Фроловским дела были плохи (свинья потонула, поросята в двухмесячном возрасте, как по уговору,дохнут, на скотном дворе грязь), то делегация была неприятностью. Мы слышали, как отчитывали Ношина фроловские колхозницы, видели, как он краснел перед ними, словно мальчик перед учительницей. В-третьих же, в довершение всех бед, откуда ни возьмись появились некие пугливые путешественники, которым все надо знать.

Ношин стоял небритый, в синей рубашке и в сшитых чуть ли не из шинельного сукна черных штанах. Эти получугунные штаны, надетые, видимо, ради делегации, да еще и подвернутые снизу, чтобы не грести пыль, вопреки всякой логике вызвали у меня к их обладателю чувство, похожее на жалость. Мы решили не допекать больше председателя и ушли в старинный липовый парк, чтобы пересидеть там часы зноя.

Когда лежишь в прохладе, в голову лезут всякие несообразные мысли. Например, вдруг возник вопрос: что глуше — село Клины, расположенное в двухстах километрах от Москвы, или поселок Амдерма, затерявшийся в Заполярье, на берегу Карского моря? В этой Амдерме однажды сидели мы, отрезанные от всего остального мира, в ожидании хоть какого-нибудь самолета, который вывез бы нас на Большую землю. Прошло дней десять, и каждый из десяти дней равен был месяцу, потому что, когда с утра до вечера прислушиваешься, не пробивается ли сквозь вой пурги металлический шум моторов, время стоит на месте. И вот — моторы! Все мы бросились к аэродрому, навстречу неведомым людям, прилетевшим за каким-то лешим в ту же Амдерму. По сходням самолета спокойно сходил мой хороший приятель, однокурсник по институту, Миша Скороходов, и поговорка, говорящая, что мир тесен, нашла себе блестящее подтверждение.

Потом мы пили спирт, и Миша, впервые в жизни увидевший море, да сразу Карское, все стремился убежать от меня в зеленый, с ледяным крошевом прибой, а я ловил его за полы пальто и оттаскивал на сухое место.

Значит, в Амдерме два знакомых друг другу журналиста встретились и при этом не очень удивились встрече: чего не бывает!

А возможно ли, чтобы два журналиста встретились также в селе Клины? Это исключено совершенно. Значит, отсюда можно сделать вывод, что Клины глуше Амдермы.

Мест, где не ступала бы нога человека, теперь, пожалуй, не найдешь. Но зато сколько мест, где не ступала нога корреспондента! С этой точки зрения мы пробирались теперь по девственным, первозданным местам. Мы шли, как первооткрыватели, и всё — от ветки цветущей брусники до председателя колхоза, от могилы фельдмаршала до растущих надоев молока, от оранжевой ниточки Кольчугина до головастика в клиновском пруду, — всё касалось нас.

Липовый парк, в котором мы отдыхали, постепенно нарушался. Деревья тоже стареют и падают. Правда, судя по пням, падать им здесь не позволяют. В центре парка липы стоят плотным кольцом. Там устроены лавочки и ежевечерними танцами вытоптана трава. От центра лучами расходятся длинные узкие аллеи, в которых почти темно. Земля между липами изрыта теми животными, лучшая представительница которых сегодня утром погибла в собственном навозе.

Клинчан нельзя и винить, что парк нарушается, потому что обновлять его невозможно. Подсаженные деревца не выжили бы в непроницаемой тени патриархов. Заросли бузины и акации окружают парк почти непроходимым кольцом.

Село Клины, как говорят, было вотчиной бояр Романовых, от которых пошла династия русских царей, и первый русский царь Михаил Романов родился будто именно в Клинах.

На выходе из села сохранилась церковка. На белой стене трафарет: «Памятник архитектуры. Охраняется законом».

— Вот так, бульварами все, и идите. До самого Юрьева — все бульварами, — показал седобородый дед на знакомую нам Стромынку.

Долго брели мы по пересохшей земле, вспоминая кольчугинского секретаря: «Семь дней мы еще продержимся, а потом — не знаю». Было душно, как перед грозой. Далеко-далеко за горизонтом наметилось некое потемнение, и доносилось временами глухое погромыхивание. Уж не подмога ли идет оттуда, без которой не протянуть дольше семи дней? А может, там всю хлещет гроза?

Минутное чувство огорчения (почему там гроза, а не здесь) сменилось радостью: там-то чужое, что ли? Те же наши хлеба. Лей, гроза, хлещи где попало! Велика Россия — не промахнешься.

На подходе к Юрьеву-Польскому погромыхивание стало отчетливее. Идет, идет подмога секретарю Лобову, по всему горизонту гремит канада. Быть ночью грозе.

Белые церковки Юрьева мы увидели вписанными в загустевшую синеву; от этого белизна их казалась неестественно яркой. Мы остановились на минуту на холме, с которого древний деревянный городок открылся во всех подробностях, как бы положенный на дно глубокого ярко-зеленого блюда.

День одиннадцатый

Юрий Долгорукий, как, впрочем, и многие русские князья, любил закладывать города на месте слияния двух рек, если даже одна из них совсем маленькая. И столицу нашу Юрий заложил на высоком мысу между Москвой-рекой и Неглинкой.

По Колокше много красивых и удобных мест. Можно сказать даже, что Колокша с ее высокобережной поймой — одно из главных украшений Владимирской земли. Вода в ней хрустальная, но кажется темной от спокойной, уверенной глубины. Здесь не увидишь на поверхности морщин, узловатостей, завихрений, как на реках с быстрым течением. Словно бы неподвижна глубокая светлая вода, а течет! Луговые цветы глядятся в Колокшу, если только вблизи берегов не распластались листья кувшинок. В июльский полдень поднимаются из придонного мрака широколобые, огненнопёрые головли, и нет им числа.

Вся хороша Колокша, но именно там, где впадает в нее речушка Гза, остановил свой взгляд Юрий Долгорукий.

Не знаю уж, как там было, топал ли он на этом месте ногой, провозглашая вроде того, что «здесь будет город заложен», или ходили туда попы с иконами да молебнами, — так или иначе летописец (тогдашний корреспондент) получил возможность записать у себя в блокноте: «Юрий

Долгорукий в свое имя град Юрий заложи, нарицаемый Польский, и церковь в нем каменну созда во имя святого Георгия».

Покняжили в Юрьеве один за другим несколько князей, а потом он как выморочный перешел к Москве.

Дмитрий Самозванец отдал Юрьев-Польский на прокормление касимовскому царевичу Магомету Мурату. Царевич покормился так, что через четыре года в Юрьеве было девять тягловых дворов, девяносто четыре места пустых и одиннадцать хором без жильцов.

Чуть позже говорилось о прилегающих к городу местам: «И та де вотчина пуста, а запустела де от морового поветрия и от хлебного недороду... и в книгах та его (князя Нагого) вотчина за ним написана впусе, живого в ней нет».

В конце XIX века Россия, как известно, вступила на путь капиталистического развития. Не остался в стороне и град Юрьев. Мужик Ксенофонт из села Волотовитинова начал выделять плуги. Он сам пробовал их на земле, постоянно совершенствовал, и плуги его в свое время славились. Вот до каких пределов развилась индустрия в Юрьеве-Польском: на заводе Ксенофонта было два сверлильных станка, один фуганочный, один болторезный, пять кузнечных горнов да одно наждачное точило.

Более успешно развивалась легкая промышленность, а именно ткацкое и красильное дело. На этих фабриках мы еще увидим много интересного.

Текла красавица Колокша, проплывали над Юрьевом облака, уходило время. Одни дома разваливались, другие строились, но было в городе нечто, что стояло себе да стояло в таком виде, как было поставлено мастерами Юрия. «И церковь в нем каменну созда во имя святого Георгия».

Теперь, бродя по Юрьеву, мы среди многих церквей и колоколен старались отыскать этот собор.

Может быть, вон та высокая колокольня, что поднимается, как каланча, господствуя над городом и над его окрестностями? Или, может быть, вон то красивое кирпичное сооружение причудливых архитектурных форм? Не тот же это в конце концов белокаменный кубик, положенный на зеленую траву и увенчанный скромной луковкой с крестом на ней?

Но чем ближе мы подходили к «кубику», чем больше мы в него всматривались, тем яснее становилось для нас: «Да, наверно, это и есть тот собор». Строгость линий, отсутствие каких бы то ни было завитушек и финтифлюшек, создающих ложную красоту, и, наконец, тонкая каменная резьба по наружным стенам говорили о неиспорченных вкусах зодчих XII века.

В свое время собор резко выделялся сверкающей белизной среди черной коросты деревянных хибарок и частоколов.

Ныне, обстроенный со всех сторон пышными и громоздкими церквами, он все равно выделяется, но уже своей простотой и скромностью. Может быть, даже более выделяется, чем тогда, при деревянных хибарках.

В горсти ярких морских камней не сразу заметишь маленькую скромную жемчужину, но чем больше будешь приглядываться к ней, сравнивая с дешевой нарядностью окружения, тем лучше поймешь, почему жемчуг есть жемчуг.

Мнения многих ученых сходятся на том, что этот собор, если и не заключать под стеклянный колпак, то все же надо бы сохранить: ведь второго Юрий Долгорукий уже не построит!

Тем не менее Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, можно сказать, разваливается. Один угол его отъехал и скоро обрушится. Никаких восстановительных или укрепительных работ там не ведется. Если не взятыся как следует за реставрацию собора, то мы можем оказаться последним

поколением, имеющим возможность увидеть своими глазами эту истинную жемчужину, пролежавшую на зеленом берегу Колокши восемьсот лет.

Все больше и больше нравился нам тихий, весь в зелени городок, окруженный всеми этими ромашками, короставниками, гвоздичками, колокольчиками, васильками, подорожниками, тысячелистниками, хвощами, полынью... А то еще посмотришь вдоль улицы и увидишь в конце ее колосящееся ржаное поле. Ветерки, пахнущие полевыми травами, продувают городок насквозь, и кажется, что сами деревянные дома насквозь пропитаны этими запахами.

Вместе с рекой, прорезая Юрьев через самый центр, входят в быт юрьевчан кувшинки, стрекозы, обильные росы по вечерам, речной туманец в летние ночи.

Мальчишки, да и не только мальчишки, пристроились с удочками под тенью развесистых ветел. Между домами и рекой растет чистая травка, как в деревне. По траве вьются сиреневатые тропинки.

В центре сохранились старинные торговые ряды — большое приземистое здание из побеленного кирпича. Широкие окна вплотную примыкают друг к другу и тянутся цепочкой. Они закрыты деревянными коричневыми ставнями с тяжелыми коваными петлями поперек. Перед рядами на стояках лежит бревно, к нему привязывают лошадей.

Это был город овса и кожи, сена и колесной мази, мучных лабазов и рогожных кулей.

Гроза, что так уверенно находила вечером, не дошла до Юрьева. Однако утром прыснуло на перегретый город редкими светлыми каплями, и не сильно, но устойчиво по всему Юрьеву запахло лошадами: тонкой смесью запахов сена, дегтя, хомутов и лошадиного навоза.

В середине дня мы пришли в музей. Он помещается в монастыре, и нам пришлось пересечь внутренний двор монастыря, заросший травой. Трава теперь была большей частью скошена и лежала в валках. В дальнем углу монастырского двора девушка в легком открытом платице и широкополой панаме разбивала, ворошила эти валки деревянными двоешками. Она подошла к нам. Ее круглое лицо загорело, несмотря на широкие поля панамы. В глазах девушки стояла полдневная, ленивая, разморенная синева. От нее пахло молодым сеном. Она оказалась сотрудницей музея — Розой Филипповой. Быстро сменив двоешки на указку, она повела посетителей, то есть нас, по прохладным, отдающим сыростью залам музея.

Там мы узнали много интересного, главным образом о местах, прилегающих к Юрьеву. Поскольку мы побываем во всех этих местах, то и рассказывать о них лучше о каждом в свое время.

О соборе Роза Филиппова сокрушалась вместе с нами. Все письма (ее и директора музея) возвращаются для выяснения и принятия мер в область, а область пока ничего не делает. «Вот упадет, тогда хватятся», — заключила Роза.

Из музея мы пошли осматривать ткацкую фабрику. Кроме простого интереса, был у нас еще интерес дополнительный, зародившийся не далее как утром во время моего бритья в парикмахерской. Подставив щеку под мыльную кисточку, я прислушивался к разговорам в других креслах, и не зря. У соседа моего, чернобрового парня в синей шелковой безрукавке, шел с парикмахершей любопытный диалог.

— Тебя освежить?

Шипение пульверизатора и довольное кряхтение.

— А в Колокше вчера все лягушки на берег попрыгали.

Парикмахерша хихикнула.

— Чего же они вдруг попрыгали?

— Как же, третья фабрика опять свою воду в реку спустила, вот и картина: идет дурная вода, а лягушки на оба берега выбрасываются,

словно их кто горстями кидает. А та, которая усядется на листе и дышит, никак не опомнится. Рыбе, конечно, каюк. Рыбе на берег не выпрыгнуть.

Ткацкая фабрика, оглушившая нас шумом сотен станков, до последнего времени вырабатывала шотландку, тот клетчатый материал, из которого шьются любимые рубашки геологов, туристов, альпинистов, корреспондентов, рыбаков и всех, в ком бьется романтическая бродяжья жилка.

В Москве было решено, что от шотландки легче всего перейти к гобеленовому ткачеству. И вот за каких-нибудь шесть-семь месяцев фабрика в Юрьеве-Польском стала крупнейшим предприятием страны по выработке гобеленов.

Расставили в корпусах новые — чудо современной техники — станки и сказали юрьевчанам: «Нужно освоить!»

Юрьевчане думали недолго, уже в первые три месяца они дали шесть тысяч метров новой ткани. Речь здесь идет о тканях, которыми обивают диваны, тахты, оттоманки. Из них же делают портьеры. Разница с обычными тканями та, что в одном случае материя раскрашивается красками, или, как говорят, набивкой, в другом случае создается из разноцветных ниток. Нам долго объясняли и показывали, как получаются все эти цветы, узоры и орнаменты, но производство такое сложное, что с одного урока усвоить не удалось.

Объяснял нам его секретарь партийной организации Павел Федорович Веденеев. Он рассказал, что есть мыслишка освоить художественные коврики, те самые, что продаются сейчас на рынке людьми, приехавшими из-за границы. На рынке они сейчас по сто семьдесят рублей, а наши будут стоить пятьдесят.

— Нам хотелось бы поинтересоваться, как на красильной фабрике очищаются сточные воды. Можно?

— Отчего же. — Секретарь партбюро позвонил по телефону. — Дайте конный двор. Конный двор? Там легковая лошадь свободна? Подайте к подъезду.

Но мы отказались от легкой лошади и, попрощавшись с парторгом, пошли на красильную фабрику пешком. Идти пришлось довольно далеко, узкой тропой, через капустные и картофельные огороды.

Начальник водочистных сооружений — загорелый худощавый украинец, с полагающейся украинцу хитрецей в глазах, по фамилии Калько — встретил нас у ворот фабрики: ему уже позвонили, что будут гости.

— Я человек прямой и говорить буду прямо. В пределах наших возможностей мы очищаем воду добросовестно. Конечно, нужны биофильтры, но их нет как нет. Биофильтры — другое дело. Тогда хоть снова пей ту воду. А мы достигаем законной прозрачности, и только.

— Что же это за прозрачность, и как вы ее достигаете?

— Сейчас все поймете в подлинности. Вот наша вода, как она есть.

Мы подошли к желобу, по которому хлестала черная, как чернила, с резким химическим запахом вода.

— Эта дрянь стекает в подземный резервуар, оттуда мы ее качаем и одновременно добавляем в нее компоненты: негашеную известь и железный купорос.

«Одних этих компонентов достаточно, чтобы заразить воду, сделать ее ядовитой», — мелькнула мысль, но мы слушали, что же происходит дальше.

— И вот результат, — продолжал Калько, — вся чернота под действием компонентов свертывается в хлопья.

Действительно, мы увидели воду, несколько посветлевшую, примерно цвета чая, в которой плавали как бы хлопья сажи.

— «Теперь все очень просто.» Есть несколько камер и два пруда — это отстойники. Хлопья падают на дно, а вода поверху уходит в Гзу, из Гзы — в Колокшу, из Колокши — в Клязьму, и... тью-тью, поминай как звали.

Отстойный пруд (тут же рядом с фабрикой) больше напоминал бугор черной полужидкой массы, похожей на ту, что остается на дне кофейника. Бугор накопился за несколько лет. Оказывается, как пустили эту систему в ход, так ни разу ее и не чистили. Что-то тут хлопало, с бульканьем вырывались со дна пузыри, но, конечно, не рыба, роясь в иле, пускала их. На много метров вокруг не было никакой жизни.

Навстречу попались две девушки. Они в стаканах несли коричневатую воду.

— Вот они несут ее в лабораторию. Там проверят, хватает ли прозрачности, имеем ли мы право спускать ее в реку.

— Хватает, — сказали девушки. — Прозрачность восемь сантиметров.

— Это значит, — пояснил Калько, — что сквозь слой воды в восемь сантиметров различаются буквы. При восьми сантиметрах санинспекция придаться не может, это наша законная прозрачность.

— Дайте попить. — Я протянул руку к стакану.

— Что вы! — Девушка одернула стакан. — Это же яд!

— Да, но у него восемь сантиметров прозрачности!

Все посмеялись.

— Очистка наша полукустарная, — заключил Калько, — но другой пока нет. Биофильтры, конечно, другое дело.

— Скажите по чести, сколько стоит установить биофильтры?

— Цена известная. На любом заводе фильтры можно установить за два миллиона рублей.

Неискушенных читателей пугает эта цифра. Все же два миллиона рублей, а не две тысячи, но, когда строится завод, установить фильтры за два миллиона все равно, что к новому дому приделать крыльцо.

Нам рассказывали о заводах и фабриках, которые ежегодно штрафуются на два миллиона за отравление рек. Получается нелепая история — с одного текущего счета деньги перечисляются на другой текущий счет, но ни рыбе в реке, ни людям, живущим около реки, от этого не легче.

Наконец, мы знаем о двух миллионах, уже отпущенных государством Кольчугинскому заводу, но знаем также, что из них израсходовано пока семнадцать тысяч.

Мы спим, занимаемся своими делами, а в это время и день и ночь сотни тысяч ядовитых потоков непрерывно хлещут в светлые рыбные реки, убивают всякую жизнь. Неужели так и будет продолжаться это преступное безобразие?

Может быть, штрафовать нужно не заводы (потому что в этом случае государство штрафует само себя), а директоров? Заинтересованные в личном, своем рубле, они скорее возьмутся за дело, и реки наши облагородятся.

Милый тихий городок Юрьев-Польский! Автомобилей мало, толкучки на улицах нет, трамваи не дребезжат — живи, наслаждаясь тишиной и покоем.

Впрочем, я совсем забыл, что в центре Юрьева-Польского жить практически невозможно. Мы столкнулись с этим прискорбным обстоятельством в первый вечер.

Чудо современной техники, огромный, окрашенный в серебристую краску, поднятый высоко над самыми высокими зданиями, вещал репродуктор. Трансляция велась на таком усилении, что никакие стены не в силах были остановить напор, лавину, стихию звуков. Каждое словечко, каждый оттенок в интонациях диктора различался в помещении так же четко, как если бы репродуктор висел рядом в комнате.

Культура, равно как и бескультурие, может проявляться по-разному. Если в небольшом зале столовой или чайной включается динамик, способный наполнить своим вещанием огромную площадь, так что сидящим за одним столом людям уже нельзя переговорить между собой, то это говорит о бескультурии, несмотря на то, что дело связано с достижением человеческой цивилизации — радио,— и несмотря на то, что буфетчица победоносно поглядывает на посетителей: «Вот, мол, как у нас!» Считается при этом, что чем громче орет радио, тем лучше. Им и невдомек, что музыка, пущенная вполголоса, не мешающая разговаривать, не назойливая, не похожая на струю из пожарного шланга, в столовой более уместна, так же как и настольные лампы вместо мертвенно-голубых цилиндров «дневного» света.

Но из столовой можно уйти, а куда уйдешь из своего собственного дома, если пожарная кишка, извергающая звуки, бьет прямо в ваши окна!

Сначала мы думали, что радио будет орать часов до восьми. Потом скрепя сердце перенесли этот срок на десять, но оно орало ровно до полуночи, заставив нас слушать и передачу для работников сельского хозяйства, и передачу для шахтеров (то-то их много в Юрьеве-Польском!), и письма родных на Северный полюс, и хор Пятницкого, и оперетту...

Наконец наступила тишина. Было ощущение, будто вас несколько часов трясли, кидали то вверх, то о землю, мяли, тискали, а теперь вот оставили в покое.

Блаженство продолжалось недолго. В шесть часов утра юрьевчанам предложили бодро вставать и заниматься зарядкой. Я даже посмотрел из окна на площадь — может, и правда бежит народ, выстраиваясь в ровные ряды, для выполнения положенных гимнастических упражнений. Потом всех взрослых горожан (какая нелепость!) заставили слушать пионерскую зорьку — и пошло, и пошло до новой полуночи.

Начальник радиоузла (не то его заместитель), округлый, начинающий лысеть блондин, беспокойно поерзал на стуле (чего им понадобилось?) и, сложив руки на животе и придав своему округлому лицу беспечное выражение, приготовился нас слушать.

Я начал с того, что рассказал случай, происшедший с советскими туристами в одной словенской деревне. Шофер, чтобы собрать разбредшихся туристов, несколько раз просигналил. Тут же к автобусу подошел полицейский и предложил заплатить штраф: шуметь на улицах деревни было запрещено. Только узнав, что туристы — советские люди, полицейский смягчился, и недоразумение уладилось.

— Ну, у нас на этот счет пока свободно! — радостно воскликнул начальник.

Я рассказал также, что собираются запретить сигналы в Москве.

— Как видите, люди борются за тишину. Скажите, кто вам дал директиву, установку, указание, распоряжение вести круглые сутки такую громкую трансляцию?

— А я, собственно, не знаю... Так уж заведено. Не первый год транслируем. Народ просвещать нужно, а как же. Народ, он культуры требует.

— Наверно, в домах радиоточки имеются?

— Как же, весь город радиофицирован.

— Зачем же еще и на улице? Неужели вы думаете, что в шесть пятнадцать утра кто-нибудь на площади будет заниматься гимнастикой? — Это предположение рассмешило начальника. — Вкус у людей разный, — продолжали мы, — одному нравится оперетта, другому — игра на баяне. Один терпеть не может симфонической музыки, другой затыкает уши от хора Пятницкого. Зачем же вы всем поголовно навязываете и то, и другое, и третье? Это грубо, жестоко и... некультурно!

Начальник, кажется, перестал понимать нас. Но мы продолжали:

— Может быть, кому-нибудь захотелось почитать книгу, сочинять стихи, писать музыку, да и просто выспаться. Но заниматься всем этим у вас невозможно, вы оглушаете человека, вы не даете ему сосредоточиться.

При словах «сочинять музыку» белобровое лицо начальника оживилось, и он собрался уж расхохотаться, но потом скис и как бы говорил всем своим видом: «Валяй, валяй, заговаривайся!»

— Наверно, есть больные, которым нужен покой, а вы его нарушаете.

— Это есть. Что есть, то есть. И кляузы, то есть письма, тоже были.

— Наверно, есть дети, которых матери не могут усыпить из-за вашей иерихонской трубы?

— Есть и такие. Несколько сигналов поступало. Но масса, народ любит радио, любит бодрую музыку, это поднимает дух...

Мы вышли на улицу под звуки марша, метавшиеся по городу со скоростью трехсот тридцати трех метров в секунду. Звуки наталкивались на дома, меняли направление, дробились о крыши и, отскакивая, терялись в зеленых просторах колокшанской поймы...

Вечером этого дня жители Юрьева с удивлением оглядывались на прохожего странной наружности. Он был длинный и тонкий, как жердь. На голове его красовалось свитое в виде чалмы полотенце. Лицо покрывала черная густая щетина — по крайней мере дней десять он не брился. У черной курточки, надетой на голое загорелое тело, были выше локтя закатаны рукава. Огромное пространство от курточки до земли заполняли синие сатиновые шаровары. На ногах человека ничего не было, башмаки болтались, привязанные к рюкзаку шнурками.

Вглядываясь в черную густую щетину, можно было разглядеть, что это совсем молодой парень с веселыми черными глазами и припухлым ярким ртом.

Больше всего смущал юрьевчан плоский деревянный ящик, таскаемый парнем на ремне через плечо. Одни предполагали, что это цыган-коновал, другие принимали его за бродячего фотографа, третьи — за фокусника: смущала чалма. Но в ящике нетрудно было угадать обыкновенный этюдник.

За ужином в чайной мы разговорились, как старинные друзья.

Сергей Куприянов (в дальнейшем Серега) тоже пустился путешествовать. А так как и ему и нам было все равно, в какую сторону двигаться, то мы и решили объединиться, тем более что он очень просился. Так нас стало трое.

Серега рассказал, между прочим, что в Кольчугине разразилась гроза. Наконец-то ливень напоил жаждущие колхозные поля.

После знойных томительных дней мы вступали в полосу освежающих гроз и ливней.

День двенадцатый

По утреннему холодку, бодрым, спорым шагом, мы не заметили, как отмахали километров восемнадцать. Небо, ранее либо совсем безоблачное, либо все в торжественных золотистых облаках, теперь то тут, то там начинало вдруг наливать синевой с багряным оттенком. Синева густела, темнела, ширилась. Оттуда тянуло свежестью, там шла гроза. Мы, правда, еще не попали ни под один хороший дождь, но нужно было ждать и нам.

Деревянный мост отражался в речке, заросшей кувшинками и прочими водяными травами. Налево от моста уходила к старинному парку тихая зеленая заводь. Направо горел под солнцем мельничный омут. Мы долго смотрели с моста в воду на сплывающую в зарослях рыбешку, пока негром-

кое постукивание мельницы не привлекло нашего внимания. Пошли посмотреть, что делается внутри.

Внутри мельницы весь пол был уставлен мешками с мукой. В пыльном и пахнущем мукой полумраке сначала ничего не было видно, потом шевельнулась тень, и, приглядевшись, мы увидели человека, ловко завязывающего мешок. Он подошел к нам, ближе к воротам, к свету, и оказался худощавой женщиной, лет сорока, со спокойным, седоватым от муки лицом.

— Мешки-то все ваши? — спросили мы, чтобы что-нибудь спросить.

— Все мои. Троица скоро, нужно белой мучки смолоть. Здесь очередь — не добьешься, каждому нужно. Теперь вот очередь моя. Одним словом, мели, Емеля, — твоя неделя. — На серой мучнистой маске сверкнули вдруг белые молодые зубы, и мы поняли, что женщине не сорок лет, а гораздо меньше.

— А что ж, если не троица, то и молот не надо?

— Свеженькой к празднику-то. А так мы целый год с булками. Наши булки пышнее ваших. — И снова сверкнула озорная улыбка.

— Каких наших?

— Известно, городских.

— Мужа послала бы на мельницу мешки-то ворочать.

— Бери замуж, будешь мешки ворочать! Прежнего, видно, не дождусь.

— Сколько у вас этого... хлеба-то?

— Хватит на мою вдовью долю — две с половиной тонны в прошлом году получила. Теперь день боюсь пропустить без работы. На мельнице сижу, а сердце болит — за мельницу никто мне трудодня не запишет...

На мосту, пока мы разговаривали с колхозницей, происходило следующее. Серега раздвинул складной походный стульчик, поставил перед собой раскрытый этюдник и начал писать воду, кувшинки и угол дальнего парка. Тотчас его окружили ребяташки; они, сопя и отгалкивая друг друга, заглядывали, что там получается.

Облокотясь на перила, сгоял пожилой мужчина: всем интересно, не только детям. Серега, чтобы принести какую-нибудь пользу новым спутникам и зная, что нас может интересовать, между делом интервьюировал мужчину насчет кукурузы. Интервью находилось как раз в той стадии, когда Серега очень хотел узнать, что думает о предмете мужчина, а тот не меньше хотел узнать, что думает о предмете Серега.

— Грачи вот тоже, — вел сторонкой Серегин собеседник. — Он, грач, квадрат-то раньше нашего освоил. Мимо не клонет, а в самую, значит, точку. А как в точку попал — на поле плешь. Слышал я, в одном селе председатель взял ружье да хотел всех грачей перестрелять. Пошел к кладбищу, где у них гнезда. Опять же бабы не дали. Огрудили председателя, ружье отняли — конфуз!

Собирался народ. По мосту всегда ходит много прохожих.

— Это что! — подхватил парень в майке и кожаной фуражке. — В одном доме отдыха грачи спать мешали. Ну, понятно, народ там все нервный, хлипкий. Директор и нанял ребяташек, чтобы те ему все гнезда прямо с птенцами прямо на землю побросали.

— Что он, некрещеный, что ли?

— Не о том речь. За сколько нанял-то!

— Ну?

— За две тысячи! Ведь надо такие деньжищи отвалить.

— Да, а все же нехорошо!

— В Америке, слышать, радио на кукурузное поле проводят, а по радио целый день грач верещит, будто его за ноги раздирают. Другим — острастка.

— Али и в Америке кукуруза растет?

— Растет...

— А у нас, гляди, привьется ли...

— Не скажи. Табак-ат поначалу, помнишь, как уродился? Три центнера с га. А теперь сколько?.. Пятьдесят семь. То-то и оно. Всяко дело поначалу нелегко дается.

Сергеа закончил свой этюд. Земля снова медленно двинулась нам на встречу. Она была красива. Ровную, как натянутая скатерть, зеленую луговину выхватил из тени прорвавшийся сквозь облако солнечный прожектор. Луг светился ярко и весело. Казалось, от него-то и светло вокруг. Несколькими крутыми петлями лежала на лугу река. Было странно, что она течет на таком ровном месте. Между петлями реки бродили тоже освещенные солнцем игрушечные коровы. Фоном для картины был пригорок, выгнутый в дугу и заросший лесом. Черный, затененный лес обрамлял нежную зелень светящегося луга.

Село называлось Глотовом. В Юрьев-Польском музее нам советовали обязательно зайти в это село, а зачем — не сказали: сами увидите, а если не увидите, то нечего вам и по земле ходить. Сначала нужно к Филатову. Это было сказано не в такой грубой форме, но смысл угадывался.

Теперь мы медленно шли вдоль села, озираясь по сторонам. Озираться пришлось недолго. Ночью мимо яркого костра, не заметив его, пройти было бы легче.

В окружении могильных крестов и деревьев, дошедшая из тьмы времен, пришедшая сразу из всех сказок, стояла деревянная церковка. Архитектуры такой нам еще не приходилось видеть. Такая архитектура годилась только и именно для деревянной церковки и совсем не годилась бы для каменной. Для деревянной же она была тем идеалом, тем совершенством формы, которая выработалась за многие века. Перед нами стояла не просто церковь, но произведение искусства, шедевр деревянного зодчества.

На землю положены квадратом четыре могучих бревна с грубо — топором — обрубленными концами. Концы соединены крестом, как это делается у всех деревенских изб. Потом положены еще четыре бревна, но уже длиннее нижних, потом еще длиннее, еще и еще. Таким образом поднималось бревенчатое основание церкви, похожее на перевернутую усеченную пирамиду. Каждый угол основания чем-то напоминая издала куриную лапу, и нам впервые стала понятна избушка на курьих ножках.

На высоте более человеческого роста окружала церковку деревянная, с резными столбами, узкая галерея под узкой тесовой крышей. Над галереей поднималась двумя стремительными острыми шатрами тесовая крыша, так что один шатер, пониже, примыкал к другому шатру, повыше. Крыша была настолько крута, что удержаться на ней было бы невозможно. С одной стороны островерхий шатер описывал полукруг. Кирпичная, но легкая-легкая башенка поддерживала луковицу с крестом.

Большая часть тесовой крыши по цвету не отличалась от крутого яичного желтка, такой плотной шубкой разросся здесь мелкий сухой лишайник — стенница.

Крыша над галереей почти не сохранилась, а оставшиеся доски тоже были ярко-желтыми. Крыльцо, по которому можно было бы подняться в церковку, разрушилось.

Как скоро Сергеа открыл этюдник, так и собрались ребята со всего села. У них мы спросили, кто мог бы нам открыть и показать церковку. Одна девочка вызвалась сбегать за тетей Машей Титовой: «Все ключи у нее, а сама она сажает табак».

Пока девочка бегала, мы раздобыли лестницу. Прибежала тетя Маша, средних лет, здоровая женщина. Руками, испачканными в черноземе, она долго крутила в личине ключ, весивший не менее трех килограммов.

Внутри церковь не поразила нас ничем особенным. Евангелие в серебряных золоченых ризах, тусклый иконостас, разошедшие ставни на окнах. Тетя Маша сказала, что если никто не возьмется, то церковь продержится разве что десяток лет, а потом развалится. А ведь построена она в XVII веке, то есть в тысяча шестьсот каком-то году.

Осенние дожди насквозь пробивают изъеденную желтым лишайником крышу глотовской церковки. Она истлевет на корню, а когда истлеет, не останется второй такой во всей России. Глотовская церковь, перенесенная из глуши в более доступное место, могла бы сделаться объектом многочисленных экскурсий и туристских походов. Созданная безыменными мастерами, она создана как бы самим народом, она фольклор, и относиться к ней нужно, как к фольклору. Былину можно издать большим тиражом, а церковь одна, ее можно лишь беречь и хранить.

Тетя Маша сказала, между прочим, что кто-то интересовался и даже отпускались какие-то деньги, но куда те деньги делись, тете Маше неизвестно, а нам — тем более.

Ребятишки гурьбой проводили нас за околицу и дальше в поле. Последние энтузиасты вернулись, когда завиднелись крайние избы большого села с ласковым женским именем Сима. Нет ничего скучнее, как идти длинным, далеко растянувшимся селом. Считаешь, что дошел до цели, а все никак не можешь пройти.

В парк нас впустили беспрепятственно, но к самому барскому дому подойти не удалось. Он был огорожен забором. Белокаменный фасад дома, выходящий в парк, не был украшен ни колоннами, ни прочими архитектурными излишествами. Два этажа по пятнадцати окон в каждом да в три окна мезонин — вот и весь фасад.

В калитке нас остановил мужчина и хотел было не пускать совсем. Но если мы умели пройти на кольчугинские заводы и юрьев-польские фабрики, то в учкомбинат системы Главспирта, конечно, мы прошли. Мало того, у нас появился провожатый, который и показывал нам бывший княжеский дом.

Собственно, смотреть в доме было уже нечего. Мы надеялись, что одна историческая комната в нем сохранена в неприкосновенности, но ошиблись. Провожатый совсем не знал, где эта комната, и от нас впервые услышал, что здесь, в этом доме, где теперь он постигает азы агротехники и винокурения, в 1812 году, после ранения под Бородином, умер Багратион.

Мы ходили и к церкви, где славный полководец был похоронен сначала. Но никто не мог нам объяснить, где прежде была могила. Таким образом в селе Симе мы узнали не больше того, что знали, выходя из Юрьево-Польского со слов Розы Филипповой, а также из документов, показанных ею. В частности, она показала нам надгробную медную доску с первой могилы князя. Вот что написано на доске от слова до слова:

«Князь Петр Иванович Багратион, находясь у друга своего князя Бориса Андреевича Голицына, Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Симе, получил высочайшее повеление быть главнокомандующим Второй западной армии, из Симы отправился к оной и, будучи ранен в деле при Бородине, прибыл опять в Симу, где и скончался, сентября 11 дня».

Дальше идут прелюбопытные стихи:

Сын Марса, не имев стремленья к Диадиме,
С лавровою главой гостил бесшумно в Симе.
И, время здесь деля в кругу своих друзей,
Веленье получил о должности своей,
Где славный витязь сей, как избраннык герой,

Вождем назначен был всей армии второй.
 Отсель отправился свои устроить войски
 И, подвиги явѣв бессмертные геройски,
 Герой, который здесь гождя долг восприял,
 Здесь жезл свой положил и дни свои скончал.
 Прохожий в Симе зри того героя прах,
 Который гром метал на Алпа высотах.
 Бог-рати-он слуга отечества и трона
 Здесь кончил жизнь свою, разя Наполеона.

Подпись такова: «Племянник Суворова правой его руке в селе Симе марта 7-го дня 1813 г. граф Хвостов».

Здесь так все подробно изображено, что остается добавить разве некоторые подробности последних минут бородинского героя.

От Багратиона скрывали, что Москва сдана. Больной, он продолжал слать разные распоряжения, а также и запросы о состоянии своей армии. Но ответов не было и не было. Тогда он послал верного человека, а именно офицера Дохтурова, узнать, в чем дело. Дохтурова не успели предупредить, и он доложил Багратиону всю правду. Больной в страшном гневе, с перекошенным от душевной и физической боли лицом, вскочил на ноги, одна из которых уже сгорала в гангрене. Началась агония, и через несколько минут наступила смерть.

Прах полководца поконится теперь на Бородинском поле, но луч Багратионовой славы капризно упал на безвестное глухое село, затерянное в глубине Владимирского ополья, и осветил его для многих и многих поколений, огня у безвестности. Теперь уж ничего не поделаешь. Сколько бы ни прошло времени — всегда будут говорить и писать: «Багратион скончался в селе Симе, в двадцати трех верстах от уездного города Юрьева».

Председатель Симского колхоза Павел Ефимович Киреев — цыганского типа, здоровенный, несколько раскосый мужчина — сидел за столом в соломенной шляпе, у которой, исходя из ширины лица, могли бы быть более широкие поля.

Над председателем из овальной золоченой рамки, разукрашенной деревянной резьбой, смотрело лицо вождя. Владимир Ильич, казалось, глядел как раз на председателины руки и на то, что в них находится. А в них находилась небольшая, крупно исписанная бумажка. Перед председателем сидело несколько человек с топорами — значит, плотники.

— Хорошо. Договор подпишем. Зайдите к вечеру.

Плотники пошушукались.

— Нет, мы уж подождем. Нам все одно. Мы авансик хотим.

— Сколько?

— Да уж и не знаем...

— Три с половиной...

Плотники опять пошушукались.

— Мало! Праздники идут, троица, всех святых.

— Хорошо. Договор подпишем, а деньги — аванс — получите накануне праздника. А то вы ведь сразу и загуляете, значит пропадет два рабочих дня.

Плотники помялись, пошушукались еще раз, но председатель занялся другим делом.

Дела в колхозе шли неплохо. Впрочем, поправляться они начали с 1954 года, с приходом этого председателя.

Начал Киреев поднимать колхоз с животноводства. На последние деньги купил пятьдесят голов скота и все силы бросил на сохранение телят. План удался. Хозяйство набрало силу.

Давно мы хотели поинтересоваться, как на деле проходит планирование снизу, о котором так часто упоминается в газетах.

— Все зависит от председателя, — ответил Киреев. — Робок председатель — значит, будет делать только то, что ему скажут. Потверже — снизу линию поведет.

— Но при твердости возможно теперь снизу линию вести?

— Как же. В постановлениях прямо говорится: развязать инициативу колхозников. Были у меня случаи, судите по ним, можно ли проводить планирование снизу. В первый год, как я пришел, запоздали семенной клевер убрать. Он осыпался, самоподсеялся. Можно понять, что на другой год здесь хороший клевер уродится. А мне говорят: «Нужно это поле перепахать». Я говорю: «Не буду». А мне говорят: «Перепахать».

— Кто говорит?

— Девочка, так лет девятнадцати, из МТС. Наш агроном ее сторону занял. Как мне быть? Вспомнил, что дело-то колхозное решаем, а не наше с агрономом. Если бы и раньше почаще про это вспоминать! Собрал колхозников: «Как, мужички?» Мужички в хозяйстве понимают. «Не дадим, и баста!» Демократия в чистом виде. Не дали, ждем, что будет.

— И что было?

— А то, что клевер уродился на диво. Тридцать восемь скирд намести. Глянешь, а они, как грибы, по всему полю стоят. Были и другие случаи. Спускают мне план на пшеницу — сорок пять гектаров. А я вижу, что это курам на смех, да и поговорку помню, что «озимые к яровым за хлебом никогда не ходили». Вместо сорока посеял триста. И ничего... все довольны. Впервые овощи начали сеять. Тоже раза в три больше плана засеяли. Главное, нужно доверять колхознику. Может, на первых порах и была польза в опеке, в подсказках на каждом шагу. Да теперь-то вон сколько лет прошло. Неужели он землю свою не знает или худа себе хочет...

(Окончание следует)



ЖАК ПРЕВЕР

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Жак Превер — представитель старшего поколения французских писателей, наш современник. Его стихи, острые по теме и оригинальные по форме, пользуются большой популярностью во Франции. Их часто читают с эстрады, а стихотворные сборники Превера выходят большими тиражами. Отдельные стихотворения поэта, положенные на музыку, стали известны в нашей стране благодаря исполнению Ива Монтана («Опавшие листья», «Бродвейские чистильщики» и другие).

Стихотворения Ж. Превера на русском языке публикуются впервые.

ПОТЕРЯННОЕ ВРЕМЯ

У заводских ворот
Вдруг остановился рабочий,
Потому что за полы куртки
Потянула его весна.
Обернулся он и взглянул
На солнце круглое, красное
И на небо ясное.
И, прищурившись,
Молвил рабочий:
— Скажи, товарищ Солнце,
Между прочим,
Разве это не дребедень —
Хозяину взять и отдать
Такой день?

СЕМЕЙНОЕ

Мать занята вязаньем,
Сын ее занят войной.
Мать считает нормальным порядок такой.
А отец?
Как проводит отец свой день трудовой?
Отец — человек деловой.
Жена занята вязаньем,
Сын занят войной,
Он же в дела ушел с головой.
Он считает нормальным порядок такой.
Ну а сын? Ну а сын?
Что сын-то считает?
Ничего ровным счетом сын не считает.
Мать его занята вязаньем, отец — делами, а он —
войной.

И когда воевать он кончит,
Он тоже в дела уйдет с головой.
Война продолжается, мать продолжает вязать,
Отец продолжает с делами возиться.
Сын убит — больше нечего ему продолжать.
Идут за похоронную колесницей
Отец и мать.
Они находят все это в порядке вещей.
А жизнь продолжает идти дорогой своей,
С вязаньем, войною, делами
И снова с делами, делами, делами
И мертвецами.

ПАРИЖ НОЧЬЮ

Три спички, зажженные ночью одна за другой:
Первая — чтобы увидеть лицо твое все целиком,
Вторая — чтобы твои увидеть глаза,
Последняя — чтобы губы увидеть твои.
И, чтобы помнить все это, тебя обнимая потом, —
Непроглядная темень кругом.

Перевел с французского М. Кудинов



С О Р О К Л Е Т Н А З А Д

Сентябрь, 1917 год...

Ликвидация корниловского заговора способствовала дальнейшему росту революционных сил в стране. Большинство трудящегося населения и прежде всего большинство рабочего класса — авангарда революции — уже шло за партией большевиков. Ее влияние в деревне значительно выросло. Трудовое крестьянство начало понимать, что только эта партия может избавить его от войны, провести конфискацию помещичьих земель и передать их крестьянам. Среднее крестьянство после разгрома корниловщины стало переходить на сторону большевиков. Нарастала аграрная революция в деревне. Коренным образом изменились формы крестьянской борьбы: разгромы и поджоги имений, захват и самовольная запашка помещичьих земель принимают повсеместный характер. Временное правительство все чаще стало применять вооруженную расправу с крестьянами, однако крестьянское восстание росло и ширилось.

В борьбе с корниловщиной огромную роль сыграли казавшиеся умершими Советы рабочих и солдатских депутатов. Они таили в себе гигантскую силу революционного отпора. Советы высвобождались из-под влияния эсеров-меньшевистских соглашателей, становились на путь революционной борьбы. Начался период большевизации Советов. Фабрики, заводы, воинские части, перевыбирая своих депутатов, посылали в Советы вместо меньшевиков и эсеров представителей партии большевиков.

Тридцать первого августа (ст. ст.), на другой день после разгрома корниловщины, Петроградский Совет высказался за политику большевиков. 5 сентября Московский Совет также перешел на сторону большевиков.

Вновь зазвучал лозунг «Вся власть Советам!» Его выдвинула большевистская партия. В данных условиях он означал не мирный переход власти в руки меньшевистско-эсеровских Советов, а вооруженную борьбу против Временного правительства, свержение власти буржуазии и передачу всей власти в руки Советов, руководимых большевиками.

Между 12 и 14 сентября В. И. Ленин пишет Центральному Комитету, Московскому и Петроградскому комитетам РСДРП(б) свои исторические письма «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». «Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских депутатов, — писал Ленин в своем первом письме, — большевики могут и должны взять государственную власть в свои руки». Владимир Ильич показал далее, что созданы объективные условия для вооруженного восстания.

Эти письма Ленина обсуждались на заседании Центрального Комитета. Подготовка вооруженного восстания стала в центре внимания партии.

Чтобы ослабить нарастающий революционный подъем в стране, меньшевики и эсеры созвали Всероссийское демократическое совещание.

Совещанием был выделен Предпарламент (Временный совет республики). С его помощью соглашатели рассчитывали перевести страну с пути советской, пролетарской революции на путь буржуазно-конституционного развития. Однако эти попытки меньшевиков и эсеров не увенчались успехом. Рабочие издевались над Предпарламентом, называя его «предбанником». Центральный Комитет партии большевиков принял решение бойкотировать Предпарламент. Главным, центральным лозунгом момента был лозунг «Вся власть Советам!». Подготовка вооруженного восстания, свержение Временного правительства и передача всей власти Советам — так намечался путь дальнейшего развития революции.

А. КАРАНДАСОВ,
член КПСС с 1917 года

ГОЛОС РАБОЧЕЙ МОСКВЫ

Сентябрь 1917 года. Громко звучит снова ставший на повестку дня большевистский лозунг: «Вся власть Советам!»

В заводских звенящих, грохочущих цехах, в солдатских пахнущих ружейной смазкой и потом казармах, на улицах среди неуверенных кучек обывателей — всюду или радостное, или испуганное, тревожное ожидание: что-то будет завтра?

На Красной площади двое, задрав головы, рассматривают позолоченного раскоряченного орла на Спасской башне. Сошлись стрелки на часах, и в перезвоне поплыла мелодия: «Коль славен наш господь в Сионе...»

Двое переглядываются:

— Вишь, Москва-матушка... Все, как при царе, — «Коль славен», орел...

Услышал, проходя мимо, рабочий, подошел, положил одному руку на плечо.

— Не туда, брат, смотришь. — И задумчиво, наверное самому себе, добавил: — Погоди, Москва еще свое слово скажет. Крепко скажет...

Обстановка

— На пра-аво! Ша-агом марш!

Чеканят шаг барабаны, гулко ухают басы, подсвистывают флейты. В проезде Исторического музея появляются первые шеренги солдат.

На Красной площади назначен парад войск Московского гарнизона.

Под звуки оркестра полки вступают на площадь. С мест, занятых рабочими делегациями, несется им навстречу:

— Ура революционным солдатам!

— Да здравствует революция!

Видно, хорошо видно, как словно скованный цементом строй становится как-то мягче, теплее, и оттуда в ответ:

— С рабочими — в одном строю!

Оглядывается офицер, идущий впереди, что-то приказывает, кричит, его не слушают.

— Вся власть Советам!

— Долой войну!

Отдельными группками расположились меньшевики, на их лицах растерянность, перешептываются: «Черт знает что! Вместо военного парада — демонстрация». А рядом человек в студенческой фуражке, развернув во всю ширину номер «Социал-демократа», издевательски громко читает стихи Демьяна Бедного:

Пред военным барабаном,
Мастера на штучки,
Танцевали Либер с Даном,
Взявшись за ручки.

«Либердан!», «Либердан!»,
Счету нет коленцам.
Если стыд кому и дан,
То не отщепенцам.

Милосков кричал им: — Bravo! —
И свистел на флейте.
— Жарьте вправо, вправо, вправо!
Пяток не жалейте...

Было от чего растеряться меньшевикам. Им, «мастерам на штучки», усердно «жарившим» вправо, парад на Красной площади показался ударом обуха по голове. Ведь контрреволюция считала Москву якорем спасения, и меньшевики прилагали все свои усилия, чтобы сделать это похожим на правду. И уж кто-кто, но чтоб солдаты... Какой пассаж!

И все же обстановка в сентябрьской Москве была очень сложной.

Еще до Государственного совещания¹ стало известно, что к Москве идет 7-й Сибирский казачий полк. Большевики забили тревогу. Заводы, фабрики протестовали. Большевистская печать указала на Временное правительство: оно перемещало казаков. Керенский молча проглотил это разоблачение. Зато полковник Рябцев, командующий Московским военным округом, «самоотверженно» встал на защиту премьер-министра и слал опровержение за опровержением.

Казачьему полку не пришлось принять участие в корниловской авантюре, но он остался в Москве. На помощь казакам была прислана еще и кавалерийская дивизия. А затем мы узнали о новом приказе штаба главнокомандующего: направить в Москву из Калуги 4-й Сибирский казачий полк.

Контрреволюция набиралась духу перед решающим прыжком. Городской голова Руднев, по профессии врач, по политическим убеждениям эсер, уже видел себя во главе московского кабинета министров. Контрреволюция подсчитывала свои силы. Два военных училища, шесть школ прапорщиков, примерно пятнадцать тысяч офицеров — в отпуске, в лазаретах, запасных, плюс казаки. Должно хватить.

Но не учтено было главное — настроение масс, отблеском которого явился парад Московского гарнизона на Красной площади.

Московский Совет

Еще весной меня, фрезеровщика завода Густава Листа, председателя заводского комитета, рабочие избрали членом Московского Совета рабочих депутатов. Заседали мы то в Политехническом музее, то в Колонном зале, то в оперном театре на Большой Дмитровке. Помню, как тогдашний председатель Московского Совета Хинчук, если не ошибаюсь, меньшевик, перед выступлением своих единомышленников возглашал:

— Товарищи, вы слушаете своих вождей.

Однажды он до того забылся, что повторил эту фразу перед собственным выступлением. Надо было слышать, какой хохот и свист поднялся в зале...

Попробуйте представить себе то ощущение, которое испытывает спящий человек, когда над ухом у него выстрелили из винтовки. Думается мне, что нечто подобное испытали меньшевики и эсеры пятого сентября. В этот день пленум московских Советов рабочих и солдатских депутатов большинством голосов высказался за такие меры:

«1. Немедленное вооружение рабочих и организация Красной гвардии.

2. Прекращение всяких репрессий, направленных против рабочего класса и его организаций. Немедленная отмена смертной казни на фронте и восстановление полной свободы агитации всех демократических организаций в армии. Очищение армии от контрреволюционного командного состава.

3. Выборность комиссаров и других должностных лиц местными организациями.

¹ 12 августа 1917 года в Москве состоялось Государственное совещание, созванное Временным правительством для мобилизации сил контрреволюции.

4. Осуществление на деле прав наций, живущих в России, на самоопределение, в первую очередь удовлетворение требований Финляндии и Украины.

5. Роспуск Государственного совета и Государственной думы. Немедленный созыв Учредительного собрания.

6. Уничтожение всех сословных (дворянских и прочих) преимуществ, полное равноправие граждан.

Осуществление этой платформы возможно лишь при разрыве с политикой соглашения и при решительной борьбе широких народных масс за власть».

Московский Совет вслед за Петроградским Советом принял резолюцию большевиков.

Одиннадцатого сентября Хинчук, забыв даже предупредить о том, что «выступают вожди», сообщил грустно:

— Мы складываем с себя полномочия.

Меньшевистско-эсеровский Московский Совет кончил свое существование. На девятнадцатое сентября были назначены перевыборы исполкома и президиума Совета рабочих депутатов. Большевики шли по второму списку, по первому — кадеты, а по третьему — кажется, эсеры. К каким только трюкам не прибегали буржуазия и соглашатели, чтобы провалить большевиков.

На заводах, фабриках, просто по улицам шныряли безликие фигуры.

— По списку-то номер первый — это те, кто образованный, понимает что к чему. А третий — видать, большевистский. Второй — так, незнамо кто, с бору да с сосенки. За этот не голосуйте.

А в церкви Ивана Воина, что на Большой Якиманке, священник произнес целую проповедь:

— Братья! Не первый ли человек Христос? Не лучший ли он среди людей? Воистину так: лучший и первый; стало быть, миряне, Христос прошел бы по первому списку, списку лучших людей, а посему, братья и сестры, голосуйте за список номер первый, за партию народной свободы.

Трюки были дешевые, и никто из рабочих их всерьез, конечно, не принял. Перевыборы исполнительного комитета Московского Совета дали такие результаты: за большевиков — 246 голосов, за меньшевиков — 125, за эсеров — 65. В составе исполкома из шестидесяти мандатов тридцать два — большевистские. В президиуме Совета пять большевиков, два меньшевика и по одному от эсеров и объединенцев. Председателем Московского Совета стал Виктор Павлович Ногин, большевик с 1903 года.

Выборы в районные думы 24 сентября закрепили успех большевиков: они получили более половины всех голосов, за них голосовало девяносто процентов солдат Московского гарнизона.

Мобилизация сил кончилась. Началась организация штурма.

Московские рабочие

Завод Густава Листа находился в центре города, против Кремля, на правом берегу Москвы-реки, между двумя мостами — Большим Каменным и Москворецким. По тому времени это был крупный машиностроительный завод с почти двухтысячным рабочим коллективом. Потому и тянулись к нам представители различных партий. На площадке, где всегда собирались рабочие, видели мы и меньшевика Цедербаума, брата Мартова, и объединенца Ходоровского, и левого эсера Саблина-Черепанова, и анархиста Горденина. Не раз скрещивали с ними шпаги словесных споров представители нашей партийной ячейки и завкома Константин Васильевич Островитянов и Александр Семенович Чебарин.

Пришли раз на завод эсеры.

— Граждане, великую ошибку вы совершаете, отдавая голоса большевикам. Заведут они вас в тупик.

Один из наших рабочих стал с ними рядом.

— Идите, господа, отсюда подобра-поздорову. Ничего тут у вас не наклонется. А за всех рабочих, товарищ Скворцов-Степанов уже сказал вашим единомышленникам... — И, достав из кармана газету «Социал-демократ», внятно прочел: — «Великое время переживаем мы. Так знайте, что история скажет: какие жалкие духом люди жили в эту величайшую эпоху».

Эсеры залопотали что-то, но их слова заглушила песня. Смеясь, четко выговаривая каждое слово, наши ребята пели:

Из-за крепости Кронштадта
На простор Невы-реки
Выплывает много лодок —
В них сидят большевики.
На передней — вождь наш Ленин...

Нам было не до разговоров и споров. На заводе организовывалась Красная гвардия. Сотником был назначен Николай Андронович Федоров, бывший унтер-офицер, дружинник и сподвижник Ухтомского в 1905 году. Забот было немало: кто будет обучать красногвардейцев военному делу, где достать оружие? Холодное оружие ковали сами, винтовки отобрали у воензированной охраны трамвая, неизвестно откуда и как появился у нас в отряде даже пулемет. На заводе только и слышно было: льюис, гочкис, маузер, бердан.

— Вот теперь иное дело, — говорил мне пожилой рабочий, — теперь я за собой силу чувствую. Революционные войска хороши, слов нет. Но прикажут генералы, и выведут революционные войска из Москвы. А Красная гвардия, шалишь, — Красную гвардию не выведешь!

Как-то в конце сентября большевики созвали в театре на Большой Дмитровке митинг. И — показательный факт: вся Большая Дмитровка была запружена толпой — люди стремились на митинг, они хотели слышать, что скажет большевистская партия.

Рабочая Москва призывала:

— Вперед! К пролетарской революции!

Ф. ЯБЛУКОВСКИЙ

В МОЛДАВСКИХ СЕЛАХ

Как-то там дома?..

Замызганные, обтрепанные шинели, съеденные потом солдатские рубахи, дырявые сапоги, давно немывтое тело просит бани. Осклизлое дно окопов. Серая холстина небз над головой. Впереди немцы, позади пулеметные рыльца «батальонов смерти».

Так за царя, за Русь, за нашу веру
Мы грянем громкое «ура»...

Поручик с наглыми глазами, забывший эту песенку в марте, снова вспомнил ее в августе, мурлычет в лицо солдатам. Немы солдатские лица, застыли — не понять, о чем думают люди.

А оттуда, сзади, заглушая мурлыкающего поручика, летит-к-нашим окопам:

Вылетали орлы
Из-за крутой горы,
Вылетали, гуркотали,
Роскоши шукали.

— Правители, щоб им сказаться, — бормочет рядом мой земляк, молдаванин, пожилой человек. Потом громко, чтобы слышали все в окопе, говорит по-русски: — И эти туда ж... Нацепили себе черепа с костями. Тоже — «орлы»! Вишь, «роскоши шукают». Вóроны они, те самые, что падали шукают! Мы тут гнием, а им...

Крепко ругнулся, горестно вздохнул. Повернулся ко мне, спрашивает с тоской:

— Не бачив, земляче, як воно у дома? Землиці не дають іще, га?

Сосед мой справа, питерский рабочий, тянет к нему руку с газетным клочком.

— Как дома, говоришь? Сыпани-ка махорочки чуток, побалакаем.— И затягиваясь: — Видишь, браток, большевики тоже так рассуждают: вам, крестьянам,— землю, нам, рабочим,— фабрики, в общем, всю власть тому, кто своими руками работает. Понял? А вот за это самое партию большевистскую всякие там буржуи да «временщики» к ногтю хотят. Но погоди, отец, народ свое слово еще скажет. Доживем и до светлых деньков!

Узловатыми, как корни, пальцами пожилой скребет заросшую щеку.

— Та що ти мене агітуєш?! Урожай час збирати.

Да, в самую пору сейчас собирать урожай, пахать под озимые. Я чувствую, как вздрагивает в моих руках тяжелый неповоротливый плуг, выворачивая жирный, отполированный земляной пласт, шурюю от ярких солнечных лучей. И вдруг... Словно солнце всей своей массой обрушивается сверху на меня, обжигает тело, со страшной силой швыряет на землю...

Очнувшись, вижу брошенных друг к другу в тесные объятия двух солдат, с которыми только что разговаривал. Что-то кричу, хочу встать и снова валюсь в обжигающую темноту...

К родной стороне

Поезд неспешно отсчитывает стыки. Прильнул к окну, не оторваться. Вот она, моя Молдавия, золотой край, щедрая земля!

Запыхавшийся паровоз, отдуваясь, останавливается у знакомого вокзальчика. Выхожу из вагона, всей грудью вдыхаю свежий сентябрьский воздух...

Большое село с белыми, утопающими в зелени хатками, с бескрайними полями вокруг. Это Глодяны. Здесь я батрачил с двенадцати лет, откуда в 1915 году ушел на фронт. «Что же дальше? — думал я, присев у околицы. — Снова идти к помещику Пансе?» Как живой, встал перед глазами питерский рабочий, убитый в день, когда меня ранило. «Погоди, доживем и до светлых деньков!» Вспомнились и другие большевики, с которыми часто доводилось отводить душу на фронте.

Уже высыпали на небе чистые звезды, а я все сидел на взгорочке перед селом, прислонившись спиной к своему выдавшему виды солдатскому мешку...

— Товарищи мои дорогие! Хочу я вам рассказать один факт из моей фронтовой жизни. До вас касаемый. От нашего полка ездил в Питер делегат. Совещание там большое было, от всех фронтовых частей большевиков созвали. Вернулся когда он, долго мы беседовали. Разбирался на этой конференции также и о нас вопрос, о крестьянах. Ленин о нас говорил. Слышите? Ленин!

Шорох прошел по волостному сходу. Вижу, передние ряды зашевелились, будто ко мне поближе придвинулись.

— И вот что он сказал. Земля — вся крестьянская; кто на ней робит, тот ей и хозяин. Отобрать, говорит Ленин, надо ее у помещиков и отдать народу. Владей! Без выкупа! Леса и воды — все тоже народу.

— А про виноградники казав?

Я не знал, упоминал ли Ленин про виноградники, но от этого суть дела не менялась. Поэтому уверенно заявил:

— И виноградники тоже крестьянству.

Из толпы прдрался вперед старик, снял мятую фетровую шляпу, поклонился сходу.

— Вот что, сельчане, дело каже Ленин. Гляньте на меня: не то что руки — лицо от работы потрескалось. А земля? На могилу не хватит. А у нашего Михал Евгеньича Пансе три тыщи десятин да еще полтыщи. Во! На кой бис ему столько? Пусть с мужиками поделится. — Помолчал, пока не затих гул голосов, и, теребя свою шляпу, повернулся ко мне. — А Ленин-то, он как — из хлеборобов сам?

— Не знаю, дедушка.

— Эх, Федя, человек такие правильные слова говорит, а ты не знаешь... Тогда я тебе сам объясню: коли не из крестьян, чего бы ему о нас думать? Понял? Ну то-то! — И, торжествующий, пошел на свое место.

Он же первый выкрикнул мою фамилию, когда избирали председателя волостного земельного комитета. Возражений не было.

Вскоре наш земком имел серьезный разговор с глodianским помещиком.

— Вот что, Михаил Евгеньевич, — заявил я ему, — крестьяне поставили землю у вас отобрать.

— Ка-ак? — Его глаза выкатились на лоб, налились кровью. — Ты, батрак, это кому говоришь?

— Вот вам дрючок, — я поднял с земли палку, — берите и ступайте себе с богом куда хотите. Попили нашей кровушки, хватит теперь.

Пансе машинально взял палку, подержал недолго в руках и, остервенившись, отбросил ее прочь.

— Ну смотри, Яблуковский, еще встретимся.

— Не советую.

Через несколько дней помещик собрал свои пожитки и уехал.

По призыву большевиков

По всей Бессарабской губернии идет волна крестьянского возмущения. Беднота решительно пошла за большевиками; кто из середняков — тоже стал внимательнее прислушиваться к призывам большевистской партии.

Через газеты и от прохожих к нам приходили вести:

в Кагульском уезде солдаты совместно с крестьянами в имении Кирганы Кафрица изъяли у помещика сорок пять тысяч пудов зерна;

жители села Фунду-Галбина, Ганчештской волости, Кишиневского уезда, на сельском сходе постановили: «Все земли помещиков и монастырей переходят безвозмездно в руки крестьян»;

крестьяне села Дрокия, Надушитской волости, Сорокского уезда, самовольно запахали Новодворскую экономию; крестьяне Бендерского уезда захватили посеы и сенокосы в имении графа Нирод; крестьяне сел Богдановка, Ново-Богдановка, Чимишлия явочным порядком захватили землю у помещиков...

Угроза нашего чокя (так называли в Молдавии помещиков) вернуться пока не исполнялась. Но мы знали, что эта угроза реальная. Еще в июне уездным комиссарам Бессарабии было дано право применять вооруженную силу в случае крестьянских восстаний.

В середине сентября пришла к нам в комитет девочка лет пятнадцати. На лице багровый рубец — от виска до подбородка. И вот что мы узнали.

В двух селах Кишиневского уезда — Старые Драгушены и Бобейко — крестьяне начали самовольно рубить лес помещицы Горонович. Помещица — ни слова. А через два дня лес внезапно окружила милиция Временного правительства. Всех, кто там был, взяли под стражу. И началось. В этих селах крестьян подряд, не разбираясь, избивали до полусмерти.

— У подружки, — рассказывала девочка, вся трясясь от пережитого ужаса, — выбили глаз. Кровь течет, все в крови, а глаз висит на ниточке...

Пять дней продолжалось это зверство, пять дней калечили детей, женщин, стариков.

Молча, сжав зубы, выслушали наши сельчане рассказ девочки и так же молча разошлись по домам. А дома — в клетях, на чердаках — стали подыскивать то, что могло вскоре пригодиться как оружие.

Как-то на рассвете наши бабы заметили — идут каратели. Не зря я служил в армии взводным. Дозоры, посты круглосуточно охраняли Глодяны. Ударил колокол. И когда конный отряд вошел в село, все жители уже собрались на центральной площади. Матово поблескивали дула винтовок и охотничьих берданок, солнечные блики играли на лезвиях кос, у иных в руках увесистые жердины. Начальник отряда трезво оценил обстановку.

— Вы это оставьте, — нахмурился он, — трогать вас не станем.

— А ты попробуй! — послышался голос из толпы.

— У нас к вам два требования...

— Только и всего? — перебил его тот же насмешливый голос. — Стоило из-за этого беспокоить себя.

— Первое — верните землю, а второе — выдайте нам Яблуковского. И учтите, мы сюда не шуточки шутить приехали.

— Ага, не шуточки, говоришь!

Кто-то вывел вперед ту самую девочку, что рассказала нам о расправе над крестьянами.

— Это не те, которые тогда у вас «шуточки шутили»? Говори, не бойся.

— Нет, дяденька, тогда, кажись, другие были.

— Ну, ваше счастье, что другие. Так за землицей, значит, приехали? Что ж, берите, да побыстрее. В карманы сыпьте, брюхо себе набейте. Молчите? Не желаете?.. Ну, тогда слушай мою команду. Кру-угом!

И отряд выполнил команду.

Нежданная встреча

Двадцатого сентября открылся Второй Бессарабский губернский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Посылая меня делегатом, односельчане наказывали:

— Ты, Федор Иванович, большевистской линии держись, бо нет ее правильнее. А главное — земля, пусть землю скорее за нами узаконят. Все равно обратно теперь уж ее не отдадим...

И вот я в Кишиневе. Улицы устланы опавшими листьями. От них идет терпкий запах — запах увядания. По городу разливается успокаивающий звон колоколов. Чинно идут в церковь люди. Перед зданием, где заседает съезд Советов, в толпе можно увидеть малиновые башлыки и кокетливые газыри казаков, черные сюртуки холеных людей, тросточки в руках. Все это вкраплено в плотный массив рабочих поддевок, пропыленных крестьянских свиток, солдатских шинелей с красными бантами.

В зале заседаний выступает большевик Христов. Шмелем гудит его басовитый голос над головами собравшихся. Слушают сосредоточенно, аплодируют, шикают на тех, кто прерывается помешать оратору.

— Разрешение таких вопросов, как земельный и оборона страны,— говорит Христов, — не под силу буржуазии. Ее интересы резко противоречат удовлетворительному разрешению этих основных задач русской революции. Решить их может только переход всей полноты власти в руки Советов...

Съезд принимает резолюцию большевиков: «Власть в государстве должна перейти всецело в руки революционной демократии, на местах вся полнота власти также исключительно должна перейти в руки демократии в лице Советов...»

Во время обеденного перерыва ко мне подошел помещик Бонтуш.

— Простите, я хочу с вами посоветоваться. Пять минут, не больше. Не возражаете? Очень вам благодарен, чрезвычайно признателен. Прощу вот в эту комнату.

Пожав плечами, я пошел за помещиком.

Навстречу мне из глубины комнаты шагнул какой-то человек. Бог ты мой, да это же Пансе!

— Здравствуйте! — И тянет руку, улыбается.

Я молчу, жду. Повисев несколько секунд в воздухе, помещицья рука опустилась вниз, спряталась в карман.

— Вижу, вы все еще обижены за тот наш разговор? Напрасно, напрасно. Кто старое вспомянет, тому... Хе-хе-хе! — рокошет бархатный голос, а правый глаз чуть заметно подмигивает Бонтушу.— Так вот, дорогой... как ваше имя-отчество?

— Мое?.. Председатель волостного земельного комитета.

Прищуривается Пансе, заиграли желваки на скулах. Бонтуш выходит из-за его спины, по-змеиному извивается, вкрадчиво говорит:

— Любезнейший товарищ председатель...

— Товарищ?

— Э-э... Ну, одним словом... Впрочем, с сегодняшнего дня вы становитесь нашим товарищем. С сегодняшнего дня вы помещик!

— Что такое?!

— Да, любезный Яблукровский, это так. Многоуважаемый Михаил Евгеньевич дарит вам... пятьсот десятин!

Что случилось дальше, я точно не могу рассказать. Но думаю, что недельки на две Пансе перестал видеть правым глазом, а Бонтушу пришлось срочно идти к дантисту вставлять пару-другую зубов.

Крестьянство не ждет

В дни обсуждения земельного вопроса приходилось слышать десятки рассказов о крестьянских волнениях:

— В Оргеевском уезде реквизировали урожай у помещика Доливо-Добровольского.

— Двадцать третьего сентября в селе Припичены захвачено пятьдесят десятин частновладельческой земли. В селе Поляны конфисковано урочище «Речи», принадлежавшее Шамаку. Ташлыкский волостной комитет реквизировал свыше семисот десятин земли в вотчине Спилюти...

Но враг не дремал. Губернский комиссар разослал телеграммы о принятии «самых решительных мер, вплоть до применения вооруженной силы», против самовольного захвата помещицьеи земли.

— Я из села Шуры, Сорокского уезда,— рассказывал на съезде один из крестьян. — Приехал к нам, не помню, то ли в марте, то ли позже, комиссар, представительный собой, во френче, кругом карманы. «Ура,— кричит,— теперь власть народа!» — «А землю?» — спрашиваем. «А землю,— говорит,— пока не троньте, народ решит, что с ней делать». — «А мы кто? Разве не народ?» Не ответил, однако. Ждали мы, долго ждали, до самого сентября. А потом Совет забрал всю что ни есть помещицью

землю и роздал ее трудящимся крестьянам. Снова приехал комиссар с карманами, на этот раз милицию с собой привез. А что нам милиция, когда у нас оружие?! Вот я и говорю: хватит нам той «власти народа», какую Временное правительство проповедует! Даешь нам Советскую власть!

Второй губернский съезд Советов решил передать всю помещичью землю, а также живой и мертвый инвентарь в распоряжение земельных комитетов...

Все же я попал в лапы контрреволюционеров.

И вот, избитый, я лежу в подвале, в Бельцах. Рано утром визжат давно не смазанные петли, и откуда-то сверху вместе со струей пыльного солнечного света течет такой же пыльный, мутный голос:

— Яблукровский, выходи!

Поднимаюсь по ступенькам. Вводят в просторный кабинет, украшенный позолоченной мебелью. За столом офицер полирует свои ногти.

— Коммунист?

— Нет.

— Землю захватывал?

— Да.

— Чего ж ты врешь? Конечно, коммунист.

Кивает головой вбок, в сторону стражи. Уводят. Бьют. Снова подвал. Потом опять:

— Выходи!

Наконец решение: «Военный суд».

В ожидании суда двое суток не трогали. И не кормили. Ночью осмотрел подвал. Высокий, набит пустыми бочками. Всю ночь ставил бочки одну на другую, шарил по потолку. Наконец нашел: заложенное фанеркой в правом углу отверстие — еле-еле пролезает голова. Несколько часов раскачивал доски. И вот, корчась от боли, с трудом выползаю наружу...

..*

Временное правительство делало все, чтобы задушить крестьянское движение, остановить захват помещичьих земель. Но карательные экспедиции, аресты, репрессии были как масло в огонь. Крестьянские восстания запылали с новой силой. Если в марте 1917 года в Бессарабской губернии было отмечено два случая крестьянских «беспорядков», то в сентябре их насчитывалось уже двадцать восемь. Если весной и в начале лета все сводилось главным образом к выпасам крестьянского скота на помещичьих лугах, к спорам из-за арендных цен, то теперь главной формой борьбы стал захват крестьянами помещичьих земель.

«В России, — писал об этом периоде В. И. Ленин в статье «Кризис назрел», — переломный момент революции несомненен.

В крестьянской стране, при революционном, республиканском правительстве, которое пользуется поддержкой партий эсеров и меньшевиков, имевших вчера еще господство среди мелкобуржуазной демократии, растет крестьянское восстание.

Это невероятно, но это факт.

И нас, большевиков, не удивляет этот факт, мы всегда говорили, что правительство пресловутой «коалиции» с буржуазией есть правительство измены демократизму и революции, правительство империалистической бойни, правительство охраны капиталистов и помещиков от народа».

Сентябрьские события 1917 года в Молдавии были хорошей иллюстрацией ленинских слов.

с. Глодяны,
Молдавская ССР.

И. ГУСАНОВ,
член КПСС с 1917 года

ТАШКЕНТ В СЕНТЯБРЕ

В городе нет хлеба, мануфактуры, многих предметов первой необходимости. С ночи у хлебных лавок выстраиваются длинные очереди изможденных женщин, чтобы на рассвете получить восьмушку отвратительного хлеба. На улицах находят трупы умерших от голода крестьян — узбеков. Засуха сожгла урожай. Бросив кишлаки, дехкане целыми семьями плетутся в город в надежде спастись от голодной смерти. Но спасения не было и здесь.

Так выглядел Ташкент в сентябре 1917 года.

Жить становилось все труднее. Люди озлоблялись, все резче критиковали Временное правительство. Дома за чашкой чаю, в кругу друзей, на улицах при встрече знакомых, в очередях за продовольствием при случайном разговоре можно было слышать:

— Полгода как свергли царя, а что изменилось?..

Растет недовольство. Возмущение выливается в бунты, в демонстрации открытого протеста против антинародной политики правительства. Даже буржуазная газета «Туркестанское слово» вынуждена признать, что положение становится угрожающим. В конце августа на ее страницах появляется статья, в которой черным по белому написано: «Временное правительство стало в положение монарха, который здравствует, но не правит, оно очень много говорит, еще больше о нем говорят, но ни одного серьезного... мероприятия оно не в состоянии провести».

В Ташкент вернулся из Петрограда А. Першин, он рассказал о решениях VI съезда, о тех указаниях, которые дал Центральный Комитет партии. Большевики Туркестана начали деятельную подготовку вооруженного восстания.

В то время я работал маляром в мастерских Средне-Азиатской железной дороги.

В апреле 1917 года меня избрали членом Ташкентского городского Совета рабочих депутатов. Помню, мы то и дело заседали, обсуждая самые разнообразные вопросы, иногда по два-три раза в день. Решений выносили уйму, а толку ни на грош. Засилье эсеров и меньшевиков в Совете сводило на нет все наши благие намерения.

Трудящиеся требовали от депутатов более действенных мер для водворения в городе порядка, выступали за прекращение деятельности Туркестанского комитета, представляющего в Туркестане Временное правительство, за передачу всей власти Советам. Тот, кто еще совсем недавно сомневался в этой новой, совершенно необычной форме управления всеми государственными делами, теперь убеждался воочию, что только большевики, подлинники представители народа — рабочие, крестьяне, солдаты, могут лучше понимать нужды трудового люда, стоять на страже его интересов.

И вот, по инициативе солдат одного из Сибирских запасных полков, расположенных в Ташкенте, исполком Совета решил созвать общегородской митинг трудящихся.

Ранним утром двенадцатого сентября у нас в железнодорожных мастерских было особенно многолюдно. В руках рабочих красные знамена, плакаты, на которых крупными буквами написано: «Долой Временное правительство!», «Всю полноту власти Советам!», «Хлеб!»

Мы идем на митинг. Шаги колонны гулко раздаются на тихих улицах Ташкента. Еще очень рано, но город уже не спит. Из домов выходят люди, присоединяются к нам.

Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем...

Грозно звучит пролетарский гимн, переливается от колонны к колонне. И от этих слов не по себе становится богатею, тарашит испуганные глаза обыватель, волками глядят меньшевик и эсер.

Бот и Александровский парк — здесь назначен митинг. Нас встречают члены исполкома Ташкентского Совета: Ляпин, Гаврилов, Гушин. Мы пришли первыми и помогаем устраивать трибуну. Дело это пустяковое: из Народного дома (ныне Музей изобразительных искусств) вынесли два стола, поставили их рядом — и трибуна готова.

Парк быстро заполняется. Четко отбивая шаг, демонстрируя военную дисциплину, продефилировали в стрюю солдаты Первого и Второго запасных Сибирских полков. С развевающимися на ветру знаменами, с яркими плакатами, революционными песнями проходят рабочие и работницы. Плотным массивом вклинились в гущу собравшихся коллективы хлопковых заводов.

В этот день был мусульманский праздник «курбан байрам». Солдат-мусульман пораньше отпустили в город, и они привели на митинг своих знакомых единоверцев-горожан. Всего в парке собралось около семи тысяч человек. Люди сгрудились вокруг трибуны, ребята, как воробы, облепили деревья.

Желающих сказать свое слово оказалось много. Большинство ораторов сходилось на одном: Временное правительство не оправдало надежд трудящихся, нужно создать свой, пролетарский орган власти, навести везде революционный порядок. Большевики пытались и здесь как-либо похитрее вставить палки в колеса. Помню, кто-то из них все призывал к гражданскому долгу, к соблюдению законности; дескать, пока Россией управляет Временное правительство, население должно во всем и беспрекословно ему подчиняться. Договорить меньшевику не удалось — солдаты при общем одобрении стащили его с трибуны.

Выступивший потом солдат хорошо ответил соглашателю:

— В феврале мы сбросили с трона царя и ни на кого не оглядывались. Все было законно. Народ поставил временную власть, увидел, что она ему нехороша, — народ ее и снимает. Вполне законно!

На митинге был избран Временный революционный комитет в составе четырнадцати человек, из них пять большевиков, пять левых эсеров, два меньшевика и два анархиста. Теперь надо было принять резолюцию. Признаться, мы немного волновались: пройдет или будет отвергнут проект, составленный А. Першиным в духе решений VI съезда нашей партии. В этой резолюции говорилось, что только местная власть, опирающаяся исключительно на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, способна навести порядок в крае. Пункт первый гласил: немедленная реквизиция всех находящихся у капиталистов предметов первой необходимости; пункт второй: рабочий контроль над производством; пункт третий: национализация банков; пункт пятый: переход всех земель без выкупа в руки трудового крестьянства, и так далее, всего девять пунктов.

Внятно, стараясь придать голосу особую выразительность, прочел Першин резолюцию. Молчание. Потом — хлопок, другой, и будто смерч ворвался в парк: зашевелились, разом заговорили люди, заметались поднятые вверх кепки и солдатские фуражки, в один сплошной гул слились аплодисменты, восторженные восклицания.

После митинга вся людская лавина двинулась к Дому Свободы, где помещался Ташкентский городской Совет, помитинговали чуток и здесь. В заключение было объявлено, что в восемь часов вечера соберется городской Совет, все, кто хочет присутствовать на заседании, могут прийти.

Трудно описать то оживление, которое царило в этот день в городе. Мы избрали свою власть, конец разрухе и голоду!

Вечером к Дому Свободы, где ныне кинотеатр имени 30-летия ВЛКСМ, пришло около трех тысяч человек. В зале заполнены все кресла, все проходы, люди сидели на подоконниках, стояли на веранде, в саду.

Председатель огласил повестку дня; первым стоял вопрос о переизбрании исполнительного комитета Совета. И тотчас же поднялся шум.

— Не слышно! — кричали с улицы.

— Не видать ничего, выходите наружу!

Пришлось перенести заседание в сад.

А в это же время в одной из комнат Дома Свободы совещался ревком, избранный днем на общегородском митинге. Случилось так, что Першин вышел зачем-то из комнаты и в коридоре увидел группу вооруженных людей; среди них был сам командующий военным округом Черкес. Он прибыл сюда по распоряжению краевого Совета, чтобы арестовать новый орган власти. Юнкера и офицеры зашли в здание с заднего хода.

К счастью, Першин сумел незаметно проскочить в сад и предупредить президиум горсовета. Все бросились в помещение. Оказалось, что членов ревкома уже успели арестовать и увести.

Генералу Черкесу удалось сбежать, но бывшего с ним прокурора окружного суда Барановского мы заставили тут же написать записку начальнику тюрьмы об освобождении арестованных.

Где-то раздобыли грузовую машину, и несколько членов Совета вместе с солдатами отправились выручать наших товарищей.

Спустя некоторое время освобожденный ревком уже продолжал свое заседание, как будто ничего и не произошло.

На следующий день, это было тринадцатое сентября, по распоряжению ревкома разоружили школу прапорщиков. Резолюционные воинские части выставили караулы у почты, телеграфа и центральной телефонной станции. Арестовали командующего округом Черкеса. Краевой Совет бежал в город Скобелев.

И все же дело оборачивалось не так, как этого хотелось. Я уже говорил, что в составе ревкома из четырнадцати человек было только пять большевиков. Преобладание эсеров и меньшевиков не замедлило сказаться на работе комитета. Ни один из пунктов резолюции, принятой на митинге двенадцатого сентября, по-настоящему не был проведен в жизнь. Больше того, как мы узнали позже, на телеграфе систематически задерживались сообщения ревкома и бесконтрольно отправлялись телеграммы краевого Совета и Турккомитета. После небольшого замешательства в первое время эти органы развили кипучую деятельность. Председатель Турккомитета Наливкин послал Керенскому телеграмму, в которой, умышленно искажая действительное положение вещей, сообщал, что в Ташкенте кучка самозванцев захватила власть, что было намерение убить командующего Туркестанским военным округом Черкеса, что в городе царит анархия, на улицах идет резня.

Керенский ответил, что в Ташкент из Казани направлена карательная экспедиция под командованием генерала Коровниченко. Контрреволюция начала показывать свои зубы. Вооружались юнкера, школа прапорщиков. Их отряды разгромили типографию «Нашей газеты», освободили Черкеса.

Узнав о посылке карательной экспедиции, эсеры и меньшевики — члены ревкома — всполошились, к тому же центральные комитеты этих партий устроили им взбучку за то, что они вошли в состав Ташкентского ревкома. Комитет по существу распался.

Фракция большевиков потребовала объявления всеобщей забастовки в знак протеста против приезда карателей. Двадцатого сентября трамваи остались в парках, город погрузился во тьму — трамвайчики и электрики бастовали. К ним примкнули рабочие железнодорожных мастерских. В знак солидарности с ташкентцами забастовки покатались по

всем городам Средней Азии. Бастовали рабочие Намангана, Андижана, Коканда, Самарканда.

А в это время карательная экспедиция приближалась к Ташкенту. Двадцать третьего сентября Сызранский кавалерийский полк с приданными ему броневиками прибыл на станцию Келес, в двадцати пяти километрах от Ташкента.

Мы собрались на экстренное совещание. Решили послать на станцию Келес двух делегатов, которым поручалось объяснить солдатам смысл событий последних дней.

Как рассказывали потом эти товарищи, в Сызранском полку к ним отнеслись весьма настороженно, по всему было заметно, что не верят ни одному слову наших делегатов. Порешили на том, что полковой комитет выделит трех человек, с тем чтобы они отправились в Ташкент и сами убедились, на чьей стороне правда.

Представители сызранцев внимательно осмотрели город, поговорили с населением. Потом пришли к нам в Совет. Оказывается, что, посылая их в Ташкент, командование говорило, будто здесь идут грабежи и убийства, что трудовой народ стонет от беззакония и якобы просит помощи и защиты от «узурпаторов, захвативших власть».

— Все это чистейшая ложь, — заявил нам один из гостей. — Мы своими глазами видели — город живет спокойно, все идет нормально. Выходит, что нас нагло обманули. Завтра мы всем полком придем к вам в Ташкент, пусть наши ребята посмотрят, что тут делается. Ясно, что тут дело пахнет провокацией.

И верно, на другой день, ближе к вечеру, «карательный» полк с развернутыми красными знаменами вошел в город. На окраине его радушно встретили толпы жителей. Солдат торжественно проводили до Дома Свободы, где заседал Ташсовет. Полковой комитет в полном составе направился к нам в зал. Все депутаты встали с мест. Председатель полкового комитета взшел на трибуну, приветственно поднял вверх руку.

— Да здравствует власть Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов! — были его первые слова.

В ответ дружные раскатистые возгласы «ура».

Узнав о случившемся, Турккомитет поспешил отправить сызранцев обратно.

Сентябрьские события в нашем городе еще раз показали всем сомневающимся, что только диктатура пролетариата под руководством партии большевиков осуществит чаяния трудового народа.

г. Ташкент.

И. ЗЕЙЛИКОВИЧ,

член КПСС с 1910 года

В ГОРОДЕ ГРОЗНОМ

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Светлым ручейком втекают в черную, насторожившуюся ночь слова песни.

В царство свободы дорогу...

Звонко стучит из-под нависшего паровозного брюха молоток, отбивая такт мелодии, подстегивая ее. Тоненько перезваниваются, аккомпанируя, слесарные ключи.

Грудью прложим себе.

Уже несколько голосов уверенно и твердо ведут мотив, выносят торжественно куда-то за стены нашего депо, дальше — за железнодорожную станцию, в поля, в мир.

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой.
Братский союз и свобода —
Вот наш девиз боевой.

Все большей бодростью наливается песня и вместе с нею все явственнее, проникновеннее становится знакомое всем ощущение ухода ночи под натиском наступающего рассвета.

Скоро утро. Вон уж и солнце трснуло край серых облаков.

Навстречу утру взмывает песня рабочих...

Кто-то шагает к нам через переплетение рельсов, улыбается, зовет меня:

— Илья!

Это мой дружок, слесарь депо, тоже член Грозненской большевистской организации. Подходит ближе, торопливо говорит:

— Слыхал? Наши из Петрограда вернулись. Анисимов и Малыгин. Сегодня докладывают в Совете.

Так начался для меня день 8 сентября 1917 года.

Зал заседаний Совета заполнен до отказа. Еще бы, такие доклады! Руководителей грозненских большевиков — студента Николая Анисимова и солдата Ивана Малыгина — в городе знает каждый. Впоследствии Малыгина узнала вся страна — он был одним из знаменитой группы двадцати шести бакинских комиссаров.

Сейчас Малыгин рассказывает собравшимся о том, что творится в Питере, в России.

— Народная мудрость, — говорит он, — гласит: когда приходит осень, мы вдруг обнаруживаем, что сосна — вечнозеленое дерево. Корниловский заговор — это как осенняя слякоть. И тогда народ увидел: есть лишь одна партия, способная защитить и отстоять завоевания революции, — партия большевиков!

Ярко, сочно, доходчиво рассказывал Малыгин о подъеме революционного настроения масс, о разгроме генеральского мятежа. Потом предлагает Совету принять большевистскую резолюцию. Долго и любовно аплодируют ему пришедшие послушать новости рабочие и солдаты — подлинные представители трудящихся города Грозного и Терской области.

Вслед за Малыгиным слово получает Николай Анисимов — делегат большевиков Грозного на VI съезд партии. Жестко режут тишину зала его слова:

— Всем надо понять: большевики — это силища! — И, заметив негодующее движение председателя Совета меньшевика Богданова, повертывается к нему: — Да, это так, и только так. Несмотря ни на что... — И снова в зал: — Кто из вас не знает, что в городе было организовано так называемое «Общество борьбы с большевиками»? Кто забыл, что в станице под Грозным постановили в три дня выселить всех большевиков? А учительница, которую выгнали из станицы только за то, что она жена большевика?.. Но все знают и то, что массы пойдут и идут уже только за Лениным.

Накаленный зал взрывается:

— Верно, за Лениным!

— Долой соглашателей!

— Большевикам — ура!

Меньшеви́к Богданов хочет приподняться с кресла и снова садится, настроение зала словно давит его вниз. Но он грозит:

— Прошу соблюдать порядок. И не аплодировать! Иначе вынужден буду удалить гостей.

«Гости» — это рабочие и солдаты. Зал негодует:

— Да как ты смеешь!

Лицо Богданова багровеет. Он визгливо кричит:

— Я председатель Совета! Я имею право...

В знак протеста депутаты Совета — большевики и «гости» покинули зал.

В сентябре из Петрограда на Кавказ возвратился С. М. Киров.

Впервые я встретился с Сергеем Мироновичем в 1912 году. Тогда он работал корректором в газете «Терек», а я помощником машиниста паровозного депо на станции Минеральные Воды. Невысокая, плотная фигура, ясный открытый лоб, узкий прищур глаз, волевое очертание рта — таким видится мне Сергей Миронович и до сих пор.

Припоминаю один эпизод. Он очень рельефно характеризует Кирова, пламенного, непоколебимого ленинца.

Во все времена, всюду и везде в своих целях реакция разжигает национальную вражду. Казачье-горская контрреволюция пустила среди крестьян слух: горцы будут жечь станицы по наущению большевиков.

И, будоража горские аулы, провокаторы нашептывали:

— Шайтан большевик хочет мечети ломать, жен, детей забирать.

Пороховой погреб. Только искры не хватает. Вспыхнула и она!

Неизвестно, кто и когда спровоцировал солдат, но неожиданно на базаре во Владикавказе началась резня: солдаты вздумали расправиться с приехавшими ингушами.

В то же самое время сообщили: в селении Базоркино готовится вооруженное нападение на Владикавказ. И тогда Киров один, невооруженный, — да и что он мог сделать со своим револьвером против сотен озверевших людей? — отправился в Базоркино.

Один из знакомых мне горцев потом рассказывал:

— Отчаянным он оказался. Прискакал — и прямо в толпу. Один. Понимаешь, совсем один! «Что вы делаете?» — говорит. Смотрим: по облику, разговору — городской человек. Почему сюда попал? Хотели легонько оттолкнуть, чтоб не мешал. А он одно: революция, сознательность, люди — братья. Видно, веру в народ имеет. А когда кто в народ верит, ему все тоже доверяют. Подходят к нему двое горцев, спрашивают: «Большевик?» — «Большевик». — «А, шайтан!» Приезжий хохочет: «Ну, какой же я шайтан? Ни хвоста, ни рогов». — «Нет, шайтан! Хитришь, нас к себе переманить хочешь...» — «А вот это верно, хочу! И не почему-нибудь, а потому, что для вас другой дороги нет. Со временем все к большевикам придет!» Тут и в толпе засмеялись: правильный человек.

...В сентябре грозненские большевики получили от Сергея Мироновича короткие и четкие указания: никакой поддержки буржуазии. Полная изоляция соглашателей. Самая широкая агитационно-разъяснительная работа среди населения. Немедленная организация Красной гвардии для защиты города Грозного от контрреволюции.

Неподалеку от депо расположилась небольшая группа людей — железнодорожники. В руках у них винтовки, слышатся слова:

— Гляди, это стебель, а это грсбень с рукояткой... Боек.

— Ты штык-то надвинь, вот так... Теперь поверни.

Это занимается «дружина безопасности», созданная из рабочих. Но такое ее название продержалось недолго. Скоро утвердилось настоящее:

Красная гвардия. Руководил красногвардейцами большевик Николай Федорович Гикало.

Все мы понимали, что близятся решающие дни, кто знает, может предстоят и кровавые схватки с зарвавшейся, обнаглевшей буржуазией. Рабочие охотно записывались в красногвардейские отряды. У нас в депо не было, пожалуй, ни одного, кто после смены или тяжелого, утомительного рейса не пошел бы на военные занятия. Иначе и быть не могло: неспроста на наших паровозах гордо развевались красные флажки.

Худо обстояло дело с оружием. Хотя в городе размещались запасный полк и 252-я Самарская дружина из ополченцев, сочувствовавшие большевикам, винтовок не хватало. Иной раз приходилось наблюдать, как по заваленному металлическим мусором заводскому двору марширует не-большой рабочий отряд, умело проделывает ружейные приемы. Военская часть, ничего не скажешь. А приглядишься, вооружена эта часть... палками. Но выход был найден: в мастерских сверхурочно ремонтировали вышедшие из строя винтовки, предпринимали, как тогда говорили, «экспроприацию» — изъятие оружия у населения.

На Всероссийском железнодорожном съезде в Москве министр путей сообщения Временного правительства Тахтамышев всячески лил елей по адресу рабочего класса, обещая рабочим в недалеком будущем материальные блага. Это была позолота на пилюле. Пилюля приберегалась «транспортным Корниловым» на конец:

— Административно-распорядительная власть на дорогах принадлежит органам правительственной власти. Никакое вмешательство в распоряжения этих органов недопустимо.

Но ни пряником, ни кнутом нельзя было заставить железнодорожников стать слугами Временного правительства.

К сентябрю недовольство железнодорожников достигло апогея. Первое место в требованиях рабочих занимали политические лозунги. Двадцать третьего сентября забастовали все железные дороги.

...Настежь открытые двери депо. Неподвижные паровозы, потухшие топки. Тусклый свет одинокого уличного фонаря освещает кучку людей у ворот. Это пикет. Прислонился к двери, скрестив руки на груди, парень в промасленной блузе. Рядом, покуривая, сидит другой, на плечи накинут пиджак, на затылке чудом держится кепка. Слушают рассказ черноусого слесаря. Лениво вспыхивают огоньки сигарок, неторопливо нижутся слова:

— Приехал земляк с Орехово-Зуева, погостить. Тож бастуют.

— Нынче, толкуют, вся Расея бастует...

Меньшевики и эсеры теряли последние остатки доверия среди рабочих. Их просто не слушали. Приехал к нам в депо представитель из областного Совета.

— Товарищи рабочие, вы выбирали депутатов Совета. Я, член партии социалистов-революционеров, говорю вам: мы не изменим знамени своему, ибо мы защитники революции.

Кто-то глянул лениво, махнул рукой.

— Э, чего с таким разговаривать? Балабол.

И все спиной повернулись к оратору.

Двадцать девятого сентября председатель Грозненского Совета меньшевик Богданов плакался на одном из заседаний:

— Членам исполкома нельзя выступать ни на одном митинге среди рабочих — доверия со стороны рабочих никакого.

Да, это было правдой. Господство меньшевиков и эсеров в Грозном кончилось. Наша большевистская организация твердыми шагами шла вперед, навстречу пролетарской революции.

Я. ЯДРОВ,
член КПСС с 1917 года

КРАСНОГВАРДЕЙЦЫ ОДЕССЫ

Летом 1917 года с документом в руках, удостоверявшим, что мне предоставляется отпуск после ранения на фронте, я вышел за ворота одного из одесских госпиталей, на залитый солнцем Французский бульвар. На душе было радостно — вольная птица, теперь я сам себе хозяин, могу отдать все свое время делу партии большевиков.

Но все-таки что же предпринять? Решение созрело быстро. Новорыбная улица, дом № 5 — там пригодятся мои знания военного дела.

Вхожу в знакомое помещение бывшего кинотеатра. Здесь разместился Александровский райком партии. Еще не так давно я приходил сюда вместе с другими понабраться уму-разуму, здесь товарищи помогли мне понять, на чьей стороне народная правда и сила, и тогда, уверившись в правоте ленинских идей, я стал большевиком.

Человек в очках долго читал мое заявление. Так долго, что я уже начал бояться — вдруг откажут.

— Ну что ж, добре, — сказал он наконец и, обратившись к нескольким рабочим, сидевшим возле, спросил: — Как, примем Ядрова в Красную гвардию?

— Принять, знаем Ядрова, он с нами в июньской демонстрации участвовал.

В начале сентября в газете «Солдат» была опубликована заметка «Что должен помнить каждый красногвардеец». В ней говорилось:

«Красная рабочая гвардия есть средство защиты рабочих, крестьян и всех угнетаемых капиталом граждан общества от гнета, насилия и произвола буржуазии, которая стремится путем подавления народа, при помощи постоянной армии укрепить свое господство и отнять у народа все завоевания революции.

Красная гвардия в настоящее время вплоть до введения всеобщего вооружения народа ставит своей задачей борьбу с контрреволюцией.

Красная гвардия, ее дивизии, полки, батальоны и роты, управляются выборными на основе всеобщ[его], равн[ого], прям[ого] и тайного голосования ротными, полковыми и т. п. учреждениями.

Каждый красногвардеец подчиняется своим выборным учреждениям не в силу слепого повиновения, а в силу того, что эти учреждения им же и выбраны свободно и независимо.

Руководство и высшее управление силами Красной гвардии находится в руках Районных Советов Рабоч. и Солдатск. Депут., а во всем Петрограде [подчиняется] междурайонному Советанию, образованному из представителей районных демократических учреждений (районных Советов, районных Дум и т. д.).

Красная гвардия есть добровольно, свободно организующееся демократическое учреждение для защиты завоеваний революции, и потому ни один красногвардеец не должен требовать для себя вознаграждения.

Каждый красногвардеец должен помнить, что он призван защищать, а потому употребление им оружия в целях насилия и ограничения прав гражданина есть величайшее преступление, которое карается исключением из гвардии.

За все проступки, противные свободному строю и нарушающие задачи Красной гвардии, красногвардеец судится товарищеским судом...»

На заводах и фабриках Одессы быстро формировались рабочие вооруженные отряды. В Красную гвардию охотно записывались добровольцы,

преимущественно из числа наиболее сознательных рабочих, по рекомендации двух красногвардейцев. Отряды были разбиты на десятки и сотни. Мне, как бывшему фронтовику, поручили командовать десятком. В каждом районе имелся свой штаб, а на Торговой улице в доме № 4 помещался Главный штаб Красной гвардии города Одессы.

Командиром всех рабочих отрядов был назначен Чижиков, рабочий завода Равинского. Штабом руководил Конгун, член исполкома Одесского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Три раза в неделю красногвардейцы нашего Александровского, Бульварного, Херсонского и Портового районов ходили на военное учение в громадный Александровский парк, расположенный на самом берегу Черного моря. Немало усилий положил старый солдат 46-го запасного полка Никита Федосеевич Квитко, наш инструктор, чтобы из разновозрастной, сугубо штатской публики сделать настоящих бойцов. Были тут и безумные семнадцатилетние парнишки и весьма пожилые люди — кто в сатиновой рубашке, кто в солдатской гимнастерке, а больше всего в промасленных тужурках, прямо из цеха, после работы. И оружие-то у нас было самое разномастное: у одних в руках трехлинейные винтовки, у других — допотопные берданки, у третьих — японские, итальянские, английские револьверы и пистолеты.

Многим, особенно кто постарше, нелегко давалась нехитрая солдатская премудрость.

— Ложись! — раздается команда. Иной не спеша опускается сперва на одно колено, потом на второе, потом обопрется на локти и только после всех этих манипуляций вытягивается на земле во всю длину.

— А чтоб тебя!.. — не выдерживает наш инструктор. — Пойми, пока ты этак разляжешься, в тебя десяток пуль успеют всадить. Вот как надо! — И Квитко, не жалея своих старых костей, в который уж раз камнем падает наземь. — А ну, повтори. Еще!.. Снова!..

Шагали в строю, бегали, ползали по-пластунски до седьмого пота. Но к делу относились добросовестно. Дисциплину поддерживали строгую. Не было случая, чтобы кто-нибудь не явился на занятие или в караул. Стрелять учились тут же, у высокой насыпи, отделявшей парк от моря. Сначала мишенью служил арбуз, потом перешли к бутылке, дальше — ставили папиросные коробки, а через некоторое время появились такие ловкачи, которые попадали на пятьдесят шагов в трехкопеечную монету.

Помимо военных занятий, в обязанность красногвардейцев входила охрана фабрик и заводов, наблюдение за порядком в городе, борьба с уголовными элементами. После июльских событий зашевелилось всякое контрреволюционное отребье, поэтому нам надо было, что называется, глядеть в оба. Нередко красногвардейцам приходилось выполнять поручения довольно-таки деликатного свойства.

В начале сентября нашему штабу стало известно, что недавно приехавшая из Петрограда госпожа Пуансе, сестра известного черносотенца, бывшего члена Государственной думы Пуришкевича, устраивает в своем особняке какие-то подозрительные сборища. Требовалось срочно выяснить, что там происходит. Один из наших красногвардейцев был знаком с горничной мадам Пуансе. Вот ему-то Конгун и поручил все разузнать. Красногвардеец отлично справился со своей задачей. Через короткое время он сообщил, что особняк частенько посещают руководители черносотенных организаций, таких, как ссозы «Михаила Архангела», «Русского народа», «Спасение России» и им подобные. Судя по всему, готовился контрреволюционный мятеж. Красная гвардия помогла ликвидировать его еще в зародыше. Вскоре заговорщики были арестованы.

Был и такой случай. В Одессе тогда существовало религиозное «общество проповедников поста». До нас дошли сведения, что «постящиеся»

замышляют что-то скверное. Решили произвести разведку. Но как это лучше сделать? И все же придумали.

Не помню теперь уже, кто из наших красногвардейцев «завербовался» в члены этого общества. Девять суток бедняга постился, выстаивал все молитвы, усердно бил земные поклоны. Своим «рвением» он обратил на себя внимание проповедников, и те стали считать его ярым приверженцем. Парню удалось сблизиться с руководителями общества, и он узнал, что готовится крестный ход, во время которого «святые отцы» собираются напоить пьяными кое-кого из своей паствы и учинить в городе погром.

В день крестного хода мы разоделись по-праздничному, вышли на улицу и примкнули к толпе, чтобы в случае чего быть наготове. Кроме того, чуть в стороне от шествия патрулировали наши товарищи с винтовками. Запретить крестный ход мы не могли, но черносотенную провокацию предотвратили. Организаторы погрома смекнули, в чем дело, поняли, что разгуляться им не позволят, и не рискнули осуществить свой мерзкий замысел.

Трудящиеся Одессы быстро увидели в Красной гвардии надежных защитников. Тщетно старались меньшевики и эсеры, клевета на большевиков, опорочить и рабочую гвардию. Каких только кличек нам не давали соглашатели и черносотенцы! Но напрасны были все их старания. Своими действиями красногвардейцы завоевывали все большую популярность среди горожан. Ряды Красной гвардии беспрерывно пополнялись.

Пользуясь смутным временем, местные промышленные тузы решили приумножить свои барыши. Начало положили братья Браун. Их сады и колоссальные оранжереи на берегу моря снабжали живыми цветами и Москву, и Питер, и многие другие города России. В Одессе они имели большой магазин, где в любое время года за немалые деньги можно было приобрести розы, тюльпаны, орхидеи. В сентябре владельцы этого огромного предприятия первые снизили рабочим и продавцам заработную плату и увеличили рабочий день. Товарищи забастовали, обратились в исполком Совета, тот объявил бойкот магазину. Однако авторитет исполкома был в те дни настолько незначителен, что Браун не обратил никакого внимания на его постановление. Нашлись штрейкбрехеры. В оранжереях кипело дело, магазин продолжал торговать.

Остальные хозяева и хозяйчики с интересом следили за развитием конфликта, ожидая, чем все это кончится. Было очевидно, что и они намереваются последовать примеру Брауна. Рабочие пришли за помощью в штаб Красной гвардии. Штаб выделил группу бойцов, которые разогнали штрейкбрехеров, закрыли оранжереи и магазин. Браун не посчитался с расходами, нанял новых штрейкбрехеров и продолжал торговать. Тогда владельца магазина под конвоем привели в штаб.

— Будешь притеснять рабочих?

Браун даже позеленел от ярости.

— Это незаконно, вы не имеете права! Я буду жаловаться!

— В подвал его! — коротко распорядился Конгун.

Через пару дней в «Известиях Одесского Совета» появилась такая заметка: «Секция Красной гвардии исполкома Совета рабочих депутатов настоящим оповещает товарищей рабочих и граждан города Одессы о следующем: магазин живых цветов Бр. Браун, помещающийся по Ришельевской улице, был объявлен профсоюзом приказчиков г. Одессы и исполкомом С.Р.Д. под бойкотом за то, что эти господа самым немилосердным образом эксплуатировали своих рабочих и их труд совершенно обесценили, за то, что эти господа не признают С.Р.Д., за то, что уклоняются от третейского суда...» Далее сообщалось, что предприниматели полностью удовлетворили требования рабочих и что бойкот с магазина снимается.

История эта послужила хорошим уроком для всех предпринимателей Одессы, они поняли, что Красная гвардия это такая сила, с которой надо считаться, что у рабочих есть надежная защита их интересов.

Все это, если можно так выразиться, было побочной работой красногвардейцев. Они твердо знали, что главное впереди — вооруженная борьба за власть Советов.

В середине сентября в помещении Главного штаба Красной гвардии, на Торговой улице, состоялся большой митинг. При бурном одобрении всех участников была принята большевистская резолюция. Собравшиеся красногвардейцы требовали немедленного вывода меньшевиков и эсеров из Советов, проведения в Советах частичных перевыборов. Резолюция призывала передать всю полноту власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Украинские националисты спешно мобилизовывались. Еще в первых числах сентября начальник Одесского военного округа принимал парад вновь сформированного гайдамацкого куреня (полка). Одетые, как на костюмированном балу, в жупаны и шаровары, бравые молодцы с лихим присвиством распевали на улицах Одессы.

«Здорови були, пане атамане!» — гаркнули украинские «добровольцы» в ответ на приветствие генерала и церемониальным маршем двинулись в свои казармы.

Это была первая ласточка. А к концу сентября Центральная рада сформировала уже несколько украинизированных буржуазных полков, в которые широко привлекала офицеров царской армии.

— Добрым это не кончится, — говорили рабочие, поглядывая на демонстрацию сынков буржуа в казацких жупанах. И они массами тянулись к единственной партии, которая твердой рукой направляла трудящихся по пути осуществления пролетарской революции. За один только сентябрь в нашем Александровском районе партийная организация выросла с десяти членов партии до четырехсот. Рабочие Одессы понимали, что неминуем решающий бой.

Людей в Красной гвардии хватало, а вот оружия было нищенски мало. Штаб поставил задачу — в кратчайший срок самим добыть оружие. Вспоминаются такие эпизоды.

Фронты империалистической войны ползли по швам. Целыми эшелонами солдаты с оружием ехали в глубь России. И вот что делали наши товарищи железнодорожники. Поезд с солдатами пришел на станцию. Начинается формирование состава, вагоны разгоняются по разным путям. Вагон с оружием «случайно» попадает в самый дальний тупик, где его поджидают красногвардейцы с подводами. В темноте бесшумно раскрывается дверь вагона, несколько человек быстро выгружают содержимое, и пустой, вновь запломбированный вагон подцепляется к эшелону. Поезд без малейшей проволоочки отправляется по своему назначению. Все довольны: солдаты тем, что их не задержали на станции, а красногвардейцы тем, что получили изрядную порцию новых винтовок и патронов.

Или вот еще случай. К комиссару железнодорожного узла приходят гайдамацкие офицеры.

— Нужно ехать на Киев.

— Берите билеты и поезжайте.

— Нам требуется отдельный классный вагон.

— Это невозможно. Но впрочем... Второй класс вас устроит?

— Вполне.

— Оплата натурой: двадцать винтовок и патроны к ним.

Пошумели было офицеры, но потом все же выдали восемнадцать карабинов с патронами. Оружие, конечно, было передано красногвардейцам.

Иногда приходилось прибегать к более крайним мерам. В одной из таких операций довелось участвовать и мне.

На Канатной улице, в Собанских казармах, помещалась рота солдат, враждебно настроенных к большевикам. По нашим сведениям, у них было много оружия. Матрос Черноморского флота большевик Леонид Лобода предложил разоружить эту роту.

— Разоружить, конечно, не фокус, — возражали более осторожные, — но у нас ведь на пятнадцать человек всего три винтовки.

— Ничего, братва, — успокоил нас Лобода. — Все будет в порядке.

Дождались рассвета, когда особенно крепок сон, тихонько подошли к казарме. Мы остались за углом, а двое подкрались к часовому, заткнули ему рот, связали руки и ноги. Примерно то же проделали и с дремавшим в казарме дневальным.

В углу, в козлах, тускло поблескивали винтовки. Солдаты спокойно спали. Леонид вскочил на крайнюю кровать, в правой руке учебная граната, в левой — револьвер.

— Не шевелись, а то взорву к чертям собачьим! — загремел он.

Нападение было настолько неожиданным, что солдаты не оказали ни малейшего сопротивления. Мы быстро вынесли винтовки, подгрузили их на подводу и скрылись.

Большую помощь в вооружении одесской Красной гвардии оказали моряки Черноморского флота. Они дали часть оружия с корабля «Память Меркурия». Большевик Кривошеев договорился с полковым комитетом Кольцовского пулеметного полка о том, что солдаты незаметно для командования передадут Красной гвардии сто с лишним пулеметов.

Так, вооружаясь, усердно изучая военное дело, росла и крепла рабочая Красная гвардия Одессы.

Позднее на улицах Одессы наши красногвардейцы наголову разбили прекрасно вооруженные многочисленные гайдамацкие курени Центральной рады.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕХ ДНЕЙ

„Исторический поворот.

Вчера ночью Петроградский Совет Рабоч[их] и Солд[атских] Депутатов (в соединенном заседании) принял большинством 279 против 115 (при 50 воздержавшихся) резолюцию, предложенную большевистской фракцией (напечатанную в утреннем выпуске «Рабочего»). В основу революционной политики эта резолюция кладет:

Декретирование демократ[ической] республики, немедленную отмену частной собственности на помещичью землю без выкупа, рабочий контроль, беспощадное обложение крупных капиталов, разрыв тайных договоров и немедленное предложение народам всех воюющих государств демократич[еского] мира».

«Рабочий» № 11 от 1 (14) сентября 1917 года.

„На Обуховском заводе.

Рабочие завода отдают себя в распоряжение народа для спасения революции. Собрание требует создания вооруженных рабочих дружин, реквизиции броневиков, автомобилей, готовых снарядов, пушек и пулеметов. Собрание призывает всех товарищей к полному спокойствию, предостерегает от провокационных выступлений. Никто не должен выступать без приказа уполномоченных.

Резолюция рабочих завода Акц. о-ва Вестингауза.

Мы, рабочие зав. Акц. о-ва Вестингауза, собравшись на общее собрание 1-го сентября с. г. в количестве 1000 чел., заслушав доклад представителей Сов. Раб. и Солд. Деп. и всесторонне обсудив текущий момент, приняли единогласно следующую резолюцию:

Всякое соглашательство с контрреволюционной буржуазией пагубно отражается на завоевании свободы.

А потому мы требуем:

- а) Передачи всей власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства.
- б) Требуем немедленного роспуска Государственной Думы и Государств. Совета и ареста их контрреволюционных членов.
- в) Требуем самых строгих и беспощадных репрессий над изменником Корниловым и его опричниками.
- г) Требуем немедленного освобождения из тюрьмы наших передовых товарищей, т[ак] к[ак] революционные вожди должны быть с нами в дни опасности.
- д) Требуем немедленной передачи без выкупа земли в руки трудового крестьянства.
- е) Требуем скорейшего введения рабочего контроля над производством».

«Рабочий путь» № 2 от 5 (18) сентября 1917 года.

„В Советах.

Москва. 5 сентября в соединенном заседании Советов Р[абочих] и С[олдатских] Д[епутатов], по вопросу о конструкции власти, 355 гол[осами] принята резолюция, предложенная фракцией большевиков (резолюция ЦК с внесенными в нее фракцией поправками).

Резолюция м[еньшеви]ков и с[оциалистов]-р[еволюционеров] собрала 254 гол[оса], объединенных с[оциал]-д[емократов] — 31 гол[ос].

При голосовании всех резолюций воздержалось 20. Тексты резолюций будут помещены завтра».

(«Социал-Демократ» № 152 от 6 (19) сентября 1917 года).

„Партийная жизнь.

Из целого ряда российских городов приходят известия о том, что организации нашей партии за последний период сильно возросли. Но что имеет еще большую важность, так это рост нашего влияния в самых широких демократических массах, массах рабочих и солдат. Наши корреспонденты сообщают, что слово «большевик», бывшее в первые недели после июльских событий чем-то пугающим темные массы, теперь стало синонимом решительного революционера. И ни одна партия не пользуется таким весом, как наша.

На местах в связи с корниловщиной образовались революционные комитеты, революционные трибуналы, новые органы революц[ионной] власти. В состав этих органов повсюду, как правило, вошли помимо представителей Советов и представители социалистических партий, профессиональных союзов и т. под.

При этом надо отметить то огромное влияние нашей партии в этих органах власти, на кот[орое] указывают корреспонденты из самых различных мест.

Сообщения с мест показывают, насколько вперед ушла провинция от столицы, где колебания органов «революционной» демократии все еще продолжаются.

Из Николаева нам сообщают, что в конце августа состоялась общегородская конференция местной с[оциал]-д[емократической] организации.

Был поставлен вопрос о присоединении к резолюциям 6-го съезда партии и о признании руководства за избранным им Ц[ентральным] К[омитетом]. Огромным большинством вопрос был разрешен в положительном смысле. Ничтожное меньшинство в 90—100 человек, состоящее из оборонцев, вышло из организации.

По заводам был проведен ряд митингов, где были вынесены резолюции протеста против Московского [Государственного] Совещания, против восстановления смертной казни, против политики Временного Правит[ельства], против травли и арестов вождей рабочего класса.

Наблюдается большой прирост членов организации. Отколовшаяся группа оборонцев не пользуется никаким влиянием среди рабочих и солдат...»

[Я. Свердлов].

(«Рабочий путь» № 3 от 6 (19) сентября 1917 года).

„Историческое заседание Совета.

На вечернем заседании Совета за резолюцию нашей партии по вопросу о президентстве было подано 519 голосов, резолюция меньшевиков и эсеров собрала 414 голосов. Воздержалось 67 человек. Президиум в составе Чхендзе, Церетели, Чернова и пр. окончательно подал в отставку.

Подробности в завтрашнем вечернем выпуске».

(«Рабочий путь» № 7 от 10 (23) сентября 1917 года).

„Демократическое Совещание.

Сегодня должно начаться Демократическое Совещание, которое по мысли устроивших его должно укрепить власть.

Товарищам солдатам и рабочим необходимо хорошо разобраться в том, что это за Совещание, с какой целью созывается оно и как относится к нему партия революционных рабочих.

Мысль о созыве Демократического Совещания принадлежит Ц. И. К. Всеросс,

Совета Рабочих и Солд. Депутатов, т. е. меньшевикам и соц.-революционерам. Мысль эта была объявлена во всеуслышание после того, как Корниловский мятеж показал ясней ясного, что Правительство, заключившее тесный союз с капиталистами и помещиками, правительство Керенского ведет Россию обратно, не к революции, а к царю.

Даже меньшевики и соц.-революционеры почувствовали, что они хватили через край в своем союзе с врагами рабочих и крестьян.

Корниловский заговор открыл глаза рабочим и крестьянам, а так как без них никакой революции сделать нельзя, то и пришлось что-нибудь создать, чем бы можно было затуманить голову рабочему и солдату.

Тогда-то и решили создать это Совещание.

Кто будет на этом Совещании? Около 1500 человек, из коих 100 человек от Центрального Исп. Ком. Совета Рабочих и Солдатских Депут., 120 — от областных провинциальных Советов Раб. и Солд. Депут., 300 — от Городских Управ, 200 — земств, 120 — Всесословной Кооперации, 30 — Рабочей Кооперации, 100 — профессиональных Союзов, 25 — армейских, фронтовых и др. организаций, 31 — казачьих организаций, 45 — земельных комитетов, 60 — национальных организаций, 16 — Губернских Исполнительных Комитетов Обществ. Организ., 15 — Областных Губернских Продовольственных Комитетов, 16 — районных Комитетов снабжения и др., 10 — крестьянского Союза, 25 — железнодорожного Союза, 10 — почтово-телеграфн. Союза, 20 — торгово-промышл. организаций служащих, 15 — Учительского Союза и 50 от разных организаций вроде инженеров, журналистов и т. д.

Что же мы видим? Кто же будет на этом съезде? Представители большинства рабочих и беднейших крестьян? Конечно, нет. Все эти кооперативы, Учительские Союзы, Союзы инженеров, Губернские Исполнительные Комитеты общественных организаций, совещания по топливу, все они составят добрую половину Совещания и все они состоят не из рабочих и бедняков-крестьян, а из тех же мелких и даже крупных буржуа и только в лучшем случае из революционно настроенных мелких буржуа, мелких хозяйчиков, мелких собственников.

Но, скажут нам: там будут Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, заводские комитеты и профессиональные союзы. Это верно. Представители этих организаций и будет все лучшее, все революционное на Совещании с одной оговоркой, если это будут рабочие и солдаты, а не вожди соц.-револ. и меньшевиков.

А так как из Советов попадет много соц.-рев. и меньшевиков, а из разных учреждений просто оборонцев худшей марки, то мы и будем иметь на Совещании определенное большинство, далеко не выражающее интересы революционных рабочих и солдат.

Какую же цель ставят себе соц.-рев. и меньшевики на этом Совещании? Они ставят себе такую задачу, которая «не только предполагает, но целиком покоится на идее коалиции». Так говорится в эсеровской газете «Дело Народа». Так говорится и в меньшевистской газете «Рабочая Жизнь».

Стало быть, по-прежнему меньшевики и соц.-револ. будут пытаться войти в соглашение с капиталистами и помещиками, стало быть Совещание — это попытка под новым флагом войти в соглашение с «цензовыми элементами», пропеть старую песенку Дана, Либера и Церетели.

Как же должны относиться к этому Совещанию рабочие и солдаты-крестьяне?

Как же должны относиться рабочие и солдаты к этому Совещанию теперь, когда страной управляет неограниченный монарх Керенский, который занимался попустительством, вследствие чего Корнилов мог безнаказанно готовить заговор? Мы отвечаем: по-прежнему наши надежды должны быть устремлены на рабочих и крестьян. Только власть рабочих и беднейших крестьян может быть той властью, которая спасет революцию и даст мир. Поэтому, идя на это Совещание, посылая туда свои делегации, мы должны решительно и прямо заявить: никаких соглашений с буржуазией, вся власть рабочим и беднейшим крестьянам.

Приглашая петроградских рабочих и солдат к величайшей выдержанности, призывая их воздержаться от всяких преждевременных выступлений, мы с бодростью смотрим вперед и говорим: сама жизнь толкает рабочих и солдат к власти.

(«Солдат» № 24 от 12 сентября 1917 года),

**„Всероссийское Демократическое Собрание.
Впечатление участника.**

Красный зал Александринского театра переполнен сверху донизу; ложи, партер, балкон — все занято делегатами, съехавшимися со всей России «решать судьбы родины». Но далеко не красным является этот демократический парламент по своему настроению...

Определенным образом подобранный состав Собрания, с явным преобладанием более умеренных представителей от городов, земств и кооперативов и с лишением права голоса действительной революционной демократии — многих рабочих и солдатских организаций, — такой подтасованный состав должен был, несомненно, отразиться на всем характере Собрания, на его настроении и на принятых им решениях. И хотя Чернов неоднократно в своей речи подчеркивал, что «фронт революционной демократии должен быть единым», это Собрание еще раз подтвердило, что самое понятие «революционной демократии» очень неопределенно и расплывчато. Правое крыло этой «революционной демократии» демонстративно устроило овацию Керенскому, несмотря на то, что он не дал в своей речи ни одного прямого ответа на поставленные ему вопросы о смертной казни и друг., и несмотря на то, что свою речь он закончил недопустимой и неприличной в Демократическом Собрании угрозой.

Такую же демонстративную овацию устроила часть Собрания Церетели, провозглашая «да здравствует революционный вождь демократии», очевидно вспоминая его символическое пожатие руки Бубликову на Московском Собрании.

Зато не могла буржуазия найти себе более старательного и усердного адвоката, чем Церетели, защищающего с таким рвением на Демократическом Собрании необходимость коалиции с ценовыми элементами, с буржуазией...

Наиболее пикантным на первом заседании Собрания было откровенное признание бывшего министра Чернова, что Вр [еменное] Правительство, в состав которого он входил, «запаздывало с разрешением многих неотложных вопросов», а «откладывание земельного вопроса подрывало в деревне всякое доверие к власти. Мы, Вр [еменное] Правительство, откладывая разрешение земельного вопроса, мы колебали и подрывали правосознание деревни».

Не менее характерным явилось признание меньшевика Богданова, который в своей речи расписался в полном банкротстве той политики соглашательства, ярким сторонником которой являлся он и до сих пор является его фракция меньшевиков. «Через шесть месяцев после революции», говорил Богданов, «я, сторонник коалиционного правительства, должен признать с болью, что главной причиной полного бездействия власти был коалиционный состав правительства, одна часть которого тормозила работу другой его части. Как мы, Исполнительный Комитет Совета, ни старались поддерживать Временное Правительство, оно было бессильно что-либо сделать. Коалиция превратила Правительство в безответственное и привела его к постоянным столкновениям с органами революционной демократии. Уверенность, что Временное Правительство не пользуется доверием, что оно оторвано от народа и ни на кого не опирается, дала смелость Корнилову двинуть полки на Петроград».

У многих ли меньшевиков и социалистов-революционеров найдется смелость признать теперь, после шести месяцев колебаний и шатаний, полную несостоятельность политики соглашательства, или все еще многих из них, как горбатого, исправит только могила? И после покаянной речи Богданова выступил Церетели, этот «революционный вождь демократии», и вновь стал доказывать, что вне коалиции с буржуазией нет спасения.

Но если даже искусственный подбор Демократического Собрания вновь водворит у нас обанкротившийся принцип коалиции, жизнь будет с каждым днем все больше и больше отрывать от меньшевиков и социалистов-революционеров их прежних сторонников, увеличивая и сплачивая ряды последовательной социал-демократии, ведущей стойкую борьбу против всякой коалиции с буржуазией, против политики колебаний и соглашательства.

К. С.» [К. Самойлов]

(«Рабочий путь» № 12 от 16 (29) сентября 1917 года).

„Резолюция Петербургского Комитета Р.С.-Д.Р.П. (6-ков).

1) Политика соглашений и коалиции с самой крупной и организованной партией буржуазии, к [онституционно]-д[емократической], задержала выполнение задач революции в области политической, аграрной, промышленной и финансовой и создала условия, при которых империалистическая буржуазия и помещики от систематического похода против революционных завоеваний, приведшего их к фактическому обладанию центральным государственным аппаратом, перешли, через поддержанный и подготовленный ими контрреволюционный заговор Корнилова, к прямому нападению на революцию с целью открытого захвата власти.

2) Проводившаяся под прямым давлением к.-д. партии политика репрессий по отношению к широким слоям рабочих и солдат и срыва необходимых и срочных реформ была рассчитана на сеяние в широких массах разочарования в революции и на создание условий для установления режима буржуазной диктатуры в стране и генеральского всевластия на фронте.

3) В процессе ликвидации генеральско-буржуазного восстания Врем [енное] Правительство не только не приняло мер решительного подавления заговора, но вместо борьбы с контрреволюцией вступило на путь соглашения с нею.

Единой силой, которая готова была раздавить контрреволюционное восстание, явились рабочие и солдатские массы, под давлением которых советское большинство приняло ряд мер к отражению корниловского нападения.

И поскольку оно принимало решительные меры борьбы с заговором, оно приходило в конфликт с Врем [енным] Правительством и принуждено было разрывать с политикой соглашения.

4) Но несмотря на то, что отражение этого первого прямого нападения контрреволюции нанесло удар режиму буржуазной диктатуры, весь государственный аппарат фактически находится до сих пор в руках агентов империалистической буржуазии, так как нерешительность и соглашательство Ц[ентрального] Исполнительного Комитета привели к созданию безответственного «Совета пяти» с Керенским во главе.

Стремясь и после корниловского заговора вести, вопреки явно выраженной воле революционных солдат и рабочих, политику соглашения с ценовыми элементами, Ц. И. К. созывает Демократическое Собрание, на котором надеется, благодаря усиленному представительству гор [одских] самоуправлений, земств и кооперативов и совершенно недостаточному представительству Советов, армейских организаций, профессиональных союзов и фабрично-заводских комитетов, получить одобрение своей губительной для революции политики.

Констатируя это, Петербургский Комитет Р. С.-Д. Р. П. заявляет, что спасение революции и страны от ужасов контрреволюции и полной экономической разрухи требует немедленного разрыва с политикой соглашения, с ценовыми элементами и безответственностью и создания власти, опирающейся на пролетариат и беднейшее крестьянство, работающей под прямым контролем и [с] непосредственной ответственностью перед постоянным, вплоть до Учредительного собрания, функционирующим учреждением, представляющим организации революционных классов страны.

В основу деятельности этой власти должно быть положено следующее:

1) Немедленное предложение всем народам воюющих государств всеобщего демократического мира.

2) Немедленная отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа и передача ее в заведывание крестьянских комитетов.

3) Организация рабочего контроля над производством и распределением в общегосударственном масштабе.

4) Беспощадное обложение крупных капиталов и имущества и конфискация военных прибылей.

Высказываясь за участие на этом совещании для того, чтобы подвергнуть беспощадной критике окончательно обанкротившуюся политику соглашения, — с одной стороны, а с другой стороны — с целью сплочения истинно революционных элементов

для борьбы за власть, Петербургский Комитет приглашает революционный пролетариат и гарнизон вынесением резолюций и посылкой делегаций на Совещание довести до его сведения свою непреклонную революционную волю».

(«Рабочий путь» № 9 от 13 (26) сентября 1917 года).

„Сормово.

Рабочими Сормовских заводов на одном из последних митингов вынесена следующая резолюция:

Мы, рабочие Сормовского завода, собравшись на митинг в количестве более десяти (10) тысяч человек и заслушав сообщение о резолюции, принятой в Петербургском Совете Сол. и Раб. Деп. 1-го сентября, единодушно присоединяемся к этой резолюции и горячо приветствуем Петерб [ургский] Сов [ет], вставший на путь истинно классовой, истинно пролетарской революционной борьбы.

Мы обещаем самую деятельную поддержку Петерб [ургскому] Совету, твердо веря, что он никогда больше не сойдет с этого пути, не вернувшись на прежний путь шатания и полумер.

Мы выражаем самое горячее пожелание видеть на этом пути и все прочие провинциальные Советы и Центральный Исполнительный Комитет Советов Раб. и Сол. Деп., сделав для этого все от нас зависящее.

Резолюция принята единогласно всеми присутствующими».

(«Рабочий путь» № 11 от 15 (28) сентября 1917 года).

„Моряки.

Общее собрание судовой команды крейсера «Аврора», заслушав и обсудив доклад о текущем политическом моменте, заявляет: шесть месяцев капиталисты и помещики беспрепятственно работают над приготовлением могилы для великой русской революции, шесть месяцев, несмотря на все протесты, негодование и борьбу революционных рабочих, солдат и матросов, им в этом помогают проповедники политики соглашательства, шесть месяцев прошло с момента, когда раздались первые выстрелы, раскатились по всему миру первые громы великой борьбы за мир всему миру, за свободу всем народам, шесть месяцев прошло и в результате народ, начавший эту гигантскую борьбу, имеет: прежнюю грабительскую войну, бесконтрольное хозяйничанье капиталистов, разрушающих промышленность, помещиков, расхищающих землю, генералов, открывающих фронт и идущих открытым походом на революцию. А для тех, кто смело, беззаветно борется против этого преступного позорища,— смертная казнь, каторга и тюрьма.

Мы, революционные матросы, заявляем:

Довольно позора.

Довольно унижений и издевательств над трудящимися.

Долой насильников, долой могильщиков революции. Долой смертную казнь. Долой все репрессии, направленные против революции и борцов за революцию.

Мы требуем создания такой власти, в основе деятельности которой будет положено:

1) Немедленное предложение всем народам воюющих государств всеобщего демократического мира.

2) Немедленная отмена частной собственности на помещичью землю без выкупа и передача ее в заведывание крестьянских комитетов до Учредительного Собрания, с обеспечением беднейших крестьян инвентарем.

3) Организация рабочего контроля над производством и распределением.

4) Беспощадное обложение крупных капиталов и имуществ и конфискация военных прибылей.

Латышские стрелки.

Обсудив текущий момент, Исполнительный Комитет Объединенного Совета Депутатов Латышских стрелковых полков пришел к следующим выводам:

Необходимо:

- 1) Центральному Исполнительному Комитету Советов немедленно приступить к созданию нового Правительства из революционного пролетариата и крестьянства.
- 2) Немедленно распустить Государственный Совет и Государственную Думу.
- 3) Ускорить созыв Учредительного Собрания.
- 4) Не препятствовать проведению в жизнь прав на самоопределение народов России, исполнив немедленно предъявляемые требования Финляндии, Украины и Литвы.
- 5) Немедленно возобновить полностью свободу агитации, отменить существующие и не допустить в будущем репрессии против рабочих и солдатских организаций и прессы.
- 6) Немедленное освобождение политических заключенных левых течений, которым не предъявлено уголовного обвинения.
- 7) Обратиться с предложением о заключении мира ко всем воюющим народам и опубликовать, объявив недействительными, все тайные договоры с союзными державами.
- 8) Требовать полной демократизации армии и флота.
- 9) Отменить право собственности на кабинетские, удельные, монастырские и помещичьи земли и передать их в ведение крестьянских комитетов до окончательного решения земельного вопроса в Учредительном Собрании.
- 10) Установление контроля рабочих организаций над производством и распределением продуктов производства; национализация главнейших отраслей промышленности, как-то: нефтяной, каменноугольной, металлургической и текстильной.
- 11) Немедленное провозглашение демократической республики.

Председатель И[сполнительного] К[омитета] О[бъединенного] С[овета]
Д[епутатов] Латышских стрелковых полков (подпись).
Секретарь (подпись)».

(«Солдат» № 27 от 16 сентября 1917 года).

„Вся власть Советам.

Революция идет. Обстрелянная в июльские дни и «похороненная» на Московском [Государственном] совещании, она вновь подымает голову, ломая старые преграды, творя новую власть. Первая линия окопов контрреволюции взята. Вслед за Корниловым отступает Каледин. В огне борьбы оживают умершие было Советы. Они вновь становятся у руля, ведя революционные массы.

Вся власть Советам — таков лозунг нового движения.

На борьбу с новым движением выступает правительство Керенского. Уже в первые дни корниловского восстания пригрозило оно роспуском революционных комитетов, третируя борьбу с корниловщиной «самоуправством». С тех пор борьба с комитетами все усиливалась, переходя в последнее время в открытую войну.

Симферопольский Совет арестовывает соучастника корниловского заговора, неизвестного Рябушинского. А правительство Керенского, в ответ на это, делает распоряжение о «принятии мер к освобождению Рябушинского и о привлечении лиц, подвергших его незаконному аресту, к ответственности» («Речь»).

В Ташкенте вся власть переходит в руки Совета, причем старые власти смещаются. А правительство Керенского в ответ на это «принимает ряд мер, которые держатся пока в секрете, но которые должны будут самым отрезвляющим образом действовать на зарвавшихся деятелей Ташкентского Совета Раб. и Солд. Депутатов» («Рус [ские] В [едомости]»).

Советы требуют строгого и всестороннего расследования дела Корнилова и его сподвижников. А правительство Керенского в ответ на это «суживает следствие незначительным кругом лиц, не используя некоторых очень важных источников, которые дали бы возможность квалифицировать преступление Корнилова, как измену родине, а не только, как мятеж» (доклад Шубникова «Н [овая] Ж [изнь]»). Советы требуют

разрыва с буржуазией и в первую голову с кадетами. А правительство Керенского, в ответ на это, ведет переговоры с Кишкиными и Коноваловыми, приглашая их в министерство, провозглашая «независимость» правительства от Советов.

Вся власть империалистической буржуазии — таков лозунг правительства Керенского.

Сомнения невозможны. Перед нами две власти: власть Керенского и его правительства, и власть Советов и комитетов.

Борьба между этими двумя властями — вот характерная черта переживаемого момента.

Либо власть правительства Керенского, — и тогда господство помещиков и капиталистов, война и разруха.

Либо власть Советов, — и тогда господство рабочих и крестьян, мир и ликвидация разрухи.

Так и только так ставит вопрос сама жизнь.

При каждом кризисе власти ставился этот вопрос революцией. Каждый раз увиливали г. г. соглашатели от прямого ответа и, увиливая, отдавали власть врагам. Созывая совещание, вместо съезда Советов, соглашатели хотели еще раз увильнуть, уступая власть буржуазии. Но они ошиблись в расчете. Настало время, когда больше увильнуть нельзя.

На прямой вопрос, поставленный жизнью, требуется ясный и определенный ответ. За Советы или против них!

Пусть выбирают г.г. соглашатели».

(«Социал-Демократ» № 161 от 19 сентября (2 октября) 1917 года).

„Выход из партии соглашателей.

Мы, рабочие ново-снарядной мастерской Путиловского завода, члены партии социалистов-революционеров, обсудив создавшееся положение, нашли, что политика соглашательства, которую проводит наша партия, не является политикой революционной, а посему мы выходим из названной партии и вступаем в партию с[оциал]-д[емократов] (большевиков), деятельность которой более отвечает нашим стремлениям.

Всех товарищей просим следовать нашему примеру.

Бывшие члены партии с[оциалистов]-р[еволюционеров]

(14 подписей)».

(«Рабочий путь» № 20 от 26 сентября (9 октября) 1917 года).



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ

★

В ВЕНГРИИ ВЕСНОЙ 1957 ГОДА

(Из дневника)

1 апреля.

Сегодня я лечу в Будапешт.

Отъезд всегда будоражит душу, но, кажется, нынче особенно.

К Венгрии, к Будапешту было приковано наше внимание в октябре и ноябре 1956 года. Оно не ослабело и теперь, когда венгерский народ, разгромивший контрреволюцию, смело и неуклонно продолжает свое движение по социалистическому пути.

Коварный заговор врагов мира провалился. Жизнь и время все подробнее и убедительнее раскрывают перед человечеством истинный смысл «венгерских событий» и ту опасность, которой грозили они людям доброй воли во всех странах.

Как интересно побывать теперь в Венгрии, своими глазами увидеть все то, что там происходит!

Летим хорошо знакомым мне воздушным путем — на Киев и Львов. Раз тридцать летел я туда и обратно. Во время войны однажды летел я этим маршрутом на партизанском «дугласе»; помню еще, что самолет вела летчица — совсем еще девчонка и что над кабиной возвышался стеклянный колпак с пулеметом. Стрелок все время гляделся сквозь толстые стекла в черное ночное небо...

И все же полет — каждый раз открытие. Мы летим навстречу весне, и вот уже под Киевом поля под нами начинают зеленеть, а дальше, у Львова, уже прозрачно голубеют деревья.

Перелет нашей границы всегда связан с одним впечатлением, памятным мне еще по 1939 году, когда я летел в Западную Белоруссию: на нашей стороне поля бескрайны, а за линией границы начинаются перемежающиеся полосы посевов.

Будапешт.

Венгерские пограничники внимательно рассматривают мой паспорт. Их седые виски, военная форма, мешковато сидящая на их плечах, свидетельствуют о том, что это рабочие, ставшие на пограничный пост.

Дорога из аэропорта в Пешт открывает передо мной картины обычной мирной жизни города: на улицах играют дети, у ворот заводов обычное дневное деловое оживление, витрины магазинов пестрят товарами, кафе открыты, и часть маленьких столиков и стульев выбежала на улицу и заняла тротуары.

Окна моего номера в гостинице глядят в переулок, на противоположной стороне которого детский сад имени Петефи. Под старыми деревьями, на которых только-только появились молодые листочки, в несколько шеренг стоят кровати. Юные будапештцы сладко спят под теплыми одеялами.

Очень трудно бывает найти себе место в первый день приезда в незнакомый город. Хорошо, что в моей записной книжечке есть телефон товарища, венгерского писателя, который после разгрома Венгерской советской республики в 1919 году вынужден был эмигрировать и долгое время жил в Советском Союзе.

Мы дружили в Москве, а в сорок первом году вместе ушли на фронт. Я получал весточки от друга под Сталинградом и на Украине. Он дошел до Будапешта и, естественно, остался строить новую жизнь на своей родине. Как мы давно не виделись! В дни фашистского мятежа московские друзья сильно тревожились о нем и с радостью узнали, что наш товарищ жив.

Очень знакомый голос в телефонной трубке. Но слова почти невозможно понять. Э, брат, да ты совсем разучился говорить по-русски!

Через десять минут я уже на улице имени Ворошилова, в квартире, которая была осаждена мятежниками в октябре прошлого года.

Жена моего товарища в больнице: ей тяжело пришлось в те осенние дни. Его дочь — студентка, родившаяся в Москве, — счастлива, что может попрактиковаться в русском языке. Давайте поговорим! И тут же выясняется печальная история: ее муж в ноябре прошлого года убежал в Англию. Недавно он вернулся, но жена не пустила его на порог дома. Почему убежал, он и сам толком не может объяснить. А впрочем, не могу сказать, выслушали ли его здесь. Не знаю, как у них будет дальше. На руках у студентки — ребенок, глаза у нее грустные.

Вот первая трагедия, встретившаяся мне через несколько часов после прилета в Будапешт.

Старый товарищ рассказывает о тяжелых днях. Многое из того, что он говорит мне, уже известно по статьям и документам. Здесь, в Венгрии, была сделана коварная попытка расколоть наш социалистический лагерь. Враги воспользовались ошибками прежнего руководства, недостатками, имевшимися в управлении политической и экономической жизнью страны. Но атака на социалистическое государство началась тогда, когда ошибки уже исправлялись, и противник очень спешил.

Роковую роль в венгерских событиях сыграли некоторые писатели, объединившиеся в клубе имени Петефи. Время словно остановилось для них: они говорили только об ошибках прошлого, вольно или невольно теряя перспективу и возбуждая народ против социалистического строя. Несомненно, многие из них вовсе не хотели того, что получилось. Подобно ученику чародея из стихотворения Гёте, они выпустили духов и не знали, как с ними справиться. Кроме того, в их среде свободно разгуливали негодяи вроде Тамаша Ацела, Палоци-Хорвата или Энци — фашисты, чья подлая сущность до конца раскрылась теперь: из-за рубежа клеветуют они на свою страну и свой народ.

Я не могу до поздней ночи беседовать со своим другом, потому что после двенадцати часов хождение по городу еще запрещено. Я вынужден возвратиться в гостиницу.

2 апреля.

Осмотр города я начинаю с метро: я причастен к метрополитену с юности, когда московские комсомольцы пробивали туннель под Охотным рядом. Потому и в Париже, и в Стокгольме, и в Берлине я первым делом всегда забирался под землю.

Будапештская подземка — самая старая на европейском континенте. Квадратный туннель пролегает неглубоко. Это подвал улицы. Примерно на такой же глубине построен берлинский унтергрундбанн. И входы здесь точно такие, как в берлинской подземке. По линии бегают не поезда, а всего один вагончик, похожий на старомодный трамвай, какие сохранились у нас в маленьких городах. В вагончике лишь несколько сидячих мест — две полукруглые скамьи. Над окнами маленькие пестрые афиши театров и кино, портреты гастролирующих артистов и вездесущая реклама лотерей «Тото» и «Лото».

«Тото» — футбольный тотализатор, а «Лото» — просто выигрышная лотерея. Обе игры пользуются здесь огромным успехом. В «Лото», насколько я понимаю, все дело в везении, а играя в «Тото», нужно иметь представление обо всех футбольных командах мира и давать прогноз результатов предстоящих игр десяти команд. Дело как будто бы невозможное, но находятся прорицатели, представляющие в лотерейные конторы точно сбывающиеся прогнозы. Говорят, на днях много тысяч форинтов выиграла какая-то старая женщина. Неплохая реклама для лотерей!

Но, может быть, это только слух? Слухи в Будапеште расходятся со скоростью, превышающей скорость звука. И чем менее достоверен слух, тем быстрее он распространяется.

Легковерию будапештцев приходится только удивляться. Сегодня, например, в газетах напечатано содержание нового, еще не вышедшего литературного журнала. Явно пародийный, издевательский характер носит каждая строка этой публикации. Оказывается, это... первоапрельская шутка. Вчера кто-то позвонил в телеграфное агентство, попросил записать информацию. Ее записали и тут же, не подумав о проверке, передали всем газетам.

Не только безобидные слухи и истории разбегаются по городу. Враг пользуется слухами для того, чтобы породить у жителей неуверенность, очернить Революционное рабоче-крестьянское правительство, дело социализма...

Вся линия метро составляет два километра, но она проходит по важной городской магистрали от площади Героев к торговому району, важно именуемому Сити, и потому вагончики всегда заполнены. Недавно было начато строительство новой линии метро, но сейчас оно признано нецелесообразным и временно прекращено.

На стекле вагончика я вижу следы сцарапанной краски — здесь была нарисована красная звезда, кто-то из хулиганов пытался расправиться с нею. Пятиконечная алая звездочка — символ революции! Как же осмеливаются некоторые люди называть революцией то, что происходило в Будапеште? Мятежники жгли красные знамена, срывали, соскабливали красные звезды. Какое лицемерие кричать о свободе и топтать символы свободы!

Я долго ходил по центру венгерской столицы. Сильным разрушениям подверглись лишь четыре-пять улиц этого большого города, в частности дома, примыкающие к кино «Корвин», где находился штаб мятежников. Кинотеатр как бы спрятан среди высоких домов и действительно представлял удобное место для обороны. Нелегко, наверное, было взять его.

Будапештцы усиленно подновляют свой город. Ремонт домов идет несколько иначе, чем у нас. Работы ведутся не широким фронтом, и потому ремонт кажется даже кустарным, но дело подвигается очень быстро.

Проспекты Будапешта широки и красивы, высокие деревья придают им особую прелесть. Будапешт — город памятников. Ни в одной столице я не видел такого количества бронзовых королей, ученых, полководцев, писателей, народных героев. На проспекте имени Горького на спинках скамеек, стоящих под деревьями, я заметил металлические дощечки с именами и фамилиями. Оказывается, это имена героев-подпольщиков, погибших от рук гитлеровцев и хортистов в годы Сопrotивления, и скамьи эти — скромные памятники героям.

Город велик. Я вскоре понял, что, если попытаюсь обойти его весь пешком, мне не хватит месяца. Пришлось воспользоваться автобусами и трамваями, в которых ездить оказалось гораздо веселее, чем в метро. Общительные кондукторы втягивают всех пассажиров в шутливый разговор. Обидно, что я не могу принять в нем участия, не зная языка.

4 апреля.

Сегодня День освобождения, день, когда Советская Армия в 1945 году завершила свою великую миссию в Венгрии.

Я получил приглашение на церемонию возложения венков на могилы советских и венгерских солдат, павших в боях с фашистами.

В Венгрии много могил героев, погибших в битве за счастье этой страны. Неподалеку от Будапешта есть кладбища американских и английских летчиков, прилетавших с Запада, чтобы в венгерском небе сражаться с общим врагом. Будапештцы чтят их память. Но официального возложения венков на американском и английском кладбищах сегодня не будет. Кладбище — это территория тех стран, чьи сыновья покоятся в его земле. Американцы и англичане отказались от возложения венков в этот день.

...За последние дни нахлынула теплынь и город преобразился. Не только потому, что на моих глазах тонкая гравюра деревьев с набухающими почками превращалась в живопись, полную ярких красок, цветов и зелени.

Красавец Будапешт, один из самых чудесных городов Европы, приубрался к празднику. Стекла в домах тщательно промыты, улицы подметены, последние следы разрушений — битые кирпичи и штукатурка, собранные кое-где в кучи, — теперь вывезены.

К десяти часам утра толпы горожан сошлись на площадь Свободы, где возвышается обелиск памяти советских воинов. Одна за другой подходят делегации с венками. На всю площадь по радио объявляются имена участников делегаций. Первыми возложили венок руководители правительства — Янош Кадар, Дьердь Марошан, Ференц Мюнних, Антал Апро. Вслед за ними идут с венком советский посол и его советники, представители венгерских учреждений и заводов, советские офицеры.

И вдруг в строгую официальность церемонии влетает как бы новая мелодия — из толпы выходят женщины и дети, они кладут к подножию обелиска свои маленькие букетики весенних цветов, свои маленькие венки.

В окнах и на балконах, окружающих площадь, много детей и взрослых, и порой кажется, что в каждом окне — тоже по букету цветов. Лишь одно здание слева от нас имеет мрачноватый вид: почти все его окна наглухо закрыты крашенными металлическими жалюзи. На большом балконе стоят несколько человек с фотоаппаратами, но когда оркестр исполняет гимны Венгрии и Советского Союза, они исчезают.

Это здание — американская миссия. Здесь до сих пор скрывается один из главарей контрреволюционного мятежа — кардинал Миндсенти.

Через час состоится возложение венков на могилу Неизвестного солдата. Мы отправляемся к этой могиле, на площадь Героев.

Здесь тоже много народу. В толпе присутствуют мои собратья — корреспонденты. Меня познакомили с польскими и албанскими корреспондентами, с двумя обаятельными китайками — корреспондентками газеты «Женьминьжибао». Они очень трогательно пытаются говорить по-русски: здесь русский язык — средство международного общения. Как велик наш лагерь — от Китая до Албании!

Корреспондентов с Запада здесь нет. Как так? Ведь осенью прошлого года число их и лиц, выдававших себя за корреспондентов, приближалось к тысяче: они шныряли по Будапешту и его окрестностям на своих машинах, оснащенных радио и прочей техникой.

Оказывается, почти все западные корреспонденты уехали. Венгрия, удержавшаяся на социалистическом пути и идущая по нему, их уже не интересует, а надежду на новые провокации и эксцессы они явно потеряли.

Вечером прием в парламенте. Его величественное здание на берегу Дуная заслуженно является предметом гордости будапештцев. В это сооружение был вложен огромный труд, большое искусство. Здесь работает Венгерское революционное рабоче-крестьянское правительство. В высоких кабинетах рядом с массивными министерскими столами стоят койки-раскладушки, на которых члены правительства могут провести короткие часы своего отдыха.

Сегодня парламент сверкает всеми своими огнями, преломляющимися в хрустале люстр. По широкой лестнице мы поднимаемся вверх, где собрались приглашенные и играет оркестр. Я впервые вижу военный оркестр со скрипками и контрабасами.

Вот здоровается с гостями председатель Революционного рабоче-крестьянского правительства Янош Кадар. У него большая крепкая рука рабочего, светлые серо-голубые глаза, на лбу глубокие морщины, а подбородок разделен доброй, совсем детской складкой. Кадару сорок четыре года. Он был рабочим, стал государственным деятелем, потом по ложному обвинению провел несколько лет в тюрьме. После реабилитации Кадар снова включился в общественную деятельность и в трудный момент начала ноября 1956 года принял на свои плечи благородную задачу организации нового правительства и сплочения партии.

Он беседует с двумя женщинами, на груди у которых золотые звезды героинь труда. В пестрой толпе гостей немало ветеранов рабочего движения, участников революции 1919 года, молодых рабочих, офицеров Народной армии. Меня знакомят с епископом Яношем Петером, членом Всемирного Совета Мира. Янош Петер — храбрый человек, убежденный в том, что долг религии — служить народу и его демократическому строю. Сегодня он в смокинге. Когда начались танцы, епископ, как я заметил, не стоял в стороне.

Тут же на приеме рассказывают веселую историю: только что писателя Бела Иллеша познакомили с китайским дипломатом. Узнав, что он говорит с писателем, китайский товарищ сказал переводчику: «С писателями надо быть осторожными — они не

знают, что они делают». Фраза вряд ли предназначалась для перевода, но переводчик произнес ее по-венгерски, и она стала всеобщим достоянием.

Бела Йллеш не обиделся — он знает, что делает, активно работая в печати, выступая на собраниях, продолжая по ночам писать автобиографический роман об освобождении Венгрии Советской Армией. Но в адрес некоторых других венгерских писателей замечание это направлено точно.

5 апреля.

Руководитель прибывшей на празднование Дня освобождения делегации деятелей советской культуры академик М. Митин попросил меня включиться в работу делегации на те несколько дней, которые она проведет в Венгрии.

Делегация живет на острове Маргит на Дунае в большой гостинице международного класса. Над столиком портье висят плакаты международных авиакомпаний: пальмы зовут посетить Африку, белозубая девушка в синей каскетке предлагает лететь в Америку через Северный полюс.

Я решил не покидать свой маленький тихий номер в гостинице на улице Венгерской молодежи и ездить на остров к товарищам по делегации, лишь когда это будет необходимо.

Гостиница на острове Маргит (по-русски его название звучало бы как остров Маргариты) — красноречивое свидетельство международных связей Венгрии.

Вот в синих тужурках спускаются по лестнице китайские товарищи. Это торговая делегация. Предстоит заключение соглашения. Китайские товары я видел уже во многих магазинах Будапешта.

В ресторане на нашем столике стоит миниатюрный советский государственный флаг, а соседний столик украшен флагом Чехословакии. Эти художавые молодые люди — артисты из Праги. Они с успехом выступают на будапештских эстрадах.

Вон там, на веранде, группа смуглых темноволосых людей, кажущихся, на первый взгляд, суровыми. Но первое впечатление тут же рассеивается: за столом сказано что-то веселое — и сразу засверкали белозубые улыбки. Это болгарская рабочая делегация, прибывшая по приглашению профсоюзов.

Много флажков стоит на столах ресторана на острове Маргит. Окна открыты, ветер, как паруса, надувает свисающие скатерти, и уже кажется, что это не столы, а флотилия белых кораблей.

География международных связей Венгрии все расширяется: я уже побывал на выставке «Искусство Индонезии», видел коллекцию книг — подарок французских ученых Будапештскому университету. В Каире сейчас пользуется большим успехом выставка венгерского искусства, а летом в Будапеште откроется египетская выставка.

Гуляя по острову Маргит, мы все время встречаем людей из разных стран: вот женщина из Индии с алым пятнышком над переносицей, вот мой старый знакомый, албанский поэт...

О самом острове: это остров-парк, с театром, со спортивными площадками и бассейнами. Бассейны здесь особенные: горячие серные источники, бьющие из-под земли, позволяют купаться в любое время года. Здесь отдыхают будапештцы.

У делегации деятелей советской культуры почти нет времени для отдыха. С утра до вечера встречи, беседы, поездки. Композитор Анатолий Новиков, для которого Будапешт памятен тем, что здесь на фестивале 1949 года впервые распевался на всех языках его «Гимн демократической молодежи», увлекся народными хорами. В Венгрии немало энтузиастов хорового пения. К одному из таких энтузиастов Новиков ездил в город Мишкольц — там существует замечательная певческая школа. Вероятно венгерские хоры побывают на Международном фестивале в Москве.

Физик Дмитрий Иваненко выступает с научными докладами. В Венгрии так же, как и в других странах народной демократии, ведется разработка проблем ядерной физики. Иваненко делится с венгерскими учеными советским опытом, а остаток времени отдает осмотру музеев, изучению старины и архитектуры. Архитектура — его вторая страсть. Он настаивает на том, чтобы была проведена специальная встреча с архитекторами.

Государственные архитектурные мастерские помещаются на третьем этаже довольно неказистого и уж во всяком случае ничем не примечательного дома. Архитекторы будапештских государственных мастерских — это по преимуществу молодежь. В белых халатах похожие на врачей, они склонились над досками с натянутым на них ватманом.

В нескольких комнатах идет проектирование шахтерского городка в Татабанье. Городок строится по единому плану — в этом году шахтеры получат десять тысяч новых квартир.

А вот проект на экспорт: эскиз гостиницы, которая украсит турецкий город Стамбул. Семизэтажный куб с балконами, выходящими на море, будет вписан в Голубую гавань. Архитекторы проектируют не только самое здание, но и все номера, рестораны, холлы вместе с мебелью и драпировками. Я вижу, что работа эта увлекает молодых архитекторов своей экзотичностью.

Стоит перед ними и другая, куда более сложная и ответственная задача — перепланировка улицы Ракоци в Будапеште. Эта улица довольно сильно пострадала осенью прошлого года. У архитекторов родилась идея: воспользоваться необходимостью капитального ремонта и превратить всю улицу в единый архитектурный ансамбль. Они хотят отодвинуть помещения нижних этажей в глубь зданий и по обеим сторонам улицы воздвигнуть аркады, подобные тем, что украшают улицу Риволи в Париже. Все дома улицы Ракоци выравниваются до шести этажей.

Директор государственных мастерских Эде Фекете очень увлечен идеей перестройки этой одной из крупнейших магистралей Будапешта. Решения правительства о перестройке улицы пока еще нет, и Фекете считает, что необходимо составить убедительный, разработанный во всех деталях проект.

Старательно подбирая слова, Эде Фекете говорит с нами по-русски. Он окончил аспирантуру в Московском архитектурном институте, и на его рабочем столе лежат фотографии городка нефтяников на берегах Каспийского моря и Нового Запорожья.

Наш любознательный физик Дмитрий Иваненко расспрашивает архитекторов о старинных зданиях Будапешта, показывает им фотографии, сделанные в Италии, где ученый побывал на одном из конгрессов. Мы обмениваемся адресами, и когда венгерские товарищи узнают, что Иваненко живет в одном из новых корпусов Московского университета, нам приходится еще на час задержаться и рассказать о строительстве в Юго-Западном районе столицы.

6 апреля.

В Министерстве иностранных дел мне дали целую гору писем от венгров, оказавшихся после октябрьских событий за рубежами своей страны. Я попросил переводчицу Каталину взять первые попавшиеся под руку письма и перевести.

В каждом письме — трагедия.

«Мы осознали нашу ошибку, когда, покинув страну, которая строит социализм, встретились с холодным капиталистическим обществом. Вглядываясь в будущее, мы понимаем: наше место дома. Мы обращались к местным властям, нам сказали, что мы можем вернуться на свой счет. Это невозможно, так как билет стоит триста долларов, а зимой только тридцать процентов канадских рабочих имеют работу.

Для нас самое тяжелое наказание — это тоска по родине, которую мы будем чувствовать, пока не увидим Венгрию, не будем среди миллионов людей, которые строят социализм».

Дальше идут две подписи и приписка-самохарактеристика: «Попавшие в хвост массовой паники».

Меня очень взволновало это письмо. Читая следующие письма, я снова видел эпизоды большой трагедии. Я выписал в свой блокнот еще несколько выдержек.

Письмо из Швейцарии, из Лозанны, адресовано премьер-министру:

«Я верил пропаганде и покинул мою Венгрию, которую я очень люблю, которая так много страдала в течение истории. Я покинул ее в те дни, когда моя работа была бы там так необходима. Я покинул родителей, жену, работу, почет — ведь я был дважды признан стахановцем. Я не имел никаких оснований бежать, только жажда приклю-

чений влекла меня. Может быть, передо мною здесь больше возможностей, чем дома, но я прошу вас, г. премьер-министр, позволить мне вернуться домой и работать с вдохновением на благо моей бедной страны.

Братский привет от шофера, находящегося на чужой земле».

Я не привожу фамилий авторов писем только потому, что не знаю, как сложилась их судьба; может быть, они сейчас еще скитаются в большом и неуютном для них мире и упоминание их имен в советской печати может там возбудить против них злобу врагов демократии и прогресса.

Известно, какую подстрекательскую роль в венгерских событиях играли радиостанции «Голос Америки», «Свободная Европа». Захват Будапештского радио был одной из главных задач контрреволюционеров. Я видел исклеванный пулями Дом радио в центре Будапешта. Туда тоже приходит сейчас много писем от разбросанных по всем континентам венгров.

Письмо венгерскому радио:

«Мы, мадьяры, которые выбрали эту нищую жизнь, обращаемся к тебе, венгерское радио. Но мы считаем, что это не только наша ошибка: мы верили западной пропаганде. Мы не верили правде, которую говорило венгерское радио.

Мы сейчас на своей шкуре испытываем, что не так хорошо на Западе, как нам говорили. Нас обманули. Они видят в нас даровую рабочую силу. Мы хотим вернуться. Мы работаем здесь в шахте на очень плохих условиях. Нас обманывают, нам угрожают концлагерями. Это нельзя дольше выдерживать. Мы уже несколько недель обиваем пороги, чтобы узнать, как вернуться. Нас обманули».

В одном письме из Англии я прочел такую фразу: «Я не имел квартиры. Решил бежать, но увидел, что там квартиру не получишь вообще».

Все новые и новые письма.

После октябрьских событий из Венгрии бежали десятки тысяч людей. Что вело их на Запад? Одних — страх перед заслуженным возмездием, других — просто страх, который они и сами не могут объяснить, третьих — особенно мальчишек — жажда путешествий и приключений.

Кипящий котел событий выплеснул через края и мутную пену: хортистских бандитов, хулиганов, воров.

Но вместе с грязной пеной выплеснулись и чистые волны. Не одна такая семья уже возвратилась на родную землю. Я встречаю ежедневно немало венгров, вкусивших прелесть «свободного Запада» и теперь вернувшихся на родину.

7 апреля.

Три венгерских журналиста пригласили меня провести воскресенье на озере Балатон. Мы выехали из Будапешта очень рано, с тем чтобы позавтракать в городе Секешфехерваре. По дороге нас обгоняло много будапештцев, ехавших в собственных машинах на воскресные пикники. Почти все машины перегружены — на заднем трехместном сиденье четыре-пять человек, да еще и дети на коленях у родителей. На шоссе немало грузовиков, на которых выехали на воскресную прогулку рабочие будапештских заводов.

Вдоль дороги — цветенье садов. Нежно-лиловые, розовые абрикосовые деревья. Мне сказали, что в Венгрии двадцать два миллиона фруктовых деревьев. Не знаю, насколько точна эта цифра, но только по дороге на Секешфехервар я видел тысячи садов.

Мы завтракаем в придорожной корчме на окраине Секешфехервара. Под сенью старых деревьев городского сквера собираются венгерские юноши и девушки. Среди них я вижу и советских солдат, получивших, наверное, «увольнительную» на воскресенье.

За Секешфехерваром фруктовые сады сменяются виноградниками. Это родина знаменитых вин. И вот уже из-за ровного частокола виноградников проступает свинцовая синева. Это — озеро Балатон, венгерское море.

На горах вокруг Балатона, простирающегося на десятки километров, стоят и роскошные виллы и маленькие дачки, около одной из которых мы останавливаем нашу машину. Здесь живет писатель Ласло Немет. В октябре прошлого года, в дни разгула

контрреволюции, Ласло Немет, считавшийся человеком с неясными политическими воззрениями, твердо и непреклонно заявил:

— Только социалистический строй может принести счастье венгерскому народу.

Контрреволюционерам не удалось использовать имя маститого писателя.

Недавно пьеса Ласло Немета «Галилей» была удостоена премии Кошута.

Ласло Немет встречает нас в своем винограднике. Большими ножницами он подрезает лозы. Здоровье заставило его оставить город.

Между гостями и хозяином быстро устанавливается дружеский контакт. Немет рассказывает, с каким удовольствием он переводил на венгерский язык романы Льва Толстого.

— Как же у вас замечательные Толстые, — с улыбкой говорит он. — После «Анны Карениной» я взялся за другого Толстого — Алексея — и перевел «Петра Первого». Удивительно глубокое проникновение в историю! Конечно, трудно было воспроизводить по-венгерски язык исторического романа в его своеобразии.

Ласло Немет рассказывает о работе над переводами романов «Степан Кольчугин» и «За правое дело» Василия Гроссмана, просит передать привет Федину, Гроссману, Мартынову, Эренбургу, за творчеством которых он внимательно следит.

Недавно Ласло Немет закончил большой роман «Эгётэ Эстер» и пьесу о Яне Гусе.

Мы продолжаем свой путь по берегу Балатона и заезжаем в Дом творчества писателей. Это бывший помещичий дом, каждому писателю предоставлена здесь комфортабельная комната.

Сейчас время межсезонное, и в Доме творчества гостей мало.

За обедом у нас разгорелся довольно серьезный спор о месте писателя в социалистическом государстве. Моим главным оппонентом оказался коммунист, подпольщик времен второй мировой войны, Янош Фельдеак. Наши взгляды сходятся не во всем. Мне кажется, что Фельдеак переоценивает место писателя в общественной жизни. По его утверждению получается, что только писатели имеют право выражать мысли народа, а литература — главная и чуть ли не единственная движущая сила общества.

Спор так разгорелся, что я не сумел оценить по достоинству специально приготовленные для гостя из Москвы венгерские национальные блюда, а когда после обеда мы пошли гулять, то опять сцепились в споре, так что не имели возможности как следует полюбоваться Балатоном.

Мне кажется, что заблуждения Фельдеака свойственны и некоторым другим венгерским писателям. Это уже не первый спор, который мне пришлось вести в Венгрии.

8 апреля.

Я много слышал и раньше о замечательном венгерском скульпторе Кишфалуди-Штробле. В нашем журнале «Иностранная литература» была опубликована восторженная статья о нем. Она принадлежала перу великого человека, более склонного к иронии, чем к восторгам, — Бернарда Шоу.

Я познакомился с Жигмондом Кишфалуди-Штроблем вчера в гостинице на острове Маргит, куда скульптор приехал, чтобы встретиться с членами делегации деятелей советской культуры. Несмотря на свои семьдесят два года, это удивительно живой человек! Чувствовалось, что его рука привыкла к сопротивлению глины, мрамора и грани-та — могучая рука труженика.

Штробль пригласил в свою мастерскую академика Марка Митина, художника Константина Финогенова, физика Дмитрия Иваненко и меня. Естественно, что мы с утра помчались на улицу Ворошилова, где находится квартира и мастерская знаменитого скульптора.

Произведения Штробля встретили нас еще в саду. В мастерской пахнет сырой глиной. Здесь очень тесно — большие и маленькие скульптуры заполнили весь огромный, высотой в два этажа, зал. Удивительно много сумел сделать этот вдохновенный художник!

Почти все изваянное и вылепленное Штроblem точно передает движение или чувство, и потому мне сперва показалось, что я нахожусь не среди глиняных и мраморных фигур, а в каком-то живом мире: сместилось время, и античные боги спустились на землю, чтобы стать рядом с героями венгерской истории и воинами Советской Армии.

Очарованные этим сказочным миром, мы поначалу не заметили самого скульптора: Штробль в старом рабочем халате, с засученными рукавами, трудился над глыбой глины.

Мы явно помешали мастеру — нетерпение заставило нас прийти раньше назначенного часа, — но Штробль сделал вид, что давно уже ждет нас. Нет, это я говорю неверно, ему вообще не свойственно притворство. Мы почувствовали на себе пристальный взгляд художника — видимо, мы заинтересовали его с профессиональной точки зрения. Хитро прищурясь, он изучал наши лица. Штробль разговаривал с Дмитрием Иваненко по-английски, и нашему физику пришлось на время стать и переводчиком.

Каждую скульптуру венгерского мастера хочется рассматривать часами.

Скульптурный портрет Бернарда Шоу точно соответствует характеристике, данной ему великим английским писателем: «Мой портрет... не только говорит вам, какой я есть, но и каким мне следует быть и хочется быть. Возможно, когда-нибудь мне это и удастся, если я буду вглядываться в него достаточно долго и пристально».

Замечателен бюст Климента Ефремовича Ворошилова, созданный мастером недавно. К сожалению, некоторые наши скульпторы, лепившие Ворошилова, слишком много внимания уделяли деталям маршальской формы и чисто внешним чертам нашего народного героя и народного президента. Штробль удивительно точно выявил его простоту и спокойную мудрость: перед нами рабочий, полководец, государственный деятель и добрый старый человек, много повидавший на своем веку.

— Я лепил его в 1955 году, в Кремле, — не без гордости сказал Штробль и вынул из большого палехского ларца письмо Климента Ефремовича, в котором тот называет скульптора своим другом.

Скульптуры Лайоша Кошута, Ференца Ракоци и Шандора Петефи поразили меня больше всего тем, как в них передан внутренний душевный мир каждого.

Подведя нас к модели «Статуи Свободы», которую мы видели из любого уголка Будапешта, — она высится на горе Геллерт, — Штробль преобразился. С нескрываемым гневом говорил он о фашистских мятежниках, сбросивших с пьедестала фигуру советского воина-освободителя. Нет, не потому так гневен Штробль, что уничтожили его работу.

— Это варвары! Это негодяи! — говорит он. — Сразу же после разгрома мятежа я поехал на гору Геллерт. Сейчас работаю над восстановлением фигуры советского воина. Советские воины спасли Венгрию, а прошлой осенью они спасли и меня и мою мастерскую.

По деревянной лесенке мы прошли в кабинет скульптора. Заварив кофе и достав откуда-то из глубин своей мастерской бутылку «палинки», Штробль стал показывать нам письма. Вот письмо Бернарда Шоу; вот недавно полученное приглашение от английской королевы. А вот и пачка конвертов с советскими марками: сейчас по СССР путешествует выставка работ Штробля. Посетители прислали знаменитому венгерскому скульптору свои отзывы. Потом он показывает нам фотографии скульптур, присланные студентами Киевского художественного института. Молодые художники просят у мастера совета.

Штробль улыбается:

— Я этим письмам горжусь больше, чем критическими статьями!

На письменном столе Штробля под стеклом — ордена, полученные им за долгие годы труда. Здесь же миниатюрная скульптура Ленина и страницы, исписанные крупным, размашистым почерком.

— Это я пишу статью о Ленине, — говорит Штробль. — Она будет называться «Ленин в искусстве». Пусть это будет напечатано в Советском Союзе и в Венгрии в день рождения Ильича.

Мы уходим от Штробля возбужденные, дышим так, словно взобрались на гору. Какое счастье испытываешь, соприкасаясь с великим искусством!

9 апреля.

Сегодня я был у Дьюла Каллаи, министра культуры. Это совсем еще не старый, живой и подвижной человек, ученый из рабочих. Он спросил меня о моих впечатлениях, и я признался, что не ожидал увидеть так быстро налаживающуюся жизнь в Венгрии.

— Да, — сказал Каллаи, — положение у нас было очень серьезное, и мы сами удивляемся тому, что так быстро все налаживается. Сейчас всем видно, что силы революции куда сильнее контрреволюции. Преобладающее большинство венгерского народа не поддерживало контрреволюцию — взялся за оружие люмпен-пролетариат, а в деревне — кулаки. На некоторых предприятиях было очень много хортистов, ставших рабочими и ждавших своего часа, чтобы отомстить. Положение усложнилось и тем, что в головах наших интеллигентов образовалась немалая путаница. Большинство их все же сейчас на нашей стороне, и сознание многих уже проясняется.

После посещения Каллаи я побывал на собрании в университете. Собрание происходило в актовом зале, где на потолке против окон сохранились следы пуль. Выступали члены делегации деятелей советской культуры и венгерские товарищи. Замечательную речь произнес старый академик Фо́гараши. Он призывал интеллигенцию сплотиться вокруг Рабоче-крестьянского правительства. Я всматривался в зал, заполненный студентами и профессурой. Я не физиономист, но мне показалось, что в зале были и такие лица, к которым наиболее точно подходит определение «кислые».

Не все ораторы, пообещавшие прийти, появились на собрании. Видимо, в интеллигентской среде еще живет боязнь перед затаившимися силами реакции. А может быть, мне это только кажется?

Но в одной из университетских лабораторий на днях было обнаружено несколько карабинов и гранат, явно не имеющих никакого отношения к учебным пособиям.

Между тем здоровые силы в университете постепенно берут верх. Занятия идут нормально. Оказалось, что вполне возможно обойтись без нескольких реакционных профессоров, бежавших на Запад.

Мне рассказали, что сегодня вечером в этом же зале состоится первое организационное собрание новой молодежной организации — Венгерского коммунистического союза молодежи (КИС).

11 апреля.

С группой корреспондентов на двух машинах отправляемся в путешествие. Хотим объехать всю северо-западную часть страны.

Первый город на нашем пути — Татабанья. В мастерской архитекторов в Будапеште я видел, каким будет вскоре здешний новый шахтерский поселок. А сейчас многие горянки живут еще в общежитиях. Татабанья окружена шахтерскими поселками. Между шахтами раньше курсировало много автобусов. Сейчас автобусный парк оскудел — мятежники угнали или разбили немало машин. Велосипед стал главным средством транспорта.

Нам известно, что добыча угля на шахтах достигла и кое-где даже превысила тот уровень, что был до октябрьских событий. Общее количество рабочих рук несколько уменьшилось, но качество работы улучшилось. Повышена зарплата, введена прогрессивная оплата труда; стали соблюдаться воскресные дни; началось социалистическое соревнование.

Сколько же зарабатывают шахтеры?

Забойщик — две тысячи четыреста — две тысячи шестьсот форинтов в месяц. Помощник забойщика получает девяносто процентов зарплаты забойщика, а откатчик — восемьдесят. Неплохие заработки!

Людей окружили вниманием, и производительность труда повысилась.

В шахтерском клубе нам рассказали о состоявшейся несколько дней назад сердечной встрече шахтеров с советскими солдатами.

По дороге в город Дьёр мы «на минуточку» завернули на государственный конный завод. Я бывал на конных заводах у нас на Дону уже давненько и забыл, что в такого рода учреждениях работают энтузиасты, не отпускающие своих гостей, пока те не осмотрят все хозяйство.

Так оно и получилось: нас повели по всем конюшням, потом продемонстрировали на манеже лучших арабских скакунов и венгерских полукровок.

Работники конного завода сумели в дни разгула контрреволюции полностью сохранить свое драгоценное хозяйство. Никто из рабочих и жокеев не считает это подвигом. Им кажется естественным то, что они сберегли свое государственное хозяйство.

Лишь к вечеру мы выехали в Дьёр.

12 апреля.

Мы в Дьёре — городе, который контрреволюция хотела превратить в центр «Задунайской Венгрии». Здесь замышлялась организация своеобразной Южной Кореи.

Прямо перед окном нашего номера дорожный столб: до Вены сто двадцать восемь и до Будапешта — сто двадцать восемь километров.

Зашли в горком Венгерской социалистической рабочей партии, к секретарю. Над его письменным столом — картина местного живописца: советские солдаты спасают детей во время наводнения. Сюжет не выдуман: в июле 1954 года вода в Дунае поднялась на восемь метров, и наши войска, находящиеся в Венгрии, спасали жителей придунайских городов и сел.

Секретарь посоветовал нам поехать на вагоностроительный завод. Это одно из крупнейших предприятий Дьёра. Цехи вагоностроительного завода полны оживления. Работа идет в гулком веселом темпе. Цельнометаллические вагоны, рождающиеся здесь, — мои старые знакомые: они делаются по заказу СССР и курсируют на наших дорогах между Москвой и Ленинградом.

В крановом цехе мы увидели огромные плакаты с тремя буквами: КИС. Оказывается, сегодня здесь состоится организационное собрание новой коммунистической организации молодежи. Я познакомился с организатором комсомола Иштваном Кишем. Он и его товарищи забросали меня вопросами о Грузии. Почему их так интересует эта наша республика? Молодежь начала переписку с грузинскими комсомольцами и очень увлечена новой дружбой.

...Город Дьёр, как мне уже напомнил дорожный указатель, находится на полпути между Будапештом и Венной, неподалеку от границы. Во время осенних событий через Дьёр шло вторжение хортистов в Венгрию. Контрреволюционеры прежде всего кинулись на вагоностроительный завод, пытались захватить его в свои руки. В «рабочем совете» оказались люди, которых на заводе никто не знал. «Рабочий совет» наряду с другими требованиями настаивал на повременной оплате — за восемь часов труда, но это оказалось невыгодным, и производственники отказались от такого новшества. Вот кое-что из хотя и недалекого, но прошлого Дьёра.

Теперь завод работает размеренно, спокойно. На заводе введена недавно сдельная оплата — это повысило производительность труда.

В комнате профсоюза много рабочих — близится лето, надо распределить около тысячи путевок на курорты. Впрочем, завод имеет еще и собственный дом отдыха, где рабочие проводят свой отпуск вместе с детьми. Нас приглашают посетить детские ясли, ведут в поликлинику, расположенную среди цехов, в столовую, где рабочие оплачивают лишь пятьдесят процентов стоимости обеда.

Мы идем по грохочущим цехам и в одном из них видим на еще не окрашенной стенке вагона какие-то цифры, написанные мелом. Это цена вагона, сумма, которую платит Советский Союз за выполненные заказы.

— Зачем эти цифры нужны?

— Оружием разгромленного врага являются слухи. И сейчас пущен слух, будто СССР по дешевке покупает вагоны в Венгрии. Но вот цифры — лаконичное разъяснение для всех рабочих и ответ врагу.

13 апреля.

Мы продолжаем наше путешествие.

Город Шопрон — почти у самой австрийской границы; так же, как и Дьёр, — одна из рухнувших надежд контрреволюции. Здесь пыталась организовать свое «правительство» авантюристка Анна Кетли. Но Анна Кетли сейчас в Америке, а Шопрон стоит по-

прежнему на венгерской земле: тихий, уютный город. Размеренно работают фабрики, открыты все магазины...

Дорога в горы проходит через густой лес. Прямо перед нашей машиной вдруг вырастает олень. Он на мгновение застыл, потом встрепенулся и торделиво, легко побежал.

— Нарушитель границы, — улыбается шофер.

Вид с пятиэтажной вышки на горе, неподалеку от Шопрона, великолепен: леса и горы открываются отсюда, словно с самолета, на много километров вокруг.

Из Шопрона, вдоль австрийско-венгерской границы, мы едем в город Сомбатхей.

Спросили на улице у старика в котелке:

— Где тут обком партии?

— Я политикой не занимаюсь, — отрезал старик и отвернулся.

Но мы все-таки нашли здание обкома Венгерской социалистической рабочей партии.

Секретарь обкома Дежье Тот принял нас в своем кабинете, где он работает и отдыхает. Мне показалось, что Тот — уже старый человек, но, когда мы познакомились, выяснилось, что ему лишь тридцать пять лет.

— У нас были большие переживания, но я еще помолодею, — говорит секретарь обкома.

Прежде чем рассказать о сегодняшней жизни города и области, Тот должен выговориться, рассказать о том, как протекали в Сомбатхее осенние события. Первым актом контрреволюции было освобождение из тюрьмы уголовников. Бандиты стали «ударной силой» мятежа. «Рабочий совет», заявивший о себе как о новом органе власти, состоял вовсе не из рабочих: проникшие в него проходимцы, размахивая подстрекательской газетой «Иродалми уйшаг» («Литературная газета»), требовали, чтобы им было отдано руководство городом.

Вспыхнули костры из книг. Началась охота за коммунистами, и не миновать бы Сомбатхее кровавой бани, если бы приход советских войск не восстановил порядок.

Наша беседа с секретарем обкома прерывается чрезвычайным сообщением: в Альпах прошли сильные ливни, река Раба разлилась, некоторым районам области угрожает наводнение. Завтра ожидается подъем воды. Непокойная жизнь у секретаря: надо мобилизовать партийцев на борьбу с наводнением!

А нам пора возвращаться в Будапешт. Мы едем ночью, в дождь, проезжаем спящие города. Почему на улицах нет патрулей? Въезжаем в Будапешт. Никто не останавливает нашу машину. Странно: ведь с двенадцати ночи до шести утра передвижение по городу запрещено.

Сонный портье гостиницы сообщает нам новость: с сегодняшнего числа отменен запрет. Гулять по городу можно всю ночь напролет. Значит, жизнь в Будапеште окончательно и во всех деталях наладилась. Отлично!

14 апреля.

В городе Сегеде, находящемся на юге страны, близ югославской границы, сегодня состоится большой митинг. Я решил поехать туда. Несколько часов отличной автомобильной дороги с указками на Белград — и мы в Сегеде, на берегах неширокой, но энергичной реки Тиссы. Об этом городе Лайош Кошут говорил: «Сегед — гордость моей родины».

Жители города собираются на митинг с гербами Кошута на шестах, с национальными и красными знаменами проходят по аккуратным, словно только что умытым каменным улицам и улочкам.

По-воскресному, празднично, одетые горожане, отвечая на мои расспросы, рассказывают о том единственном человеке, который погиб во время осенних событий.

Подстрекаемые неизвестными, откуда-то появившимися в городе, студенты Сегедского университета подошли к зданию городского комитета партии. Они толком не представляли себе, что им надо делать, приезжие и радио возбудили их, но не успели проинструктировать. Среди шума и криков наэлектризованной толпы вдруг раздался

выстрел. Стрелял какой-то провокатор. В городском комитете в ту пору вообще не было вооруженных людей.

Один из студентов был ранен. Рана была не тяжелой, но, как это бывает с легкими ранами, с сильным кровотечением. Товарищи могли легко сделать студенту немедленную перевязку, остановить кровь. Но вместо этого они взяли истекающего кровью раненого на руки и несколько часов носили по городу, показывая толпе. Раненый умер у них на руках.

Печальная и характерная для венгерских событий история.

Студенты ходили по фабрикам Сегеда. На одной из них рабочие сказали непрошеным агитаторам: «Не мешайте нам работать!»

...В связи с митингом в Сегед прибыл из Будапешта министр обороны Геза Ревес. Я видел этого генерала в Москве, в Большом Кремлевском дворце, на митинге советско-венгерской дружбы. У него волевое, может быть несколько бледное лицо, светлые глаза и черные волосы. Он оставляет машину и идет по городу пешком к площади Кошута, где должен состояться митинг.

Площадь и памятник Кошуту заштрихованы косым дождем. Не только площадь, но и все прилегающие к ней улицы заполнены народом.

Я познакомился на трибуне с некоторыми активистами Сегеда: девушкой, взявшей на себя дело организации КИС, старым учителем, воевавшим в Испании, рабочими местных фабрик.

Генерал Геза Ревес рассказывал о московских переговорах больше часа. Он говорил так, словно рассказывал близким, дома, об очень важных для него лично делах.

Дождь не прекращается ни на минуту. Одобрение словам оратора выражается здесь в равномерном — из стороны в сторону — покачивании знамен.

Я смотрю на этих людей, поднимающих знамена и зонты, и думаю о том, что их спокойное внимание не может быть лицемерным.

А митинги и демонстрации осени прошлого года? Но ведь контрреволюционеры пользовались поначалу революционными лозунгами и увлекли за собой немало честных людей, которые не сразу поняли, что плывут в мутном потоке.

Митинг закончен, участники его расходятся группами и колоннами. Вот идут студенты в своих окантованных фуражечках. Вид у некоторых явно смущенный, другие о чем-то оживленно спорят.

Мы с переводчицей Каталиной осмотрели город и его университет, внешне похожий скорее на старинный замок. За домами в городе, видимо, хорошо следят — все они, независимо от возраста, выглядят, как новые.

В городском музее безлюдно. Интересны орнитологическая коллекция и экспонаты раскопок. Но мое внимание особенно привлекли залы, где собраны реликвии, связанные с биографиями выдающихся горожан — поэтов и ученых. Здесь родился Аттила Йожеф, крупнейший венгерский поэт XX века. Его фотографии, книги и документы занимают половину большого зала.

Покинув Сегед, по дороге в Будапешт мы встретили машину Бела Иллеша. Иллеш с вдовой Аттилы Йожефа, оказывается, присутствовали сегодня на открытии памятника поэту. Встретились мы на дороге и расстались в полном убеждении, что мир тесен.

15 апреля.

ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА

Деревенская свадьба
От шоссе недали.
Надо мимо проехать бы,
Только мы не смогли.

Переводчика нету,
Разберемся и так.
Побродил я по свету,
Был во всяких местах,

К неожиданным встречам
Постепенно привык,
Я пойму эти речи,
Этот трудный язык.

В белом платье невеста,
Ожерельем звеня,
На почетное место
Усадила меня.

По осанке? По чину?
Нет, сказать не боюсь,
Что почета причина —
Мой Советский Союз.

И смотрю я на пляски,
На чужой хоровод.
Можег, в добрые маски
Злобу прячет народ?

Нет, к деревне венгерской
Враг пути не нашел,
И не дрогнуло сердце
Этих маленьких сел.

А в цыганском оркестре
Чардаш, мамба и вальс,
Приглашает невеста
Веселиться и нас.

Только я вспоминаю
О своем, о родном
И печаль запиваю
Батачонским вином:

В годы яростной схватки
Шла судьба моя вкось,
Мне на собственной свадьбе
Погулять не пришлось.

Налетели гонведы,
Битва длилась три дня.
Ой вы, старые беды,
Не тревожьте меня!

Песня грянула снова,
И волынки звучат.
Как полшара земного,
Кринолины девчат.

А столы замечает
Абрикосовый цвет.
Как тут скоро светает...
Что за дивный рассвет!

16 апреля.

Сейчас здесь идет подготовка к открытию художественной весенней выставки, и один мой новый знакомый, живописец, пригласил меня посмотреть выставку еще до вернисажа.

Мы прошли в выставочные залы через служебный вход. Под стеклянным потолком, рассеивающим солнечный свет, явно нервничая, бродили художники в пальто и шляпах. Никаких внешних признаков богемы, которые так характерны для художников на Западе, я не заметил. Заметил лишь, что одеты художники очень скромно.

Картины еще стоят у стен, отбор не закончен. Молодая венгерка, учившаяся в Ленинграде, вызвалась быть нашим переводчиком. Она рассказала нам, что в этом году художники решилиделиться по направлениям. Имеется четыре направления, четыре школы, каждая школа выделила свое жюри для отбора картин, которые будут

размещаться в отдельных залах. Может быть, я совсем ничего не понимаю в живописи, но мне показалось, что здесь представлены не четыре школы, а только две — реалистическая живопись и абстрактная. Однако реалистическая живопись по каким-то мало заметным признакам разделена на три школы.

Среди картин преобладают пейзажи, портреты, натюрморты. Я упорно ходил от картины к картине, стараясь увидеть полотна, отражающие сегодняшнюю жизнь Венгрии, но в залах салона трудно было найти хоть какой-нибудь сюжет, близкий к нашим годам и дням. Может быть, я слишком примитивно понимаю живопись, но, как мне кажется, драгоценное чувство нового в искусстве проявляется не только в краске и цвете, но непременно и в теме произведения.

Я отыскал несколько картин, касающихся значительных тем общественной жизни. Мое внимание приковало большое полотно — «Расстрел коммунистов в 1919 году», но мне сказали, что жюри не допустило эту картину на выставку, и не потому, что она плохо написана, а потому, что размер ее чересчур велик. Этот странный довод оказался решающим!

В одном из залов очень тесно наставлены предлагаемые жюри скульптуры, так тесно, что они кажутся скопищем людей разного роста. Несмотря на то, что скульптуры очень трудно рассматривать, когда одна заслоняет другую, мне все-таки показалось, что скульпторы в своих творениях ближе к современности, чем живописцы. Впечатляющую скульптуру представил Геца Немет: из ствола дерева вырезана фигура солдата на костылях. Много изображений людей в труде. Интересно, попадут ли они на выставку?

В зале абстрактной живописи — причудливые композиции из углов и туманностей. Было интересно узнать, что имел в виду художник, набросавший на холст несколько голубых спиралей, желтых пятен и серых кругов. На мое счастье, автор композиции оказался тут же, неподалеку от картины. Здоровенный мужчина в грубых ботинках, наверное, сорок пятого размера, в свитере ручной вязки, обтягивающем его крутые плечи тяжеловеса, объяснил свою картину так:

— Это связь космических и микрокосмических элементов в многомерном, а не трехмерном пространстве и отражение этого пространства в человеческом сознании.

Я всегда очень робею перед людьми, говорящими непонятные слова. А вдруг в них заключен какой-то высокий смысл, непонятный и недоступный мне, бедняге! Автор картины явно рассчитывал на эффект своих слов, но мне показалось, что, когда я сделал серьезное лицо, он слегка ухмыльнулся.

Другие абстракционисты, тоже здоровые, крепкие парни, лениво стояли вокруг нас с безразличным видом, ожидая, когда я их попрошу рассказать о картинах.

Могучий автор композиции, познавший тайну космических и микрокосмических элементов, набывчившись, смотрел на меня, и я почувствовал необходимость признаться в том, что ничего не могу понять в этой картине. Я рассказал художнику историю, слышанную мною в прошлом году в Париже.

Неизвестный вор вытащил бумажник у художника-абстракциониста. В полиции художнику предложили нарисовать по памяти портрет вора и обещали за сутки отыскать его по портрету. Портрет был нарисован в свойственном абстрактной живописи стиле, и к исходу суток полиция арестовала холодильник, жирафа в зоологическом саду и несколько бочек из-под пива.

Художники прослушали эту историю, надулись и отошли от меня. Больше никто не захотел давать мне объяснения, и я вынужден был сам догадываться о сюжетах абстрактных картин.

Впрочем, мне кажется, что я был бы несправедлив, если бы не сказал, что абстрактная живопись может принести пользу в декоративном искусстве, разрисовке тканей, но насчет отражения микрокосмических элементов в нашем сознании ничего хорошего сказать не могу.

Сопровождавшая нас молодая художница рассказала о таком забавном случае: на выставку абстракционистов будто бы забрела домашняя хозяйка, осмотрела все картины и воскликнула: «Безобразия! Опять русские нам навязывают что-то новое!»

17 апреля.

Вчера я познакомился с секретарем городского комитета Венгерской социалистической рабочей партии товарищем Бела Келеном. Это молодежавый, крепкий, приветливый человек, партийный работник, ставший секретарем совсем недавно. Бела Келен сказал мне, что много ездит по заводам и фабрикам Будапешта, и я попросил разрешения присоединиться к нему, когда он поедет куда-нибудь.

Сегодня утром он сообщил, что собирается на фабрику, и просил заехать за ним в горком.

Городской комитет партии занимает сейчас новое помещение; здание горкома, подвергшееся нападению контрреволюционеров, еще не восстановлено.

В небольшом кабинете секретаря, в углу, пачки листовок. Вот одна из них. Острым карандашом карикатуриста на белом листе нарисованы две кумушки. Видно, что они сплетничают. Подпись: «Слыхали? Выборы в Польше провалились с треском!» Эта листовка — сатирическая; а вот другая — она воспроизводит плакат Венгерской Советской Республики 1919 года «Будь бдителен!».

Бела Келен рассказывает мне о том, как сейчас вступают в партию старые рабочие, о том, как коммунисты собирают силы, с утра до глубокой ночи встречаются с людьми, объясняют, спорят, пропагандируют. Нашу беседу все время прерывают телефонные звонки, звонят из всех районов венгерской столицы.

Мы едем в восьмой район, на фабрику имени Первого мая. Это большая швейная фабрика — более трех тысяч рабочих.

Первым делом мы зашли в фабричный комитет партии, где в это время шло заседание. Мы с секретарем горкома пристроились у края стола — как раз обсуждался вопрос о завтрашнем митинге по итогам московских переговоров. Бела Келен будет докладчиком, и ему необходимо послушать, что происходит сейчас на фабрике, чем люди живут и что им мешает.

Меня представляют членам партийного комитета, говорят, что я — корреспондент «Литературной газеты». Их лица мрачнеют, улыбки гаснут. Они спрашивают меня: одумались ли уже венгерские писатели? Вот, оказывается, в чем дело! Газета венгерских писателей называлась, как наша московская, — «Литературной газетой» («Иродалми уйшаг»). Им приходится объяснять, что я корреспондент совсем другой «Литературной газеты» и не могу отвечать за то, что публиковали некоторые венгерские литераторы. Но разговор уже начался, и я жалею о том, что венгерские писатели не слышат сейчас этих строгих и гневных слов, направленных в их адрес: как они много кричали и шумели в предоктябрьский период, осуждали все и вся, вольно или невольно способствовали контрреволюционным силам. А теперь, когда народ смел контрреволюцию, когда столько трудностей и нерешенных задач, многие писатели помалкивают, не хотят ему помогать.

Я возражаю, говорю о том, что нельзя осуждать всех венгерских писателей, среди них есть и подлинные слуги народа и колеблющиеся, которых надо привлечь на свою сторону.

Секретарь комитета, молодая швея Амалия Энге, положив на стол руку с наперстком на пальце, вспоминает тяжелые дни прошлого года:

— Наша партия была слаба, на фабрике было семьсот членов партии, но, конечно, гораздо меньше настоящих коммунистов. Между двадцать третьим октября и четвертым ноября в городе появилась тридцать одна партия. Естественно, что это вызвало страшный разброд в умах. Сейчас уже для подавляющего большинства наших рабочих ясно, к чему это могло привести.

Новый комитет объединяет всего сто семьдесят семь коммунистов. Есть еще товарищи, желающие вступить в партию. Конечно, партия теперь не будет столь многочисленна, как раньше, — дело не в количестве, а в качестве, в том, чтобы каждый коммунист был подлинным борцом за социализм, за дело народа.

— Пойдемте в цехи, — приглашает Амалия Энге, — вы сами убедитесь, что жизнь у нас входит в колею.

Мы проходим по фабричным коридорам, и встречные рабочие обращаются к Амалии со словом «сабадшаг». Я не слышал раньше этого приветствия. Оказывается, это

нечто вроде пароля, употреблявшегося коммунистами в подполье: слово «сабадшаг» — значит «свобода».

В каждом цехе медленно, непрестанно движется конвейер, и разговор Бела Келена и Амалии Энге с рабочими происходит в полном смысле слова на ходу. Секретари и я вместе с ними движемся вдоль стеллажей, по которым плывут куски материи, постепенно превращаясь в пальто и костюмы.

Немолодая красивая женщина обращается к Келену:

— Завтра в своей речи вы должны еще и еще раз разъяснить, что все происходившее осенью в Будапеште было не революцией, а контрреволюцией. Далеко не все наши рабочие это понимают и не все правильно оценивают события.

Какой-то старый рабочий советует секретарю побольше рассказывать о Советском Союзе — контрреволюционеры клеветали на Советскую страну, да и сейчас ходит еще немало всяких слухов и сплетен, которые требуют разоблачения.

Узнав о том, что я из Москвы, меня просят рассказать, как работает сейчас фабрика «Красная швея». Я испытываю некоторую неловкость — я никогда не был на этой фабрике, хотя во время войны ходил в гимнастерке, сшитой в ее цехе.

Будапештские швасы поручают мне передать привет московской «Красной швее» и попросить моих земляков почаще писать своим венгерским товарищам по профессии.

Меня знакомят с секретарем рабочего совета Калманом Локотом, старым портным, недавно избранным на этот пост. Он говорит:

— Рабочий совет у нас имеет все меньше и меньше дел. Укрепилась партийная организация, стала на ноги профсоюзная, и теперь не очень ясно — что же делать рабочему совету? Мы во многом повторяем то, что делает профсоюз.

Бела Келен рассказал мне, что он уже не первый раз слышит недоуменные вопросы честных рабочих, членов рабочих советов. Сейчас рабочие советы на многих предприятиях избавились от крикунов и демагогов, но в спокойных трудовых буднях рабочие советы не могут подчас найти своего места.

Мы прошли по всем цехам фабрики, очень устали, но убедились в справедливости слов Амалии Энге: жизнь вошла в колею.

19 апреля.

В газетах — женский портрет в траурной рамке. Умерла от ран Ева Каллаи, партийный работник, одна из тех, кто был в здании горкома партии в страшный день 29 октября.

Ева Каллаи выбросилась из окна третьего этажа. Мужественная женщина почти полгода боролась со смертью, но смерть победила ее.

И эта смерть снова напомнила Будапешту о событиях 1956 года, о том, что они отнюдь не далекая история.

Вместе с тысячами горожан я стою на кладбище. Гроб установлен на высоком постаменте, и по углам его горят, сливая свой огонь с солнечным светом, четыре больших факела.

Товарищи Евы Каллаи произносят речи с красной трибуны, возведенной на скорую руку среди могил. Несколько тысяч человек слушают их в скорбном молчании.

Под рыдания труб гроб опущен в землю, но толпа еще долго не расходится. Люди стоят в скорбной задумчивости под ярко-синим небом, под цветущими деревьями.

Разыскивая свою машину, я набрел на совершенно новый участок кладбища; десятки одинаковых каменных крестов стояли ровными рядами. Были среди них и такие, на которых виднелись даты рождения — 1936, 1937, 1938 годы. Дата смерти у всех одна и та же: 1956, октябрь и ноябрь.

В некоторые кресты вмонтированы фотокарточки под стеклом: портреты длинноволосых юношей с галстуками причудливой разрисовки.

Один из хитроумных происков реакции заключался в том, чтобы, обманно используя слова о свободе и демократии, восстановить молодежь против социалистического строя и изобразить перед мировой общественностью дело так, будто венгерская молодежь борется с коммунистами, подставить ее под огонь.

Матерые хортисты спрятались за спины юношей, вложили им в руки оружие: грабь, жги, убивай, насилуй — все можно!

Это преступление врагов Народной республики со страшной очевидностью открывается здесь, на кладбище.

Неподалеку от этих каменных крестов — деревянные пирамиды, выкрашенные красной краской, с красными звездочками и именами наших солдат, отдавших свою жизнь в недавней схватке с фашизмом. Одна из этих красных пирамид возвышается над прахом воина, которого я знал мальчиком, — он учился в школе вместе с моей старшей дочерью.

С тяжелым сердцем я покидал будапештское кладбище. У ворот я встретился с Мартоном Ловашем, партийным работником и журналистом, который был вместе с Евой Каллаи в горкоме и чудом остался в живых.

Ловаш пригласил меня к себе, и мы поехали на его квартиру. Окна ее выходят на Дунай: видны остров Маргит, Старая Буда и вдаль — заводы Чепеля.

Ловаш долго и подробно рассказывал мне о том, как фашисты штурмовали горком, о том, как мужественно умирали партийные работники и молодые солдаты.

Он пишет сейчас воспоминания о событиях осени прошлого года и работает над составлением третьего тома «Белой книги» — сборника документов, обличающих венгерских фашистов и их закордонных вдохновителей.

Поздно ночью я пешком возвращался от Ловаша. Очень тепло, на улицах полно народу. Влюбленные парочки не прячутся в темноту, но по парижскому образцу обнимаются и целуются в свете неоновых реклам. Витрины магазинов ярко освещены. В продуктовых лавках — пестрые горы всякой снеди. Обращают на себя внимание этикетки на китайском, болгарском, чешском, польском, русском языках. Ярко оформлены витрины универмагов, галантерейных, обувных магазинов. Образцы летних мод заняли все пространство за зеркальными стеклами. Цены не отличаются от тех, что были раньше. Венгрия, пережив такое потрясение, избежала инфляции, больно ударяющей по населению. Большую роль сыграла в этом помощь братских стран.

Кафе, рестораны, закулочные «эспрессо» полны народу. Маленькие оркестры играют самые модные мелодии (хотя далеко не все эти звукосочетания имеют право называться мелодиями). Трудно себе представить, что прошло лишь несколько месяцев после венгерских событий.

20 апреля.

Я побывал сегодня в редакции газеты «Элет эш иродалом» — «Жизнь и литература». Газета стала выходить недавно — вот на столе ее первые номера.

Меня приветливо встретил старый писатель и публицист Дьёрдь Бёлени. Ему за семьдесят, он много повидал на своем веку. Около тридцати лет Бёлени прожил во Франции, был ближайшим другом знаменитого венгерского поэта Эндре Ади и написал о нем монографию. Старый писатель избран председателем венгерского Пен-клуба.

Бёлени представляет мне своих ближайших сотрудников: вот неутомимый Бела Иллеш, автор «Карпатской рапсодии», книги, разошедшейся уже в грандиозном тираже и переведенной на многие языки. В облике Иллеша уместилось как бы два человека: один — спокойный и неторопливый, с сигарой во рту, и другой — веселый и подвижный до светливости.

Вот драматург и публицист Калман Шандор. Он встречался с советскими людьми, когда был заточен в гитлеровском лагере, и запомнил отдельные русские слова, которые сразу сказал мне, составив из них несколько фраз. Так как словарный запас через три минуты был исчерпан, нам пришлось перейти на немецкий, а затем прибегнуть к помощи венгерского переводчика.

За редакционным столом я познакомился с новеллистом Габором Года, только что удостоенным премии Аттилы Йожефа, с поэтом Имре Лукачем и журналистом Кароём Райчани.

Нам помогал понять друг друга Иштван Кулчар, выпускник Ленинградского факультета журналистики,

Как это бывает среди писателей, мы не искали тем для разговора, а сразу начали спорить о литературе.

Интерес к новой газете у читателей очень большой. Я узнал об этом еще по дороге в редакцию, поговорив с несколькими продавцами газет.

Тираж второго номера «Элет эш иродалом» — семьдесят тысяч экземпляров, а печально известная «Иродалми уйшаг» («Литературная газета») не выходила больше чем в сорока тысячах экземпляров. Вокруг венгерской «Литературной газеты» группировались крикуны и критиканы, в ней печатались статьи, которые под прикрытием фраз о демократии нападали на народно-демократический строй и вносили разброд и шатание в общественную жизнь страны. Эта газета превратилась в подстрекательский листок и докатилась до того, что пятнадцатого марта в Мюнхене вышел номер этой газеты, полный клеветы и бессильной злобы. Редактор газеты — изменник Эндре Энци — обливает грязью свою страну и свой народ. С провокационной целью в этом мюнхенском листке напечатаны старые стихи некоторых венгерских поэтов. Мне рассказывали, как эти поэты были возмущены, когда к ним в Будапешт пришло известие о том, что Энци печатает их стихи в Мюнхене.

Венгерские журналисты показали мне кипу свежих газет и журналов, выходящих теперь в Будапеште, и среди них официоз «Непсабадшаг».

Странное впечатление произвела на меня молодежная газета: на ее страницах печатаются фотографии полуобнаженных женщин, двусмысленные рисунки.

В октябре и ноябре прошлого года в Будапеште возникло много всяких газет и журнальчиков, довольно быстро и бесславно закончивших свое существование, потому что они были совершенно чужды народу, кое-как держались, как клочки бумаги на поверхности мутного потока. Грязь и пена были сметены.

В кафе «Унгария» сидят теперь за столиками, словно вынутые из нафталина, небритые, с помятыми лицами журналисты, делавшие эти уже не существующие газеты. Они изредка прихлебывают кофе — одной чашечки хватает им часа на четыре — и уныло глазят по сторонам.

21 апреля.

Меня и находящегося здесь в составе делегации Советского комитета защиты мира поэта Льва Ошанина пригласили принять участие в поездке по Дунаю, организованной Венгерским коммунистическим союзом молодежи 13-го района Будапешта.

Рано утром двухпалубный пароход «Кошут» заполнился веселыми пассажирами. Это активисты — гимназисты и молодые рабочие; юноши в спортивных костюмах, девушки в туристских куртках и узких брюках — все с рюкзаками за плечами.

«Кошут» отчалил и пошел вверх по течению, мимо острова Маргит с его спортивными площадками и тенисными аллеями, мимо верфей и заводов Пешта, мимо домиков Старой Буды.

Сидя на раскладных стульчиках, мы говорили с ребятами о комсомоле, о предстоящем Первомайском празднике, когда Коммунистический союз молодежи получит на площади знамя. Девочка с маленьким ленинским значком на куртке трогательно и неумело пыталась говорить по-русски. А потом ребята стали серьезными — они вспомнили недавние события. Они подозвали худощавого юношу и сказали ему:

— Конрад! Расскажи...

Юноша, бледнее и краснее, стал рассказывать об ужасных днях своей жизни, когда ему дали в руки пистолет и, как волчонка, стали натравливать на своих же товарищей.

— Очень трудно было убежать оттуда, из кино «Корвин», где был штаб мятежников. Но я убежал все-таки. И теперь хочу вступить в комсомол. Товарищи позволяют быть вместе с ними, но с приемом не торопятся...

— Не торопись и ты, Конрад, тебе надо многое самому продумать... — строго ответила ему девушка в стареньком свитере.

Вызванный на откровенность товарищем, еще один юноша стал рассказывать о своем участии в событиях осени прошлого года. Он жил неподалеку от казармы, где размещаются советские солдаты, очень дружил с ними, даже научился у них говорить по-русски. А двадцать четвертого октября юноша оказался среди тех, кто кричал на ули-

цах: «Русские, домой!» Советский солдат, знакомый этого крикуна, сказал ему: «Нам никакого удовольствия не доставляет служить вдали от своего дома, но, если мы уйдем домой, здесь захватят власть фашисты, а ты будешь у них прислужником».

— Я до сих пор не могу забыть,— говорит юноша,— с каким огорчением и презрением разговаривал со мной этот советский солдат. Как бы мне найти его, как бы объяснить, что я понял правоту его слов.

Я сказал этому парню:

— А может быть, тот советский солдат был убит фашистами на улицах Будапешта, отдал свою жизнь за свободу Венгрии, за то, чтобы ты вот так мог кататься с товарищами на пароходе по Дунаю и петь песни...

Юноша потупился, и среди экскурсантов воцарилась тяжелая тишина.

А пароход «Кошут» уже оставил позади Буду и Пешт. Куда ни кинешь взгляд, всюду цветут деревья — абрикосы, персики, яблони. Долины и берега кажутся то розовыми, то серебряными, то вдруг лиловыми от сирени...

22 апреля.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ

Девушка выходит за мадьяра.
 Маминой тревоге не помочь.
 Дочь Урала, дочка сталевара,
 Как-никак, единственная дочь.
 Он учился здесь, у нас, в Тагиле.
 Не смогли девчонку уберечь,
 И они друг друга полюбили
 И уедут вместе в город Печ.
 В этом городе погиб отец твой
 Как солдат — в последнюю войну.
 Но пора тебе забыть, как в детстве
 Проклинала чуждую страну.
 Уезжает в Венгрию девчонка,
 В незнакомый, непонятный край.
 До свиданья, мамина сторонка,
 Русская рябинушка, прощай!
 Все в порядке — верьте иль не верьте,—
 Ей никто здесь не желает зла.
 Стал ее Георгий сноза Дьердем,
 А она — Татьяна, как была.
 Но бывает грустная минута:
 Брошу все! Уеду! Убегу!
 Не хочу красивого уюта,
 Подавай мне горы и тайгу.
 Вся подушка мокрая от слез.
 Дьердь, прости, не принимай всерьез.
 Путь один начертан нашим странам,
 Пусть же будет все, как у родных.
 Сын родился. Назовем Иваном,
 Есть такое имя и у них.
 Хочет муж, чтоб ты была счастливой:
 Все твое — и домик наш и сал.
 ...В день октябрьский пасмурный, дождливый
 Выстрелы на улице гремят.
 Мир отживший делает попытку
 У страны грядущее отнять.
 Коммунистов повели на пытку.
 Графы возвращаются опять.
 Разрушают русскую могилу,
 Жгут знамена с красною звездой.
 И уходит из дому твой милый
 На борьбу с неожиданною бедой.
 Дрался до последнего патрона
 Твой Георгий, по-венгерски — Дьердь,
 В будущее и в тебя влюбленный,
 У дверей парткома принял смерть.
 ...Ни одной слезы не проронила —
 В самом страшном горе нету слез.
 — Как нам дальше жить? — сынка спросила

И нашла ответ на свой вопрос —
 И осталась вместе со свекровью,
 Выпив чашу горя до конца,
 На земле, политой честной кровью,
 Алой кровью мужа и отца.
 Я видал ее, видал ребенка...
 Может, высшей правдою права
 Звонкая уральская девчонка,
 Тихая венгерская вдова.

25 апреля.

С утра мы поехали на улицу Сигет, в школу 13-го района. Это восьмилетняя школа. В Венгрии восьмилетнее обучение обязательно, за восьмым классом следует гимназия. Дети начинают учиться в шестилетнем возрасте. В школе два корпуса: один — для мальчиков и другой — для девочек. Я выбрал мальчишеский корпус. Его директор Ласло Беллаи провел меня по всем коридорам, с трогательной любовью рассказывая о своих мальчишках. Он считает, что дети — самое верное зеркало настроений народа: то, что они слышат дома и на улице, отражается в их сознании и очень непосредственно влияет на их поведение в школе.

— Какие же сейчас настроения отражаются на жизни школы?

Вместо ответа Ласло Беллаи показывает мне детские рисунки — работы малышей. Вот боец народной милиции — женщина в синей кепке и комбинезоне стального цвета; вот пионер с красным знаменем в руках; вот спортивный праздник. Должен признаться, что в пачке детских рисунков я увидел гораздо больше сюжетов, отражающих сегоднешнюю жизнь Венгрии, чем на весенней выставке будапештских художников. Дети интуитивно подчеркивают особенности народно-демократического строя, социалистической жизни республики.

(А выставка уже открылась. Скульптура на антивоенную тему не нашла себе места в залах салона.)

— Конечно, вражеская пропаганда коснулась и наших ребят, — говорит Ласло Беллаи. — Нам приходится теперь на фактах и примерах разъяснять ребятам сущность октябрьских событий... Враги хотели восстановить юное поколение против социализма. Атака велась на пионерскую организацию; распространялись угрозы: носящий красный галстук будет убит. Пионерская организация была распущена, но у нас нашлись свои маленькие герои, демонстративно повязавшие галстуки и носившие их в самые трудные дни... Одна девочка вышла навстречу хулиганам, явившимся в школу наводить свои порядки, и бросила им в лицо: «Я пионерка, а когда вырасту — стану коммунисткой».

Большая борьба завязалась вокруг преподавания русского языка в школе. Контрреволюционеры требовали отмены изучения русского языка, но некоторые ученики не дали уничтожить свои учебники. Сейчас из пятисот старших учеников более ста изучают русский язык.

Прозвонил звонок на перемену, и ученики разных классов окружили меня. Ребята стали расспрашивать, что за фестиваль будет в Москве летом.

Постепенно круг школьников разросся, заполнил весь коридор. Мы с директором и переводчицей стояли в центре круга, а на самом краю его вдруг возник какой-то шум, произошло замешательство. Я увидел седую худощавую учительницу, ее облик точно соответствовал представлению о классной даме (я никогда не видел классных дам, мне лишь о них рассказывали старшие). Эта учительница за шиворот по одному вытаскивала мальчишек из круга и что-то гневно приказывала им. Директор потом объяснил мне, что есть среди учителей люди, настроенные против русских. Учительница сердилась на то, что ребята разговаривают с советским гостем, и поэтому вытягивала из толпы учеников своего класса.

Этот эпизод носил скорее комический, чем трагический характер.

Директор провел меня в классы удлинненного учебного дня. Четыре группы детей, родители которых работают и не могут до вечера быть дома, остаются в школе после занятий, получают обед, цена которого зависит от заработка родителей, но не превышает тридцати форинтов в месяц.

Решив посвятить весь этот день детям, я отправился осматривать пионерскую железную дорогу.

Я бывал на наших пионерских железных дорогах в Грузии и в Сталинграде. Они у нас служат скорее познавательным и развлекательным целям, но не имеют практического значения. Будапештская пионерская железная дорога, проходящая по чудесным местам на горе Сечени,— это часть городского транспорта. В маленьких вагончиках не просто катаются ребята, а едут по делам взрослые люди. А машинисты, кондукторы, стрелочники — это все пионеры. Пожалуй, такая игра всерьез имеет преимущества перед нашим игрушечным детским транспортом.

Пионеры, с красными, обведенными золотым шитьем погончиками железнодорожников, в синих мундирах, имеют очень сосредоточенный и важный вид. На станции я познакомился с дежурным кассиром, почтальоном и самим управляющим движением — учеником шестого класса Калманом Ковачем. Каждая смена юных железнодорожников работает здесь дважды в месяц. Поезда ходят отсюда в городок пионеров, представляющий собой группу санаториев, работающих круглый год. В городке пионеров проводят бесплатно трехнедельный отдых отличники учебы.

Мой разговор с юными железнодорожниками все время прерывался — то один, то другой мой собеседник убегал выполнять свои обязанности: открывать семафор, провозжать поезд или звонить по телефону, а потом возвращался с гордым видом.

Один из мальчиков стал расспрашивать меня о детских железных дорогах в СССР, а другой — совсем малыш — спросил:

— Дядя, расскажите, пожалуйста, какие города в Западной Европе? Может, вы там бывали. Я слышал, что в Западной Европе очень красивые города.

Я рассказал мальчику о тех городах, которые видел, и о том, что Будапешт гораздо красивее многих из них.

Девочка с русой косой с превосходством старшей надвинула мальчишке фуражку на глаза и снисходительно сказала:

— Он наслушался пропаганды и чуть было не убежал, когда по радио стали говорить, что каждый венгерский мальчик может бесплатно объехать весь мир.

Любознательный мальчишка побежал переводить стрелку, и на этом наша беседа прервалась.

Мы с переводчицей поехали по загородной дороге и закончили этот «детский день» в маленькой сельской школе. Школа находится при сельском кооперативе и состоит из одного класса. В перерыве я вошел в класс, поздоровался с ребятами. Когда я спросил детей, кто из них пионер, все, кроме одного мальчика, подняли руки.

Оказалось, что он приемный сын учителя и недавно приехал из Будапешта. Почувствовалось, что в голове этого маленького мальчика борются какие-то сложные мысли. Учитель рассказывал мне потом, что у мальчика есть мать, бросившая его, что мальчик приехал сюда в полном смятении и сейчас словно оттаивает.

День встреч с венгерскими ребятами доставил мне большую радость, как всякая встреча с детьми.

26 апреля.

Остров Чепель.

Ритм жизни Чепеля — напряженный и веселый. Заводы работают на полную мощность; для того чтобы осмотреть их, нужно провести здесь не меньше недели.

Мне удалось побывать лишь в нескольких цехах, поговорить с рабочими. В цехе штамповки моим гидом стал инженер Иштван Ваш, закончивший Харьковский политехнический институт. Иштван Ваш познакомил меня с молодыми кузнецами Гринвальдом и Фекете. Кузнецы стали расспрашивать меня о социалистическом соревновании на московских металлургических заводах, о жизни молодых рабочих в СССР.

В обеденный перерыв мы пошли в рабочую столовую. Кормят на Чепеле вкусно и дешево. Мои сотрапезниками оказались несколько работниц в платочках и в комбинезонах. Так же как и в цехе, мне пришлось здесь не столько задавать вопросы, сколько отвечать на них. Меня спрашивали о том, как работает у нас Общество культурной связи с заграницей. Сейчас на Чепеле обсуждается вопрос, как наладить международные связи, нарушившиеся осенью прошлого года.

Весь день я ходил по грохочущим цехам Чепеля. На мотоциклетном заводе мне показали отличную готовую продукцию. Легкие мотоциклы разбегаются отсюда по всем странам мира. Среди рабочих мотоциклетного завода немало энтузиастов — любителей мотоциклетного спорта. Они имеют возможность в рассрочку приобрести мотоциклы. Словно срослись со своими машинами эти люди в кожаных курточках и крагах.

В цехах я видел объявление о том, что в клубе в субботу состоится конкурс красавиц. Приедут режиссеры с киностудии, и девушки, желающие сниматься в кинофильмах, могут выйти на сцену и показаться режиссерам и публике. Говорят, что на конкурс записалось уже немало девушек.

Я побывал в общежитии холостых рабочих Чепеля. Это огромная благоустроенная гостиница на восемьсот человек. Пользование койкой в двух-, трехместной комнате стоит всего шестьдесят форинтов в месяц, обед, завтрак и ужин обходятся молодому рабочему в пятнадцать форинтов в день. Немалые средства тратятся на устройство быта молодых рабочих государством и профсоюзами.

27 апреля.

БУДАПЕШТСКИЙ ГОРКОМ

Вот городской партийный комитет...
С горкомами знаком я с детских лет.

Все ясно в сокращенье слов таком,
Мне дома как привычка был горком.

По вызову я приходил туда,
Бели меня то радость, то беда.

Горком, горком, партийный комитет.
В нем ничего особенного нет?

Но нынче, в Будапеште побывав,
Я понял, как был мелок и неправ.

Пятиэтажный дом в раненьях весь —
Судьба Республики решалась здесь.

Мой бастион, мой храм, судьба моя,
Перед тобой снимаю шапку я.

С высот весенних миру все видней
Картина будапештских страшных дней:

Погромщики бушуют у дверей,
Стараясь опознать секретарей,

И в зале заседаний в темноте
Лежит инструктор с пулей в животе.

Уже в приемной груда мертвых тел,
Ведут функционеров на расстрел.

Кострами книг запыляла ночь.
О, если бы я мог тогда помочь!

Из пламени я б вынес на руках
Тех женщин в старых кофтах и очках

Вахтеров, проверявших пропуска
В горком или в грядущие века.

Они держали вахту до конца —
Мятежники им вырвали сердца.

И я отсюда вижу наяву
Далекую сейчас мою Москву.

У нас иная жизнь, иной народ,
Сравнение никак не подойдет.

Там, дома, не в пожаре, не в бою
Могу я верность доказать свою -

Лишь рядовым служением бойца —
Во всем. Всегда. Повсюду. До конца.

И снова, ощущая в горле ком,
Перед тобою я стою, горком.

28 апреля.

Я поехал осматривать руины Римского форума двухтысячелетней давности. Маленький аккуратный городок на дороге. Хочется пить, а корчма закрыта. На окраине городка кирпичные здания казарм, полосатая будка и молодой советский солдат — часовой около нее. Бронзовая кожа, узкий разрез глаз. Не о таких ли пареньках вопила «Свободная Европа», как о монголах, присланных в Венгрию?

Солдат стал меня подозрительно осматривать. Его смутил, по-видимому, мой берет.

— А вы кто будете?

— Советский корреспондент.

— Документы есть?

Вынимаю из кармана «серпастый и молоткастый» красный паспорт. Солдат изучает его внимательно, улыбается:

— Я вас знаю. Зачем говоришь, что корреспондент, когда ты композитор?

Мне трудно объяснить, что я не композитор, хотя сочиняю песни, а часовой мрачнеет. Ему кажется, что я его обманул, выдаю себя не за того, кто я есть.

— Сейчас вызову караульного начальника.

Караульный начальник долго не идет. Но и уезжать мне уже как-то неудобно.

К воротам подходит какой-то подполковник. Хорошо. Объяснюсь с ним и поеду дальше. Подполковник седоват, лицо в морщинах, только глаза, как у мальчишки. Боже мой! Да это же Коля В., мы с ним вместе были в окружении под Уманью, а потом в 1943 году встретились на Курской дуге во время страшной танковой битвы. И в Берлине были рядом — его танк сгорел на Принцальбрехтштрассе, точно помню.

В мирные годы ни разу не виделись.

Подполковник подходит ближе, и, к удивлению бдительного часового, мы бросаемся друг к другу.

— Откуда ты? Какими судьбами? Куда едешь? Римские развалины? К черту развалины! Никуда не поедешь дальше, я тебе арестую, и все. (При слове «арестую» часовой оживился.)

Конечно, я никуда не поеду. Мы идем в казарму, в белую комнату, где стоят четыре койки.

— Бедно живете, товарищи офицеры!

— Офицеру по-солдатски жить не зазорно!

Мой старый друг уже год здесь, в Венгрии. Вот что он рассказывает о событиях:

— Нас вызвали в Будапешт, когда там заварилась каша. Правительство попросило оказать помощь, навести порядок. Мы стояли на площади, патрулировали, огня не вели. Вокруг черт-те что творилось: воры в полосатых тюремных куртках шастают, идет погром, какие-то типы в полувоенной форме стреляют в нас из автоматов. Гранату бросили — правда, неудачно. Пришел приказ. Мы выступили против контрреволюционных мятежников. Но тут приказ новый: правительство Имре Надя просит советские войска выйти из города. Мы снялись и вернулись в эту казарму. До четвертого ноября находились тут. А в это время контрреволюция развернула свои черные силы. Летели самолеты с Запада, машины ехали. Чувствовалось, что страна потеряла управление, ее носит, как лодку в шторм.

Четвертого ноября Кадар организовал Революционное рабоче-крестьянское правительство, и оно обратилось к советским войскам за помощью. Мы снова пошли в Будапешт. Город трудно было узнать — всюду следы погромов, повешенные на деревьях. Перевернутые трамваи и автобусы. Обгорелые здания. Разбитые витрины. Грабеж шел повсюду. Если бы мы не выполнили просьбу Имре Надя и остались в Будапеште, мы бы в один прием подавили контрреволюцию, не дали бы ей развернуться. Но врагам Венгрии как раз надо было, чтобы советские войска ушли из города, чтобы привести кардинала Миндсенти, чтобы броситься на горком партии, начать массовое уничтожение коммунистов и свержение народной демократии. А мы все международные соглашения выполняем точно. Нам пришлось участвовать в боевых действиях вторично, по просьбе правительства Кадара. Это была трудная операция. Враги использовали условия города, а все наши, до самого молодого бойца, понимали задачу — разгромить контрреволюцию, причинив городу и мирным жителям как можно меньше урона.

И мы выполняли эту задачу силами никогда не воевавших молодых солдат.

У меня было такое ощущение, что бой с фашизмом тогда, в 1945 году, на этом участке завершился не полностью. Почти через двенадцать лет снова вспыхнул очаг фашизма, а веточки, чтобы его пламя разжечь, собирали по всему земному шару.

Мы тут видели хортистских офицеров, примчавшихся из Южной Америки, и эссовцев и бендеровцев из Западной Германии.

Ударной силой противника были бандиты, выпущенные из тюрем, и хортисты.

А военный министр правительства, возглавлявшегося Имре Надем, — фамилия его Малетер — засел в кинотеатре «Корвин» и руководил боевыми действиями против нас. Но армии у него не было. Солдаты венгерской народной армии были распущены — иди, куда хочешь, на все четыре стороны. Казармы и арсеналы разграбила толпа. Контрреволюционеры особенно агитировали мальчишек, призывали их вооружаться. А для мальчишки пистолет, автомат, граната — это мечта.

До вечера просидели мы с подполковником, вспоминая фронтовых друзей, разговаривая о жизни. Когда мы прощались, он просил передать привет Родине и грустно сказал:

— Тоскую я по своему Барнаулу.

29 апреля.

Мы с корреспондентом «Правды» Михаилом Одинцом решили предпринять поездку по стране без переводчика. Одинец уже год находится в Венгрии, немножко говорит по-венгерски. Шофер знает несколько русских слов. Как-нибудь объяснимся!

Мы направились на север, в город Шальготарьян.

Это центр области Ноград, город заводов, окруженный шахтами.

Все заводы и фабрики Шальготарьяна работают на полную мощность. Мы побывали на одном из них — стекольном заводе художественного дутья. Здесь не нашлось ни одного человека, говорящего по-русски. Одинец быстро израсходовал весь свой словарный запас, и дальше нам пришлось объясняться жестами.

Трудная работа стеклодува полна красоты и таинственности. Мастера стоят на деревянном помосте, окружающем стеклоплавильные печи. У них в руках тонкие трубки. Один конец трубки прижат к губам, на другом возникает золотой, постепенно темнеющий стеклянный сосуд. Это похоже на беззвучный оркестр. Впрочем, не беззвучный: в цехе все время транслируется граммофонная музыка.

Великолепные изделия этого стекольного завода расходятся по всему миру. Здесь владеют секретом такого гранения стекла, когда на стенках сосуда при наполнении его жидкостью возникает рисунок. Мы познакомились со старым мастером, передающим это искусство мальчишкам-ученикам.

Выехав из города, мы завернули на шахту. Здесь тоже не нашлось никого, с кем мы могли бы поговорить по-русски. Но труд шахтера красноречив и без слов. А цифры на плакатах, которые висят на стенах ламповой, свидетельствуют: шахта достигла до-октябрьской выработки.

Кое-как объясняясь с горняками, мы все-таки сумели выяснить, что заработная плата их сейчас значительно повышена, а главная задача, стоящая перед ними, — это понижение себестоимости угля.

Шахтерский поселок, к которому с шахты идет автобус, производит очень приятное впечатление: новые каменные домики, окруженные сиренью, четко распланированные улицы.

Мы спросили детей, нет ли здесь кого-либо говорящего по-русски. Нам очень повезло: вот дом, где живет Иштван Дери, горняк, вышедший на пенсию. Он говорит по-русски.

Иштван Дери — низкорослый, кряжистый старик — пятьдесят лет проработал в шахте. В его трудовом стаже был перерыв — несколько лет русского плена после первой мировой войны. Шахтер жил в Ростове-на-Дону и говорит по-русски с южным акцентом, мягко произнося букву «г», почти как «х». Он научил говорить по-русски и свою старуху. А сын Ференц, электрик шахты, был в плену во вторую мировую войну и тоже научился русскому языку.

Шахтерская семья встретила нас приветливо. Мы расспрашивали отца и сына о жизни шахты и горняков, но на старика нахлынули воспоминания, и он был более склонен говорить о Ростове: «Какая там чудесная девушка жила на Нахичеванской улице! Как я ее любил!»

Жена старого шахтера рассердилась на мужа, а Иштван Дери хлопнул себя ладонями по коленкам и закричал на старуху:

— А вот и не замолчу. Я ее и сейчас люблю.

Сыну пришлось утихомиривать родителей.

...Шахтеры считают, что в настоящее время сделано много хорошего для горняков, но механизация труда — еще дело будущего.

Старый Иштван уже не вернется в шахту, он получает 936 форинтов пенсии, нянчит внуков. А Ференц мечтает о том, чтобы под землю пришел угольный комбайн.

Наши новые знакомые повели нас по поселку, познакомили со своими соседями. Две девочки-школьницы, узнав, что приехали советские люди, пригласили нас в дом, привели к своему отцу.

Хозяин дома Ференц Дамонкош, как выяснилось, был советским партизаном. Призванный Хорти в армию, он перешел к партизанам для того, чтобы сражаться за свободу Венгрии. В Брянских лесах прошел он боевую школу; вместе с русскими, украинцами и белорусами он состоял в партизанском соединении генерала Наумова.

Не хотелось нам уезжать от шахтеров, но мы наметили на сегодня большой маршрут и через два часа, проехав по горной дороге, прибыли в профсоюзный дом отдыха «Галиатет». Это великолепный дом, похожий на корабль, плывущий по волнам гор. В былые времена — гостиница для богатых туристов, сейчас — дом отдыха для рабочих: уютные комнаты, обставленные легкой мебелью, просторные холлы, бассейн для плавания, белоснежная столовая, читальные залы...

Нашим переводчиком вызвался быть истопник дома отдыха — словак. Директор дома, толстый молодой парень, был не очень приветлив — чувствовалось, что ему не хочется появляться в обществе советских гостей. Когда мы ходили по коридорам и залам, директор все время старался отстать или отойти в сторону. Что-то смутное рассказал он нам о том, как протекали в этих местах осенние события.

Куда более радушно разговаривали с нами отдыхающие. Слесарь с завода МАВАГ. Петер Ференц привел нас в свою комнату, с гордостью сообщил, что он, так же как и многие рабочие завода, ежегодно пользуется домом отдыха. Путевка на две недели стоит 112 форинтов, основные расходы берет на себя профсоюз. Кормят здесь отлично, горный воздух целителен.

Старый рабочий невольно переходит к разговору о далеком прошлом, о том, как жилось ему в хортистской Венгрии. На его спине до сих пор сохранились шрамы — полицейские избивали участников первомайской демонстрации. Это была демонстрация без знамен, лишь во внутреннем кармане у каждого рабочего была красная гвоздика.

По чудесному парку «Галиатета» нас провела отдыхающая здесь Ирена Рожа — секретарь Института культурных связей. Это еще молодая женщина, но старая революционерка. Именем ее брата, замученного в гестапо, названа в Будапеште одна из центральных улиц и Дом культуры профсоюзов.

Директор дома отдыха так и не появился до нашего отъезда.

30 апреля.

По гулким коридорам парламента я прохожу в кабинет первого заместителя премьер-министра Революционного рабоче-крестьянского правительства товарища Ференца Мюнниха: Ференц Мюнних — один из тех мужественных деятелей республики, которые 4 ноября 1956 года взяли на себя всю тяжесть работы по сплочению народа и спасению страны.

Товарищу Мюнниху уже за семьдесят, но он бодр и подвижен, на вид ему не более пятидесяти лет.

Попыхивая сигарой, он говорит о сегодняшних делах — об украшении Будапешта к первомайскому празднику, о перестройке системы оплаты труда шахтеров, об итогах весеннего сева.

Но я знаю легенды об этом человеке, и мне хочется услышать от него самого историю его жизни.

— Писатели всегда жаждут найти что-нибудь интересное,— говорит он,— а у меня ничего особенного в жизни не было. Ладно, если вы требуете, расскажу вам о себе. Это будет сделано пунктиром, это очень схематический рассказ.

...В 1915 году около Тарнополя попал в русский плен австрийский офицер. Было ему тогда под тридцать. Пленного завезли вместе с другими офицерами и солдатами австро-венгерской армии в далекий Томск. Здесь в лагере военнопленных несколько товарищей создали маленький кружок, идеей которого была независимость Венгрии. Профессор Томского университета, фамилия которого затерялась в памяти товарища Мюнниха, снабдил военнопленных книгами Маркса и Ленина на немецком языке. Члены кружка связались со ссыльными большевиками. Первого мая 1917 года Бела Куна, Ференца Мюнниха и некоторых других военнопленных приняли в ряды РСДРП. Венгры участвовали в формировании Красной гвардии в Томске, несли охрану Томского Совета. В Томске выходили газеты военнопленных — венгерская «Непсабад», чешская «Коммунист», немецкая «Дер пролетарьер». Томский Совет к октябрю 1917 года имел большевистское большинство. Обученные солдаты — освобожденные Октябрем военнопленные — встали в ряды защитников революции. В русской революции венгры увидели пример и образец, как освободиться от собственной буржуазии.

Восстание чехословаков отрезало в 1918 году Томск. Первого июня 1918 года во время ледохода партийное руководство Томска и четверста красногвардейцев на пассажирском пароходе «Федеративная республика» и буксире «Ермак», вооруженном полевыми пушками и пулеметами, по Томи, Оби и Иртышу отправились в Тюмень. Сложен был этот путь большевистской флотилии. Мюнниху было поручено отправиться в сибирские лагеря, чтобы создать из военнопленных интернациональные войска. В отряде, которым командовал Мюнних, были русские и китайцы, латыши и мадьяры. Интернациональный отряд воевал с Колчаком, сражался за Советскую власть в Сибири.

В конце 1918 года Ференц Мюнних вернулся в Венгрию и был одним из бойцов и организаторов Венгерской советской республики. После ее разгрома Мюнниху пришлось эмигрировать. Он был арестован в Берлине за участие в восстании немецких рабочих в марте 1921 года.

Солдат революции после освобождения вновь эмигрирует и попадает в Советский Союз.

Участник Октябрьской революции, Ференц Мюнних работает в нашей нефтяной промышленности, а в 1936 году, уже в пятидесятилетнем возрасте, отправляется добровольцем в Испанию. В 12-й Интернациональной бригаде, которой командовал Матэ Залка (Мюнних называет его по-венгерски — Залка Матэ), сражался этот солдат революции.

Во время битвы на Эбро он был командиром 11-й Интернациональной бригады.

До последнего дня испанской войны находился Мюнних на фронте, а февраль 1939 года встретил в лагере интернированных на берегу Средиземного моря. Французская охранка арестовала бойца, его истязали в застенках полиции.

Когда Франция подверглась нападению, интербригадовцы, которые могли бы оказать немалую помощь в борьбе против Гитлера, содержались французами в заточении. Лишь в марте 1941 года комбригу удалось вырваться из-за колючей проволоки. Он приехал в СССР и в годы Великой Отечественной войны участвовал в партизанском движении.

В 1945 году Ференц Мюнних вернулся в Будапешт, чтобы отдать все свои силы возрождению Венгрии. Он был и на военной и на дипломатической работе (я видел его в Москве, когда он был послом Венгрии в СССР).

Четвертого ноября 1956 года, в трудный момент, Мюнних стал министром вооруженных сил и общественной безопасности и первым заместителем Яноша Кадара.

Такова эта биография, быстро, как анкета, рассказанная мне. Сколько времени длился рассказ? Кажется, мгновение. Но я отнял у заместителя премьер-министра, оканчивается, целых три часа. Мюнних закуривает новую сигару и переходит к очередным делам.

Завтра Первое мая. В городе состоится демонстрация, в которой Мюнних и другие члены правительства примут участие в общих колоннах трудящихся.

1 мая.

В девять часов утра у обожженного и истерзанного осколками здания горкома Венгерской социалистической рабочей партии Дьердь Марошан вручал знамя Венгерскому коммунистическому союзу молодежи.

Я стоял неподалеку от трибуны, наскоро сколоченной из досок перед самым входом в городской комитет. Все прилегающие улицы и сквер напротив горкома заполнила молодежь — пионеры с красными галстуками, студенты Горного института в шахтерских мундирах, гимназисты, рабочие Чепеля, речники с Дуная. Дьердь Марошан взял в руки красное знамя, украшенное трехцветными национальными лентами, и обратился к молодежи с речью. Он говорил, указывая рукой на задымленные стены горкома, на деревья сквера, расщепленные снарядами. Моя переводчица затерялась в толпе, но мне и не нужно было перевода: я скорее чувствовал, чем понимал, о чем говорит государственный министр и первый секретарь Будапештского горкома партии.

Юноши и девушки приняли из рук Марошана свое знамя, и мы стали пробиваться к площади Героев, куда со всех сторон двигались колонны демонстрантов. Видимо, в традициях жителей венгерской столицы выходить на демонстрацию в рабочих костюмах: например, повара шли в белых колпаках, а трубочисты в черных цилиндрах.

Я обошел несколько улиц, прилегающих к площади Героев. Во главе колонн каждого района я увидел руководителей правительства — Ференца Мюнниха, Геза Ревеса, Антала Апро. Это одна из традиций венгерской революции 1919 года: деятели партии идут во главе рабочих колонн.

...Тысячи, десятки тысяч будапештцев слушают речь товарища Яноша Кадара. Кадар говорит о трудном пути и благородных задачах страны, пережившей и выдержавшей тяжелые испытания.

В весенние дни я увидел эту страну, Венгерскую Народную Республику, побывал на ее заводах и в сельских кооперативах, познакомился с ее тружениками, сотни километров проехал по ее дорогам.

Как мало удалось мне увидеть за месяц, проведенный в Венгрии, но как много волнующих минут пережил я здесь. Срок моей командировки кончился сегодня. Из автобуса венгерского радицентра, стоявшего у трибуны, я позвонил по телефону на аэродром и узнал, что самолет, направляющийся из Белграда в Москву, улетает через час. Как чудесно было бы, встретив Первое мая в Будапеште, проводить его в Москве, дома! Минувя людные улицы, шофер помчал машину на аэродром. Я оказался единственным пассажиром, летящим в этот день, и через семь часов увидел из окна самолета золотые огни Москвы и над ними разноцветные звезды первомайского салюта.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ И. ВИДМАРА „ИЗ ДНЕВНИКА“

Югославия

«Дело», ежемесячный
литературно-критический
журнал. № 5. 1956. Год
издания 2-й. Белград. От-
ветственный редактор Ан-
тоний Исакович.

1

Один из героев Бальзака становится жертвой неразрешимого противоречия: либо отказ от всяких жизненных радостей во имя бесплодного, но продолжительного существования, либо смерть от избытка активной жизни. В последние годы среди людей, называющих себя марксистами, появились литературные деятели новой формации, очень похожие на этого героя. Они запутались между ортодоксальным букввоедством и лихорадочной «свободой творчества».

Конечно, марксизм от этого не погибнет. Одной из самых глубоких причин, вызывающих время от времени такие шатания, является, по словам Ленина, самый факт роста рабочего движения. «Если не мерить этого движения по мерке какого-нибудь фантастического идеала, а рассматривать его, как практическое движение обыкновенных людей, то станет ясным, что привлечение новых и новых «рекрутов», втягивание новых слоев трудящейся массы неизбежно должно сопровождаться шатаниями в области теории и тактики, повторениями старых ошибок, временным возвратом к устарелым приемам и т. д.»¹. А так как в наше время, особенно после второй мировой войны, в этом движении оказалось поистине громадное число новых людей, втянутых в него силой обстоятельств, — нет ничего удивительного в том, что у многих рекрутов «догма» и «творчество» разошлись слишком далеко. Есть, разумеется, и другие причины для объяснения этого печального факта, но о них здесь можно не говорить.

На страницах югославских литературных журналов возникла дискуссия о роли мировоззрения в художественном творчестве. Это старая тема марксистской литературы, и, разумеется, она никогда не будет совершенно исчерпана. Найдется немало новых сторон и новых вопросов, которые могут вызвать оригинальные попытки их освещения, а следовательно, и полезные споры. Непременным условием полезности этих споров является сохранение марксистской традиции, прочной основы революционной теории, выработанной усилиями передовых людей рабочего класса в течение целого столетия.

Это условие не соблюдено в статье известного словенского критика Иосипа Видмара «Из дневника». Напечатанная в белградском журнале «Дело», она вызвала резкую критику в самой Югославии со стороны таких публицистов, как Бор. Зихерл в «Современнике» и другие. Появились критические отклики и в советской печати. Статья Видмара была отнесена к выступлениям ревизионистского характера.

Трудно оспаривать этот приговор. Взгляды Иосипа Видмара в самом деле очень далеки от марксистской традиции. Однако, сколько бы мы ни уверяли в этом читателя, он хочет знать содержание статьи, так часто упоминаемой в печати, и, если возможно, услышать несколько доводов против точки зрения, высказанной ее автором. Почему бы, собственно говоря, не посвятить в это дело читателя? Попытка не пытка, говорит пословица.

Речь идет о ленинском анализе мировоззрения и всей литературной деятельности Льва Толстого. По мнению И. Видмара, в известных статьях 1908—1911 годов литера-

¹ В. И. Ленин. Разногласия в европейском рабочем движении. Сочинения, т. 16, стр. 318.

турные взгляды Ленина изложены «не слишком ясно и точно». Задача состоит в том, чтобы «выразить их в чистой логической формуле». Формула, предложенная Видмаром, действительно очень проста. Он утверждает, что ценность художественного произведения не зависит от того, правильно или неправильно, реакционно или прогрессивно, полезно или вредно направление мысли художника. Эту старую формулу автор с легкостью выдает за основную мысль статей В. И. Ленина о Толстом.

«Его же невелика послушаю, верни же смеянуться». Да и как не смеяться (сквозь слезы), читая рассуждения И. Видмара, которые он с достоинством называет «внимательно проведенными дедукциями»? Дедукции Видмара состоят из двух основных пунктов: во-первых, Ленин назвал мировоззрение Льва Толстого реакционной утопией, во-вторых, он считал великого писателя земли русской гениальным художником. Из этих противоположных тезисов рождается общий вывод: мировоззрение художника безразлично для его искусства. Приведем подлинные слова И. Видмара:

«Если, например, направление мысли, или философии, или мировоззрения в литературном произведении со всей очевидностью противоречит развивающемуся важному историческому процессу, вредно для него своей утопичностью и реакционностью, а то, что выдвигается в качестве рецепта для освобождения человечества, даже смешно, и если произведение с такой идейной направленностью может быть гениальным, то отсюда, мне кажется, следует сделать вывод, что констатирующий это считает идейную направленность вообще совершенно не играющей роли в деле определения художественной ценности какого-нибудь произведения. Правильное ли это направление или ложное, материалистическое оно или идеалистическое, полезное или вредное, прогрессивное или реакционное — художественная ценность произведения, в котором оно выражается, остается независимой от него, потому что природа и смысл искусства заключаются в том, что Ленин выражает словами «давать несравненные картины жизни», то есть в задаче, для решения которой направление мысли не играет важной роли».

К этому выводу И. Видмар возвращается в своей статье несколько раз, и только тех, кто отвергает значение мысли в художественном творчестве, он согласен признать оригинальными мыслителями. Все прочие относятся к «доктринерам» и «узколобым». Но в таком случае в разряд узколобых должны быть отнесены передовые борцы демократии начиная, по крайней мере, с XVIII века, ибо все они полагали, что идейность художника является основой художественной правды его произведения. В разряд узколобых придется отнести и многих мыслителей, не имеющих прямого отношения к демократии (например, Гегеля), поскольку они считали прекрасное наглядным проявлением истины, а достоинства формы — выражением глубины и конкретности содержания. Приходит в голову вопрос о классиках марксизма. Ведь это Энгельс сказал, что Эсхил и Аристофан, Данте и Сервантес, Ибсен и русские реалисты XIX века, не говоря уже о Шиллере, были ярко выраженными тенденциозными писателями, что титаны Возрождения стояли на стороне той или другой партии и боролись «кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим». Да, это Энгельс сказал, что будущее искусство призвано соединить два начала: идейную глубину и шекспировскую живость изображения. В знаменитой статье «Партийная организация и партийная литература» Ленин выдвигает идеал такого литературного творчества, которое свободно и сознательно служит не скачущим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся. Нечего доказывать, что в своем отношении к литературе Ленин всегда следовал принципу коммунистической партийности, нечего доказывать это, потому что доказывать такие очевидные истины смешно.

И мы понимаем, почему лучшие умы человечества крепко держались за аксиому общественного содержания искусства. Для них художественное достоинство произведения всегда неразрывно связано с его идеей, а следовательно, и с направлением мысли художника, его способностью выражать в своем творчестве общественный идеал, понимать или, по крайней мере, чувствовать истину, стремиться к справедливости, ненавидеть реакцию, испытывать отвращение к пошлому мешанству. Ведь если все это безразлично для деятельности писателя как художника, то, право, стоит презирать эту деятельность (и она в самом деле достойна презрения, когда речь идет о реакцион-

ной, лакейской, своекорыстной и равнодушной литературе). Если ложность направления не является препятствием для высоких художественных достижений, то одно из двух: либо призвание художника не имеет отношения к самой важной стороне человеческой жизни, либо правда вовсе не так важна.

В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Такой миропорядок был бы дьявольской насмешкой над человечеством, и Фаусту — речь идет о Фаусте Пушкина — оставалось бы только произнести свой приговор: «Все утопить!» К счастью, как ни сложны пуги действительной истории, она не лишена разумного смысла, хотя не всегда легко и даже не всегда возможно в пределах жизни отдельного человека схватить этот сложный, ускользающий смысл. Оттого так много внутренних противоречий и личных трагедий было в истории мировой литературы. Но если наша аксиома верна, то сложность ее конкретного применения уже не является роковым препятствием для научного анализа.

И. Видмар волен не соглашаться с этой аксиомой, но он не может приписывать свои взгляды Ленину. Сказать, что автор статей о Толстом считал произведение искусства эмоциональным «чудом», не подлежащим измерению посредством понятий истины и лжи, прогресса и реакции, то есть сказать, что Ленин повернулся спиной ко всей демократической и социалистической традиции в литературе, чтобы соединиться в этом вопросе с реакционным английским писателем Т. С. Эллиотом (как утверждает Иосип Видмар), — это уже слишком!

Однако мы не хотели бы ограничиться моральным возмущением. И. Видмар пришел к своим ложным выводам, запутавшись в очень сложном теоретическом вопросе. Ленин действительно считал мировоззрение Льва Толстого реакционным, и вместе с тем Толстой оставался в его глазах великим художником, «зеркалом русской революции». Как разрешить это противоречие? Нельзя относиться к затруднениям югославского критика высокомерно, тем более, что и в нашей литературе этот вопрос не всегда освещается достаточно глубоко и правильно. Разумеется, никто из советских литераторов не станет отрицать аксиому общественного содержания искусства, а тем более приписывать это отрицание Ленину. Но в результате многих шатаний различных рекрутов марксизма — и крикливо бдительных и либеральных (один тип не всегда легко отличить от другого) — вопрос о сложном взаимоотношении между идеями художника и его творчеством оказался изрядно запутанным. Правильное решение этого вопроса, так неудачно поставленного И. Видмаром, является общим делом марксистской литературы.

2

Посмотрим теперь, каким образом автор статьи «Из дневника» пришел к своим странным и совершенно неправильным выводам. Психологически его позицию можно понять, но оправдать ее нельзя. И. Видмара оскорбляет вульгарное повторение таких распространенных формул, как «идейная направленность», «отражение действительности» и т. д. Настроение понятное. Тяжело видеть, как дорогие нашему сердцу идеи превращаются в пустую догму под руками слишком услужливых и беспринципных друзей марксизма. Сталкиваясь с такими «друзьями», Маркс говорил: «В таком случае я знаю только одно, что сам я не марксист!»

Но это шутка, а И. Видмар делает из настроения теорию. Так как понятие «идейной направленности» часто применяется догматически, то он предлагает совершенно выбросить его из обихода марксистской эстетики. Такие шутки превращаются уже в политическое явление, и притом весьма отрицательное. Что касается «отражения действительности», то И. Видмар подвергает это понятие особой обработке, после чего даже Ленина нетрудно представить соратником Эллиота.

Если перед нами действительно великий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был оразить в своих произведениях. Мысль Ленина, изложенную в этой фразе, И. Видмар разделил на две части. «Каждый художник есть выражение или отражение своего времени и своей эпохи. Хотя бы до извест-

ной степени. Затем следует расчленение этой мысли. Чем крупнее художник, тем больше отражаются в его творчестве, более того, должны отражаться значительные, существенные особенности и явления его эпохи». Первую часть мысли Ленина И. Видмар считает совершенно бесспорной. Вторую он хочет исправить в своей статье.

Бесспорно, что творчество всякого писателя «представляет его эпоху». Более того, нужно сказать, что «писатель не может не быть отражением своего времени». Не может не быть. Попробуйте уклониться от этого закона — и у вас все равно ничего не выйдет. Если так, то о чем же писателю беспокоиться? Нужно ли ему стремиться к изображению действительности, должен ли он стараться передать свою эпоху в ее наиболее существенных чертах? Пустые заботы. По мнению автора статьи «Из дневника», художник должен быть художником, все остальное сделают законы истории.

Таков основной вывод И. Видмара. Он возражает против превращения исторической необходимости в сознательное направление мысли. «Ибо мысль по своему содержанию имеет второстепенное значение в искусстве. Тот же, кто изучает литературу в смысле направленности ее мысли и судит о литературе по этой направленности, тот не выполняет существенной задачи критики». Отражение эпохи является «фактом природы», а между тем его превращают в требование. Отсюда, по мнению И. Видмара, первоуродный грех марксистской критики. «Как только высказано это требование, его сторонникам недостаточно, чтобы современные художники были выражением своей эпохи, как прежние писатели были выражением своей, в большинстве своем, так сказать, невольной, из простой действительной необходимости, ибо иначе вообще не может быть; нет, они требуют большего: писатель должен быть выражением своей эпохи, причем каким-то особым, другим, актуальным способом, всем своим сознанием... и т. д.»

Пока мы говорим об отражении действительности вообще — все хорошо. Но как только нам приходит в голову вопрос, что и как отразил художник в своей эпохе, это рождает у автора «Дневника» чувство протеста: «Правильно ли будет утверждать: чем лучше художник отражает значительные и существенные стороны своего времени, тем более он велик?» Такой вывод из статей Ленина о Толстом И. Видмар считает, по крайней мере, сомнительным. Ведь и сам Ленин сначала инстинктивно понял гениальность Толстого, а потом уже исследовал историческую связь творчества этого писателя с движением миллионов крестьян. И если Ленин, как рассказывает Горький в своих воспоминаниях, хотел прочесть сцену охоты из романа «Война и мир», то не ради «крестьянского голоса Толстого», а ради чар его искусства, «чтобы пережить какую-то сцену, нарисованную с такой оригинальной правдой и свежестью, что она действует как освежающее купание в источнике самой простой жизни». Это очарование относится к «постоянным чувствам человечества», его нельзя объяснить, утверждает И. Видмар, ни взглядами художника, ни даже отражением эпохи, оно остается за пределами нашего понимания, «чтобы всегда снова и снова привлекать дух к спорам и размышлениям о единой сущности этого чуда».

Но сделаем передышку. Она необходима после такого крутого подъема к вершинам творчества. Вернемся в более скромную область логики. Если тайны искусства непостижимы, то зачем рассуждать на эту тему? А если И. Видмар все же доверяет хотя бы в малейшей степени устаревшему методу сознательного мышления, то давайте подумаем.

«Факты природы» существуют независимо от нас, законы необходимости нарушить нельзя. В этом отношении И. Видмар прав. Если, например, я перестану есть, чтобы доказать бессилие природы над моей волей, то физическая необходимость все равно восторжествует. Мало того, ее значение будет доказано с еще большей силой: природа свое возьмет, и я умру. Но какая разница между осуществлением законов необходимости в нормальном процессе жизни и в этом жалком исходе моего эксперимента! То и другое — «факты природы», однако факты бывают разные.

Таким образом, закон необходимости превращается для нас в требование. Если обмен веществ является условием жизни, то было бы глупо забывать об этом условии. То же самое относится к отражению действительности в искусстве. Гений и посредственность, художник, в меру своих сил изображающий реальный мир, и боль-

ной талант, уходящий в царство туманных символов, или даже простой шарлатан, делающий себе карьеру благодаря общественному легковерию и глупости «образованных людей», — все они безусловно подвержены закону отражения действительности. Но это не устраняет разницы между ними и не лишает нас права считать основой подлинного искусства правдивое изображение жизни. Здесь также «факт природы» превращается в требование.

Один французский историк остроумно сказал, что не существует поддельных грамот. И действительно, поддельные документы раскрывают для исторического анализа иной раз больше тайных сторон ушедшей эпохи, чем сотни вполне достоверных «единиц хранения». Ведь очень любопытно и важно знать, как и почему, под влиянием каких интересов люди искажали правду своего времени. Отсюда вывод: не существует поддельных грамот! Но ведь это только потому не существует, что мы п о н я л и х п о д д е л ь н о с т ь, а если кто-нибудь на основании того полезного эффекта, который приносит исследование подложных документов, скажет, что между фальсификацией и правдой вообще нет никакой разницы, то можно быть уверенным, что его будут считать пустым софистом.

В искусстве также существуют свои поддельные грамоты. Интересно изучать эти образцы искусственного искусства — они очень много говорят о прошлой жизни, и притом не только специалисту, но и каждому человеку, не лишенному исторического чувства. Интерес этот повышается, когда от сознательной подделки мы переходим к бессознательному искажению действительности или стремлению уйти от нее в область чисто условных знаков (как это часто бывает, например, в современной западной живописи). Но согласитесь, что по отношению к фактам искусства такой интерес носит вторичный характер и не совпадает или, по крайней мере, не вполне совпадает с интересом к художественному творчеству в собственном смысле слова.

Так, например, во многих исторических типах искусства играют большую роль характерные маски времени, условные искажения реальных форм. Если икона занимает меня как естественный и невольный продукт своей эпохи, то я, вероятно, выберу более архаические, грубые образцы, ибо в них стихия средневековой жизни выражена более темно и густо, «с сукровицей», как говорил Толстой. Если же я имею способность понимать художественную сторону дела и выработал себе привычку не смешивать это понимание с чисто историческим интересом и другими посторонними внушениями, например литературной модой или тщеславием образованного вкуса, способного воспринимать любые парадоксальные формы, как акробат способен браться под куполом цирка, то в средневековой иконе я увижу не только условные черты. Всякое подлинное произведение искусства сочетает своеобразие времени с более широкой и общей правдой изображения реального мира.

Современное абстрактное искусство также «представляет свою эпоху» (по выражению И. Видмара), и представляет ее весьма характерным образом. Будущий историк не пройдет мимо этих симптомов одичания на вершине цивилизации. Для такого взгляда абстрактное искусство очень интересно, как интересно сознание больного для врача. В известном смысле можно сказать, что фантазии невропата более ярко «представляют» жизнь тела, чем мысли здорового человека, ибо в здоровом состоянии мы способны до известной степени контролировать напор физических импульсов, опираясь на факты внешней действительности, участвуя вместе с другими людьми в общественной практике и т. д. Сознание здорового человека есть зеркало мира, картина его, и з о б р а ж е н и е. Такой картиной является, например, сознание врача по отношению к моей болезни. Но если сам врач похож на князя из Сухова-Кобылина, который решал дела в зависимости от действия «содовой» на его желудок, то... спасайся кто может! В таком случае нужно позвать другого врача, способного охватить своей более широкой и объективной мыслью сознание первого, ибо этот первый врач сам является теперь пациентом, а его диагноз уже не картина моей болезни, а симптом его собственной немощи.

Всякое сравнение хромает. С этой оговоркой можно сказать, что врач в нашем примере — это художник. Он охватывает предмет своим широким взглядом и делает

его предметом изображения. Иногда сам художник становится предметом изображения, одним из персонажей для другого художника. Существовал такой тип в русской жизни, который связывается в нашем представлении с образом чувствительного поэта Ленского. Поэзия Ленского, без сомнения, была отражением своего времени, но каким-то слишком тесным и бессознательным его отражением (недаром Ленский писал «темно и вяло»). Она — стихийный отзвук эпохи, только «продукт» ее, деталь картины дворянского общества начала прошлого века. Создателем этой картины был Пушкин. В своем поэтическом зеркале он охватил и самого Ленского и те условия, которые нашли себе выражение в звуках его невинной романтической лиры. Он сделал поэта со всеми его благородными и смешными качествами персонажем литературного произведения, он понял Ленского и тем раз навсегда освободил нас от детских пеленок его воображения.

Неужели И. Видмар не видит разницы между Пушкиным и Ленским, между зеркалом, способным дать «несравненную картину жизни», и простым отпечатком времени, «фактом природы»? Писатель не может не быть свидетелем и участником современной жизни, но является ли он активным субъектом истории или только объектом для другого — это еще большой вопрос. В двадцатом веке существует целая литература людей, подавленных ужасами современного мира; ей можно верить не более, чем видениям святого Антония. Лишь в немногих случаях простой вздох угнетенной твари, переживания одного из участников реальной драмы переходят в нечто высшее — картину жизни.

Таким образом, понятие отражения имеет двойкий смысл, и прав тот писатель, который в меру своего таланта стремится отразить современную эпоху в ее полной истине. Здесь нет никакой обиды для законов истории.

Конечно, разница между двумя формами отражения мира относительна. Даже гениальный художник не может охватить всю правду жизни, не может быть свободен от ограниченности его времени, его класса, его общественной среды. Так, в зеркале замечательных произведений Толстого русская революция отразилась неправильно (с этого и начинается Ленин свою первую статью о нем). С другой стороны, еще Добролюбов думал, что в самых нелепых романах и мелодрамах нет безусловной неправды. Их делает нелепыми одностороннее или даже исключительное подчинение одной какой-нибудь черте действительности, не занимающей в общем балансе жизни такого важного места. Из этого видно, что без соприкосновения с реальным миром художественная деятельность вообще невозможна. Даже «абстрактное искусство», при всей нелепости этой затеи, не обходится без отдаленных намеков на реальные формы.

Тем более необходимо, чтобы это совпадение с действительным миром было полным, а не односторонним и бледным, едва мерцающим, как в указанных случаях. Достигнуть безусловного совпадения мысли и действительности нам никогда не удастся. Все, что возникло в определенных исторических условиях, имеет свою ограниченную сторону; значит, и нам не дано быть исключением из общего правила. Но об этом беспокоиться нечего — ограниченность придет сама собой. Наша забота — стремиться к наибольшей полноте отражения жизни. Как понимать эту полноту — это уже другой вопрос. Во всяком случае нельзя запретить писателю делать сознательный вывод из необходимости на том основании, что его искусство все равно «не может не быть» отражением своего времени.

И. Видмара, конечно, пугает слово «требование», вот почему он спешит укрыться в царство слепой необходимости. Требования бывают разные... А если И. Видмар хотел сказать, что литературное дело не поддается механическому равнению, то он повторил бы только слова В. И. Ленина, сказанные великим учителем рабочего класса в статье «Партийная организация и партийная литература». Но этого Видмару мало. Единственное сознательное требование, им допускаемое, по крайней мере в области литературы, это забота о том, чтобы наш интерес к истине не помешал стихийному закону истории делать свое дело. В лучшем случае стремления художника безразличны для его творчества — не важно, направлены они в прогрессивную сторону или реакционные и ложны.

3

Такой вывод можно было бы сделать только в одном случае — если бы нашему автору удалось доказать, что реакционные идеи Толстого не имели отрицательного влияния на его искусство. Доказать это довольно трудно. И. Видмар сравнил чтение некоторых сцен из произведений Толстого с «освежающим купанием в источнике самой простой жизни». Очень хорошо. Но едва ли для такого купания он изберет, например, последние страницы истории Нехлюдова и Кафюши Масловой.

Размышляя над евангелием, полученным в подарок от румяного англичанина, Нехлюдов приходит к выводу, что великий урок из всей жизни людей заключается в пяти требованиях нагорной проповеди: нельзя никого убивать (нельзя даже ругать других нехорошими словами), нужно воздерживаться от наслаждения красотой женщины, не следует давать клятвенных обещаний, нельзя мстить за обиды, нужно любить своих врагов. Если все будут соблюдать эти правила, то совершится великий переворот, и наступит царство божие на земле. Сам Нехлюдов чувствует слабость своего вывода, после того как он видел все лицемерие общества, в котором эти моральные правила давно известны, но никому не мешают делать мерзости, после открывшихся ему страданий простого народа, слишком громадных, чтобы их можно было простить, после такого примера совсем не религиозного самопожертвования, каким была жизнь Крыльцова и других политических арестантов.

Все, что может сделать Толстой для подкрепления выводов своего героя, это только внешние средства литературного гипноза, а не те безошибочно найденные слова и краски, которые обычны для него как истинного художника. Обращение Нехлюдова к религиозному социализму могло быть верной чертой действительности, если бы Толстой оставил своего кающегося дворянина в реальной перспективе, времени, как Пьера Безухова, Нехлюдова из «Утра помещика» или даже Левина (при всех попытках этого лица выйти из рамок художественного произведения в область чистого резонанса). Но в данном случае, то есть в последних сценах «Воскресения», такая победа искусства была, как видно, невозможна. Толстой не мог раскрыть историческую обусловленность самого толстовства, то есть пойти дальше своего последнего слова, и вот Нехлюдов говорит от имени самого писателя, а великий писатель опускается до уровня своего персонажа.

И так не только с Толстым. Бальзак однажды сказал, что примечание романиста равно честному слову гасконца, а между тем у него самого есть целые романы, которые, в сущности, являются не чем иным, как расширенным примечанием к «Человеческой комедии». Таковы, например, «Сельский священник» и «Деревенский врач» — нечто подобное второй части «Мертвых душ» на французский лад. Они являются примечанием романиста, ибо утопии Бальзака, излагаемые в этих произведениях, не оправданы живыми образами, не вошли в них и не могли раствориться в реалистическом изображении жизни до конца. Вот почему, несмотря на прекрасные детали, поверить этим романам читатель может не больше, чем честному слову гасконца.

Итак, когда в художественном произведении ложная идея берет свое, чуда не получается. Выходят только сухие резоны, а в них купаться нельзя. И. Видмар может возразить, что произведения Толстого или Бальзака не состоят из одних недостатков, и будет прав. Но, обращаясь к достоинствам великих писателей, мы тем более убеждаемся в ложности его «внимательно проведенных дедукций». И. Видмар неосторожно выбрал для доказательства своей теории сцену охоты из романа «Война и мир». Чудо здесь, без сомнения, совершилось, но чудо искусства, созданное могучей кистью Толстого, имеет прямое отношение к его общественным идеям. Да, мы читаем сцену охоты «ради крестьянского голоса Толстого», мы наслаждаемся ею именно потому, что этот голос доходит до нас, несмотря на строгое запрещение И. Видмара.

Прекрасно написан Толстым осенний пейзаж: эта земля, еще мокрая от дождей, но уже схваченная слегка утренним морозом, полосы выбитого скотом озимого и светло-желтого ярового жнивья, вершины, покрытые лесом, и это небо над ними, которое тает и будто спускается на землю. Но пейзаж сам по себе еще не составляет чуда в литературе. Люди среднего дарования часто способны рисовать явления природы или

описывать внешность людей и обстановку их жизни. С другой стороны, бывают великие литературные произведения, в которых такие описания не играют никакой роли. Труднее писать диалог, речи людей. Настоящий художник безошибочно узнается по этой удивительной способности найти верное слово, определить, что именно должен сказать в данных обстоятельствах тот или другой человек. Малейшая фальшь в разговорах действующих лиц всегда выдает слабость таланта. У Толстого, разумеется, этого нет. В сцене охоты все говорят своими словами, и говорят верно. Не только ловчий Данила или крестьянские девушки, когда появление Наташи верхом на коне дает им повод обсудить этот неслыханный факт («Аринка, глянь-ка, на бочку сидит! Сама сидит, а подол болтается...»), но и сами господа на своем более бесхарактерном и вялом языке выражают свое отношение к происходящему, как живые лица.

И все же речи людей также не самое важное в искусстве. Самое важное то, что происходит, сама фабула охоты в более глубоком смысле этого слова, известном еще Аристотелю. Здесь основной фокус, в котором собираются все лучи, освещающие картину как целое. Это источник ее поэтического обаяния, реальная связь вещей и человеческих отношений, то, что в конечном счете дает пейзажу его настроение, а разговорам людей и всем разнообразным звукам, наполняющим осенний воздух в это свежее утро, их смысл и особую красоту. То, что происходит, есть само содержание дела или, если угодно, это гениальное развитие мысли, заложенной в его объективном содержании.

«Охота, охотник!.. Что такое слышно в звуках этих слов?— спрашивал С. Т. Аксаков. — Что таится обаятельного в их смысле, принятом, уважаемом в целом народе, в целом мире, даже не охотниками?» Охота — благородный пережиток тех времен, когда простая жизнедеятельность животного соединялась с первыми шагами общественного труда. Замечательно, что по мере развития цивилизации охота не исчезает из поля зрения человека, она только становится более свободной от чисто утилитарного назначения, приобретает известную самостоятельность как полезная игра сил. Человек играющий, homo ludens, представляет собой интересный предмет для писателя. Но охота не только игра. Она является испытанием воли, требует напряжения всего человеческого существа, подвергает его опасности. Между охотой и простым убийством животных — большая разница. В короткое время от появления волка, бегущего прямо на него через пустынное поле, до первой схватки матерого зверя с собаками Николай Ростов успел пережить все — и счастливейшую минуту своей жизни и полное отчаяние. Боязнь стыда, опасность, волнение, кровь — зачем все это? Затем, что охота является как бы жертвой, искупающей уход человека от природы, она снова ставит его лицом к лицу с ее простой и суровой жизнью.

Вспомните этого волка, схваченного живьем благодаря искусству ловчего Данилы. Свесив свою лобастую голову с закушенной палкой во рту, большими стеклянными глазами смотрел он на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. «Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех». Вспомните восторженный визг Наташи, которым она выражала все, что говорили другие охотники своими особыми репликами. «И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время».

Толкуйте после этого, что картина, нарисованная Толстым, безразлична к содержанию его идей! Неужели нужно объяснять И. Видмару, что тема охоты не является случайностью в русской литературе XIX века, что она вошла в нее вместе с обращением к природе и крестьянскому быту, что Лев Толстой — глубокий писатель и строгий критик цивилизации — не мог пройти мимо этой темы, богатой общественным и психологическим содержанием? Действительно, «фабула» охоты всегда привлекала Толстого, как в те времена, когда молодой автор «Казак» преклонялся перед естественным законом жизни, воплощенным для него в образе лесного бога, старого охотника Ерошки, так и впоследствии, когда страстный обличитель своего класса отрекся от этой барской потехи и осудил ее вместе с другими проявлениями чувственной природы человека — ненавистью к врагам, любовью к женщине, интересом к нагому телу в искусстве и, наконец, вместе с самим искусством.

В глубокой древности охота была общественным делом людей. Когда общество разделилось на классы, она стала привилегией господ вместе с ношением оружия. Накануне французской революции *droit de chasse* — одно из самых ненавидимых сеньоральных прав. Таким образом, тема охоты не стоит вне всяких социальных измерений, как думает И. Видмар. С давних времен в крестьянской среде, поглощенной строгим порядком земледельческих работ, охотник считался странным исключением, чудачком. Напротив, для барина охота есть признак принадлежности к господствующему сословию. Она является также наравне с войной той сферой, где проявляется его личная доблесть, его широкая натура, свободная от обязанностей труда, его презрение к деловым интересам. Недаром сцена охоты следует у Толстого тотчас же после неудачной попытки Николая Ростова показать себя мужчиной в помещицьем хозяйстве. Конторские счета, транспорт на другую страницу, деньги, вексель... Не одолев управляющего Митиньку, Николай решил заняться более приятным делом псовой охоты.

Но между искусственной жизнью помещицкого дома и миром природы стоит все же мужик, и барин должен подчиниться его руководству. Во всей сцене охоты есть, в сущности, только двое настоящих мужчин: это старый волк, взятый в плен после отчаянной борьбы, и ловчий Данило. Охотники господа, хотя для них, собственно, и устроен весь этот спектакль, не являются его настоящими участниками. Они за чужой спиной; не они побеждают зверя, а их богатая охота, дорогие собаки, из которых каждая стоит, может быть, целой деревни. Сами по себе они люди будто не вполне взрослые, нуждающиеся в опеке, как старый граф с его нянькой — камердинером Семеном. Даже для Николая охота — это экзамен, а тот, кто испытывает себя, еще не вполне тверд. Внутренняя нетвердость заставляет его немного заискивать перед Данилой, презирающим всех, в том числе и своего барина, хотя презрение это не обидно, ибо «Данило все-таки был его человек и охотник». Этот дикарь, чье появление в комнате, несмотря на его небольшой рост, «производило впечатление, подобное тому, как когда видишь лошадь или медведя на полу между мебелью и условиями людской жизни», ведет себя на охоте, как штурман в «Буре» Шекспира, — ему должен подчиниться сам король. Когда старый граф упускает волка, Данило ругает его неприличным словом, и граф виновато молчит; вспомнив потом свое столкновение с крепостным охотником, он говорит ему только: «Однако, брат, ты сердит».

Здесь открывается еще одна интересная черта этой темы, развитая Толстым. Как всякое серьезное испытание, охота подводит своего рода «гамбургский счет». Она переворачивает социальные отношения, и на один миг все, что тянется кверху или книзу, все ступени и ценности меняются местами. Игра становится настоящим миром, а то, другое, — званием, богатством, связью, условия — чем-то ненастоящим. Но это только на один миг. И как только окончилась игра, слишком близкая к настоящей жизни, возвращается тот, другой мир, в котором, по словам немецкого поэта Стефана Георге, *Herr wiederum Herr, Zucht wiederum Zucht*, то есть барин снова волен над телом и даже над самой жизнью своего человека.

Вот куда клонится поэтическая справедливость в сцене охоты. Попробуйте нарушить ее, и все обаяние чуда растает, как дым. Сделайте Николая Ростова героем, за которым следует толпа таких людей, как Данило, лишите нас легкой иронии, с которой написан старый граф на своей смиренной лошади, удалите все, что заставляет читателя с каким-то сочувствием следить за неравной борьбой волка против целой оравы людей и собак, измените все это — и у вас не будет Толстого. И. Видмар пишет, что в искусстве важны эмоции, а не мысль. Но каждая эмоция, возникающая при чтении Толстого, глубоко коренится во всем направлении мысли писателя.

Даже язык, которым написана сцена охоты, как бы неловкий, с вереницей всяких «бы» и других частиц, нарушающих плавность речи, с небольшой примесью грубоватых деревенских выражений и охотничьих терминов, с постоянным повторением одних и тех же слов, этот своеобразный, более осязаемый, чем обычно, язык Толстого есть язык его собственной мысли. В. Шкловский, изучавший «Войну и мир» под этим углом зрения, пришел к выводу, что Толстой стремился отделить себя от традиционной литературной речи середины XIX века, образцом которой был Тургенев. Здесь есть зерно истины, хотя у таких писателей, как Толстой, закон формальной антитезы еще

не превратился в Молоха, пожирающего всякое конкретное содержание. Если Толстой отталкивался от слишком плавной и совершенной речи Тургенева, то не потому, что он просто хотел сделать другое, чтобы освежить литературу и внести в нее «неподражательную странность», а потому, что многое в Тургеневе вообще казалось ему сочиненным, искусственным, как весь литературный лоск европейской цивилизации. Несмотря на критику со стороны друзей и врагов, Толстой сохранил свой гениально-неправильный язык, так как видел в нем протест самой жизни, природы вещей, обычно заглаженной и прикрытой условными оборотами речи. Согласитесь, что все это имеет прямое отношение к философским взглядам и направлению мысли Толстого, как бы мы ни оценивали это направление.

Чтобы понять до конца связь идейной позиции Толстого с поэтическим обаянием нарисованной им картины, нужно вспомнить еще одно лицо, принимающее участие в сцене охоты. Это — старый чудака, мелкопоместный дядюшка. Такие оригиналы встречались во всех слоях русского дворянства, и самое их чудачество было своеобразной гримасой, невольным признанием уродства крепостных отношений. Дядюшка, кроме того, был небогат, следовательно, заслуживал только снисходительного отношения — таким мы и видим его, видим глазами Ростовых в начале всего эпизода. Но весы поэтической справедливости колеблются; их колебание заставляет нас волноваться, когда начинается соревнование охотников, возбужденных травлей зайца. Дядюшке, кажется, не выдержать этого соревнования. «— Что мне соваться! Ведь ваши — чистое дело марш! — по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю».

Где-то в глубине души мы уже знаем, что это отношение сил должно измениться в пользу дядюшки. Если этого не будет, то не будет и радости, которую дает произведение искусства. Нам вовсе не нужно, чтобы добродетель «положительного героя» была вознаграждена, чтобы дядюшка получил наследство, сделался генералом, чтобы весть о его достоинствах дошла до самого государя и т. д. Все эти важные вздоры теперь никому не интересны. Но — удивительное дело! — мы, люди другого века и других общественных интересов, радуемся тому, что дядюшкин кобель Ругай оказался угонистей, чем широкозадая Милка и красавица Ерза. Мы знаем, что так должно быть, и чувствуем удовлетворение от того, что тщеславие богатых охотников Ростовых и толстого Илагина в бобровом картузе посрамлено. Так должно быть, потому что настоящий человек среди охотников-господ — это дядюшка. «Вот вам и тысячные — чистое дело марш!» Если в начале охоты Николай, должно быть, смотрел на старого чудака сверху вниз, то под конец роли переменялись, и он «польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще устает говорить с ним».

Правда, все это только охота, игра, а не та, другая жизнь, где все становится на свои места. Но есть еще одна щель, в которую проглядывает что-то большее, чем обычные отношения людей. Это — домашняя жизнь дядюшки. Когда Николай и Наташа впервые оказались в бревенчатом помещичьем доме старого суворовского солдата, они поняли, что их иронический взгляд на бедного родственника не умен. В этом доме, где все выглядело просто, но без запущенности, жил человек независимый, не искавший чужого покровительства или даже простого одобрения. «Немного погодя дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видела дядюшку в Отрадном, был настоящим костюмом, который был ничем не хуже сюртуков и фраков».

А когда появляется толстая, румяная, красивая экономка дядюшки — Анисья Федоровна — с деревенским угощением на подносе, то секрет дядюшкиной автарки становится более понятным. Этот секрет раскрывается и в патриархальном укладе этого дома, где в сенях пахнет яблоками, а за порванными ширмами слышен девичий смех и шлепанье босых ног, и в балалайке Митьки-кучера, которая не наскутила гостям, несмотря на то, что мотив «барыни» повторился сто раз. Наконец сам дядюшка настроил свою гитару, и полилась знакомая песня «По улице мостовой». Завершение всей картины, а может быть, и всего эпизода охоты — русская плясовая в исполнении молодой графини Ростовской.

«Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала,— эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой,— этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *pas de châte* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».

Не правда ли, при чтении этих строк невольно приходят на ум слова Ленина о Толстом, взятые из тех же воспоминаний Горького, которые цитирует И. Видмар: «До этого графа подлинного мужика в литературе не было»? Как и его создание — Наташа Ростова, — Толстой подчинился той странной власти, которая всегда принадлежала угнетенной массе русского народа. Дворяне были господствующим сословием, крестьянство — основным телом нации. И первые невольно признавали этот факт в те лучшие или, наоборот, самые страшные минуты, когда жизнь как бы льется через край, так, что даже прочные устои, воздвигнутые официальным обществом, не могут ее удержать. Толстого всегда глубоко волновали такие моменты — война и охота, любовь и смерть — словом, все, что делает бесполезным или, по крайней мере, ставит под сомнение преимущество, вытекающее не из личности человека, а из особых условий его общественного положения. Толстой даже по-крестьянски преувеличивал эту противоположность между природой и законом общества, как это делали за две тысячи лет до него греческие мыслители.

Таким образом, нельзя сказать вместе с И. Видмаром, что сцена охоты — одна из «несравненных картин жизни», нарисованных гениальным художником, — не имеет отношения к его «крестьянскому голосу». Напротив, вся простота и свежесть этой сцены есть результат общего взгляда на жизнь, принадлежащего Толстому и как бы разлитого в его произведении, так что нет и не может быть в нем ни одного оттенка, ни одной малой черты, безразличной к этому основному взгляду.

Одно только нужно заметить для более правильного понимания роли крестьянского голоса Толстого в образовании чисто художественных достоинств его романа «Война и мир». В те времена, когда был написан этот роман, крестьянский голос Толстого еще не отделился от голоса консервативной дворянской демократии (обычной позиции великого писателя в этот ранний период его деятельности). В силу ряда исторических причин такое слияние двух общественных тенденций было еще возможно, и, самое главное, оно не могло или почти не могло помешать общему художественному действию «несравненных картин» Толстого. Примером и доказательством может служить то освещение, которое получила в романе своеобразная фигура старого охотника — дядюшки, написанная с большой симпатией.

4

Теперь вернемся к теории чуда. И. Видмар настойчиво убеждает нас в непосредственности эстетического наслаждения, хотя этот факт настолько очевиден, что не требует особого разбора. Когда мы читаем сцену охоты, нам не нужно знать о крестьянских идеях Толстого, пишет автор статьи «Из дневника». Хочется просто «пережить» эту сцену, получить эстетическое удовольствие. Ленин раньше «инстинктивно» узнал художественное значение Толстого, а потом уже начал анализировать его отношение к русской революции. Отсюда вывод: если идеи играют роль в нашей оценке художественного произведения, то отнюдь не главную.

Эти рассуждения И. Видмара очень слабы. Чтобы утолить жажду, я могу выпить стакан воды, совершенно не думая о том, что вода состоит из двух частей водорода и одной части кислорода. Но разве это аргумент против химии? Разумеется, произведение искусства должно удовлетворять нашу эстетическую потребность. Недавно один

судебный спор о границах земельных участков в городе Брюгге был решен на основании городского пейзажа, изображенного Яном Ван-Эйком в его «Мадонне канцлера Роленя». Это очень характерно для реалистически точной манеры старых нидерландских мастеров. Однако никто не скажет, что основное назначение картины Ван-Эйка — служить юридическим документом.

Но И. Видмар просто подменяет один вопрос другим. Дает ли нам непосредственное эстетическое наслаждение сцена охоты — это один вопрос. Почему мы испытываем это наслаждение — вопрос другой. Почему же? Да потому, что каждая черточка, проведенная рукой такого художника, как Толстой, имеет свое содержание; она говорит нашему сердцу что-то хорошее и важное. Наука переводит всякое содержание на язык мысли, в этом ее особенность. Эстетическое содержание также может быть переведено на язык мысли, хотя это совсем не легкое дело.

«Прекрасное, — говорит Дидро, — есть лишь истина, возвышенная благодаря обстоятельствам возможным, но редким и чудесным». Читатель едва ли захочет, чтобы мы повторяли здесь всю премудрость на счет единства содержания и формы в художественном творчестве. Скажем только, что это единство в самом деле является великим естественным чудом. Только... чудеса искусства доказывают нечто обратное теории Видмара.

Особенность художественного произведения состоит в том, что оно не может быть создано никакими механическими ухищрениями. Если в позиции писателя есть элемент фальши, ему не помогут ни оригинальные метафоры, ни ложный полет, ни поза, ни интонация. Раню или поздно все поймут, что он сквал себе голос, как волк из детской сказки. В окончательном расчете дешевая позолота «мастерства» слезает, и тайное становится явным. Перехитрить это правило еще никому не удалось, хотя искушение велико — плоды искусства так доступны и в то же время так далеки.

То же самое алгебраическое уравнение можно прочесть в обратном порядке: если перед нами настоящий художник, то некоторые хотя бы из существенных сторон действительности он должен был отразить в своих произведениях. Вы убеждены в том, что чудо совершилось? В таком случае, ищите его идейный и общественный «эквивалент», ищите ту золотую жилу, которую открыл нам художник. Если, наконец, содержание ложно, а произведение все-таки художественно, о чем говорит нам непосредственное чувство, тогда одно из двух: либо мы неправильно поняли, в чем состоит его действительное содержание, то есть неправильно перевели его на язык мысли, либо мы принимаем за чудо то, что на деле является только искусством фокусника. Нельзя отрицать возможность таких недоразумений. Было время, когда автор «Парижских тайн» считался великим человеком, а Стендаль — только второстепенным литератором. Но такие ошибки вкуса не отменяют значения общей аксиомы.

Критика И. Видмара направлена именно против этой аксиомы. Он ссылается на тот общеизвестный факт, что реакционные идеи не помешали Толстому быть гениальным художником. Вопрос действительно не так прост. И смешно было бы думать, что при помощи новых слов или какого-нибудь особенно хитрого расчленения вопроса на составные элементы можно избавиться от этого противоречия. Как мастер диалектической логики, Энгельс не боялся его, говоря о Бальзаке. Не боялся его Белинский и Добролюбов, говоря о Гоголе, Островском и других русских писателях прошлого века. Это противоречие освещается и в статьях Ленина о Толстом.

Замечательно, что у теоретиков марксизма и мыслителей эпохи подъема революционной демократии вывод получается не такой, как у Иосипа Видмара, а скорее прямо противоположный. По мнению югославского критика, художнику достаточно быть художником. Правильно или ложно направление его мысли, — это существенной роли не играет или совсем безразлично. Но позвольте, а что такое быть художником? Старая демократическая и социалистическая критика без колебаний отвечала на этот вопрос: первый признак истинного таланта состоит в том, что он не может исказить истину, если бы даже захотел. Когда художник в угоду каким-нибудь посторонним целям или в процессе приближения к своей оконча-

тельной позиции делает ложный шаг, он испытывает сопротивление своего материала, своих собственных образов. Это поистине чудесное свойство искусства было уже не раз описано.

Захочет писатель лгать — и не получится (если он настоящий писатель). Выйдет то, что случилось с библейским Валаамом. «И сказал Валак Валааму: что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь? И отвечал Валаам и сказал: не должен ли я в полности сказать то, что влагает господь в уста мои?» Трижды пытался Валаам исполнить заказ Валака, царя Моавитского, и каждый раз с нового места. Но результат был один и тот же — проклятие не вышло, а вышло благословение. Так и не пришлось Валааму получить богатые дары, приготовленные для него царем.

Эта притча встречается в русской демократической критике середины XIX века. Толстой применил ее к рассказу Чехова «Душечка». В своем послесловии к этому рассказу он говорит: «То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь обещаниями Валака — популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его и которого видит ослица, и хочет проклинать, и вот благословляет»¹. Этот признак таланта больше говорит нам о действительной природе художественного творчества, чем все школьные рассуждения на эту тему.

Как часто и самому Толстому приходилось бывать в положении библейского Валаама. Конечно, не корысть или жажда популярности толкали его на это, а именно ложный, навеянный взгляд. Так, например, в своем известном произведении «Крейцеров соната» Толстой проклинает всякую любовь между мужчиной и женщиной, кроме любви братской. Чтобы не осталось никаких сомнений, он написал послесловие к своей повести, в котором очень подробно излагается его «направление мысли». Это направление совершенно аскетическое; Толстого не может остановить даже обычный довод — без физической любви род человеческий прекратит свое существование. Во-первых, когда-нибудь солнце погаснет и люди все равно исчезнут, во-вторых, самый факт гибели человечества есть ничто перед идеалом целомудрия.

Но обратитесь к тому, что рассказано в «Крейцеровой сонате», этой драматической истории помещика и кандидата прав Позднышева, который убил свою жену по всем правилам мести ревнивого мужа, и вы увидите, что эта история, именно потому, что она рассказана гениальным художником и так, как она им рассказана, внушает совсем другие мысли. Больше того, рассказ Толстого опровергает его теорию. Вместо того чтобы проклинать любовь, пророк благословляет ее.

Пример «Крейцеровой сонаты» особенно характерен, ибо в данном случае мы имеем дело с одним из самых тенденциозных произведений Толстого. Недаром Ленин ссылается на это произведение в качестве иллюстрации к своему общему выводу: «Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и является толстовщина в ее реальном историческом содержании»². Аскетизм — обязательный признак подобной идеологии, и Толстой верен ей, когда утверждает, что эмансипация женщины не на курсах и не в палатах, а в спальне. Сцену охоты в романе «Война и мир» можно с грехом пополам представить читателю как предмет чисто художественного наслаждения в отличие от сомнительной философии Толстого. Но такое деление совершенно невозможно в «Крейцеровой сонате». Здесь все — мысль от начала до конца. Никто не поверит И. Видмару, что изображение быта в семействе Позднышева или анализ психологии московского Отелло имеет безусловную ценность, независимо от идеи, которую Толстой доказывал в своем произведении. Для нашей цели разбор этого примера будет решающей проверкой:

Герой «Крейцеровой сонаты» Позднышев раскаялся в своем преступлении, совершенном из ревности, и понял, что всякая чувственная любовь есть зло. Вместе с ним этот вывод делает и сам Толстой. Что же, собственно, понял Позднышев? Это случи-

¹ Разумеется, далеко не все, что сказано Толстым в его послесловии к рассказу Чехова, является, с нашей точки зрения, правильным.

² В. И. Ленин. Л. Н. Толстой и его эпоха. Сочинения, т. 17, стр. 31.

лось с ним на третий день после убийства жены, когда его привели из тюрьмы и он увидел ее в гробу. «Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять...»

Похоже ли это на равнодушие к физической жизни человека, которое выражает Толстой в своем послесловии? Нет, Позднышев сделал неправильный вывод из того, что он понял, а понял он совсем другое. Он понял, что это живое, движущееся, теплое важнее, чем все упреки, которыми он мысленно казнил свою жену, прежде чем ее убить, разоблачая перед самим собой ее чувственность, низость ее выбора, пошлые уловки, которыми она скрывала свою страсть. Не подвижное, восковое, холодное неспособно к таким низостям и ошибкам, но что из этого толку? Пока были теплота, жизнь и движение, можно было еще надеяться, а теперь этого не поправить никогда, нигде и ничем.

Именно потому, что Позднышев сделал это открытие, он так поражен и уничтожен. Что же касается его отвращения к чувственности, то, собственно говоря, подобный взгляд был у него и раньше, до его просветления, до убийства жены. Он и тогда умел быть строгим и пронизательным моралистом — правда, только по отношению к другим. Еще до женитьбы он многих девушек забраковал именно потому, что «они были недостаточно чисты» для него. Так что вся его критика физической любви является только расширенным изданием обычной морали, которая и без того предъявляет другому человеку (особенно женщине) чрезвычайно строгие требования, хотя всем известно, что никто не относит их к самому себе.

У Толстого замечательно показано это лицемерие старой морали. Его рассказ внушает подозрение к тем выпрепным, неестественным, не прощающим ничего требованиям физической чистоты, которые обычно являются прикрытием для всякой жизненной грязи. Именно эта лицемерная чистота и связанная с ней гордость привели Позднышева к убийству. И они остались для нем в новом проявлении гордости — аскетизме. Между тем он уже понял другое — понял, что нужно иметь более снисходительное отношение к живому, движущемуся и теплому, что перед этим ничтожны все его права и все, что оскорбляло его. Ибо только на почве жизни можно исправить жизнь.

Пример «Крейцеровой сонаты» показывает, что произведение искусства не остается беспартийным в философском отношении даже в том случае, если субъективный взгляд писателя отступает на задний план перед созданной им картиной жизни. И. Видмар может сколько угодно доказывать, что такие картины безусловны и пребывают в эфире чистой художественности, вне борьбы основных философских направлений. Это очень модно и всё же — далеко от истины. Не защищая вульгарных аналогий между искусством и философией, заметим только, что равнодушие к философии не спасает от вульгарности. Едва ли найдется что-нибудь более плоское, чем отрицание связи между мировоззрением писателя и его творчеством. Чувствуя эту опасность, И. Видмар пытается избежать ее при помощи следующей оговорки: «Взгляд художника на мир, поскольку его можно выделить из творчества, ни в коем случае не может быть ничтожным и незначительным. Он может быть идеалистическим или материалистическим, может быть утопическим или реалистическим, реакционным или прогрессивным, вредным или полезным, но не может быть ничтожным, ибо с незначительной мыслью не могут быть связаны постоянные чувства человека».

Таким образом, на место истины ставится значительность. Нечего доказывать, что с точки зрения теории познания И. Видмар решительно уходит в сторону от Ленина. Кроме того, его оговорка означает еще более полное утверждение нейтральности искусства в общественной борьбе. Между тем мы вправе задать вопрос: в чем проявляется значительность мысли писателя? Разумеется, в том, что эта мысль не может быть нейтральной по отношению к основным вопросам человеческой жизни.

В «Крейцеровой сонате» Толстому не удалось доказать справедливость эгоковой идеалистической морали; правда художественного изображения оказалась сильнее его замысла. Значит ли это, что с философией покончено? Вовсе нет. Рассказ Толстого

не остается вне таких критериев, как идеализм и материализм. Всем своим действительным направлением он внушает гуманную материалистическую мораль. Кто верит в человека, тот будет судить его, принимая во внимание недостатки и слабости живого существа, ограниченного природными и общественными условиями. Так понимали любовь к человечеству французские просветители XVIII века, да и наши великие предшественники — Белинский и Чернышевский. В сущности говоря, рассказ Толстого ближе подходит к этой светлой материалистической морали, из которой вышло учение первых социалистов, чем к суровой аскетической проповеди его «Послесловия».

Позднышев справедливо говорит, что он убил свою жену гораздо раньше, чем ударил ее кинжалом в бок. Он убил ее уже тогда, когда женился на ней, то есть будучи несвежим, развратным человеком, купил себе молодую, физически невинную девушку на ярмарке, которую устраивает общество для этой цели. Невозможно, чтобы это хорошо кончилось. «Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал». И Позднышев обращает свой гнев против тех средств, которые люди применяют для возбуждения чувственности и для прикрытия своей нечистой, свинской страсти. Сюда относятся, с его точки зрения, не только все обычные средства, подчеркивающие красоту и привлекательность женщины, как то: «оголение рук, плеч, груди и обтягивание выставленного зада», но и самое искусство, особенно музыка, способная возбуждать наши нервы до чрезвычайности. Присоединяясь к выводам своего героя, Толстой утверждает, что главное бедствие заключается в привычке смотреть на плотскую страсть с возвышенной и поэтической точки зрения, между тем как нужно видеть в ней унижительное и животное состояние.

На самом же деле рассказ Толстого подсказывает совсем другое «направление мысли». Это рассказ о том, до какой степени унижения доведена — в этом обществе — любовь между мужчиной и женщиной. Чего уж больше! Рассказ такой силы, что он ничего не оставляет из тех фальшивых условностей, которые в ходу у людей для прикрытия этого факта.

Позднышев жил до женитьбы, как жили все молодые люди его круга, то есть развратно, и при этом воображал себя вполне нравственным человеком. Ведь он не был соблазнителем, не делал из этого главной цели жизни, не имел неестественных вкусов... И все-таки это был разврат. Почему? Потому, что все его похождения, хотя бы и самые скромные, были основаны на гнусном отношении к женщине, в которой он никогда не видел человека.

И, вопреки своим собственным выводам, Толстой вынужден сказать устами Позднышева: «Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которойходишь в физическое общение». Девушка полюбила молодого человека и отдалась ему, а он не мог успокоиться до тех пор, пока не послал ей деньги, показав этим, что он не считает себя нравственно связанным с ней. Это разврат. Физическое безобразие — не разврат. И сколько бы Толстой ни старался усилить изображение физической любви как грязного, свинского дела, он не может поколебать это заключение, которое вытекает из самой логики его рассказа.

Не следует поэтизировать любовь, не следует смотреть на нее, как на что-то возвышенное, говорит Толстой. На самом же деле трагедия Позднышева и его жены заключается именно в отсутствии между ними веселой и поэтической, доброжелательной и товарищеской близости двух живых, теплых существ. Что-то мертвое, механическое было с самого начала в их отношениях.

Позднышев думал, что его обманула поэтическая сторона любви — красота как иллюзия добра, лунный свет, стройная фигура девушки, обтянутая джерси, и эти локонь. «Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи». Но мы очень хорошо видим в рассказе Толстого, что никакого возвышенности с самого начала не было, а была только пустая блажь, тем более фантастическая, чем более низменные действительные отношения, которые она прикрывает в качестве общественной условности. Конечно, это

не личная ошибка Позднышева, иначе незачем было рассказывать эту историю. Так заключались браки в его среде, но не только в его среде. Произведение Толстого задевает всякую случайность брачного союза мужчины и женщины и ставит это несчастье в прямую зависимость от пустоты содержания жизни.

Еще до свадьбы разговаривать о чем-нибудь с невестой для Позднышева — «сифо́ва работа». А после свадьбы, как в точности описано у Толстого, объем и продолжительность этих разговоров сокращаются с каждым днем. Главное содержание брачной жизни образуют повторяющиеся с точностью механизма периоды любви и злобы. Эта злоба имеет своим источником пресыщение. Каждый период злобы, возникающий всегда из пустяков, в точности соответствует продолжительности и энергии периода чувственной близости.

Позднышев думал, что «озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее». Но сам же он говорит по другому поводу, что животное ведет себя лучше, чем поступают люди, — только общество создает лихорадку нечистого воображения. Напомним также его прежний вывод: ничто физическое — не разврат. Значит, дело не в том, что животное начало само по себе есть источник зла, а в том, что брак Позднышева и все подобные отношения застряли между животным и человеческим состоянием в самом неудобном и уродливом противоречии.

Первая ссора случилась уже на третий день после свадьбы, и это была не ссора, а только «обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами», — говорит Позднышев. Значит, пропасть была до всех крайностей чувственной любви. Потому и относятся супруги так безжалостно друг к другу, что ничто не связывает их, что они были «два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого». Они чужие, а должны быть вместе, и потому отношения их не человеческие и не животные, а **вещные**, отчужденные, механические. Отсюда проистекает отмеченная писателем черта — такой ядовитой злобы, какая бывает в ссорах супругов, нет и не может быть, когда ссорятся между собой брат и сестра или товарищи.

Толстой находит только одно сравнение, и оно справедливо: взаимная ненависть двух сообщников преступления, двух колодников, связанных одной цепью. В чем же заключается их преступление? Неужели в том, что они физически любят друг друга? Читатель не хочет этому верить. Ведь то, что изображается в «Крейцеровой сонате», это не плотская любовь, проклинаемая Толстым как самое большое зло, а карикатура на нее, варварские отношения, когда каждая сторона видит в другой только вещь, а не равного человека, только внешнее средство, а не цель.

Толстой не оставил без внимания тот факт, что эти отношения неравенства решаются в пользу мужчины, хотя женщина, превращенная в орудие наслаждения, мстит за себя посредством мелочного тиранства, пользуясь своей чувственной властью над мужем. Власть же мужчины есть то же самое вещное право, которое делает хозяина господином своего раба или — в другой форме — наемного рабочего. Толстой ясно видит, что цепь, которая держит обоих колодников — мужчину и женщину, — не животного, а общественного происхождения. «Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих».

Именно ужас таких отношений, основанных, по юридическому определению Канта, на личном праве вещного типа, рисует Толстой в своем произведении. «Крейцера соната» включает в себе критику старого брака и всякой возможной формы унижения полового чувства. Всем своим беспощадно горьким рассказом Позднышев убеждает нас в том, что возможно другое развитие этого чувства, не лишенное настоящей поэзии и человеческого содержания.

Сам Позднышев в это не верит, он стал убежденным последователем Толстого. «Духовное сродство! Единство идеалов! Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе». Зачем они так поступают, мы разбирать не будем, но сам Позднышев в некоторых местах своей исповеди дает возможность заключить, что не всегда физическое начало находится в таком резком противоречии с идеальным.

При желании в беременности также можно найти физическое безобразие и можно описать его самым отталкивающим образом. Кроме того, беременность, если не говорить о чудесах, является следствием плотской любви. Между тем Позднышев совершенно прав: «Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка». Он рассуждает совсем как материалист, говоря о разрушительном действии, которое оказывают на организм женщины любовные отношения во время этого «святого дела», о множестве кликуш и пациенток Шарко, о миллионах полукалеков. Осуждая самого себя за полное безразличие к жене как человеку, он не забывает добавить, что его «животные излишества» причиняли зло не только ее духовной, но и ее физической жизни.

Можно привести и другие примеры, из которых видно, что, несмотря на все свое озлобление против «обезьяньего занятия» и даже против женщины как опасного существа, без которого это занятие невозможно, Позднышев не доказал, что «идеалы» и брачная постель — две вещи несовместные. Он только слишком поздно, только перед смертью жены, «в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидал в ней человека».

Пойдем дальше. Произведение Толстого недаром названо «Крейцеровой сонатой». Музыка Бетховена воплощает в этом рассказе стихийную силу чувства. Почему не музыка Вагнера, более возбуждающая нервы, более «суггестивная»? Потому, что это был бы специальный случай, а Толстой выносит свой приговор наслаждению музыкой вообще; он видит в этой привычке одну из любимых страстей цивилизованного человечества.

Много верного есть в кратких замечаниях великого писателя о природе музыки, ее гипнотическом влиянии и т. д. Только все это, даже гипнотическое влияние, хотя оно и сыграло роковую роль в сближении несчастной жены Позднышева с таким сомнительным субъектом, как Трухачевский, и, может быть, в тысяче других подобных случаев (как объясняет Толстой), само по себе нисколько не виновато в происшедшей трагедии. Виновато совсем другое.

Прежде всего несправедливо утверждение Позднышева, будто музыка только раздражает, а не возвышает душу. Посмотрите, как она действует на самого соблазнителя. Трухачевский — довольно пошлый тип с красными улыбающимися губами и «особенно развитым задом», набравшийся в Париже, где он провел юность, бог знает чего. Но Позднышев должен отдать ему справедливость — играет он прекрасно. Послышался первый аккорд сонаты Бетховена, и Трухачевский преобразился. «У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожно пальцами дернул по струнам и ответил роялю. И началось...»

Первое престо «Крейцеровой сонаты» Толстой описывает как «страшную вещь». Чем же оно так страшно? А вот чем. Когда музыка играет марш и солдаты отправляются в поход, все хорошо. Раздражение нервов перешло в соответствующее действие. Когда я слушаю мессу и потом причащаюсь — то же самое. «Музыка дошла». Но с артистической музыкой, музыкой в собственном смысле слова, дело обстоит не так. «Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка».

Значит, в таких произведениях, как «Крейцера соната» Бетховена, и вообще во всякой подлинной музыке заложен динамический заряд огромной силы, но условия, в которых живут люди, делают невозможным реализовать духовный подъем, вызываемый ею. И вот люди слушают музыку, хлопают, потом едят мороженое и говорят о последней сплетне. Что же это — за музыку или против нее? При чтении этого отрывка невольно возникает мысль: не находится ли сама музыка в таком же ложном и недостойном ее положении, как любовь? Толстой угадал существование тайной связи между этими явлениями. Но чем виновата музыка, если ее возбуждающее действие, после сплетен и мороженого, может найти себе выход только в адюльтере?

В сущности говоря, «Крейцера соната» заключает в себе не одно, а, по крайней мере, два «направления мысли». И эти направления постоянно спорят между собой. Одно из них — навеянный, ложный взгляд, другое вырастает из самого повествования.

Правда — упрямая вещь, и настоящий «поэт-художник», с его неподкупной честностью, должен уступить ей, должен следовать за ней, вопреки своему собственному замыслу. Так и произошло с Толстым в «Крейцеровой сонате».

Первое направление мысли носит реакционный характер. Толстой говорит, что причина всех бедствий человека — в его материальной, плотской натуре. Есть идеал — люди должны соединиться друг с другом в братской любви, перековать копыта на серпы и т. д., но осуществлению этого идеала мешают страсти; из них самая сильная, злая и упорная это полая любовь (выходит, что любовь виновата даже в существовании войн). Страсти еще прощательны в животном состоянии, но цивилизация делает их невыносимо губительными для человека. «Глупости от образования», — говорит в начале рассказа купец старого закала, и Толстой, в сущности, согласен с ним. Наука дошла до того, что открыла какие-то лейкоциты, которые бегают по крови, и другие ненужные глупости. «Мерзавцы-доктора» бесстыдно осматривают женщин и учат их всякому свинству. Искусство окружило человека толпой голых Фрини и Венер. Болтают об освобождении женщины, о ее правах, образовании, а никому не приходит в голову, что освободить женщину нужно прежде всего от власти зверя, то есть плотской любви.

Но если подумать над тем, что именно представляется нам в «Крейцеровой сонате» таким убедительным, несмотря на реакционные выводы религиозного социализма, то мы увидим, что сила этой повести — в суровой и верной критике лицемерного, половинчатого, мнимо прогрессивного, на самом же деле либерально-крепостнического решения «женского вопроса» и всех подобных вопросов, связанных с браком и отношениями между мужчиной и женщиной. Вы прикрываете гнусность своих отношений заботами о нравственности и здоровье, а на самом деле вы развратники и убийцы, говорит Толстой. Вы украсили любовь фальшивыми цветами поэзии и превратили ее в скотское, обезьянье занятие. Вы окружили женщину мнимым благоволением, а на самом деле вы подлые крепостники и рабовладельцы. Эта критика проведена в «Крейцеровой сонате» с величайшей энергией и тонкостью через все ступени человеческих отношений, через все круги ада семейной жизни.

Даже самая реакционная мысль Толстого — освобождение женщины не на курсах и в палатах, а в спальне, даже эта мысль в ее конкретном изложении обращается к нам другой стороной. Теперь всякий знает, что эмансипация женщины в буржуазном обществе — это ложь, что лучшие права бессильны, если они не подкрепляются равенством материального положения. Это всем известно, а между тем рассказ Толстого не утратил своей волнующей силы. Видимо, имеется в «Крейцеровой сонате» что-то поучительное для всех времен именно потому, что она так безжалостно разрушает иллюзии своего времени.

Кроме гражданских прав и материальной независимости, есть еще право сердца, или, выражаясь более прозаическим языком, моральный фактор. Кто читал Ленина, тот знает, какое громадное значение он придавал моральной силе в процессе создания нового общества. С этой точки зрения, если отбросить нелепое, аскетическое выражение идеи Толстого, она имеет свое разумное зерно. Без нравственного признания человеческого достоинства женщины не только в общественной деятельности, но и в браке ей не уйти от унижения, вызванного боязнью потерять свою призрачную власть над мужчиной и связанного часто с потерей здоровья. Право и его материальная гарантия сами по себе еще не решают вопроса до конца, а в иных случаях даже осложняют его. Независимость женщины — это ее сила, но всякая сила может обратиться в слабость. Чтобы этого не случилось, здесь, как и в других областях жизни, необходимо еще одно условие — развитие новой человеческой нравственности, и недостаток ее нельзя заменить никакими фразами. В этом смысле Толстой не ошибался. «Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчинам, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец».

Даже после того, как общественное богатство польется рекой и узкий горизонт всякого права останется позади, проблема, поставленная «Крейцеровой сонатой», не теряет своего значения. Ведь только очень наивные люди могут думать, что драматическое содержание жизни когда-нибудь совершенно исчезнет и общество превратится

в стадо сытых, довольных собой пингвинов. Коммунизм вовсе не учит такому вздору. Исчезнет грубый, вещественный характер человеческих отношений, но тем более вырастет наша чувствительность ко всякому нравственному конфликту.

Пушкин был очень гуманным человеком, он обошелся со своей крепостной любовницей Ольгой Калашниковой хорошо, он сделал для нее все, что можно было сделать согласно понятиям его времени. Но уже в наши дни для людей с развитым нравственным чувством такие конфликты решаются гораздо сложнее, и в человеческом смысле они переживаются тем более глубоко и чисто, чем менее здесь замешаны вещественные и правовые отношения, чем более равным человеком является женщина.

Здесь, собственно, едва ли не главный пункт наших расхождений с Иосипом Видмаром. Он толкует о «постоянных чувствах человечества». Общественные идеи, классовые отношения, политика — все это для него лишь преходящая, временная, ограниченная сторона человеческой жизни, задающая искусство, но далекая от его сердцевины — эстетического качества. Само по себе это драгоценное качество безусловно и вечно.

Мы придерживаемся другого взгляда, изложенного в основных произведениях марксистской литературы. С этой точки зрения нет другой дороги к вечному и безусловному, кроме той мучительной стези, которая ведет через ограниченные условия времени. Чтобы затронуть «постоянные чувства человечества», нужно быть сыном своей эпохи, своего народа, своего класса, борцом своей партии, хотя это неминуемо повлечет за собой некоторые преходящие черты. И. Видмар то забывается о том, чтобы мы не перешагнули отведенного нам предела (в нашем стремлении к более глубокому отражению действительности), то рвется в облака. С одной стороны, полная относительность различных общественных позиций, более или менее значительных; с другой — не менее полное отрицание общественной основы искусства, попытка вынести «постоянные чувства человечества» за скобки истории. Неорганическая смесь этих разнородных начал образует главное содержание литературных взглядов Видмара. И в довершение картины все это украшено модным налетом иррационализма. Как можно при этом сослаться на Ленина — представляется одну из загадок двадцатого века.

В статьях Ленина о Толстом перед нами другая теория. Здесь вечное не отделено китайской стеной от исторического. Для Ленина непреходящие художественные открытия Толстого являются выражением определенного взгляда на жизнь. В этом отношении, если хотите, Толстой как художник был человеком партии. Он иногда и сам говорил о громадной роли убеждений для художественного творчества. Так, например, одна из записей В. Г. Черткова (20 мая 1894 года) гласит: «Во всяком художественном произведении важнее, ценнее и всего убедительнее для читателя собственное отношение к жизни автора и все то в произведении, что написано на это отношение. Цельность художественного произведения заключается не в единстве замысла, не в обработке действующих лиц и т. п., а в ясности и определенности того отношения самого автора к жизни, которое пропитывает все произведение. В известные годы писатель может даже до некоторой степени жертвовать отделкой формы, и если только его отношение к тому, что он описывает, ясно и сильно проведено, то произведение может достичь своей цели».

И. Видмар знает только один случай, когда произведение художественно вопреки убеждениям писателя; Лев Толстой с полным основанием указывает на другие примеры, когда произведение художественно силой, так сказать, горячих и определенных убеждений его творца, художественно даже вопреки несовершенству его приемов, которое может быть сознательным. Множество фактов истории и современности подтверждает это наблюдение великого писателя.

Правда, Толстой не понимал своей действительной роли в общественной борьбе и относился вполне отрицательно к вмешательству политических убеждений в область искусства, хотя образы его нередко выступают в самом определенном и ярком политическом освещении. Но благодаря этому недостатку сознательного понимания сильная сторона Толстого не выигрывает, а теряет. Она теряет повсюду, где исторически-самобытное содержание его взгляда на жизнь растворяется в метафизике вечных моральных проблем. Чтобы понять эту связь, вернемся еще раз к повести «Крейцера соната», в которой с особой наглядностью выступает общественная позиция Толстого со всеми ее противоречиями.

Главное направление мысли автора «Крейцеровой сонаты» — это демократическая критика либерализма. Прологом и поводом к исповеди Позднышева служит разговор в железнодорожном вагоне. В нем участвуют два представителя «передовой точки зрения» — адвокат, разговорчивый человек лет сорока с аккуратными новыми вещами, и некрасивая немолодая дама. Едут они, должно быть, по бракоразводному делу этой дамы, потому что ей так и не терпится высказать свои взгляды на «эмансипацию женщины». Взгляды ее — это, собственно, так называемая теория свободной любви, сущность которой участник беседы, старый купец в ильковой шубе и картузе с огромным козырьком, выражает довольно просто: «На, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя».

Если в изложении курящей дамы с измученным лицом буржуазные взгляды на семью и брак выступают с их анархической стороны, то адвокат представляет дело в более солидном либеральном освещении. Он ссылается не только на принципы естественного права, но и на практику жизни — фактическое соединение половой близости и гражданского союза. «Все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь».

Из ненависти к либерализму Толстой готов скорее согласиться с купцом, защищающим старый брак, основанный на церковном благословении и страхе жены перед мужем. По крайней мере, речь купца кажется разумной и полной достоинства по сравнению с кривляньями дамы и краснбайскими фразами ее адвоката. Но Толстой не может скрыть от читателя и другую сторону дела. Ведь этот набобный купец, не забывающий перекреститься, когда поезд тронулся, здесь же, в вагоне, совсем недавно рассказывал приказчику про свои былые кутежи в Кунавине и про такие штуки, которые можно было передать только шепотом.

Среди участников этого разговора отсутствует одно важное действующее лицо, но мысль автора часто с надеждой и сочувствием обращается к нему. Это — мужик. Он затронут потоком новых отношений, но в общем еще сохранил устои патриархальной нравственности. К этому, впрочем, его вынуждают суровые условия жизни. Мужик питается хлебом и квасом, он не употребляет столько мяса и другой возбуждающей пищи, как люди обеспеченные. Он не занимается гимнастикой, а делает нешуточную тяжелую работу. Оттого ему не до чувственных эксцессов. Дети нужны мужику для хозяйства, их болезнь и смерть он принимает с покорностью, как явление неизбежное: «бог дал, бог и взял».

По всему видно, что Толстому не безразлична судьба этого угнетенного класса. Его мысль, насыщенная ненавистью к паразитическому существованию господ, ведет читателя, желающего узнать, в чем состоит действительно передовая точка зрения на брак и семью, от либерализма к демократии. Правда, с другой стороны, мысль Толстого обращена в прошлое, к тому, что объединяет мужика с купцом, «живым Домостроем», по определению курящей дамы. Но под влиянием горячего демократизма толстовской критики мы часто даже не замечаем его патриархально-религиозной точки зрения, подобно тому, как никто не будет ставить в вину человеку, если он скажет, что солнце взошло, хотя Коперник и Галилей давно доказали, что этого не бывает. Здесь ограниченная сторона — неизбежная дань исторической позиции Толстого. Зеркалом русской революции Ленин назвал его именно потому, что в нашем революционном движении стихийно принимали участие миллионы людей, рассуждавших по типу «бог дал, бог и взял».

Но, развивая свою патриархально-религиозную точку зрения до превращения ее в систему непротивления злу насилем, Толстой теряет конкретную почву под ногами. От нарисованных им реальных отношений он удаляется в царство вечных истин. Горьчее революционное содержание его крестьянского взгляда на жизнь бледнеет, и великий писатель становится, по выражению Ленина, «идеологом мещанства»¹. Здесь автор «Крейцеровой сонаты» не так далек от столь презираемых им либералов вроде проезжего адвоката и его дамы, а эти господа, по всей вероятности, не отказались бы признать в нем «великого богоискателя» и «голос общественной совести».

¹ В. И. Ленин. Победа кадетов и задачи рабочей партии. Сочинения, т. 10., стр. 220.

В сущности говоря, все возмущение Толстого против либеральной и анархической фразы о свободе женщины, преувеличенное до отрицания половой любви, до вечной ненависти к телу, оканчивается ничем. Философия истории, которую излагает Позднышев, а затем и сам Толстой от своего собственного имени в «Послесловии», то есть бесконечное стремление к недостижимому идеалу целомудрия, даже в деталях совпадает с обычной для либерализма второй половины XIX века теорией постепенного прогресса. Насколько беспощаден Толстой как моралист в своей отвлеченной полемике против пола, настолько умеренной является его теория на практике, если продумать все ее последствия. Не беспокойтесь, род человеческий не прекратится, ибо полное воздержание доступно только немногим аристократам целомудрия («кто может вместить, да вместит»). Что касается остальных, то они все равно будут грешить. Нужно только относиться к этому с омерзением. Толстой возводит в правило жизни то отвратительное состояние, которое в ранней юности испытал Позднышев: «Я ужасался, я страдал, я молился и падал». Брак — это свинство, но в нем также могут быть свои градации: лучше пасть однажды, чем много раз. Если так, то нельзя отвергать и посетителей домов терпимости. Кто посещает их один раз в месяц, может считать себя выше того, кто ездит на Трубу или на Грачевку каждую неделю. В сущности говоря, все остается по-старому.

Пример «Крейцеровой сонаты» показывает, что противоречие между творчеством и «направлением мысли» Толстого в конечном счете сводится к более глубокому противоречию в самом «направлении». Борются между собой две тенденции. Ненависть к буржуазному строю и его лицемерной свободе делает Толстого сторонником патриархальной народной жизни, а реакционная форма, которую неизбежно получает при этом толстовская критика цивилизации, не проходит бесследно для ее демократического содержания. Она ослабляет эту критику, делает ее приемлемой для ненавистной Толстому партии, защищающей грязные нравы богатых классов посредством красивых фраз и научных софизмов. Но это только одно из возможных решений противоречия. Другое решение там, где Толстой выступает перед нами во всей силе своей гениальной личности. Там он великий художник, и созданные им картины жизни подвергают его же собственные, слишком узкие или прямо реакционные взгляды.

5

Теория И. Видмара интересна в одном отношении. Она наглядно показывает, что ходячие представления, разделяющие мысль и творчество писателя на два самостоятельных потока, приводят к самым уродливым выводам.

Такое истолкование статей Ленина о Толстом не имеет ничего общего с их подлинной тенденцией. И. Видмар неуважительно отзываясь о литературных взглядах Г. В. Плеханова, а между тем стремление провести строгую грань между Толстым-художником и Толстым-мыслителем принадлежит именно Плеханову. У Ленина водораздел между двумя сторонами противоречия в деятельности Толстого проходит по другой линии. По какой же?

Вернемся к нашей аксиоме. В основе художественной ценности произведения искусства лежит истина его содержания. Если идея ложна, а произведение все-таки художественно, это может означать, что мы неправильно перевели его действительное содержание на язык мысли. Такой иллюзии часто способствуют сам художник и его эпоха. Однако не мысль противостоит здесь художественному обаянию. Водораздел проходит между действительным и формальным содержанием творчества писателя.

При внимательном чтении статей Ленина о Толстом становится ясно, что именно в этом заложена их основная тенденция.

Если подойти к литературной деятельности Толстого с формальной точки зрения, то нас поразит реакционность и ложность ее программы, которая, впрочем, не является даже оригинальной. Но так не может подходить к явлениям жизни человек, называющий себя марксистом. Истина всегда конкретна. Сопоставляя содержание творчества и всей деятельности Толстого с русской революцией, в частности с такой важной ее

чертой, как стихийное движение миллионов малосознательных и патриархальных крестьян, Ленин приходит к выводу, что эта программа является только реакционной формой, в которой заложено серьезное и притом демократическое содержание. Разумеется, это действительное содержание находится в противоречии с реакционной формой проявления, но само по себе оно играет решающую роль. Отсюда возможность такой гениальной силы в произведениях Толстого.

Для Ленина вопрос об оценке Толстого — это вопрос о роли крестьянства в русской революции. Крестьянские идеи насчет социализма были реакционны, но это совсем не та реакционность, которую проявляла либеральная буржуазия, стоявшая за политику реакционных расправ в демократической революции. «Сравнивают аршины с пудами», — говорил Ленин о таких сравнениях¹. Он напоминает русскому читателю мысль Энгельса: ложное с формально-экономической точки зрения может быть истинным в свете всемирной истории. С формальной точки зрения крупные помещичьи экономии графа Бобринского прогрессивны, с формальной точки зрения аграрные утопии крестьянства реакционны. Но так рассуждать нельзя. Нужна была гениальность Ленина, чтобы увидеть (вопреки всем прогрессивным фразам меньшевиков, даже таких, как Плеханов), что знаменитый тезис крестьянских депутатов Думы — «земля ничья, земля божья» — есть только до крайности наивная и отсталая форма выражения одной из самых революционных идей: идеи национализации земли.

Итак, нельзя мерить серьезные явления жизни масштабом формальной логики, нельзя судить о них по внешней, так сказать программной, их стороне, по вывеске. Нужно отличать действительность от риторики, как не раз говорили революционные демократы прошлого века. Учение марксизма в колоссальной степени расширило нашу способность видеть это различие во всяком конкретном деле. Нельзя, например, понять революционную роль национальных движений Востока, если судить о них на основании формального смысла программ и мировоззрений. Религия реакционна — это так. И все же многие католические и протестантские деятели — наши друзья, а многие враги мира и демократии — явные безбожники. Значит ли это, что «направление мысли» не играет роли в политике, что политика — по ту сторону добра и зла, истины и заблуждения, как искусство в теории И. Видмара? Неправда. Это значит, что истинное направление мысли можно узнать, только сравнивая эту мысль с ее действительным содержанием.

Ленин писал: «Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов². Как видите, речь идет не только о чисто художественной стороне. Водораздел проходит через все мировоззрение писателя. Христианский анархизм, то есть система толстовства, не исчерпывает идейного содержания литературной деятельности Л. Н. Толстого.

Конечно, во всяком деле внешняя сторона легче выражается в общих формулах, системах, выводах. Это язык абстракции, следовательно, язык мысли. Но не всякая мысль есть абстракция; не мысль здесь виновата, а ее ограниченная сторона, недостаток конкретного содержания.

Антонов есть огонь.
Но нет того закону,
Чтобы всегда огонь
Принадлежал Антону.

Лучшим доказательством слабости теории искусства И. Видмара является то обстоятельство, что противоречие между «направлением мысли» и «творчеством» встре-

¹ В. И. Ленин. Сила и слабость русской революции. Сочинения, т. 12, стр. 315.

² В. И. Ленин. Лез Толстой как зеркало русской революции. Сочинения, т. 15, стр. 183—184.

чается не только в литературе, но и в таких областях, как философия, политическая экономия, теория социализма. Нет никакой принципиальной разницы между тем, что Энгельс писал о «победе реализма» над реакционными убеждениями Бальзака, и тем, что он говорит о противоречии между методом и системой Гегеля в книге «Людвиг Фейербах».

Это общеизвестный пример. А вот замечание Маркса в письме к Максиму Ковалевскому (апрель 1879 года): «Сверх того, необходимо для писателя различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что он дает только в собственном представлении»¹. Маркс применяет это различие к системе физиократов. Вся внешняя сторона их учения носит, так сказать, феодальный характер. Напротив, действительное его содержание состоит в обосновании нового, капиталистического способа производства. «Этикетка системы отличается от этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто также и продавца. Сам Кенэ и его ближайшие ученики верили в свою феодальную вывеску. То же до сих пор с нашими гуманистами»².

Что этикетка системы часто обманывает самого продавца, мы очень хорошо знаем на примере таких писателей, как Бальзак или Толстой. В том же письме к Ковалевскому Маркс ссылается также на историю философии: «Это справедливо даже для философских систем: так, две совершенно различные вещи — то, что Спиноза считал краеугольным камнем в своей системе, и то, что в действительности составляет этот краеугольный камень». Другими словами, действительное содержание и формальный смысл данной философской теории, выраженный в сознательных выводах ее творца, не всегда совпадают. Такое расхождение не только вообще возможно — оно иногда принимает характер резкого противоречия. На этом основании кто-нибудь может, пожалуй, сказать, что «направление мысли», «субъективные взгляды» и «философские симпатии» не играют существенной роли в самой философии. Предоставим читателю судить о том, насколько остроумны такие выводы.

Вопрос, поднятый И. Видмаром, имеет, разумеется много других сторон. Но для начала будет, пожалуй, достаточно. Читатель устал от наших примеров; попробуем сделать из них некоторые общие выводы.

Во-первых, чудо искусства нельзя отделять от мысли художника. В нем нет ничего иррационального, ничего такого, что было бы несоизмеримо с мышлением, чего нельзя перевести на язык мысли с ее обязательными критериями истины и заблуждения, передовых и отсталых идей. Не всякая мысль может быть изложена в поэтической форме, но то, что приняло эту форму, всегда имеет в своей основе мысль, если даже она осталась неясной для самого художника. Пока И. Видмар не приведет таких примеров, которые могут поколебать эту старую истину, его эстетическая теория будет висеть в воздухе.

Во-вторых, для материалистического анализа перевести формы искусства на язык мысли — это значит понять объективное содержание действительности, которая отразилась в творчестве художника. Действительность всегда богаче мысли, поэтому конкретное содержание духовного творчества — не только в искусстве, но и в науке — нельзя свести к сумме абстрактных выводов. На этом основании И. Видмар считает возможным писать о таинственной силе искусства, недоступной нашему сознательному анализу. Такая иллюзия основана на смешении понятий. Суть дела не в бессознательности, а в действительном содержании, которое мысль черпает из окружающего мира. Прикосновение к действительности образует источник силы писателя, но зачерпнуть из этого источника не так просто, хотя он у всех перед глазами. Вспомните историю Колумбова яйца.

В-третьих, художественные достоинства произведения искусства всегда соответствуют его положительному историческому содержанию. Это равенство может проявляться в форме очевидного неравенства или противоречия. Но такова судьба нашего грешного мира, мира природы и общества, в котором даже «постоянные чувства человечества» подвержены законам диалектики. Бывают гениальные художники с реакцион-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVII, стр. 29.

² К. Маркс. Капитал, т. II. Сочинения, т. XVIII, стр. 386.

ным мировоззрением, но не бывает искусства, безразличного к революционному или реакционному «направлению мысли». Когда гениальность художника торжествует над его собственным заблуждением, это значит, что правда сильна, особенно в искусстве, а вовсе не то, что хочет доказать И. Видмар, то есть что она бессильна в этой стране чудес. Может быть и так, что воля к правде, заключенная в самом таланте художника, недостаточна и его ложным взглядам удалось победить объективную логику дела, но в таком случае произведение полностью или в отдельных частях лишается своего обаяния, и тогда купаться в источнике жизни, по красивому выражению И. Видмара, читатель уже не может. В обоих случаях правило, согласно которому художественная ценность произведения искусства находится в прямой зависимости от его идейного содержания, в конечном счете торжествует.

В-четвертых, нельзя относить художественное достоинство к постоянным ценностям, а общественное содержание отсылать в низшую область исторически ограниченного и преходящего. На деле и художественная форма и общественные идеи, то есть обе стороны этой грубо намалеванной противоположности, имеют свое безусловное содержание и свои преходящие черты. Сила Толстого, как величайшего художника, возрастает в огромной степени именно там, где его «крестьянский голос» звучит в пределах своего диапазона. Здесь, по словам Ленина, его нельзя судить только с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма. Здесь он «сам по себе», и ему может позавидовать — без унижения для своей общественной позиции — любой современный писатель. Но Толстому нечего завидовать там, где он пытается выйти из своей роли, столь счастливо найденной, и превратиться в учителя жизни, стоящего над схваткой. В таких случаях голос его звучит фальшиво, и «постоянные чувства человечества» обращаются к нам своей дурной стороной как величайшее собрание общих мест. Такая вечность в произведениях Толстого давно устарела, и в этих пределах — не опасаясь попасть в положение сознательной ослицы, которая считает себя выше Валаама,— его литературную деятельность можно судить «по всей строгости закона».

Во всяком противоречии есть две стороны, и эти стороны могут соединиться так, что выйдет, говоря словами Ленина, «симфония» или, наоборот, «какофония». Гибкая, подвижная, но определенная грань между двумя направлениями, двумя формами единства противоположных сторон всегда существует. Наша обязанность не рубить живое явление надвое, как поступает И. Видмар, а найти ту реальную грань, где безусловное и ограниченное, вечное и преходящее расходятся между собой, где недостатки, связанные с достоинствами, превращаются в нечто самостоятельное, резко противоположное целому и разрушающее его, одним словом, в какофонию. Найти эту грань в каждом отдельном случае есть дело конкретного анализа. Существует, вероятно, и общий закон, управляющий отношением сильных и слабых сторон в художественном произведении в связи с внутренней логикой его содержания. Но мы здесь не будем говорить об этом. Разумному читателю нужно дать возможность подумать, а неразумного и особенно злонамеренного читателя не следует искушать более тонкими сюжетами.

Очень может быть, что неудачная попытка истолкования Ленина является для автора статьи «Из дневника» только эпизодом на пути от предрассудков современной западной эстетики к марксизму. Такая возможность не исключена, и если она осуществится, то все друзья югославской литературы будут этому очень рады.

Мих. ЛИФШИЦ,



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

РОЖДЕННЫЕ ОКТЯБРЕМ

После победы Октября общественная роль литературы резко возросла. На службу народу литература двинулась так широко, как никогда и нигде раньше.

«Наши силы — от революции, равно как и опыт наш от революции... Мы, молодые, литературно родились после семнадцатого года», — писал Л. Леонов.

Зазвучали имена людей с биографиями увлекательными и необычными. Гремело имя Горького. Широкой популярностью пользовались Маяковский, Серафимович, Демьян Бедный, Федор Гладков. Но вот впервые были услышаны имена Дмитрия Фурманова, Александра Фадеева, Николая Тихонова, Константина Федина, Леонида Леонова, Михаила Шолохова, Всеволода Иванова, Юрия Либединского, Лидии Сейфуллиной, Петруся Бровки, Кави Наджми, Ларисы Рейснер, Бориса Лавренева, Александра Малышкина, Аркадия Гайдара и много, много других. «Имена, — вспоминает о том времени К. Федин, — имена, имена — десятки имен, совершенно неизвестных русской литературе три-четыре года назад и вдруг, после гражданской войны, прянувших из-под земли, действительно, как грибы в грибное лето».

Осенью 1919 года в Петрограде, в «Петроградском укрепленном районе», появился молодой красноармеец «с мечтой о писательстве, с надеждой на какие-то завоевания и — может быть — славу» — это был Константин Федин.

Неожиданно пришел к Горькому прибывший из далекой Сибири, темно-коричневый от загара, с огромной гривой волос и солдатскими обмотками на ногах, угрюмый, молчаливый юноша — Всеволод Иванов

В то же самое время двадцатилетний Николай Тихонов на митингах и на вечерах красноармейской самодеятельности читал

свои первые стихи о той борьбе, в которой сам он принимал горячее участие.

Весной 1921 года, делегатом X съезда партии, приехал в Москву молодой Александр Фадеев — участник партизанского движения против Колчака и интервенции на Дальнем Востоке, участник боев с бандой атамана Семенова в Забайкалье.

С мая 1921 года начал свою литературную работу в Москве тридцатилетний Дмитрий Фурманов — бывший комиссар 25-й Чапаевской дивизии, затем заместитель начальника политуправления Туркестанского фронта, потом начальник политотдела Кубанской армии.

С фронтов гражданской войны прибыл в столицу светловолосый паренек, веселый и круглолицый, в черной гимнастерке, высоких сапогах, в папахе на голове и тоже мечтавший стать писателем — Аркадий Гайдар.

В 1923 году из далекой донской провинции попадает в Москву юноша Михаил Шолохов, участник гражданской войны на Дону, где он «долго был продработником. Гонялся за бандами...»

Они, эти новые писатели, энтузиасты революции, приходили в литературу со всех концов потрясенной, обновленной, советской земли — с Волги, с Дона, с Урала, из Сибири, с Украины, из Владивостока, часто непосредственно с фронтов гражданской войны. Их лица, их сердца еще были опалены огнями и бурями великих исторических битв.

И они могли сказать о себе:

Мы
 диалектику
Брянцинем боев учили не по Гегелю.
 она врывалась в стих,
Когда
 под пулями
 от нас буржуи бегали...

(Маяковский).

И все они, и те, которых смерть преждевременно унесла от нас, и те, которые живут и работают, всегда оставались горячими и верными борцами за революцию, строителями нового общества.

Они исколесили всю страну сначала в военных походах, а в годы мирного строительства как журналисты, газетчики, литераторы. В годы Великой Отечественной войны советские писатели вместе со всем народом боролись за свободу и независимость своей страны, вместе с народом сражаются они сейчас за процветание своей Родины, за дружбу народов, за мир во всем мире.

Владимир Луговской в одном из последних своих стихотворений проникновенно сказал о себе и о своих собратьях по перу — о писателях старшего поколения:

Как нас в жизни
трепало,
мотало,
мело.
Раньше тридцать бы жизней
в такую вошло,
Оттого что
юнцами
несли на плече
Серп и молот
на выцветшем
кумаче.

На сторону революционного народа с первых же дней Октября встали и лучшие представители старой писательской интеллигенции: Блок, Брюсов, Вересаев и другие.

Брюсов воспевал «слепительный октябрь», преобразивший «сумрачную осень в ликующую силами весну»; Александр Блок написал поэму «Двенадцать», где создал образ революции — всеочищающей стихии, которая до основания разрушает старый, дряхлый и злой мир:

И выюга пылит им в очи
Дни и ночи
Напролет...
Вперед, вперед,
Рабочий народ.

В письме к Горькому 31 июля 1919 года Ленин говорил о буржуазной интеллигенции, об «остатках аристократии», которые «великолепно умеют извращать все и вся, великолепно хватаются за любую мелочь для излияния своей бешеной злобы против Советской власти». Но в этом же письме Ленин отмечал, что «каждый месяц в Советской республике растет % бур-

жуазных интеллигентов, и искренно помогающих рабочим и крестьянам...»

О таком размежевании даже среди самых юных хорошо сказал Владимир Луговской: «И вот как-то собрались мои одноклассники на общее собрание и вдруг все поняли, что мы, шестнадцатилетние юноши, разделены одной непроходимой чертой. Одни не понимали и не узнавали других...» Октябрь оказался «великим поворотом для всего моего поколения».

Поворот действительно был великим и решающим, и самые лучшие, честные представители молодого поколения интеллигенции начала XX века, ощущая высокую правду эпохи, решительно шли в революцию. Такова была судьба совсем юной тогда талантливой писательницы Ларисы Рейснер. В Октябрь, в гражданскую войну она вошла сразу, решительно порывая с прежним укладом жизни, с комфортом, с прочными устоями своего привычного бытия.

И молодые писатели и писатели, как бы заново рожденные Октябрем, каждый по своему раскрывали героику и поэзию революционной борьбы. Они были подлинными новаторами, ибо запечатали в своих книгах небывалые общественные сдвиги, своим содержанием, размахом и силой знаменующие новую эру в мировой истории. Они сказали новое слово в искусстве, новое во всем: в темах, жанрах, в выборе и характере героев, в расстановке социальных сил, определяющих сюжет и композицию, и даже в ритме произведений. Только очень близорукие люди не видели этой художественной новизны.

«Почти все современные молодые писатели и поголовно все критики не могут понять, что ведь писатель-то ныне работает с материалом, который зыблется, изменяется, фантастически соединяя в себе красное с черным и белым. Соединяя не только фантастически, но и неразрывно», — писал Федину Алексей Максимович, негодуя по поводу тех критиков, которые не понимали, что стиль романа «Города и годы» был рожден революционной действительностью.

Это новое качество видоизменяло и обогащало все жанры, расширяло их границы, открывало небывалые возможности для развития творческой инициативы писателей.

Белинский писал, что в искусстве «пограничные линии» существуют более предположительно, нежели действительно, «по крайней мере, их не укажешь пальцем, как на

карте границы государства. Искусство, по мере приближения к той или другой своей границе, постепенно теряет нечто от своей сущности и принимает в себя от сущности того, с чем граничит, так что вместо разграничивающей черты является область, примиряющая обе стороны».

Революция столкнула в острейшем конфликте классы и партии, она разрушала человеческую и классовую обособленность, заставляла каждого человека выйти за пределы своего привычного бытия, за свои привычные житейские «пограничные линии».

Наконец, революция открыла людям такие области жизни и деятельности, которые многим казались далекими и чужими.

Естественно, что этот процесс в жизни способствовал резкому нарушению и разрушению «пограничных линий» в искусстве.

Книгу Дм. Фурманова «Чапаев» можно назвать романом, но в то же время она носит и документальный характер, в ней есть элементы и политической сатиры, и публицистики, и лирики, и философских раздумий по вопросам эстетики, этики, морали, политики. Синтетичен в известной мере по жанру и «Железный поток» А. Серафимовича и «Города и годы» Константина Федина, хотя резкое отличие этих трех книг и по материалу и по манере письма очевидно.

Конечно, новое рождалось не легко и не просто. Оно создавалось в суровой борьбе со старым, которое всячески противодействовало действительно новому в искусстве, толкая художников на ошибки и заблуждения.

«Поиски лучшей формы иногда заводили меня в дебри слишком формальных исканий», — пишет в автобиографии Николай Тихонов.

Об этом же, но более подробно говорит и татарский писатель Кави Наджми: «...Читая запоем литературные «новинки», слушая выступления поэтов разных литературных групп (имажинистов, ничевоков и других), я по неопытности решил, что произошел какой-то переворот в самом смысле слов, и стал выводить по «новейшим образцам» запутанные, несуразные строки. К моему счастью, эта болезнь левизны быстро прошла. Сами читатели убедили меня, что словесные выкрутасы никому не нужны...»

Декадентов, символистов, имажинистов и подобные им «направления» сблизала погоня за мнимым новаторством стиля, пренебрежение к литературному наследию,

непонимание сущности революции — ее великой созидательной силы.

Образовавшееся в те годы под председательством Андрея Белого так называемое Общество московских писателей впитало в себя эти, по меткому выражению Федина, «унаследованные от дореволюционного времени потемки искусства».

О том, как сложна была борьба с наследием старого, весьма красноречиво повествует история рассказа Гладкова «Зеленя».

В отличие от ряда других писателей Великую Октябрьскую революцию Гладков встретил во всеоружии большого жизненного и революционного опыта; он добровольцем сражался в рядах Красной Армии с белогвардейцами на Черноморском побережье, а впоследствии редактировал окружную газету «Красное Черноморье». «Октябрьская революция и гражданская война, — говорит писатель, — годы моего горения в революционных боях».

В 1921 году Гладков приехал в Москву. Уже тогда им был написан в хорошей реалистической манере рассказ «Зеленя», посвященный событиям гражданской войны в казачьих станицах на Кубани, борьбе крестьянской бедноты («городовиков») с казачьим кулачеством и белогвардейцами.

Плохо ориентировавшийся в столичной обстановке, Гладков принес свой рассказ в Общество писателей. Ему заявили там, что он опоздал на двадцать пять лет, что ясная, классическая проза уже отжила, что писать надо только в манере декадента-стилизатора Ремизова и Андрея Беляя.

«— Я попал в сплошной дурман, — рассказывал мне Гладков. — В день, когда в тогдашнем Обществе писателей отвергли мой рассказ как не соответствующий духу времени, я встретил Вересаева и поведал ему о своих неудачах.

— Что ж поделаешь, по-видимому, наше время отошло, — с печальной покорностью ответил Вересаев. Но я не хотел этому верить... Наступила для меня пора мучительных исканий и противоречий».

На некоторое время Гладков оставил литературную работу и занялся преподавательской деятельностью. А вскоре выступил с повестью «Огненный конь», посвященной революции и гражданской войне на Кубани. В этом самом слабом своем произведении в погоне за мнимым новаторством он резко ломает реалистическую манеру письма и (дабы «не отстать от времени») широко пользуется изобразительны-

ми средствами, заимствованными из модернистского «эстетического» наследия буржуазной России. Здесь и натуралистические описания зверств и пыток, и нервическая патетика, и калечащая синтаксис инверсия, и приемы напевного стилизаторского сказа. Эту искусственную, насквозь стилизованную повесть, конечно, не смогла спасти острая современная тема — борьба революционного народа с белобандитами и кулаками.

«Огненный конь» получил одобрение в том же Обществе писателей, где был отвергнут рассказ «Зеленя».

Но эта победа не принесла радости автору, она вызвала в нем мучительные сомнения, жгучее недовольство собой. Литературный вкус Гладкова воспитывали великие реалисты XIX века — Некрасов и Лермонтов, Чехов и Чернышевский; с юных лет Гладков был под влиянием книг Горького.

Коммунистическая партия, которая с первых же дней революции воспитывала писателей, руководила литературным движением, помогла Гладкову, как и многим другим советским писателям, разобраться в противоречиях и найти верный путь. В 1925 году появился «Цемент» — крупный реалистический роман о рабочем классе, о восстановлении народного хозяйства, о революции и труде.

Эти господствующие темы — труд и революция — сливаются воедино не только в произведениях о восстановлении народного хозяйства, но уже и в произведениях о гражданской войне: так, в «Бронепоезде 14-69» Вс. Иванова сибирские партизаны борются с бельями бандами за право свободного труда на свободной земле, а в «Железном потоке» Серафимовича связь массы с командиром Кожухом потому и сильна, что вместе они кровь проливали, вместе пахали и сеяли.

Ими, этими темами, до сих пор определяется и общий дух советской литературы и развитие всего литературного процесса. ...«Еще один раз родиться, — читаем мы в «Городах и годах» Федина, — еще один

раз, боже мой! Через сто лет. Чтобы увидеть, как люди плачут при одном упоминании об этих голах, чтобы где-нибудь поклониться истлевшему куску знамени, почитать оперативную сводку штаба рабоче-крестьянской Красной Армии! Ведь вот — смотрите! смотрите! — ветер рвет, полощет дождем отлипшую от забора, обмазанную тестом газету. А ведь через сто лет кусочек, частичку этого листа человечество в антиминс зашьет, как мощи, как святая святых!.. Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды... в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот — смотрите! — вот этой рукой держал вот так красноармейца!..»

В этих словах старого петербургского профессора, который вместе с рабочими и красноармейцами рыл окопы, обороняя родной город от банд Юденича, суровая, страстная, напряженная музыка революции, музыка борьбы.

Эту музыку революции всем существом впитывали в себя молодые писатели молодой республики Советов.

Вот почему большую ценность и для истории литературы и для истории нашего общества представляют не только произведения, но и высказывания советских литераторов об этом раннем периоде их жизненного и творческого пути.

Глубоко прав был Владимир Луговской, который сказал: «Ведь если собрать воедино автобиографии писателей старшего поколения, то какая это будет красноречивая, великодушная автобиография века».

Нам удалось собрать биографические материалы и автобиографии писателей старшего поколения, чей творческий путь начался в двадцатые годы или еще раньше — в предреволюционные десятилетия.

Предоставим же слово самим писателям. Некоторые их высказывания печатаются впервые, многие даются в новой авторской редакции.

Б. БРАЙНИНА,

Петрусь Бровка**В глухой белорусской деревне**

Детство мое было таким же, как у всех детей крестьянской бедноты. С малых лет кусок хлеба не давался даром. Работа начиналась с небольшого и все увеличивалась с годами. Сначала пас гусей, потом овец, а еще позднее коров. Водил лошадей в ночное. Нелегко было, временами хотелось погулять со сверстниками, а надо было от темна до темна следить за стадом. Но сколько было в этом и красоты! До сих пор не забыть бесконечных тропочек и путин по лугам и полям вокруг родной деревни, задумчивого гомона соснового леса, боровых островов среди бездонья извечных болот. Многообразие птичьих голосов, напевы ветра, шум косматых еловых ветвей, даже шепот луговых трав навечно запали в душу.

А песни деревенских жней! Вспоминаю — и кажется, несутся они, протяжные, немного заунывные, вдоль узеньких желтеющих полос до синего неба, что, как чашей, накрывало островерхий бор на горизонте. Помню, что много пели у нас в деревне, и больше всего о горе. Девять лет мне было, когда началась первая империалистическая война. Навсегда врезались в память заунывные жнивные песни одиноких солдаток, на плечи которых легли все заботы о семье. Впервые тогда пригодилась мне грамота. Я уже кое-как умел читать и писать. Буквально по слогам я писал под диктовку неграмотных солдаток письма мужьям на фронт. Сколько влагалось в них горя! Может быть, с того времени я понял жестокою несправедливостью бедной крестьянской судьбы. Три имения — помещиков Сушинского, Веренько и Микульского — сжимали нашу деревушку со всех сторон. Шла тяжелая война, крестьяне лежали в окопах, голодными и оборванными жили их семьи, а панские сынки раскатывали на тройках и, пьяные, горланили разгульные песни — для них войны не было.

Помню Февральскую революцию. Шумело село. Много кричали о свободе, но и тогда я своим детским сердцем не мог понять того, какая же это свобода, если помещики сидели в своих домах, а крестьяне по-прежнему не имели права даже корову выгнать на панские луга.

Двенадцатилетним встретил я Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Всем сердцем я сразу почувствовал настоящую свободу. Помещиков, как вихрем, смело из имений. Загудело, заволновалось село. Помню, с каким подъемом избирались первые комбеды. С деревянными саженьями пошли толпы крестьян и батраков по панским полям. Делили помещичью землю.

Легче стало жить и нам. Но все-таки отцу трудно было еще прокормить громадную семью. Подумал о самостоятельной жизни и я. В 1918 году, тринадцатилетним мальчуганом, поступил я на работу в Велико-Долецкий волостной военный комиссариат. Что я мог делать? Переписывал бумаги. И, надо сказать, отдавался этому делу со всем старанием. Ведь в каждой из таких бумаг говорилось о большом и новом, что принесла Советская власть в деревню, о том, что кровно интересовало крестьян, в том числе и меня, крестьянского парня.

Вскоре перешел на работу в волисполком. Работал делопроизводителем. Много мне дала в жизни эта пора, потому что тогда и в волостном центре столько было огромных, необыкновенных событий, а я находился в самой гуще новой жизни нашей деревни. В волисполком приходило много газет и другой литературы. Читал с увлечением. Все это изо дня в день больше и больше открывало мне глаза на мир.

Немало можно было бы сказать о тех днях, когда мне, юному, довелось видеть, как улучшалась жизнь бедноты, как на глазах вырастали новые хаты из бывшего панского леса, как крепла на селе Советская власть и как уходили крестьяне в Красную Армию защищать свою землю...

Аркадий Гайдар

Четырнадцатилетний командир

Мне было десять лет, когда грохнула мировая империалистическая война.

Отца с первых же дней забрали в солдаты.

Помню, забежал он к нам ночью в серой шинели. Поцеловал и ушел. Бабка зажгла зеленую лампадку, и мы, трое ребятишек, стоя на коленях, крепко молились. О чем — не помню.

Мать была фельдшерницей. Я только что поступил в первый класс реального училища. Через месяц я сбежал пешком к отцу на фронт.

На фронт я, конечно, не попал и был задержан на станции Кудьма, в девяноста верстах от своего города.

Когда меня, усталого и голодного, задержали, то я и сам был рад, потому что на фронт мне уже не хотелось, а сильно хотелось домой, но самому вернуться было стыдно.

Я рос в городке Арзамасе. Там громко гудели колокола тридцати церквей, но не было слышно заводских гудков.

Заводов там не было. Зато стояли четыре монастыря. и через город всегда тянулись вереницы божьих странников и странниц в знаменитую Саровскую пустынь.

Учился я неплохо. Слаб был только по чистописанию да по рисованию. В этих науках что-то слабоват я и до сих пор.

Когда взметнулись красные флаги Февральской революции, то и в таком захудалом городке, как Арзамас, нашлись хорошие люди.

Пристал я к ним случайно, скорее из любопытства. Их было немного, держались они кучкой. Смело выступали они на митингах. Не боялись они торжественной церковной анафемы, то есть проклятия, которому при громе всех колоколов предавали их епископы Олег и Варнава. Не смущали их озлобленные крики всех этих мясников, лабазников, монахов и престарелых кротких инокинь, которые, покинув свои кельи, со злобой шатались по митингам и собраниям.

Позже я понял, что это за люди. Это были большевики.

Но что такое большевик, по-настоящему понял я только намного позже.

Люди эти заметили, что мальчишка я любопытный, как будто бы не дурак и всегда верчусь около.

Понемногу стали они доверять мне и давать разные мелкие поручения: сбежать туда-то, отнести то-то, вызвать того-то.

А я бегал, относил, вызывал, а сам все слушал и слушал. И кто такие большевики, мне становилось все понятнее и понятнее, особенно после того, как побывал я с ними на митингах в бараках у беженцев, в лазаретах, в деревнях и у деповских рабочих.

Но самое большое доверие мне было оказано тогда, когда в октябре 1917 года разрешили мне взять винтовку и послали меня при двух патрульных третьим — для связи.

Я ушел в Красную Армию в ноябре 1918 года, когда мне не было еще четырнадцати лет.

Я был рослым, крепким мальчишкой, и вскоре после некоторых колебаний меня приняли на 6-е киевские курсы красных командиров.

В конце концов вышло так, что четырнадцать с половиной лет я уже командовал 6-й ротой 2-го полка бригады курсантов на Петлюровском фронте. А в семнадцать лет был командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом — это на Антоновщине.

Вышел я из армии в декабре 1924 года, потому что заболел.

Когда меня спрашивают, как это могло случиться, что я был таким молодым командиром, я отвечаю: это не биография у меня необыкновенная, а время было необыкновенное. Это просто обыкновенная биография в необыкновенное время.

Федор Гладков

По долгу сердца

...С самого начала Февральской революции активно принимал участие в Совете рабочих и казачьих депутатов в одной из кубанских станиц, был избран комиссаром по просвещению и проводил вместе с А. Хмельницким (наркомюстом Украины) учительский съезд. В 1918 году под напором белогвардейщины уехал в Новороссийск. В августе Новороссийск внезапно был занят белогвардейцами, все члены Совнаркома были схвачены, а партийцы рассыпались в разные стороны. Я с некоторыми товарищами прожил на территории цементного завода «Пролетарий» и с первых же дней вел революционную пропаганду и агитацию среди солдат, потом связался с красно-зелеными, между которыми были знакомые по подпольной, организованной мною группе молодежи. В это время мною написана пьеса «Бурелом», поставленная впоследствии на новороссийской сцене. С приходом Красной Армии выполнял ответственную партийную и советскую работу.

В 1920 году пошел добровольцем в Красную Армию против десанта Врангеля и работал потом в политотделе 14-й бригады IX армии. Зимой был отозван окружкомом и назначен редактором газеты «Красное Черноморье», избран в члены окружкома и потом назначен заведующим отделом народного образования. Прикреплен был к партячейке цементного завода, где мне приходилось принимать самое непосредственное участие в организационных делах по восстановлению завода. Среди напряженной партийно-советской работы написал рассказ «Зеленя» («Волки»).

Зимой 1921 года с помощью Горького выехал в Москву, где работал сначала по народному образованию, а потом фактическим редактором вновь открытого журнала «Новый мир». С 1924 года стал литератором-профессионалом.

В 1922—1923 годах напечатаны рассказы «Зеленя», «Изгой» и пьеса «Ватага», а в 1924 году закончен роман «Цемент», который начал печататься с первой книжки «Красной нови» в 1925 году.

Я не помню сейчас, как возникла у меня потребность написать весь «Цемент» в целом. Знаю только, что я, уже будучи в Москве, живя зимой 1921/22 года в подвале клуба «Гознак» на Смоленском бульваре, голодая и замерзая, вспомнил о Новороссийске, о море, о моей партийной и ответственной работе в первые два года Советской власти. Это уже была минувшая и законченная эпоха моей жизни, и я мог привести в порядок пережитые события, подвести им итоги. Картины были ярки, значительны, полны героической напряженности, хотя имели вполне будничныи характер. Люди отливались в памяти скульптурно, события горячо трепетали в воображении. В этой обстановке голода и проморо-

женных гранитных стен цоколя, в комнатенке, похожей на тюремную одиночку, я, охваченный этими воспоминаниями, под влиянием картин и событий, которые повторялись в воображении с особой болью и остротой, решил внезапно, по какому-то внутреннему толчку, написать маленький рассказ о море, о солнце, о приезде из Турции покаявшихся казаков, солдат и офицеров¹. Картина еще горела потухающим пламенем гражданской войны. В литературе это еще не было изображено.

Джамбул

Сила песни

Песня в степи — огромная сила. Ее ничем не остановишь, как не остановишь бури. Баи и манапы боялись, что в своих песнях я пушу про них худую славу и вся степь запоет вместе со мной. Так я жил до пятидесяти пяти лет, странствуя по степи и распевая песни. В пятьдесят пять лет мне стало худо. От старости и тяжелых условий я стал сутул, как старый беркут, глаза померкли, а голос ослаб. Вместо домбры у меня в руках появилась палка. Вместо широкой степи — узкая постель. Я угасал, бессильный петь хорошие песни. И лишь тогда, когда казахи восстали против белого царя, я пропел несколько песен, и их подхватила степь.

Когда мне исполнилось семьдесят лет, я увидел светлую зарю новой жизни. На землю пришла правда для всех живых существ. Я услышал имя батыра Ленина и был свидетелем победного шествия Красной Армии. Вокруг меня закипела жизнь, о которой я пел в лучших своих песнях, как о золотом сне.

Почувствовав прилив свежих сил, взял я в руки домбру. Вернулась моя молодость, и я запел.

Оглядываясь вокруг, я не узнавал знакомых степей. Поехал по аулам и стал воспевать новую жизнь.

Как всегда, я был заодно с моим народом. Я был свидетелем рождения новой страны — Казахстана, о чем мечтали целые поколения и о чем пели лучшие акыны.

Только в восемьдесят лет жизнь мне открыла глаза на многое, чего я не понимал. Жизнь началась для меня снова. Я переродился и стал петь, как двадцатипятилетний юноша, с подъемом, с большим жаром и охотой.

Всеволод Иванов

Этого не забудешь

...Несмотря на то, что Горький благоволил ко мне и всячески желал устроить мой быт, я старался реже прибегать к его помощи. Он дал мне возможность получать большой паек в Доме ученых, где снабжались крупнейшие профессора и академики Петрограда. Имея такой паек и будучи одиноким, я мог бы жить великолепно, но я считал, что мало имею на это прав. Нерегулярное получение академического пайка привело к тому, что меня, посчитав, видимо, за умершего или выбывшего из города, вычеркнули из списков. Я очутился почти без пищи...

Тогда И. А. Груздев — ныне известный биограф Горького, имевший тогда отношение к культпросвету Петроградского военного округа, —

¹ Этот эпизод стал потом главой «Цемент» под названием «Встреча покаянных».

устроил меня там лектором. Я мог получать военный паек — килограмм воблы и буханку хлеба на неделю. Я разъезжал по различным воинским частям в окрестностях Петрограда и повторял, что удалось законспектировать на лекциях в литературной студии Пролеткульта. Все свои знания я старался применить главным образом к творчеству Льва Толстого, книги которого волновали меня тогда необычайно.

К. Федин пригласил как-то меня к себе на чашку чая. Военные годы он провел в плену, в Германии, и рассказы об этих сумрачных днях волновали меня, к тому же — сам красивый, стройный, сверкая огромными глазами — он рассказывал красиво и стройно. Вдруг, прервав рассказ свой, он спросил с недоумением:

— В комнате, кажется, не холодно?

— Тепло,— ответил я, вытирая потный лоб.

И, не обращая внимания на умоляющее выражение моего лица, он безжалостно спросил:

— Почему же вы тогда сидите в шинели?

Я рассмеялся и ответил:

— Да потому, что брюки мои в таком состоянии...

Тогда он очень серьезно и решительно сказал:

— У меня двое брюк: совершенно излишняя роскошь для нашего времени!

Товарищи у меня есть, пища тоже, сапоги мне подарил Горький, брюки — Федин, чего же еще желать? Пиши да пиши!

Я написал повесть «Партизаны». М. Горький передал ее редакции журнала «Красная новь». В основу повести легло подлинное событие, о котором я слышал в Сибири.

...Наряду с многочисленными московскими кафе, где черный хлеб постепенно заменялся серым, затем белым, а морковный чай — настоящим китайским, открылись книжные магазины и развалы возле Сухаревки, на Смоленском, на Тверском и Гоголевском бульварах. Прежде всего я купил полное собрание сочинений Бальзака, о чем давно мечтал. Пачки книг росли, я их сложил в углу комнаты, прикрыл досками, и образовалось нечто вроде стола. На этих досках я и писал свои «Голубые пески».

За тонкой дверью моей комнаты я слышал, как директор «Круга» А. Н. Тихонов разговаривает по телефону о печатающихся книгах моих товарищей, запрашивает бумагу, торопит типографию, хвалит или бранит художников за обложки, просит банк выдать червонцы для выплаты гонорара. Когда я в Сибири думал о столице, она мне в значительной степени представлялась по роману Бальзака «Утраченные иллюзии». Теперь, с трепетом вглядываясь в лица людей, занимающихся литературой, я видел, что ожидаемого подсиживания и взаимного озлобления, которые должны бы существовать, если принимать «Утраченные иллюзии» всерьез,—а иначе их принимать нельзя, настолько это талантливо,—сейчас не существует. Литератор должен писать всегда хорошо — это закон. Но закон этот ныне, когда существует наш «Круг», наше государство, наш советский народ, вдeсятеро важнее и нужнее, чем когда-либо...

Лев Квитко

Свет революции

Я родился в селе Голосково, Подольской губернии. Точной даты моего рождения я не знаю — 1890 или 1893 год.

Отец был переплетчиком, учителем. Семья бедствовала, и все дети в раннем возрасте вынуждены были уйти на заработки. Один брат стал

красильщиком, другой — грузчиком, две сестры — портнихами, третья — учительницей. Отец и мать рано умерли от туберкулеза.

С десяти лет стал на себя зарабатывать. Работал на маслобойне, был красильщиком, маляром, носильщиком у торговца сырыми кожами, закройщиком в заготовочных мастерских, скитался по разным городам Украины.

В школе никогда не учился. С раннего детства стал придумывать стихи, не понимая их значения и не записывая их по малограмотности. Самоучкой научился читать и писать. Меня ожидала, по-видимому, та же участь, что и старших моих сестер и братьев, забытых мастеровых, которые в молодом возрасте все погибли от туберкулеза.

Но случилось иначе. Революция вырвала меня из беспросветности и подобно многим миллионам людей поставила на ноги.

Меня стали печатать в газетах, сборниках, и мои первые стихи, посвященные революции, были напечатаны в тогдашней большевистской газете в Киеве...

Берды Кербабев

Только с народом

...Нескончаемо тянулись дни, недели и месяцы, обволакивавшие и засасывавшие юную душу мутной тиной исламской мистики и догматики, составлявших главное содержание и цель повседневных занятий в душевных учебных комнатах и мрачных сводчатых студенческих кельях...

И вот, едва покинув эти мертвящие стены, я очутился, как застигнутый наводнением путник, в бурном, стремительном потоке событий грозных и сверкающих лет революции и гражданской войны...

Говорить об этом периоде и не говорить о народе — значит ничего не сказать... О своем родном народе, о его жизни и борьбе за лучшее будущее (ныне наше радостное настоящее!) на этом крутом, решающем повороте его многовековой истории, о его друзьях, учителях и вожаках (в первую очередь о русских рабочих, большевиках) и о его врагах (белогвардейцах, националистах, интервентах) я написал роман «Решающий шаг», которому отдал много лет упорного труда. В таком романе не могло не оказаться многих автобиографических черт, не говоря уже об авторских раздумьях, взглядах и оценках. Читатель найдет некоторые личные черточки и даже отдельные биографические детали в образе одного из персонажей этого романа — «молла» Дурды, как его иногда называли друзья, другие герои романа. Вспоминая сейчас давно написанные страницы, например короткое описание путешествия Дурды с двумя товарищами по родным степям из Теджена в Мары с письмом тедженских дейхан в штаб наступающей Красной Армии, встречу героя в Черных песках с бывшим царским охранником, верной собакой белогвардейцев и интервентов, которая едва не оборвала жизненный путь Дурды,— вспоминая все это сейчас, я говорю: «Да, путь Дурды — это и мой путь, один короткий, но трудный переход на нем. Шагай же бодрее, Дурды, друг моей молодости! Любую дорогу осилит идущий вместе с народом».

Ю. Либединский

По военным дорогам...

...Пятидесятиградусный тихий сибирский мороз, сбившиеся вдоль великого Сибирского пути разбитые, вымерзающие колчаковские войска... Красная Армия наступала стремительно—бывало, что впереди на двести

верст шло партизанское восстание, уже нарушившее все коммуникации белых. Эшелоны колчаковской армии забили железнодорожные пути от Омска до Владивостока, колчаковское командование подтянуло свои авточасти, стоявшие на железнодорожных платформах к Новониколаевску, носились слухи о том, что белые решили «драпать» на автомобилях в Китай. Чтобы предупредить это бегство, военные шоферы предусмотрительно снимали магнето с машин и с помощью новониколаевских рабочих прятали эти драгоценные сердца машин. Тогда белое командование решило, перед тем как бежать из города, сбросить автомобили в Обь — и это тоже не удалось: шоферы сговорились с железнодорожниками Новониколаевска, и драгоценные машины, которых не так было много тогда в России, были спасены. Это было торжество пролетарской солидарности, той новой морали, которую принесла с собой Советская власть. Я надеюсь, что когда-нибудь расскажу об этом незабываемом времени — о том, как партизанские части вошли в город и братались с восставшими рабочими, о том, как 51-я железная дивизия под командованием Василия Константиновича Блюхера, которого я знал еще с Челябинска, заняла город.

В тот же день я пошел в политотдел дивизии, где нашел своих земляков-челябинцев и получил там брошюры и плакаты, которые мне казались прекрасными. Я принес их своим товарищам шоферам и провел первую политическую беседу о международном и внутреннем положении Советского Союза.

В феврале 1920 года я вступил в партию.

С помещиком, банкиром на битву мы идем,
 Всем кулакам-вампирам мы гибель принесем!
 Мы, красные солдаты, за бедный люд стоим,
 За нивы и за хаты свободу отстоим!

Верно, какая неприятная и отнюдь не мастерская строфа! А я всю жизнь повторяю ее с глубоким волнением, она воскрешает самое лучшее, что было в моей молодости. Назначенный политруком автомотовелороты 26-й дивизии, я летом 1920 года не раз водил свою часть на вечернюю прогулку по пыльным и жарким улицам Барнаула. И мы пели тогда эту песню. Ее простые слова казались прекрасными — в них звенела высокая правда эпохи.

...В конце 1923 года я демобилизовался из Красной Армии, этим был положен конец целому периоду моей жизни, когда я вел политработу в рядах Красной Армии, что крепко связывало меня с жизнью. И я решил, что мне, для того чтобы черпать материал для будущих своих произведений, следует пойти на завод. В Замоскворецком райкоме партии мне посоветовали прикрепиться к ячейке завода имени Владимира Ильича. И незадолго до смерти Ленина я пошел работать на завод.

Помню, как, придя в клуб завода, я увидел на красном полотнище, прибитом к заиндевевшей стене, такие слова:

Устал — встряхнись,
 Ослаб — подтянись,
 Забыл — вспомни: революция не кончилась!

Этот призыв был суров и угрюм. Суровостью веяло от всей обстановки. Помещение было освещено слабо, паровое отопление не действовало, и только в одной из комнат топилась печка-буржуйка... Я так и не узнал, кто автор этого поистине замечательного призыва, но этими словами открыл я свою записную книжку 1924 года...

Вл. Луговской

Песня о ветре

...Пришла и ушла Февральская революция, и ослепительной молнией грянул Октябрь, очистительная гроза над миром, великий поворот и для всего моего поколения.

Сдавались юнкера соседнего с нашей гимназией Александровского училища, еще дымились догорающие дома у Никитских ворот, а на стенах уже белели первые декреты о мире и земле.

Я был на Красной площади, когда Москва хоронила своих солдат и красногвардейцев у Кремлевских стен.

И вот как-то собрались мои одноклассники на общее собрание, и вдруг все поняли, что мы, шестнадцатилетние юноши, разделены одной непроходимой чертой. Одни не понимали и не узнавали других.

Октябрь повернул и перевернул все мои мысли, заставил почти задохнуться ветром времени, и с тех пор слово «ветер» в моих стихах стало для меня синонимом революции, вечного движения вперед, неуспокоенности, бодрой и радостной силы. Отец сразу же пошел работать в Наркомпрос, а я, досрочно кончив гимназию, поступил в Первый Московский университет, но очень скоро уехал в полевой контроль Западного фронта.

Темные и голодные города Смоленщины, кипевшая вокруг борьба с кулацкими восстаниями, романтика революции, необыкновенный подъем, который я ощущал в те дни, незабываемы. Это время олицетворено для меня в собирательном образе комиссара Сережи Зыкова и других комиссаров в ряде моих поэм и стихов.

...В 1919 году начался самый светлый — курсантский — период моей юности. Я поступил в Главную школу всеобуча, окончил ее и перешел в Военно-педагогический институт.

Вот тут-то и вырвались стихи, столь долго сдерживаемые. Писал я днем и ночью. Читал свои стихи Брюсову, Бальмонту, тогда еще не ушедшему в эмиграцию. Тут началась моя дружба со Всеволодом Пудовкиным и наше общее увлечение Маяковским. Вокруг все бурлило, зарождались новые течения в литературе и искусстве, и мы, слушатели Военного института, работавшие по четырнадцать часов в сутки, вдохновенно отдавались всему новому и удивительному, что принесла с собой революция. Ставили «левые» спектакли, выпускали машинописные сборники стихов, спорили до утра и вообще жили напряженной творческой жизнью.

...Все эти годы, с 1919 по 1923, я жил интересами наших военных курсов и школ с их суровой самоотверженностью, романтикой, героическими традициями, с характерными фигурами курсантов, командиров и комиссаров («Комиссар Усов», «Гражданская панихида»¹ и другие).

Я еще в неоплатном долгу перед этим временем.

В конце 1922 года я поступил на службу в Кремль. Служил в Управлении делами Кремля и в военной школе ВЦИК.

Я видел последний приезд Ленина в Кремль. В эти далекие дни Кремль был тихий, между булыжниками пробивалась трава, звонко и равномерно били куранты, шли курсанты в караул. Из-за Москвы-реки дул какой-то удивительно свежий, морской ветер, и Кремль казался мне кораблем, плывущим через время и пространство...

¹ Названия ранних произведений Вл. Луговского.

Кави Наджми

Заветы Горького

...Долго пришлось мне терпеть лишения и мытарства. При жизни родителей я помогал им по мере сил, работая в летние месяцы у актюбинских богачей. После окончания школы вынужден был работать уже круглый год. И мечтать нельзя было тогда о литературном творчестве.

Лишь после великих перемен в жизни нашей страны открылся передо мной светлый простор. То, что пришлось увидеть и испытать, живя среди бедноты и рабочего люда, явилось великолепной школой: я понял еще тогда историческую роль русского рабочего класса и его партии в деле освобождения трудящихся всех национальностей. Это и привело меня — восемнадцатилетнего парня — в ряды Коммунистической партии. Я стал бойцом Красной Армии в борьбе против иностранных захватчиков и их наймитов. И первые мои произведения, напечатанные на страницах советских газет, были посвящены этой борьбе.

В годы гражданской войны удавалось писать лишь урывками. Жизнь выдвигала столько необычайных, волнующих тем, но я не знал, как их воплотить в живое, действенное слово. А в это время на страницах печати, в «Окнах РОСТА» появились стихи Маяковского, зажигающие, зовущие, особенные и по форме и по содержанию. Так никто еще до него не писал. Стихи эти невозможно было забыть.

До знакомства с Маяковским я старался освоить сложившуюся в татарской литературе традиционную технику стихосложения. Теперь меня это не удовлетворяло. Я стремился найти свою форму, новую, непривычную. И в эту пору мучительных исканий меня направили учиться в Московский военно-педагогический институт.

Общежитие института находилось в особняке напротив зоопарка. Как-то в свободный от занятий вечер в нашей комнате организовано было чтение вслух романа Чернышевского «Что делать?». Совсем близко, в зоопарке зло рычали голодные звери. Но мы не слышали наших беспокойных соседей. Мы не чувствовали и собственного голода (из скудного курсантского пайка мы добровольно отчисляли долю голодающим Поволжья и в подшефный детдом). Со страниц романа, написанного в застенках Алексеевского рavelина, вставали мужественные борцы, носители высокой морали, светлой и доброй воли. Мне мучительно хотелось создать такие же сильные образы, и я понял, что мне надо еще много учиться, много думать.

Однако, читая запоем литературные «новинки», слушая выступления поэтов разных литературных групп (имажинистов, ничевоков и других), я по неопытности решил, что произошел какой-то переворот в самом смысле слов, и стал выводить по «новейшим образцам» запутанные, несуразные строки. К моему счастью, эта болезнь левизны быстро прошла. Сами читатели убедили меня, что словесные выкрутасы никому не нужны... Найти правильный путь мне помог Горький.

Впервые об Алексее Максимовиче я прочитал в статье Тукая, посвященной смерти Льва Толстого. Мучительно тяжело переживая огромную утрату, Тукай еще с большей силой потянулся к Горькому, к его гордому, вольному, доброму слову.

...И вот в 1928 году Горький приезжает в Казань. Это было летом, в жаркий, солнечный день. К дебаркадеру причалил теплоход «Урицкий». Берег Волги, полный народа, радовался, ликовал.

— Привет Алексею Максимовичу! Нашему Горькому — ура!

Горький пытливым расспрашивал нас о жизни, о книгах, звал глубже изучать жизнь, путешествовать по великим просторам нашей Родины...

После больших колебаний, долго не решаясь занимать время и внимание великого писателя, я все же передал ему подстрочный перевод своего рассказа «Жребий». Я думал тогда, что, занятый множеством больших, важных дел, Горький едва ли сумеет прочесть мой несовершенный труд. Но как я был неправ! Через несколько дней после отъезда из Казани Алексей Максимович прислал письмо: «Получил Ваш подарок — рукопись рассказа «Жребий». Если разрешите, я бы посоветовал Вам писать проще: истинная красота и мудрость всегда в простоте...»

Б. Полевой

Глаз журналиста

Редактор «Тверской правды» ни на минуту не расставался с газетой. Он так и жил вместе с семьей в помещении редакции, в маленькой комнатке наверху. И от сотрульников требовал такой же преданности газете, в особенности от молодежи, которая хотя и не работала постоянно в редакции, но тяготела к газетному делу: разбейся, а задание редакции выполни, добудь материал, и не только добудь, но и интересно напиши... У этого питерского наборщика, человека не очень образованного, было замечательное большевистское чутье на все новое, небывалое, что рождал и нес в себе каждый день страны, тогда еще только приближавшейся к своему десятилетию. Это новое, эти ростки социализма, бурно пробивавшиеся и на предприятиях и в селах, в редакции ценили превыше всего, умели заметить, подхватить и, как говорят газетчики, «подать».

— Зрение, особое репортерское зрение развивать надо. Гм... Гм... — говорилось нам. — На аршин под землей чтобы видеть. И ухо, большевистское ухо. Гм... Гм... Чтобы слышать, как у человека сердце бьется. Иначе ты не газетчик — пшено.

В одно лето, договорившись с редакцией о серии очерков о малоизвестном тогда быте верхневолжских лесорубов и сплавщиков, я отправился в Селижаровский уезд. Там нанялся на лесоучасток, потом сплавивал гонки, потом на них тронулся в путь в качестве «заднего», то есть третьего плотовщика у кормового весла. Так на плотках и спустился от истоков Волги до Твери и ниже до Рыбинска, где и закончил путешествие у дровяной пристани, изрядно даже заработав при этом, ибо сплавщикам платили в те дни куда больше, чем репортерам. А пока мы плыли, газета напечатала несколько очерков «На плотках». Они писались по ночам у костерика, дымившегося перед лоцманским шалашом на средней гонке...

Ник. Тихонов

Меня сделал поэтом Октябрь!

В год Октябрьской революции мне было только двадцать лет. Под впечатлением первых месяцев революции я написал целую книгу стихов, которая осталась в рукописи, хотя некоторые стихотворения, входившие в нее, читались на митингах и литературных вечерах красноармейской самодеятельности. Книга называлась «Перекресток утопий». Она посвящалась борьбе с контрреволюцией, победе пролетариата. Стихи этой книги были декларативны, наивны, слабы. Ко времени, когда я смог отобрать стихи для своей первой книги, я уже прошел битвы гражданской войны, принял после демобилизации твердое решение заняться литературой всерьез. Мечтания моих юных лет воплощались в кипучей революционной действительности. Я помню, с каким волнением я читал

настоящему индусу, брамину Вафе, в Москве мою маленькую поэму про индусского мальчика «Сами», написанную в девятнадцатом году и напечатанную через год в журнале «Красная новь». Вафа, говоривший хорошо по-русски, выслушал и сказал, что вообще это условно, но похоже.

Я окунулся с головой в шумный и пестрый литературный мир двадцатых годов. Вышли мои первые книги «Орда» и «Брага».

В те времена множество литературных направлений, школ и школок боролось между собой. Это было время дискуссий и литературных споров о направлении отечественной поэзии, о судьбах поэзии, о месте поэта в рабочем строю.

...Стихотворений написано мной за долгие годы очень много. Есть среди них стихи, звучащие уже десятки лет, есть стихи суховатые или чересчур сложные. Поиски лучшей формы иногда заводили меня в дебри слишком формальных исканий, и такие стихи я не перепечатаваю. Много юношеских стихов совсем не увидело света, лежит в архиве, хотя есть там стихи искренние и хорошие, но сегодня они, конечно, не могут звучать так, как звучали в те далекие дни молодости.

Я, как и многие поэты нашего времени, могу сказать, что меня сделала поэтом Октябрьская революция. Она открыла мне глаза на мир и воспитала во мне чувство того великого интернационализма, которое соединяет народы и дает им силу в борьбе за будущее, за укрепление лагеря мира, за выход демократических народов на путь социализма.

Быть поэтом и прозаиком в такое удивительное время, как наше, большая радость и большая ответственность.

А. Фадеев

Наш общий путь

...В Коммунистической партии начал работать с осени 1918 года — в колчаковском подполье. Участвовал в партизанском движении против Колчака и интервентских войск (1919—1920), после разгрома Колчака — в рядах Красной Армии (называвшейся, впрочем, в то время на Дальнем Востоке Народно-революционной армией) в кампаниях против японских интервентских войск в апреле 1920 года в Приморье и против атамана Семенова зимой 1920/21 года в Забайкалье.

...Полные юношеских надежд, с томиками Максима Горького и Некрасова в школьном ранце, мы вступили в революцию.

Мы полны были пафоса освободительного, потому что над Сибирью и русским Дальним Востоком утвердилась к тому времени власть адмирала Колчака, более жестокая, чем старая власть. Мы были полны пафоса патриотического, потому что родную землю топтали подкованные башмаки японских интервентов.

Как писатель, своим рождением я обязан этому времени.

Я познал лучшие стороны народа, из которого вышел. В течение трех лет вместе с ним я прошел тысячи километров дорог, спал под одной шинелью и ел из одного солдатского котелка.

Я впервые познал, что за люди идут во главе народа. И я понял, что это такие же люди, как и все, но это лучшие сыновья и дочери народа. Если бы народ не нашел их в своей среде, он навсегда остался бы прозябать в нищете и бесправии.

...Когда по окончании гражданской войны мы стали сходитьсь из разных концов нашей необъятной Родины, — партийные, а еще больше беспартийные люди, — мы поразились тому, сколь общи наши биографии при разности индивидуальных судеб.

Таков был путь Фурманова, автора книги «Чапаев»... Таков был путь более молодого и, может быть, более талантливого среди нас Шолохова...

Мы входили в литературу волна за волной, нас было много. Мы принесли свой личный опыт, свою индивидуальность. Нас соединяло ощущение нового мира, как своего, и любовь к нему...

К. Федин

Романтика борьбы

...Мне представилась соблазнительная возможность работать хотя бы в провинциальной печати, и я поехал в начале 1919 года на Волгу, в Сызрань. Здесь при отделе народного образования мной был основан небольшой литературный журнал, где печаталась местная советская молодежь и некоторые «писатели из народа» (как именовались некоторые последователи поэта Сурикова), присылавшие свои рукописи из Симбирска, Самары, Суздали, Твери и т. д. Я редактировал газету «Сызранский коммунар», работал секретарем городского исполкома, с жаром отдаваясь жизни, полной ломки, новшеств и мечтаний, которые, будучи «уездными» по масштабу, внутренне были для меня огромны, как революция.

Короткие месяцы работы в Сызрани оставили сильный отпечаток на всем моем жизненном пути. Кроме выучки газетчика, которому приходилось писать все — от передовых статей и фельетонов до театральных и книжных рецензий — или вести наряду с городским репортажем международный обзор, революционные поволжские события 1919 года дали мне неиссякаемый материал для писательского труда. Перед тем почти пятилетие оторванный от Родины и вынужденно замкнутый в себе, я очутился в мире общей борьбы за социалистическое будущее народа и быстро проходил свою начальную школу общественной жизни.

Осенью я был мобилизован на фронт и очутился в Петрограде в самый разгар наступления Юденича. Сначала меня направили в Отдельную башкирскую кавалерийскую дивизию — здесь я заведовал экспедицией, снабжая печатью четыре полка дивизии, сражавшиеся на фронте. Потом я был переведен в редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда», где и проработал помощником редактора до начала 1921 года.

Ленинград занял исключительное место во всем моем существовании. Воздействие его на сознание нельзя назвать иначе, как поэтическим. Традиции в области искусства и культуры труда, вековая романтика революционной борьбы, слава Октября и тот патриотический характер ленинградца, который известен повсюду, — все здесь создано для того, чтобы верить в жизнь и ценить ее дары. В Ленинграде я прожил, если не считать заграничных поездок, восемнадцать лет и глубоко дорожу тем, что мною почерпнуто в его революционной культуре.

В 1920 году я познакомился с Горьким. Нынче, когда прошло больше трех десятилетий с того памятного февральского дня, я могу сказать еще убежденнее, чем раньше, что факт этого знакомства с Горьким сделаня громадным событием моей писательской жизни. Первая же встреча с ним положила начало сердечному общению, длившемуся до его смерти.

Живой Горький с его обаянием, его художественным и моральным авторитетом нередко бывал первым судьей моих рассказов и повестей. Его роль в формировании зарождавшейся советской литературы двадцатых годов огромна, его участие в писательских судьбах часто определяло все дальнейшее развитие дарований и украшало путь молодого литератора.

Горький никогда не уставал пробуждать в писателе интерес к жизни, обращать его взор на действительность. Это воздействие его было благотворно и для большинства писателей из кружка «Серрапионовы братья», к которому я принадлежал. Этот кружок был выразителем формалистических тенденций в буржуазной литературе, в первую пору остро и вредно сказавшихся на молодых писателях — «серапионах», вслед за «формальной школой» рассматривавших всякое литературное произведение не как отражение действительности с ее общественной борьбой, а только как «сумму стилевых приемов». Горьковское начало, служившее нравственной и эстетической опорой в те ранние годы моей работы, помогло мне и сохранило свое значение для меня на всю жизнь.

...В течение шести лет, с конца 1919 года, я был тесно связан с ленинградской журналистикой, печатал статьи, фельетоны, рассказы, редактировал (1921—1924) критико-библиографический журнал «Книга и революция». Рассказы мои, опубликованные в газетах того времени, гораздо больше отражали впечатления действительности — войну и революцию, чем первый мой сборник, вышедший в 1923 году.

На этой книге («Пустырь») сказались все тормоза, замедлившие мой рост, — за мной все еще тянулся накопленный до войны старый материал, не переработанный воображением, не воплощенный в меру сил, какими я обладал. Надо было сделать большое усилие, чтобы наконец от него освободиться. «Пустырем» я ставил точку на своих несбывшихся ожиданиях со времени первого рассказа, возвращенного мне редакцией, до первого романа, уничтоженного мной самим.

С 1922 до 1924 года я писал роман «Города и годы». Всем своим строем он как бы выразил пройденный мною путь: по существу это было образным осмысливанием переживаний мировой войны, вынесенных из германского плена, и жизненного опыта, которым щедро наделяла революция. Форма романа (особенно его композиция) явилась отражением тогдашней литературной борьбы за новшества. Собранные мною в плену газетные вырезки и по виду ничтожные документы германского военного быта выполнили свою службу, помогая воссоздавать картину пресловутого прусского филистерства, национальной нетерпимости, опьянения кровью и, наконец, жестокого разочарования немцев после разгрома и бегства Вильгельма. С приходом к власти Гитлера немецкий перевод этого романа был сожжен в Германии вместе с другими книгами, разоблачавшими первую мировую войну...

Д.м. Фурманов

Твердое решение

Ударила революция 1917 года.

Пламенные настроения при малой политической школе толкнули быть сначала максималистом, далее анархистом, и казалось, новый желанный мир можно построить при помощи бомб, безвластия, добровольчества всех и во всем...

А жизнь толкнула работать в Совете рабочих депутатов (товарищем председателя), дальше — в партию к большевикам, в июне 1918 года. В этом моем повороте огромную роль сыграл Фрунзе — беседы с ним расколотили последние остатки анархических иллюзий. Вскоре работал секретарем губкома партии, членом губисполкома.

...Теперь пришел к решению вопроса большой важности. Вопрос, над которым долгими месяцами раздумывал я, который все время точил мою мысль. Вопрос о Красной Армии. Долго я носил в душе мечту о поступлении в ряды рабочей армии. Теперь мечта эта должна осуществиться.

Нечего оттягивать дни. Вопрос должен быть решен завтра же. Мало теперь одной любви к рабочим, мало одного сознания, что у тебя все самое святое и дорогое — в защите угнетенных и обездоленных людей... Надо же не на словах, а на деле доказать, что ты во всякую минуту с ними и всегда готов бороться за их дело, на служение которому теперь ушло все, что есть честного и благородного... В такую бурную минуту неужели я могу спокойно учиться, читать, сидеть дома и чувствовать, что там без тебя совершается великое дело, что бойцы сражаются, не жалея жизни?..

...Потом с отрядом Фрунзе на фронт. И там комиссаром 25-й Чапаевской дивизии, начальником политуправления Туркестанского фронта, начальником политотдела Кубанской армии, ходил в тыл к белым на Кубани комиссаром красного десанта, которым командовал Епифан Ковтюх.

...Теперь прибило к мраморному берегу — скале. На нем построю я свою твердыню — убеждение. Только теперь начинается сознательная работа. Работа определенно классовая, твердая, уверенная, нещадная борьба — с классовым врагом. До сих пор она была плодом настроения — темперамента; отныне она будет плодом научно обоснованной смелой теории... Были колебания, была неуверенность, но события, думы, разговоры гнали меня неизбежно к берегу коммунизма. Не хватало только смелости заявить открыто. Теперь все кончено. Теперь Дмитрий Фурманов — коммунист-большевик.

М. Шолохов

Первые ростки

...Взаимоотношения, издавна установившиеся между советскими писателями и читателями, — совершенно иные, нежели в капиталистических странах. Народ, которому мы служим своим искусством, ежедневно говорит о нашей работе устами читателей. Нас критикуют, ругают, когда надо, поддерживают под локоть при творческих неудачах, хвалят, когда мы этого заслуживаем, и каждый из нас постоянно чувствует эту направляющую исполинскую трудовую и ласковую руку народа-созидателя...

Мы с гордостью можем сказать, что являемся первыми ростками возвращенной партией советской интеллигенции. За нами последуют десятки миллионов приобщившихся к культуре людей...

С. Щупачев

Я стал партийным парнем...

...В середине лета 1918 года наша местность была занята Колчаком. Белые вскоре провели мобилизацию. Был мобилизован и я. Но я твердо решил, что стрелять в своих ни за что не буду. Накурившись до сердцебиения махорки, я пошел в полковой околоток и пожаловался фельдшеру на боль в груди. Он рассеянно несколько раз приставил трубку к моей груди и, не раздумывая, написал: «В нестроевые». Меня зачислили в учебную команду каптенармусом. Это было в Екатеринбурге (Свердловске).

Весной 1919 года отправили на фронт и учебную команду.

Находясь у белых, я не один раз был очевидцем жестокой расправы колчаковцев над рабочими и крестьянами. На всю жизнь запомнился мне один трагический эпизод. Учебная команда, двигаясь на фронт, на сутки остановилась в одной деревне. Деревня была забита телегами и

двуколками. Дымила походная кухня, солдаты с котелками становились к ней в очередь. Неожиданно раздался вопль женщины, и все обернулось к изрезанному ручьями косогору. Там готовились расстреливать какого-то человека. Повар рассказал, что это деревенский большевик, арестованный сегодня утром. Было видно, как солдаты на косогоре вскинули винтовки. Маленький мальчик прижался к матери, а человек, в которого целились солдаты, снял шапку и что-то крикнул.

Потом я видел, как расстрелянного везли в деревню. Мальчик, идя рядом с матерью, пугливо озирался по сторонам. Угрюмо смотрели на все это колчаковские солдаты, молча отворачивались и расходились. А мне хотелось кому-то высказать все, что я чувствовал, слова накопились на губах. В тот же вечер я написал об этом стихотворение и спрятал его в чехол шанцевой лопаты, где хранил и другие свои стихи. Когда потом я перебежал на сторону Красной Армии, это стихотворение было напечатано в листовках, которые разбрасывали с самолета над окопами белых.

На сторону Красной Армии мне удалось перебежать на станции Бугуруслан в середине апреля 1919 года. Перебежал я в легендарную Чапаевскую дивизию. Там мне довелось видеть Фурманова. Он куда-то ехал на деревенском ходке. Стоявший рядом со мной красноармеец с гордостью сказал: «Это наш комиссар. Студент!» Последнее слово было произнесено с особым подчеркиванием: дескать, образованный, а вот видишь, вместе с нами — рабочими и крестьянами — пошел против буржуев.

...В Самаре несколько раз видел Куйбышева. Он запомнился мне высоким, с большим открытым лбом, в военной суконной гимнастерке; был он всегда весел, прост в обращении. Один раз я слышал его на митинге; он выступал в театре перед красноармейцами, отправляющимися на фронт. Речь его была необыкновенной силы и убедительности. Красноармейцы слушали его с горящими глазами, готовые хоть сейчас в бой.

Наконец меня зачислили красноармейцем в часть, а через несколько недель нашу роту перевели в город Пугачев. Там я пробыл до осени. Участвовал в бою против уральских белоказаков, прорвавшихся к городу. В местной газете «Коммунист-большевик» печатали мои стихи. Той же осенью 1919 года во время «Партийной недели» я вступил в Коммунистическую партию.

...На город шел Колчак. У мыловарни
Черпел окоп, в грязи была сирень,
А я сиял: я стал партийным парнем
В осенний тот благословенный день.

Эти строчки были написаны восемнадцать лет спустя, но они точно передают мое тогдашнее душевное состояние.



АЛЕКСАНДР ИСБАХ

★

НА ЛИНИИ ОГНЯ

(Луи Арагон в боях за социалистический реализм)

Наши недруги за рубежом продолжают вести ожесточенную кампанию против советской литературы, против метода социалистического реализма.

В боях с реакцией, с ревизионистами всех оттенков растут и крепнут ряды прогрессивных писателей мира, разрабатывающих проблемы марксистско-ленинской эстетики, утверждающих метод социалистического реализма, его особенности и специфику развития в каждой отдельной стране.

Высказывания наших зарубежных друзей о проблемах социалистического реализма можно объединить в единую, довольно стройную систему, которая тесно связана с эстетическими принципами основоположника социалистического реализма Максима Горького. Здесь следует выделить и труды Анри Барбюса, и статьи Ж.-Р. Блока, и книгу Ральфа Фокса, и более поздние исследования по эстетике Т. Павлова, статьи Р. Гароди, Дж. Линдсея, П. Дэкса, А. Стиля и многих других.

Проблемы развития социалистического реализма в литературе капиталистических стран занимают большое место в творчестве Луи Арагона. Теоретические высказывания его на протяжении ряда лет находят свое воплощение и в его художественной практике.

Путь самого Арагона к социалистическому реализму был не прост. Ему понадобилось мужество, чтобы сорвать с себя тот «теплый плащ предрассудков», о котором говорил, прощаясь с прошлым, шестидесятилетний Ромен Роллан.

Арагон принадлежит к тому поколению французской литературы, которое вошло в жизнь и искусство прямо из окопов первой мировой войны. Этому «потерянному поколению» посвятили немало страниц самые

различные писатели Европы и Америки— Олдингтон, Хемингуэй, Ремарк, Людвиг Ренн и многие другие. К некоторым русским писателям, тоже прошедшим сквозь испытания империалистической войны, к Маяковскому и Тихонову, к Фурманову и Вишневскому вслед за утраченными иллюзиями пришло ясное утверждение нового мира, мира социализма, и это было связано прежде всего с Октябрьской революцией. Трагедия писателей «потерянного поколения» за рубежом заключалась в том, что большинство из них, осознав в годы первой мировой войны неустроенность капиталистического мира, сказав ему свое «нет», не сумело сказать «да» новому миру, потому что идеалы его были для них еще туманны. Только немногие из них пошли по тому пути, который наметили Поль Вайян-Кутюрье и Анри Барбюс.

Луи Арагон, прошедший первую войну еще юношей, вышел из нее бунтарем, протестующим против старого мира. Однако этот протест выражался еще в анархической форме, не был связан с конкретными положительными идеалами.

Идейный кризис буржуазной литературы первых послевоенных лет нашел свое выражение и в борьбе против реализма, которую повели «дадаисты», разрушая форму и ниспровергая все принципы окружающего их общества, а за ними школа сюрреализма, во главе которой встали Луи Арагон и Андре Бретон, в которой начинал свой поэтический путь Поль Элюар. Впоследствии Арагон и Элюар резко порвут с Бретоном, скатившимся к троцкизму. Они поймут и бесплодность сюрреалистских исканий в области формы и иссушающую опустошенность сюрреалистского нигилизма.

Впрочем, Арагон никогда не доходил до

абсолютного отрицания реального мира. Его всегда привлекали живые черты окружающей его действительности: Париж и его бульвары, дыхание большого города и морские берега, и любимая женщина. «День меня пронизывает», — пишет Арагон. Сквозь разорванную зыбкость дадаистских образов в его произведениях прорывается и резкая критика буржуазного мира и мечта о будущем: «Долой этот мир, я его построю более прекрасным».

Что же оказало влияние на мировоззрение Арагона? Что явилось причиной его отхода от сюрреализма?

Причин было много. И главные среди них — общественно-политическая жизнь Франции, активизация рабочего движения, влияние идей коммунистической партии, новой, революционной литературы, произведений Поля Вайяна-Кутюрье и Анри Барбюса, влияние мира строящегося социализма — страны Советов. «Я помню, — говорил, вспоминая об этом времени, Арагон, — с каким волнением следил за Турским конгрессом, когда там появилась на глазах у полиции Клара Цеткин и родилась Французская коммунистическая партия».

Путь французской интеллигенции к пролетариату все больше волновал Арагона. Об этом он писал и в предисловии к «Либертинаж» (1924), и в статье «Пролетариат духа» (1925), и в книге «Парижский крестьянин» (1925—1926). Наряду с резкой критикой буржуазной культуры Арагон намечал уже дорогу к истинно реалистическому искусству.

Он не просто отошел от сюрреализма — отошел с боями, во весь голос заявив о владеющих им новых идеях, новых взглядах на искусство, связывая эти взгляды со своей политической борьбой.

Герои произведений Арагона в начале двадцатых годов — люди мятущиеся, стремящиеся к действию, мечтающие об ином, лучшем мире, но еще не умеющие найти путь к нему. Они честно ищут истину, но порой заблуждаются, отчаиваются, терпят поражения.

Большое влияние оказала на Арагона кампания протеста против войны в Марокко, которая велась в 1925 году. Одним из руководителей этой кампании был Морис Торез. С призывом принять в ней участие обращался к французской интеллигенции Анри Барбюс. Манифест «Против войны в Марокко» печатался на обратной стороне

репродукций антимилитаристской картины Теофила Стейнлена. Под манифестом стояли подписи лучших прогрессивных писателей Франции. Среди них была и подпись Арагона.

В 1927 году Луи Арагон вступил в Коммунистическую партию. Большую роль в творчестве Арагона сыграло его знакомство с жизнью Советского Союза, с советской литературой и прежде всего с Владимиром Маяковским.

«После полосы сомнений и колебаний у меня была встреча, которая должна была изменить мою жизнь...» — говорил Арагон. О встрече этой он рассказал обстоятельно и проникновенно:

«Это было в одном из монпарнасских кафе, где я проводил один осенний вечер. Там сверкали огни и женщины... Вдруг кто-то окликнул меня: «Поэт Владимир Маяковский просит вас сесть за его столик...» Он был там. Он сделал жест рукой. Он не говорил по-французски. И это была та минута, которая должна была изменить мою жизнь. Поэт, который сумел очутиться на гребне революционной волны, этот поэт должен был оказаться связью между миром и мною. Это было первое звено цепи, которую я приемлю и показываю сегодня всем у запястья моей руки, цепи, соединившей меня снова с тем внешним миром, который пристрастные философы научили меня отрицать... но который мы, материалисты, сумеем переделать и в котором я отныне вижу не только безобразное лицо врага, но и глубокие взгляды миллионов мужчин и женщин, к которым, как научил меня поэт Маяковский, можно было и нужно было обращаться, ибо это те, кто переделывает наш мир».

Знаменательно, что и Маяковский увидел в Арагоне зарю новой поэзии во Франции. В своих путевых заметках, рассказывая о встречах с поэтами Франции, о реакционности Валери и Кокто, он говорит о том, что встретил в Париже близких ему поэтов, в частности Луи Арагона.

Маяковского и Арагона сблизило ощущение поэзии, как оружия в борьбе. Конец двадцатых годов знаменует дальнейшее развитие борьбы Арагона против формалистского искусства. В годы обострившейся классовой борьбы, в годы резкой клеветнической кампании против Советского Союза Арагон боролся своим пером в первых рядах Французской коммунистической

партии, рядом с Барбюсом и Вайяном-Кутюрье. Он выступал против тех писателей, которые воспевали войну, и против тех, что считали себя жрецами чистого искусства.

Проблема участия интеллигенции в общей борьбе трудящихся — одна из основных проблем творчества Арагона.

Путь его к революции, к реализму связан с поисками нового, положительного героя, который не только видит фальшь буржуазного мира, но и вмешивается в борьбу, который не бежит из этого уродливого мира, но борется за то, чтобы построить новый мир.

Осенью 1930 года Луи Арагон и Эльза Триоле приехали в Харьков на вторую международную конференцию революционных писателей. Арагон еще не говорил по-русски. Но он сразу нашел общий язык с советскими писателями. Молодой, порывистый, страстный, он пылливо знакомился с жизнью Советского Союза, с политикой, экономикой, бытом, литературой. Выступая на конференции, Арагон утверждал: «Защищать пятилетний план, защищать социалистическое строительство — это значит защищать не один лишь Советский Союз, а мировой пролетариат...»

После первых поездок в СССР Арагон написал свои известные книги «Красный фронт» и «Ура, Урал», в которых стремился претворить в своей художественной практике идеи о партийности и действительности поэзии. Вместе с Роменом Ролланом, Анри Барбюсом и Вайяном-Кутюрье Арагон вошел в редакцию боевого журнала «Коммюнь», возглавляя прогрессивный отряд французской литературы. На Первом Всесоюзном съезде писателей Арагон представлял ассоциацию революционных писателей и художников Франции.

В своем выступлении на этом съезде Арагон говорил о социалистическом реализме, «выдвинутом в СССР не только в масштабе национальностей СССР, но и в масштабе национальностей всего земного шара».

В 1934 году вышел в свет роман Арагона «Базельские колокола», открывающий собой цикл романов «Реальный мир». Весь этот цикл задуман как своеобразная эпопея, где герои переходят из книги в книгу, где пересекаются многочисленные сюжетные линии, где действительность раскрывается в ее сложности и многогранности.

После «Базельских колоколов», парал-

лельно с работой над новым романом «Богатые кварталы», Арагон публикует ряд теоретических статей о французском романе («Эпопея, идиллия и история», «В защиту французского романа» и другие). В этих статьях он прослеживает историю французского романа с XVIII века до наших дней. Вольтер, Руссо, Дидро, Бальзак, Стендаль, Флобер, Золя, Роллан — так очерчивается столбовой путь реалистического романа во Франции, путь, на котором возникает и «Огонь» Барбюса.

«Наш французский роман, — пишет Арагон, — не роман продавцов славы и пушек... Французский роман движет вперед живые и революционные мысли; это роман, который изображает французский народ... Народ, создавший баррикады и энциклопедию».

Арагон развивает в своих статьях мысль о национальных традициях коммунистов, выраженную в докладе Мориса Тореза на III съезде ФКП в Виллербане, докладе, в котором Торез говорил о двух Франциях, о ее двух культурах, о том, что «мы отняли «Марсельезу» у потомков и последователей эмигрантов Кобленца».

Новый образ, возникший на пути от критического к социалистическому реализму в романе Арагона «Богатые кварталы», — образ Армана, младшего сына доктора Барбентана. В галерее «молодых людей» Франции Арман следует за Жаком Тибо из эпопеи Роже Мартен дю Гара и Марком Ривьером — героем Роллана. Однако Арман не только продолжает традиции своих литературных предшественников. Арагон показывает развитие этого образа. Даже Марк Ривьер, отошедший от позиции «над схваткой» и погибший в борьбе против фашизма, был показан одиноким. После долгих колебаний Марк избрал свой путь: это был путь борьбы с реакцией. Однако он умер на заре этой борьбы, только закинув «якорь в будущее».

Арман Барбентан весь в движении. Ведя его долгим тернистым путем, Арагон показывает личность в ее революционном развитии. Он показывает интеллигента, порывающего со своим классом, приходящего к народу и занимающему свое место в рядах борцов.

Образ Армана переходит в следующие книги цикла; в романе «Коммунисты» Арман Барбентан выступает перед нами уже как активный борец — член Коммунистической партии.

* * *

В полемике с противниками романа «Коммунисты», с противниками его реалистической концепции, Арагон прямо и определенно говорит о том, как он понимает развитие современного реализма. «Реализм, который я защищаю, — пишет Арагон, — хочет познавать действительность, знакомить с нею и преобразовать ее». Эта тема преобразования главенствует во всем его дальнейшем творчестве. Эту же позицию он отстаивает в дискуссиях с критиками из «Фигаро», «Пополер» и других буржуазных газет.

Продолжая работу над романами из цикла «Реальный мир», Арагон резко обрушивается на французский футуризм во всех его формах. «Я ставлю себе в заслугу, — говорил Арагон на Международном конгрессе защиты культуры в 1935 году, — что был одним из тех, кто сильно ударил по этой безобразной жестянке из-под сардин».

Обращаясь к «эстетам» и декадентам, Арагон пламенно восклицал: «Нет ли между вами таких, которые настолько полюбили «эксперимент», что даже в застенках S. A., в гитлеровских розгах и терроре видят интересные (подчеркнуто Арагоном. — А. И.) аксессуары пороков и, в конце концов, человеческие ценности... Бойтесь, чтобы в глазах будущего вы не оказались вместе с вашими «эротическими предметами» и салонными играми, бок о бок с нелепым Маринетти, тоже экспериментатором, для которого великое зло мира — это скука... Я требую здесь возврата к реальности, — восклицал Арагон. — Нужно, чтобы поэты сумели во всем порвать с мертвым грузом приятной им фантазмагории. Я ставлю им здесь в пример Маяковского... Он сумел с того же пути, который привел его превосходительством Маринетти к высшим фашистским почестям, броситься в поток реальности, в красную реку истории. Футурист Маяковский с первых своих стихов отличается от футуриста Маринетти или от футуриста Аполлинера тем самым реализмом, которым ценны Вийон, Гюго, Рембо и который с 1915 года выражается в протесте «Облака в штанах»:

Пока выкипчивают, рифмами пиллика,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица исчертится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

...Я требую возврата к реальности, и таков урок, данный нам Маяковским, вся поэзия которого исходит из реальных условий революции, — Маяковским, сражавшимся со вшами, невежеством и туберкулезом, Маяковским — агитатором, горланом, жожаком... Нам нечего скрывать, — заключил свою речь Арагон, — ...мы с радостью принимаем лозунг советской литературы: социалистический реализм... Я требую возврата к реальности — во имя реальности, взойшедшей на шестой части земного шара, во имя того, кто первый сумел предвидеть эту реальность, кто весной 1845 года писал в Брюсселе: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

В выступлениях, статьях и книгах, написанных в годы, предшествующие второй мировой войне, Арагон выступал против фашизма и одновременно вел борьбу за новый реализм, за реализм социалистический. Этой борьбе посвящен сборник его статей «За социалистический реализм».

Выступая против бесплодных теорий «искусства для искусства», Арагон утверждал, что французские писатели могут творить в русле социалистического реализма.

Очень интересна одна из статей этого сборника «Гюго — реалист». Арагон вспоминает о великих традициях французской литературы. Он рассказывает о том, что губернатор Парижа, генерал Гуро, запретил читать у могилы Неизвестного солдата стихотворение Гюго. «Гюго и сейчас еще страшен заправилам Третьей республики! — восклицает Арагон. — Вот Гюго, который мне по душе. Это Гюго плебейский, тот Гюго, который в «Отверженных» смело ввел арго; тот Гюго, который гордился тем, что он надел красный колпак на старый словарь; с которым мы можем слышать себя, тогда как никогда не услышат себя с ним люди, нуждающиеся в красивых декорациях для своих домов».

Арагон называет знаменитые «Возмездия» Гюго (которые так охотно читал В. И. Ленин) уроком реализма в поэзии. Он говорит, что «Возмездия» ярко опровергают заявления всех тех людей, кто считает, что реализм и поэзия несовместимы.

В годы второй мировой войны французские писатели-патриоты объединились во круг Луи Арагона, который стал певцом героических борцов Сопротивления. Он вы-

пустил в эти годы несколько сборников стихов и прозы. Стихи печатались и под фамилией Арагона и под многочисленными псевдонимами в партизанских газетах, в журналах вольных стрелков; они выходили в виде отдельных листовок, переписывались от руки и заучивались наизусть. В стихах Арагона горечь поражения была неотделима от призыва к борьбе, любовь — от ненависти к врагам, нежность — от ярости бойца-антифашиста. Это стихи большой глубины и высокой идейной силы.

В 1944 году советские войска освободили пленных французов в одном из концлагерей Восточной Пруссии. У меня были с собой стихи Арагона, и я прочел стихотворение «Сирень и розы» освобожденным марсельцам, бургундцам, парижанам. Надо было видеть, как горели их глаза, с каким напряженным вниманием слушали они, боясь пропустить хоть слово.

Лирический герой Арагона никогда не уходил в маленький мирок подавленности и унижения. Ничего не скрывая, ничего не приукрашивая, он не терял присутствия духа, оставался «непокоренным».

Партия коммунистов помогла Арагону по-настоящему увидеть свою родину. В постоянных боях с реакцией поэт сумел понять истинное величие партии. Творчество Арагона в годы Сопrotивления — пример связи искусства с жизнью народа.

Еще до войны, выступая на Втором Международном конгрессе писателей (1937), Арагон говорил о необходимости создания литературы, национальной по форме и социалистической по содержанию. В статье «Реализм социалистический и реализм французский», опубликованной в 1938 году в журнале «Эроп», Арагон писал: «Социалистический реализм в каждой стране может обрести подлинную ценность лишь в том случае, если он будет уходить корнями в ту реальную национальную почву, на которой он вырос».

Эстетическое кредо Арагона, его творческий метод, метод социалистического реализма, нашли свое наиболее яркое выражение в романе «Коммунисты».

Мы встречаемся в нем с многими знакомыми нам уже прежде героями. Банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан Блез Меркадьё из «Путешественников на империале», Орельен из романа «Орельен»,

Однако роман «Коммунисты» не просто продолжает первые романы цикла «Реальный мир».

Миру Вейсмюллеров и Виснеров противопоставлен здесь другой, новый мир. Основные герои романа — народ и партия, Коммунисты показаны в романе в самых различных опосредствованиях. Парламент и рабочая ячейка, фронт и домашний быт... Коммунисты в этом произведении — не замкнутые, одноплановые персонажи, как их подчас изображали иные, даже прогрессивные французские писатели. Коммунисты в романе Арагона — люди больших чувств, больших мыслей, люди философских раздумий и решительного боевого действия.

Умение показать Францию в большом и в малом, показать в живой человеческой конкретности галерею простых людей делает роман Арагона ярким и значительным событием.

Не только два резко разграниченных мира — мир реакции и мир народа — показывает Арагон. В романе возникают многочисленные образы людей, еще органически связанных со старым миром и постепенно, робко, нащупывающих пути к миру новому. Таковы ювелир Робер Гайяр, адвокат Тома Ватрен, скульптор Жан Блез Меркадьё. С большим художественным тактом показывает Арагон, как каждый из них находит свою тропу к народу, тропу, по которой он идет, еще часто оступаясь.

«Коммунисты» — так называется роман. И среди всех персонажей его живут два «беспартийных» героя, которые крупным планом проходят через всю книгу. Это юноша Жан де Монсе и жена молодого Виснера — Сесиль. В огромном бушующем море романа от главы к главе, от гавани к гавани плывут два маленьких челнока. Судьбы Жана и Сесиль, их мир, их встречи, их растущая привязанность и любовь, большие и чистые чувства как бы идут в романе своим путем, своей сюжетной дорогой. Однако этот путь органически сплетается с путями других героев. История двух молодых людей, обретающих свое личное счастье не на замкнутом, вырванном из большого мира островке, а в обстановке большой и сложной борьбы, несомненно подкрепляет общую идею эпопеи Арагона... Постепенное осознание истинной расстановки классовых сил, отказ от старых иллюзий и «очарований», растущие симпатии к людям, переделывающим мир, шаг за

шагом приводят Жана и Сесиль к коммунистам.

Говоря о романе «Коммунисты» как романе политическом, Арагон писал в 1949 году: «Любовь занимает здесь главное место: любовь мужчины к женщине; любовь матери к своим детям; любовь гражданина к своей родине. Сотни людей в этом романе для меня не манекены, а существа из плоти и крови. Моя точка зрения та же, что и переданная нам Роменом Ролланом точка зрения Толстого: роман есть прежде всего попытка понять людей.

Когда я говорю, что «Коммунисты» — роман XX века, это означает, что примененный в нем метод работы, стиль — тот, который я отстаиваю на протяжении двадцати лет: стиль социалистического реализма. Роман должен быть средством для того, чтобы переделать мир, который описываешь, а ничего нельзя переделать без энтузиазма. Обыкновенной констатации, какой бы точной она ни была, недостаточно для созидания. Для этого нужно сочетать великие идеи с чувствами сердца».

Роман «Коммунисты», несомненно, один из первых в ряду тех произведений искусства, о которых говорил Торез еще на XII съезде Французской компартии, искусства, «которое будет вдохновляться социалистическим реализмом и будет понято рабочим классом, которое поможет рабочему классу в его освободительной борьбе...»

Перу Арагона принадлежит немало публицистических книг, посвященных проблемам социалистического реализма в современном искусстве. Большой интерес представляют его выступления на дискуссии о французской живописи, критика сектантских позиций Фужерона, его примитивизма и ложного аллегоризма.

Из многочисленных публицистических, философских и критических работ Арагона наиболее интересны «Племянник господина Дюваля» (1953) и «В свете Стендаля» (1954).

«Племянник господина Дюваля» — острый памфлет, написанный в традициях французских энциклопедистов, в традициях Дидро. Автор беседует на разные политические и литературные темы с господином Дювалем-младшим, типичным французским обывателем, бывшим мюнхенцем, постоянно

державшим «нос по ветру». Беседа с этим обобщенным персонажем, а также с появляющимся в дальнейшем господином Мишелем — воинствующим обывателем — дает возможность Арагону показать истинное лицо и французской реакции и французской обывательщины, связывающей борьбу против коммунизма с борьбой против реализма в литературе. Многочисленные диалоги, составляющие основу книги, переплетаются с главами от автора, где дается оценка окружающей обстановке. В книге трактуются самые различные вопросы: от возрождающего нравы средневековой инквизиции дела Розенбергов в США до наступления французской реакции на прогрессивную литературу, что нашло свое выражение в преследовании Андре Стиля и заключении его в тюрьму.

Господин Мишель яснее всего раскрывает вышеупомянутую точку зрения французского обывателя на реализм. Яростно черня Андре Стиля, он горой стоит за произведения, которые уводят от действительности. Правда жизни, изображенная писателем в книге, это, с его точки зрения, коммунистическая пропаганда. И со свойственной ему обывательской логикой господин Мишель доказывает, что реализм «ведет к виселице»...

Между Дювалем-младшим и Мишелем возникает спор, в котором Мишель упрекает Дюваля в том, что тот ограничивается борьбой против реализма, вместо того чтобы вести борьбу против коммунизма, того самого коммунизма, который прибавил к реализму определение «социалистический». Весь спор обоих персонажей прекрасно обличает позиции мюнхенцев самых различных окрасок и оттенков. Именно с ними, с обывателями от политики и обывателями от литературы, спорит Арагон и самой книгой и составляющими значительную ее часть комментариями к высказываниям Дюваля и Мишеля, комментариями, включающими в себя ряд статей Арагона в «Леттр фрэнсез» и его различные выступления по вопросам литературы. Очень интересен в книге именно контраст между героическим пафосом комментариев и сатирой диалогов-памфлетов.

В сущности, разница между Дювалем и Мишелем не так уж велика. Они легко находят общий язык. Разница, пожалуй, только в том, что Дюваль предпочитает изъясняться более «тонко», избегая чрезмерной грубости Мишеля.

В образной характеристике, которую дает Арагон Дювалю и Мишелю, мы узнаем традиции французского гротеска, так ярко выраженного в бессмертных карикатурах Домье. Недаром обижается обыватель Дюваль на свой портрет, нарисованный Арагоном. Недаром так осуждает Дюваль в письме к автору, заключающем книгу, самого Домье, приходя в ужас от одного воспоминания о его карикатурах, считая, что он достоин тюрьмы не менее, чем Андре Стиль. Образ пьянника господина Дюваля венчает произнесенный им «афоризм»: «Надо преследовать реализм даже в прошлом, если он кончается коммунизмом».

Значительное место в публицистике Арагона, в развитии его эстетических взглядов занимает книга статей и очерков «В свете Стендаля». Полемизируя с Морисом Барресом, утверждавшим, что Стендаль был «в моде» в 1880 году, а ныне уже не «в моде», Арагон утверждает, что Стендаль гораздо больше наш современник, чем Баррес, не сумевший понять величия реализма Стендаля. Анализируя реалистический метод Стендаля, Арагон показывает его влияние на развитие критического реализма в современной французской литературе.

В этой же статье Арагон пишет, что социалистический реализм продолжает и развивает лучшие традиции критического реализма в каждой стране. Нужно бережнее относиться к литературному наследству, напоминает Арагон. Надо уметь читать и уметь любить все те книги, которые помогают нам в сегодняшней борьбе, в развитии нашего творческого метода.

В сборнике «В свете Стендаля» опубликована речь Арагона в Медане в 1946 году, в традиционный день годовщины смерти Золя. Арагон называет Золя славой французского народа. Нет третьей стороны у баррикады, говорит Арагон. Можно быть или на стороне народа, или на стороне его палачей. Золя встал на сторону народа. У него были и свои недостатки. Не ему принадлежит последнее слово в истории французского романа. Но мы отдаем должное Золя, писателю, борцу с несправедливостью. Извлечь урок из его жизни, значит продолжить дело Золя, дело Франции.

Цикл статей Арагона посвящен Р. Роллану. Арагон считает Роллана писателем, во многом определившим путь современной реалистической литературы во Франции. Народ справедливо ищет в искусстве «под-

тверждения своей уверенности в конечной победе добра».

Этот путь современного героя-борца к достижению победы добра, путь, освещенный учением марксизма-ленинизма, рисует в своих произведениях сам Арагон, овладевая методом социалистического реализма и последовательно его отстаивая.

В 1954 году Арагон произнес большую речь на Втором Всесоюзном съезде советских писателей. Это было двадцать четыре года спустя после выступления Арагона на Международной конференции революционных писателей в Харькове. Там, почти четверть века назад, перед нами был поэт, простивший со своими сюрреалистическими иллюзиями, мучительно ищущий путей к реализму.

На трибуне Второго съезда перед нами предстал крупнейший поэт Франции, создавший цикл «Реальный мир», возглавивший поэзию Сопротивления, написавший тысячи прекрасных поэтических строк, продолжающих лучшие традиции французской национальной поэзии.

Речь его была программной. Прежде всего он говорил о литературном наследстве, о том, что французские коммунисты принимают на вооружение все лучшее, что создал французский народ. «Мы требуем,— говорил Арагон,— восстановления всего наследия нашего народа, восстановления в правах и Вийона, и Мольера, и Гюго, и Пюльи, и не только их, но и всей когорты французских поэтов от Шарля Орлеанского, Ронсара и Расина до Шенье, Мюссе, Ламартина и самого Бодлера. Мы требуем признания поэтов века, в котором родился Артюр Рембо...»

С большой силой обрушился Арагон на сектантов, отбрасывающих в интересах той или иной группы творчество писателей, составляющих славу французского народа. И опять говорил Арагон о значении творчества Артюра Рембо, отданного реакции и декадансу многими теоретиками, запятанвшими имя прекрасного поэта клеветническими измышлениями.

Сказав во весь голос о французских национальных традициях, Арагон особо выделил традиции поэзии Сопротивления, поэзии, которая помогла народу в его борьбе с оккупантами.

Выступление Арагона было проникнуто пафосом борьбы. Он напомнил прекрасные слова Ромена Роллана о том, что поэзия

должна разделить хлеб народа, его тревоги, его надежды и его борьбу.

Страстно говорил Арагон о поэзии реального мира — того мира, вернуться в который он призывал поэтов еще на Парижском конгрессе 1935 года.

«Поэзия — это не островок спасения посреди исторических бурь, она — часть общей борьбы, она так же неотделима от этой борьбы, как внутренний мир коммуниста неотделим от той борьбы, которую ведут коммунисты.

Истинная поэзия — это поэзия добра, и она восторжествует вместе со всеми людьми на земном шаре над индивидуализмом, над этим чудовищем морального дезертирства, она восторжествует над мраком и социальным гнетом...

Истинная поэзия — это поэзия реальной жизни в ее движении к счастью, которое мы называем — коммунизм».

И, как бы подытоживая свои многолетние выступления о реализме, Арагон заключил:

«Двадцать лет тому назад и вплоть до последних лет у нас даже те, кто считал социалистический реализм верным методом, из-за некоторой скромности склонны были полагать, что реализм является несомненным законом прогрессивной литературы, но что нельзя говорить о подлинном социалистическом реализме во Франции, где нет социализма. Я же всегда утверждал, что социалистический реализм возможен и в капиталистической стране, если только художник, писатель, восприняв идеологию восходящего рабочего класса, умеет, видя перспективу социализма, создавать реалистическое искусство, основанное на историческом научном познании своего собственного народа, своей нации...»

И дальше сказал Арагон: «Социалистический реализм отнюдь не самоцель, это творческий метод, направленный на то, чтобы наше искусство всей своей силой способствовало достижению той конечной цели, к которой мы стремимся вместе со всеми людьми».

Вернувшись со Второго съезда советских писателей в Париж, Арагон на страницах «Леттр франсез» рассказал французскому народу о великой советской литературе, о ее многонациональных отрядах. В конце 1955 года он выпустил новую книгу «Советские литературы», книгу, написанную писателем-другом, который знает и любит наш народ и нашу литературу. Книга Арагона имеет и познавательное и про-

граммно-теоретическое значение. Анализ творчества писателей каждой советской республики предшествуют краткие биографические и исторические очерки, посвященные жизни этих республик. Арагон разъясняет ленинскую национальную политику, сопровождает свои историко-литературные этюды экскурсами в далекое прошлое. О жизни республик Советского Союза, их искусстве, их литературе Арагон рассказывает не как посторонний наблюдатель, а как друг, рассказывает страстно, взволнованно.

Касаясь в своей книге проблем, общих для художников всех стран, Арагон говорит: «Социалистический реализм не частный закон той или иной школы, это научный метод, программа всего нашего литературного движения, теоретическая база всего нашего творчества». Он объясняет, что новый реализм — «научный реализм, потому что он обнимает все многообразие явлений действительности, потому что его задача — родить будущее». И Арагон подчеркивает, что именно русская литература первая заложила научные основы этого художественного метода, а основоположники его, Горький и Маяковский, «сделали решительный, исторический шаг в направлении научного социализма, и фундаментальное изучение их творчества необходимо во всем мире...»

Естественно, что изучение опыта отнюдь не означает подражания. И, отметив существование множества источников социалистического реализма в различных литературах мира, Арагон напоминает о том, что в каждой стране эти национальные источники самобытны.

Арагон резко полемизирует с буржуазными критиками, уныло повторяющими, будто бы социалистический реализм приводит к унификации, к обеднению литературы. Привлекая и анализируя многие книги советских писателей, написанные на разных языках, он показывает, как многообразно рисуют они облик советского человека во всей убедительности его поступков, во всем богатстве мыслей и глубине чувств. Тем самым он уличает противников в незнании советской литературы и в убогой, предвзятой системе мышления. Он борется за советскую литературу против клеветников, как боевой соратник, и критикует недостатки наших книг, как друг.

Одной из основных работ, входящих в этот сборник Арагона, является статья, на-

званная «Свет Горького». Арагон говорит о Горьком как об основоположнике социалистического реализма, ставит многие важные проблемы горьковского реализма, проводит интересный сравнительный анализ «Сказок об Италии» Горького и новелл Стендаля. Арагон вспоминает о том, какую роль сыграл Горький, которого он любил с юных лет, в его собственном развитии. «Горький озарил для многих молодых людей Франции путь с заоблачных высот к людям... Уже больше сорока лет тому назад Максим Горький для меня, как и для многих других, был не только писателем. Мы все тянулись к этому свету, еще не зная, что он озарит... Горький, как никто другой, заставил меня поверить в правильность выбранного пути...»

Одна из центральных глав книги посвящена Маяковскому. Арагон не упрощает проблемы влияния Маяковского, не сводит мастерство поэта к сумме формальных приемов. Он анализирует эстетические воззрения Маяковского и связь этих воззрений с творческой практикой поэта.

В то же время Арагон осуждает «хрестоматийный глянец», который встречается в некоторых работах о Маяковском. Он едко высмеивает победоносиковых и присыпкинских в эстетике и критике, лакирующих действительность и схематизирующих ее.

Интересна глава «Молодые люди». Воспоминания о молодом человеке, созданный в мировой литературе, — от «Исповеди сына века» Мюссе и «Воспитания чувств» Флобера до лирического героя декадентской поэзии, — Арагон показывает затем, как в наше время рождается облик молодого человека нового класса, впервые возникший в творчестве Максима Горького. Он сталкивает два противостоящих друг другу мира, отраженных в «воспитательных романах» Андре Жида, где идея бесцельного действия ради действия оправдывает преступление, и в «Как закалялась сталь» Н. Островского, где выражена стойкая воля юноши, борющегося за счастье человечества. Арагон прослеживает путь нового героя от произведений Максима Горького к книгам Гайдара, Макаренко, Островского. Центральное место в этой главе занимает анализ образа Павла Корчагина, образ человека, победившего смерть.

Французский писатель поставил перед собой благородную цель — подкрепить свои теоретические выводы и замечания конкретной практикой советской литературы,

открыть французским читателям эту литературу во всем ее многообразии.

Вслед за книгой «Советские литературы» во Франции вышел первый сборник рассказов советских писателей «Введение в советскую литературу».

Большая статья Арагона, открывающая сборник, как и прошлые его работы, носит одновременно познавательный, теоретический и полемический характер. Арагон исследует исторические традиции советской литературы, традиции реализма Гоголя, Толстого, Достоевского, Горького.

Арагон показывает историю развития советского реалистического романа во всей ее динамике. Теоретические выводы его связаны с анализом практики советской литературы, обращены своим полемическим острием против тех, кто не хочет видеть того нового, что внесли в мировую литературу советский роман и советская поэзия.

Арагон подчеркивает значение «идейного искусства, служащего изменению мира», предостерегает своих противников от попыток выдавать недостатки советской литературы за основную линию ее развития. Партийность литературы Арагон противопоставляет догматизму и сектантству. Он говорит о душе социалистического реализма, о неразделимой связи эстетических и этических проблем, говорит как художник, проникающий в самую сущность творческого процесса.

Статья Арагона — это часть большого исследования о путях и задачах социалистического реализма, об его основных началах, исторических истоках и творческом многообразии.

В поэзии социалистического реализма сошлись пути таких замечательных и разных художников, как Маяковский и Бехер, Неруда и Гильен, Броневский и Куба, Хикмет и Арагон. Вместе с тем их различие подчеркивает одну существенную и общую для всей поэзии социалистического реализма особенность: органическое переплетение эпоса и лирики, сочетание личного и общественного, интимного и социального. Это нашло свое выражение не в механическом соединении разных начал, а в глубоком внутреннем сплаве, когда личное «я» художника во всем его богатстве и многоцветности неотделимо от социального «я», от участия в большой борьбе человечества. Так рождался лирический герой, которого часто трудно отделить от его создателя,

герой, который занимает центральное место в поэзии и Маяковского и Арагона.

Особенно ярко этот лирический герой раскрывается в новой поэме Арагона «Неоконченный роман» (1956).

Эта поэма — своеобразный лирический дневник Арагона. Вначале, продолжая свою старую полемику с критиками, которые отвернут от него «свои туманные лбы», Арагон говорит о том, что произведение это написано кровью сердца, оно не для тех, у кого нет разницы между кровью и водой.

Построена поэма необычно. В ней сочетаются самые различные поэтические метры. В ней есть и прозаические отрывки и отступления, вылившиеся в самостоятельные главки, где Арагон из прошлого прорывается в «сегодня», в 1956 год. Герой Арагона смотрит на мир глазами человека, связанного с классом, преобразующим мир. Если Элюар говорил когда-то о необходимости для поэта перейти от горизонта одного к горизонту всех, то Арагон совершает двойной, сложный путь. Он подымается к горизонту всех и опять от горизонта всех возвращается к горизонту одного. Переживания Арагона, относящиеся к разным событиям нескольких десятилетий, не случайны, не эмпиричны. Они находятся во взаимной связи и представляют собой действительность изменяющуюся, и именно в этом изменении воспринимаемую поэтом и его лирическим героем. Арагон проникновенно пишет о смерти близкого человека в госпитале и о гибели солдат в траншеях войны. Он вспоминает о лицейских годах, и о знаменитом дне 6 февраля в Париже, дне поражения реакционных путчиков, пишет о сюрреалистских надеждах, иллюзиях и разочарованиях; о дожде, омывшем Елисейские поля, и о просторах Адриатики; о друге поэте, бежавшем из фашистского лагеря и умирающем в снегах словацких гор; о Москве тридцатого года, о комнате Маяковского в Гендриковом переулке и об оккупированной Франции; о низости и о счастье; о Сакко и Ванцетти и об офортах Гойи; о любви прошедшей и любви настоящей; о цвете неба и о цвете камней на мостовой; о Сопrotивлении и об американских оккупантах. Он пишет о тяжести военных лет, о прощании с Парижем накануне первой войны, о ненависти к войне и о любви к Эльзе — любви, закален-

ной многими годами. Он пишет о пожаре рейхстага, о гибели Федерико Гарсиа Лорка в Гренаде и о трагедии Гватемалы... Перелистывая эти трепещущие листки воспоминаний, мы ощущаем неизменно, что обращающегося к прошлому поэта не покидают взволнованные раздумья о нынешнем дне...

Трудно выделить отдельные строчки в этой книге цельного поэтического дыхания. Лирический герой Арагона приходит к новому миру не триумфальной дорогой. В поэме много глубокой трагедийности. Однако эта трагедийность освещена пафосом борьбы. Свет побеждает тьму. Радость приходит сквозь преодоленные страдания, та самая «радость с окровавленными ногами», о которой писал Ромен Роллан. Радость, звучащая и в последних аккордах Девятой симфонии Бетховена и в оптимистическом финале Седьмой симфонии Шостаковича. «Я несу солнце во тьме!» — восклицает Арагон в одной из последних глав поэмы.

Такова эта поэма Арагона, воплотившая лучшие традиции французской поэзии от Вийона до Элюара, поэма, идущая в русле социалистического реализма.

Луи Арагон снова прекрасно показал неисчерпаемое богатство поэтических средств социалистического реализма. Сплавляя лирику и эпос, показывая единство личного и социального, раскрывая богатство мыслей, чувств и переживаний лирического героя, поэт наносит беспощадный удар по разговорам о той мнимой внутренней свободе художника, которая на самом деле означает его изоляцию от жизни.

В своей речи на XIII конгрессе Французской коммунистической партии (членом Центрального Комитета которой он является) Луи Арагон снова говорил о высоких задачах искусства. Великое национальное искусство, сказал он, должно быть крепким цементом, чтобы помочь сплочению всех лучших сил нации вокруг поднимающегося класса. Великое национальное искусство не может не быть искусством самого высокого качества.

Путь к такому искусству — овладение методом социалистического реализма. Это доказывает последовательная, настойчивая борьба лучших прогрессивных художников и каждая новая творческая победа, которую одерживают они в этой борьбе.



Перечитывая книги...

А. БЕРЗЕР

★

ПОБЕДА МИШКИ ДОДОНОВА

Нам очень трудно сейчас представить себе, что было когда-то в нашей литературе время, когда не существовало ни «Разгрома» Фадеева, ни «Тихого Дона» Шолохова, ни «Василия Теркина» Твардовского, ни «Как закалялась сталь» Островского... Сражались на полях гражданской войны, ходили за плугом, сидели за партами наши, теперь маститые, а тогда еще никому не известные писатели.

Но уже в те самые ранние послереволюционные годы была советская литература, складывались ее традиции. И над ее созданием рядом с Горьким трудились А. Серафимович, Ф. Гладков, А. Неверов, Н. Огнев, Н. Ляшко... Они написали первые книги нашей молодой прозы, в них они воссоздали и восславили революцию. Эти книги нельзя забыть. И не только потому, что они — книги-ветераны, свидетели минувших дней, но и потому, что они и сейчас живут полнокровной жизнью подлинного искусства.

...Маленькая потрепанная книжка с пожелтевшими страницами. На обложке с полустершимися контурами географической карты написано: Александр Неверов «Ташкент — город хлебный».

Это — десятое издание повести, вышедшее в 1927 году. «Ташкент — город хлебный» был написан в 1923 году; таким образом, за четыре года повесть была выпущена десять раз. В предисловии, предпосланном этому изданию, говорится о том, что его можно назвать юбилейным.

Когда-то повесть Неверова пользовалась огромной популярностью, ее обсуждали, о ней печатали критические статьи, школьники писали сочинения о Мишке Додонове и его путешествии в далекий Ташкент.

Потом эта книжка почему-то стала постепенно исчезать из нашей жизни, из издательских планов, из литературоведческих статей. Оставались в памяти лишь

смутное воспоминание и песенно знакомая строчка — «Ташкент — город хлебный».

А вместе с тем стоит только начать читать эту маленькую повесть, как она тут же захватывает своей мужественной правдой, благородством мыслей и чувств, силой и зрелостью мастерства писателя.

Неверов обратился к одной из самых трагических тем времени — голоду в Поволжье в 1921 году. Этот голод — страшное наследие старого мира, прямой результат изнурительной войны, интервенции, блокады, когда империалисты всех стран любыми средствами пытались задушить первую в мире республику Советов. Трагическое звучание темы усугубляется еще и тем, что голод, разруха, разорение деревни показаны на судьбах детей, глазами двенадцатилетнего мальчика, мечтающего о куске хлеба.

Сразу, с первых же строк повести, написанной строго и лаконично, писатель вводит в существо произведения:

«Дед умер, бабка умерла, потом — отец. Остался Мишка только с матерью да с двоими братишками. Младшему четыре года, среднему — восемь... Мать с голодухи прихварывает. Пойдет за водой на реку, насилу вернется. Нынче плачет, завтра плачет, а голод нисколько не жалеет. То мужика на кладбище несут, то сразу двоих. Умер дядя Михайла, умерла тетка Марина. В каждом доме к покойнику готовятся. Были лошади с коровами, и их поели, начали собак с кошками ловить».

Крепко задумался Мишка».

Здесь нет детальной экспозиции, подготавливающей знакомство с героями, их жизнью. Каждая, самая коротенькая фраза может быть развернута в главу, в эпизод, в картину. Но писатель как бы сжимает повествование, оставляя только самое главное, самое существенное. Такое стремительное начало, как будто писатель сразу

врывается в самую гущу жизни, вообще характерно для ранних книг советской литературы. Иной, более обстоятельный, более замедленный темп повествования появится позднее, когда события бурных лет отойдут в прошлое. Поэтому, вероятно, после «Разгрома» возникает у А. Фадеева потребность написать «Последний из удэс» и рассказать о том же времени с эпической неторопливостью в многоплановых сюжетных разветвлениях.

В повести «Ташкент — город хлебный» лаконизм повествовательной манеры имеет и самостоятельное художественное значение. Скупые, внешне спокойные фразы о смертях и покойниках, слова, сказанные от имени мальчика без удивления, без отчаяния, передают суровость испытаний, выпавших на долю народа, сильнее любых восклицаний, выражений сочувствия.

Несложный сюжет повести — Мишка Додонов отправляется в легендарный город Ташкент за хлебом, чтобы спастись от смерти самому, спасти семью и поднять хозяйство, — дает возможность Неверову показать сдвинутые со своего места, поднятые голодом огромные крестьянские массы, толпы, осаждающие поезда, бредущие вдоль железнодорожных путей. С беспощадной суровостью, с жестокой правдивостью нарисованы картины голода и разрухи. Так же беспощадно показал когда-то и Ф. Гладков в «Цементе» запустение и разорение хозяйства после гражданской войны. Но не только для того, чтобы воспроизвести эту жестокую правду, написана повесть Неверова. Воссоздающая жизнь деревни в одной из самых трудных областей, в Самарской губернии, в один из самых острых периодов, в 1921 году, накануне нэпа, повесть эта участвует в идейной борьбе того времени.

Это сейчас таким естественным, закономерным, само собой разумеющимся кажется нам, что годы военного коммунизма в нашей стране сменил нэп. Но в то, теперь уже далекое, время этот вопрос не был таким ясным, как сейчас; он решался в напряженной борьбе, в острых столкновениях. Мы знаем, как отразилась эта борьба и в литературе.

Книга Неверова участвовала в этой борьбе, когда самого писателя уже не было в живых.

Всем своим содержанием, всем образным строем повесть Неверова утверждает насущную необходимость новой экономиче-

ской политики. Писатель нигде прямо не говорит об этом, но показанная им картина голода, нищеты вызывает, требует решений.

С огромной изобразительной силой рисует Неверов толпу, разношерстную и вместе с тем единую. Описания движущейся массы необычайно динамичны, стремительны. Всем строем ритмической прозы, нарастанием темпа повествования, однообразно повторяющимися рефренами писатель передает не только внешний вид толпы, но и чувство отчаяния, которым она охвачена.

«Кольхнет живая стена, двинет локтями, попятится задом, отбросит в сторону, потащит на другой конец. Нет силы перескочить живую лягающую стену, нет силы и оторваться от нее. Тянет, всасывает она, крутит в котле, душит, мнет».

Мастерство в изображении движущегося людского потока характерно для первых книг нашей литературы. Вспомним «Железный поток» А. Серафимовича. И у Неверова и у Серафимовича с особой точностью воспроизведены черты именно крестьянской толпы, еще разобщенной, стихийной. В обоих произведениях образ движущихся людей передает характер времени и обстоятельств. Это именно образ — единый, монолитный, созданный с красочной живописной силой. Не случайно Неверов часто пишет о толпе как об одном живом существе.

Есть у Неверова еще одна форма передачи обстановки, атмосферы голодной жизни деревни того времени — детские разговоры, детские диалоги:

«— Ты сколько дней можешь не емши протерпеть? — спросил Мишка.

— А ты?

— Три дня могу.

Сережка вздохнул.

— Я больше двух не вытерплю.

— А сколько без воды проживешь?

— День.

— Мало. Я день проживу да еще полдня. Когда отошли от бугорка, Сережка сказал неожиданно:

— Я тоже проживу день да еще маленько».

Мальчики не плачут, не жалуются, они играют. И в том, что голод лег в основу ребячьей игры, жестокая правда жизни передается с особой силой.

Однако сквозью все страдания, жертвы, потери проходит в повести «Ташкент — город хлебный» жизнеутверждающая поэти-

ческая мелодия будущего счастья. В чужой киргизской степи умирает старик. «В последний раз окидывает глазами потухающими родные поля, чувствует запах родной земли и в порыве последней любви целует степную киргизскую землю, как свою, любимую — старческими умирающими губами:

— Уроди, кормилица, на старых, на малых, на радость крестьянскую!..

Подохло, опахнуло мужицкое и страшное горе народное, расцветает невиданной радостью: со всех сторон, со всех дорог идут — ползут трудящиеся из больших и малых сел, из больших и малых деревень. Каждый несет по зернышку, кладет свое зернышко в родную голодную землю. Цветет голодная земля колосьями хлебными, радуется измученная радостью измученных. Широко расходятся молодые весенние всходы, наряжается земля в зеленое платье. Улыбается старик зеленому полю — замирает улыбка на вытянутых посиневших губах.

— Кормилица, уроди!

Проходят поезда, проходят пешеходы, сброшенные с поездов, никто не видит радость человеческую на мертвых губах старика, улавшего в дальнем пути.

— Слава тебе, безымянная!»

Так горе и смерть переходят в страстный гимн земле, будущему изобилию. И вся повесть воспринимается как своеобразная поэма о хлебе, пронизанная горячей мечтой о горах зерна, о море колосющейся пшеницы, верой в то, что мечта сбудется.

Эта жизнеутверждающая сила раскрывается и в том пути, который прошел в повести крестьянский мальчик Мишка Додонов. Писатель глубоко связал этот детский характер с временем и средой. Мишка — мальчик, и детские черты его запечатлены очень точно. Вот он впервые увидел «чугунку невиданную», и ему показалось, будто «стоят на колесах избы целой улицей, из каждой избы народ глядит». Детское мышление тут же переводит незнакомое явление на язык доступных ему понятий. В характере Мишки Додонова писатель раскрыл своеобразие уклада жизни — и не только крестьянской жизни вообще, в каких-то абстрактных чертах, — но и точных временных особенностей именно этого трагического голодного года. Поэтому порой Мишка кажется старше своих лет; он видел смерть, он ожесточенно борется за жизнь. И весь этот сложный ком-

плекс черт передан в характере живом, неповторимом, полнокровном.

Мишка — старший мужчина в семье, чувство хозяина никогда его не покидает, его охватывают «строгие, хозяйские мысли», он мечтает о посеве, об урожае, перед его глазами качается спелая пшеница, изгибается «волной под теплым лопатинским ветерком», он деловито подсчитывает будущие куски хлеба, пуды зерна. И все это с детской солидной серьезностью и мужицкой обстоятельностью. Мишка — мужичок с ноготок. Поэтому и тема «Ташкента — города хлебного», выражающая страстную голодную мечту о хлебе, существует в повести в сказочной форме. Образ Ташкента приобретает черты почти нереального царства с молочными реками, кисельными берегами. Неверов и внешне передает это «сказочными» приемами — повторами, постоянными эпитетами: «не выходит из головы Ташкент — город хлебный», или «Как в сказке, стоял перед ним Ташкент — город хлебный». И ритмический строй, который имеет в этом произведении огромное смысловое значение, тоже резко, «сказочно» меняется, когда появляется мелодия Ташкента.

«Перед глазами зажмуренными — лентой развернутой — проходил Ташкент, город невиданный: сытый, хлебный, улыбающийся. Глядят оттуда буграми высокими: черные куски, белые куски, пшеница богарная, пшеница поливная.

А зерно не как у нас — крупное...»

И вот в этот город изобилия и сытости отправляется из умирающей деревни Мишка Додонов — отправляется, как маленький предшественник Моргунка, в далекую страну Муравью. На крыше, на ступеньках вагона, судорожно уцепившись за поручни, пробирается он вперед.

С большим напряжением описано это путешествие. И напряжение это тем сильнее, что оно выражено не только во внешнем драматизме событий, в огромном количестве препятствий и трудностей, но и в движении самого характера героя, в огромных психологических изменениях, которые происходят с ним.

Мишка отправляется в путь вместе со своим товарищем Сережкой, мальчиком сла-

беньким, болезненным. Сережка к тому же моложе его на год. Вполне естественно, что смекалистый, мужественный Мишка сразу становится главарем. Сложные чувства обуревают его — чувство товарищеского долга и собственнической жадности, осложненные голодом и страхом смерти. «В мешке у него лежал кусок травяного хлеба. Хорошо, если бы и у Сережки лежал кусок травяного хлеба. Тогда у обоих поровну, а теперь невыгодно. Куснуг раза по три — останется половина».

И все же хватает маленьких силенок на то, чтобы отломить Сережке хлеба. Каждый кусок, добытый Мишкой, вызывает в нем мучительные противоречия, с большой психологической тонкостью переданные писателем. «...Бросить нельзя, — размышляет Мишка, — вместе уговорились, клятву дали». И решает: «Дурак! Одному бы ехать — лучше». Тяжелые, недетские мысли наваливаются, придавливают своей тяжестью. «На моей шее будет сидеть». И тут же детское наивное оправдание: «Он ведь, Мишка, хлопочет везде, ему и пищи больше надо». Однажды Сережка нашел гайку, вокруг этой гайки разворачивается между мальчишками борьба. Мишке хочется отнять гайку, ведь он, Мишка, достает хлеб, устраивает в вагоны, а вот гайка другому досталась. «Если хлеб мой жрать — ты первый, а за гайку готов удавиться... И хлеба не дам больше и уеду один от тебя. Оставайся со своей гайкой». Силой и хитростью Мишка отнимает злополучную гайку и еще дразнит Сережку: «Какой я счастливый! Приеду домой, чего-нибудь сделаю из этой гайки или кузнецу продам за сто рублей».

В этом эпизоде Мишка выглядит совсем непривлекательно. Мальчик становится злым, жестоким, кажется маленьким жадным собственником.

Но вот в момент отчаяния и тоски, когда смертельно заболевает Сережка и голодный Мишка бродит по станции, вдруг, как чудо, возникает перед ним сестра милосердия. Ласка и внимание среди окружающего равнодушия вызывают в мальчугане поток теплых, благородных чувств: «Не тому Мишка рад, что в больницу Сережку положат. Нет, и этому рад. А еще больше вот чему рад: есть на свете хорошие люди, только сразу не нападешь. И сердцу веселее, и голоду меньше в кишках».

Так впервые возникает в повести этот мотив: «есть на свете хорошие люди». Сна-

чала он кажется случайным, ведь дальше снова идет нарастание горя и одиночества. Кража мешка с бабушкиной юбкой, которую мальчик мечтал продать за огромные куски хлеба, вызывает взрыв отчаяния, запечатленный в повести с подлинно трагической силой: «Легло большое человеческое горе на маленького Мишку, придавило, притиснуло. Упал лицом он между шпалами, вывернул лапти с разбитыми пятками и забился ягненком под острым ножом».

Не мешки украли с юбкой — последнюю радость.

Надежду последнюю утащили.

Встала над мальчиком «сухая голодная смерть, дышит в лицо ржаным соленым хлебом».

Но в момент отчаяния и безысходности опять возникает знакомая тема: «есть на свете хорошие люди», и снова протянутая рука помогает мальчику подняться. На этот раз рука «главного начальника» орта-чека — товарища Дунаева, который накормил Мишку и посадил в поезд.

В третий раз, уже в киргизских степях, гонится за Мишкой смерть. Он чувствует себя одиноким, заброшенным, и кажется, что нет никому дела до него, «никто не услышит голос жалобный».

Но машинист товарищ Кондратьев сажает его к себе на паровоз и везет в Ташкент. И опять повторяется уже знакомая гуманистическая тема, и звучит она теперь победно, ликующе: «Какие хорошие люди!»

Но это не абстрактный гуманизм, ведь не просто случайные добренькие прохожие протянули корочку голодающему. Встретившиеся на пути Мишки люди — выражение воли Советской власти. Поэтому, глядя на товарища Дунаева, Мишка все время видит красноармейскую звездочку и думает: «Наверно, как Иван их, — коммунист». Поэтому и в машинисте Кондратьеве писатель прежде всего запечатлевает черты рабочего, с хозяйской зоркостью вглядывающегося в жизнь.

Так эта тема — воля Советской власти — все углубляется, усиливается на протяжении повести и, наконец, захватывает самого Мишку, расширяет его горизонты, ломая унаследованную от дедов отгороженность от людей, мелкие инстинкты собственничества. Самое дорогое, что есть у него, — складной отцовский нож — дарит он Кондратьеву от полноты души, от переполнивших его больших горячих чувств: «Съел он корочку, выпил горячую воду и, протя-

гивая Кондратьеву складной непроданный ножик, дрогнувшим голосом сказал:

— Возьмите мой подарок за ваше снижение!

И у Кондратьева голос дрогнул:

— Зачем мне?

— Везете вы меня, жалеете.

— Спасибо, Миша, положи в карман.

Но так горячо упрасивал Мишка, так ласково блестили у него глаза — отказаться было нельзя. Взял Кондратьев большой деревенский ножик с дырочкой в рукоятке, повесил за веревочку на один палец, помотал, улыбнулся и, высунувшись головой в окно, долго смотрел в лиловую вечернюю степь добрыми, смеющимися глазами.

В этой сцене — все значительно, хотя герои говорят самые обыденные слова и реплики их очень кратки. Но два раза повторенный «дрогнувший голос», блеск Мишкиных глаз, добрые, смеющиеся глаза Кондратьева передают волну новых широких чувств, которые захватили Мишку.

И если вначале он с досадой думает, что ехать надо было одному, что одному легче и хлеба на одного выпадет больше, то теперь — и в этом главный идейный смысл повести — он понял, что надо с людьми, надо вместе, что только в этом спасение и выход. Он выражает эти новые чувства по-детски наивно, захлебываясь от волнения, от нежности к машинисту Кондратьеву. Он ведь и сам не понимает, что стремление обязательно подарить Кондратьеву драгоценный ножик, радость, которая охватила его, когда машинист взял подарок, что все это — рождение нового миропонимания, мироощущения, отрывающего его от вековых эгоистических инстинктов.

Эта победа Мишки Додонова придает повести силу, спокойствие и уверенность в будущем. Ходит Мишка среди мужиков и рассказывает им о товарище Кондратьеве, и все слушают его внимательно, он стоит среди мужиков, «как маленький проповедник, укрепляющий верой и бодростью на далекий неоконченный путь».

Победа Мишки Додонова и определяет художественный строй повести, ее стремительный, передающий движение жизни ритм, проходящий через всю повесть образ летящего вперед паровоза, резкие, контрастные краски, напряженные переходы.

Поэтому об основном, завершающем этапе путешествия Мишки — пребывании его в Ташкенте — писатель рассказывает бегло, мимоходом, в тонах, нарочито будничных, ничего общего не имеющих с тем праздничным, сказочным образом Ташкента, который звучал прежде в повести. Этим Неверов снова подчеркивает, что осуществление мечты — не в хлебном Ташкенте, а в том единении с людьми, к которому приходит Мишка Додонов.

Этот гуманистический вывод широко раздвигает рамки произведения, дает возможность судить о нем с позиций дальнейшего течения жизни, ее передовых, ведущих тенденций. Не только прогрессивная роль в идейной борьбе тех лет, не только верный взгляд художника на жизнь начала двадцатых годов, но и устремленность в будущее окрыляет это произведение.

И когда теперь, через много лет, перечитываем «Ташкент — город хлебный», мы невольно думаем о том, что герой повести такой, каким он сложился к концу ее, — спокойный, твердый, мужественный паренек, с чувством собственного достоинства, с крепко вошедшим в него новым сознанием общности с людьми, — неизбежно должен занять боевые позиции в той борьбе за новую колхозную деревню, которая ждет Мишку в его взрослой жизни и которую писатель, создавший этот образ, не смог увидеть.

В этой маленькой книге А. Неверов, умерший в 1923 году, показывая нищету, голод, разруху, показывая отъединенных, разобщенных между собой крестьян, умирающих в одиночку, утверждал, что путь к спасению — в объединении, товариществе, в искоренении мелкобуржуазных индивидуалистических инстинктов.

Так повесть Неверова участвовала в дальнейшей революционизации современной ему жизни. Так она участвует и в нашей сегодняшней борьбе, потому что, перечитывая сегодня эту книгу и не раз задумываясь над тем, в какое невозвратно далекое прошлое ушли в нашей стране эти бедствия, невозможные, неповторимые при колхозном строе, мы с особой отчетливостью и резкостью видим пройденный нами путь и оттого еще более ясно ощущаем стремительность нашего движения вперед.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Мухамеджан Каратаев. Первая казахская эпопея. — **Б. Галанов.** Люди, будьте бдительны! — **Всеволод Азаров.** Земное сердце. — **Ф. Вигдорова.** Мир, увиденный впервые. — **Александр Лацис.** О щедрости и соразмерности. — **Дмитрий Осин.** О философии фактов. — **Л. Зонина.** Как формируется характер.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Яковлев. Великое наследие. — **П. Подляшун.** Красноречивые цифры. — **Полковник С. Козлов.** Глашатаи агрессии. — **Н. Мацуев.** Репертуар русской книги. — **Профессор Д. Ошанин.** Психология чувств.

Литература и искусство

Первая казахская эпопея

У пастушеской юрты, в раздольной казахской степи, было в тот деньлюдно и шумно.

Необычная причина собрала здесь молодых чабанов: в юрте показывали пьесу. Играть такие же молодые казахи, как и те, что составляли аудиторию любительского спектакля.

Пьесе (а это была первая пьеса на казахском языке — она начинала собой национальную драматургию) написал двадцатилетний Мухтар Ауэзов. Называлась эта пьеса «Энлик-Кебек».

Главным действующим лицом в ней был старый акын, аксакал (то есть старейшина, предводитель) бедных, обездоленных людей. И были еще показаны другие аксакалы, те, которые угнетали бедных людей и защищали феодалов.

Страстные сочувственные возгласы раздались в большой юрте, когда старый акын произносил на импровизированной сцене монолог, обличающий кровавые обычаи феодально-родовой старины...

Это происходило ровно сорок лет тому назад, летом 1917 года.

С тех пор и до наших дней пьеса «Энлик-Кебек» остается в репертуаре казахского театра, возникшего уже после Октября, а образ старого акына, навеянный молодому казахскому писателю биографией великого народного поэта и борца за народное счастье — Абая, стал центральным образом большой эпопеи в прозе, которую написал Мухтар Ауэзов много лет спустя и которая сейчас прочно вошла в золотой фонд многонациональной советской литературы.

Вплоть до самой Великой Октябрьской социалистической революции казахский народ имел многовековую богатую традицию устного эпоса, но не знал письменности на родном языке, и грамотные люди были там лишь в среде мусульманского духовенства. Революция не только раскрепостила Казахстан от колониального угнетения, но и избавила бедняка казаха от его векового эксплуататора — от феодала-бая.

В новом, свободном Казахстане в течение всего лишь четырех десятилетий была создана большая, разнообразная, высоко развитая литература. Сейчас на полках многочисленных библиотек Казахстана стоят не только изданные на род-

ном языке переводы классических произведений русской и других крупнейших литератур мира, доступные миллионам читателей в этой стране, ставшей сегодня, как и все союзные республики, страной поголовной грамотности. Уже не поместятся и на десятке полок романы, стихи, пьесы, написанные обширным отрядом казахских советских писателей.

Одним из зачинателей этой литературы был Мухтар Ауэзов. Его перу принадлежат сборники рассказов, драма «За Октябрь», написанная по мотивам фурмановского «Мятежа», пьеса «Ночные раскаты», небольшие повести «Превращение Хасена», «Охотник с орлом»...

Логическим развитием собственного литературного пути, итогом его раздумий явилась для М. Ауэзова работа «Традиции русского реализма и казахская литература», показавшая прочную взаимосвязь молодой национальной литературы с развивающимся методом социалистического реализма, родившимся в революционной литературе России и оплодотворившим прогрессивных художников всего мира.

Монументальная эпопея «Абай» широко известна и русскому читателю.

28 сентября 1957 года вся советская литература торжественно отметит шестидесятилетие Мухтара Ауэзова и сорокалетие его плодотворной литературной деятельности.

Поздравим и мы вместе с читателями нашего журнала маститого художника и от всей души пожелаем Мухтару Ауэзову новых творческих успехов.

Закончен многолетний труд выдающегося казахского писателя Мухтара Ауэзова. Вышла в свет последняя книга его четырехтомного цикла романов о великом поэте-демократе Абае Кунанбаеве. Создание такой эпопеи в казахской литературе, которая сорок лет назад по существу вообще не знала еще настоящего романа, — знаменательное событие, исполненное особого значения.

Романы о жизни Абая — великого казахского народного поэта-певца — это многоплановая эпопея, охватывающая огромный исторический период. В первой книге мы встречаем Абая подростком, скачущим на иноходе в аул, а в последней — как бы принимаем участие в панихиде по скончавшемуся на шестидесятом году жизни и оплакиваемому народом прославленном поэте. Большая и напряженная жизнь незаурядного человека проходит перед читателями на щедро и красочно зарисованном историческом фоне.

Нарисовать фигуру выходца из эксплуататорского класса, ставшего народным заступником, — нелегкая задача. Чтобы найти правдивое идейно-художественное решение этого явления, Ауэзов показал Абая в центре сложного переплетения социальных явлений. Живой образ поэта, шедшего в

«тернистых местах без проторенной тропинки», много и плодотворно размышлявшего, высоко поднявшего знамя справедливости и человечности, народности и свободолюбия, знания и труда, убеждает и покоряет. Борьба Абая против закостенелых обычаев и традиций изображена Ауэзовым в подробностях — конкретно и исторически правдиво.

Портрету Абая в эпопее М. Ауэзова не чужды элементы романтизма, которые подчеркивают одухотворенность образа центрального героя. Этот образ отнюдь не сведен к простой сумме положительных черт. В нем органически синтезируются глубоко индивидуальные качества, присущие только Абаю, делающие его исполинской фигурой. И вместе с тем эти глубоко индивидуальные черты, обладающие исключительной силой убедительности и эмоционального воздействия, порождены не только конкретными фактами биографии данной личности, но и как бы чаяниями народа — исторической необходимостью, создавшей условия для появления такой фигуры, какой стал Абай Кунанбаев. Благородные качества и достоинства, ему свойственные, — это вместе с тем и то лучшее, новое, что присуще его народу.

Современная Абаю эпоха принесла много изменений в жизнь казахского народа. Такие социально-экономические факторы, как присоединение Казахстана к России, начавшиеся после этого строительство городов,

М. Ауэзов. Путь Абая. Книга вторая. Редактор И. Есенсерлин. 440 стр. Казгослитиздат. Алма-Ата. 1956 (на казахском языке).

железных дорог в казахской степи, открытие больших базаров и ярмарок, развитие торговли, расширение экономических и культурных связей казахского народа с соседями, особенно с русским народом, — все это приводило к распаду прежних патриархальных устоев казахского аула, способствовало развитию общественного сознания казахов. Определенное влияние оказали и революционно-демократические идеи, которые, проникнув в казахскую степь благодаря передовым русским людям, нашли в ней своих последователей — таких, как Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин, Абай Кунанбаев.

Абай не сразу сформировался как поэт и борец за народное счастье. Но на всем пути он не оставался одиночкой. Число его сторонников, сначала весьма незначительное, со временем возрастает.

В первой книге романа «Абай» автор вводит читателя в разгар ожесточенной родовой борьбы; он показывает подобных шакалам родовых верховодов, из корыстных целей разжигающих эту борьбу в недрах феодально-патриархального общества. Читатель вместе с Абаем видит неотомщенную обиду ни в чем не повинных людей, которые становятся жертвами жестоких злодеяний; видит тяжелую жизнь бедняцких оседлых аулов, муки и горе батраков. Он переживает все эти тяжелые картины вместе с чувствительным, справедливым юным Абаем и понимает, как должны ужасать того подобные явления.

Но если в первой книге мы видим только всходы, молодую поросль от семян добра и справедливости, то в последующих книгах эти ростки буйно развиваются, крепнут и зреют. Абай порывает с родным отцом и его жестокосердными приближенными; он клеймит отца позором и выносит ему бесповоротный обвинительный приговор.

Так Абай переходит на сторону народа, начинает бороться за его интересы.

Различные периоды жизни Абая, события, в которых он принимал деятельное участие, смена взглядов, понятий, изменчивость чувств — все это не есть нечто не связанное между собой, расплывчатое, расплывчатое; нет, все это запоминается как единое целое, внутренне связанное, отражающееся в характере Абая и формирующее его. В этом и сказалось литературное мастерство Ауэзова. Он и нас заставляет на все смотреть глазами Абая, понимать и

чувствовать по-абаевски. Читая эпопею, мы вместе с Абаем сердимся и восторгаемся, ненавидим и любим, впадаем в раздумья, страдаем, трепещем...

Есть еще одна важная сторона образа Абая. Это его отношение к русскому народу, к России. Это отношение сформировалось у Абая не сразу, не явилось к нему в готовом виде. Оно формировалось постепенно, вместе со становлением характера Абая.

Россия для Абая не однолика. В романе показаны и чиновники царского правительства, назначенные им для управления казахской степью, и представители передовой русской интеллигенции, сосланные в Казахстан, и русские крестьяне-переселенцы. Так узнает Абай, с одной стороны, царскую, помещичью Россию, которая вкупе с местной феодальной верхушкой угнетает народы, а с другой — Россию Ломоносова и Радищева, Пушкина и Лермонтова, Чернышевского и Некрасова. Восставая против жестокой «тюрьмы народов», Абай вместе с тем мечтает, чтобы судьба его родины была навеки связана с этой Россией — Россией вдохновенного революционного порыва и передовой, прогрессивной мысли.

Однако достоинства тетралогии не исчерпываются лишь образом Абая. В книге проходит перед читателем великое множество людей — хороших и плохих, поддерживающих поэта-бойца и противодействующих ему. И даже в тех случаях, когда перед нами возникает персонаж эпизодический, он почти всегда написан зримо, объемно и достоверно.

Так показаны друзья Абая — Михайлов и Долгов, угадавшие его поэтический талант и поверившие в него, внушившие поэту убеждение, что поэтическое творчество есть благородный путь служения народу и что он должен идти по этому пути.

Так показаны представители той пламенной молодежи с новыми, прогрессивными взглядами, с новыми, благородными стремлениями, которая окружила Абая на его новом пути.

Вот сын Абая — Абиш, европейски образованный человек, помощник и советчик отца, демократ, непримиримый враг старых устоев жизни, насилия и несправедливости. Или Дармен — родственник мудрого старца Даркемба, ученик Абая, на которого учитель возлагает большие надежды. Это талантливый поэт, человек смелых, дерзаний,

нежных чувств и чистой души. Дармен — это как бы завтрашний Абай, воплощение его чаяний и надежд, заботливый садовник абаевского сада.

Представители народных масс, всю свою жизнь испытывающие бедность, нужду, насилие и произвол, реалистически показаны в эпопее. Характеры Даркембая и Базаралы яснее всего позволяют увидеть, как тщательно и глубоко Ауэзов исследовал жизнь этой среды.

Образ Даркембая, честного, мужественного человека, народного заступника, написан с особым проникновением. Даркембай не испытывает страха перед свирепым властелином Кунанбаем, чьи руки обагрены кровью; напротив, он уличает его во лжи, клеймит за злодеяния, открыто и решительно вступает в борьбу с его сторонниками. С ним Абая связывает тесная дружба. Поэт не только многому учит его, но и сам учится у Даркембая.

В галерее образов, созданных Ауэзовым, особое место занимают портреты женщин. Если мудрая и сердобольная бабушка Зере и добрая, умная мать Улжан, выведенные в романе как воплощение честности, справедливости, человечности и сострадания, способствовали, так сказать, закладке фундамента лучших человеческих качеств будущего поэта-гуманиста, то прелестная девушка Тогжан, предмет первой романтической любви молодого Абая, изумительно ярко раскрывает перед нами сокровенные качества большого человеческого сердца, способного любить горячо и страстно. Обаятельная девушка Айгерим, прекрасная певица, дорогая сердцу Абая тем, что многими чертами напоминала ему любимую Тогжан, способствует пробуждению в Абае большого чувства любви к народной музыке. Обогащают духовную натуру поэта и умная Салтанат, и поэтесса Куандык, и одна из носительниц исконной народной мудрости старуха Ийс, забытая нуждой, унижениями и непосильным трудом. Свообразен образ Дильды, жены Абая, на которой поэт женился без любви, выполняя волю своего властного отца; знакомясь с нею, мы еще полнее ощущаем обаяние самого Абая и его любимых Тогжан и Айгерим.

Особо следует остановиться на том, как показывает Ауэзов в своей эпопее противников Абая — заклятых врагов справедливости и правды. Мухтар Ауэзов понимает, что победа в битве над слабым, беспомощ-

ным врагом не делает чести победителю. Если бы враги, с которыми Абай вел борьбу, были даны слабыми, оглушенными, то глубокий ум Абая, его духовная сила в борьбе за светлые идеалы были бы обеднены. Но Ауэзов сумел и приверженцев старого мира наделить очень сильными характеристиками.

Самый сложный образ в этой весьма обширной галерее — образ Кунанбая. Его типичность, цельность, эмоциональная наполненность — вне всякого сомнения. Образ Кунанбая не имеет себе равных среди всего, что написали писатели Казахстана о темных силах, порожденных прошлым нашей страны. Много в этом характере складок, извилин и тайников. Кунанбай, воплотивший в себе дух жестокости, интриг и коварства, отнюдь не односторонен и не мелкотравчат. Он по-своему могуч и монолитен. Его ум прозорлив, его коварство безгранично, его темные злодеяния рождены беспредельной жестокостью.

И вот против этого матерого хищника выступает Абай. Трудность борьбы заключается не только в том, что Кунанбай-ага — султан, а Абай — лишь незрелый, неокрепший юнец, но и прежде всего в том, что Кунанбай — родной отец Абая. Поэтому в своем сопротивлении властному султану Абай постепенно переходит от внутреннего несогласия к открытой борьбе и в этой борьбе, постепенно завоевывая симпатии народа, в конце концов торжествует и одерживает победу. Но старый мир не признает себя побежденным и вовсе не сидит сложа руки. Место дряхлеющего Кунанбая занимают феодалы той же закваски: Уразбай, Жиренше, Такежан, Азимбай. Волчьей стаей набрасываются они на борющегося за справедливость Абая.

Духовные «питомцы» Кунанбая словно разделили между собой черты характера своего учителя. Уразбай заимствовал у Кунанбая его тиранство, произвол, Жиренше — коварство, хитрость, лукавство. Такежан унаследовал властолюбие и жестокосердие отца... Подобные хищники давно уже канули в вечность. Казахский народ избавлен от них всем ходом своей истории. Но, воссозданные умным и страстным художником, они остаются живыми в литературе, помогая понимать, как шла нелегкая, ожесточенная борьба между старым и новым миром. Эти запечатленные силой искусства образы помогают глубоко познать жизнь прошед-

ших поколений и, вместе с тем, имеют актуальное значение для нашей сегодняшней жизни и борьбы. Хотя Кунанбая сейчас не встретить, но в сознании некоторых наших современников все еще сохранились отдельные элементы «кунанбаевщины». Понимать природу пережитков, распознавать родимые пятна прошлой эпохи, знать их корни, а следовательно, и уметь с ними бороться — учит нас галерея созданных Ауэзовым отрицательных образов. И это качество делает для нас его эпопею неоценимым оружием.

Итак, вершина положительных образов — Абай, вершина отрицательных — Кунанбай. Оба они — колоссы двух миров. Один подобен восходящему солнцу, разгоняющему мрак, другой — вековечному мраку, старающемуся воспрепятствовать восходу солнца. Если мы говорим, что эта эпопея есть панорама полувековой жизни казахской степи, то с полным основанием можем сказать, что одна из этих двух систем образов бросает лучи света на панораму, другая падает на нее тенью.

Ожесточенные схватки Кунанбая и его сторонников, разжигавших межродовую борьбу, способствовали пробуждению классового самосознания трудящихся, и писатель помогал своему читателю ощутить это уже в романе «Абай», открывающем тетралогии. Бедняцкие аулы, некогда подавлявшиеся подстрекательствам главарей родов, начинают понимать, что межродовая борьба выгодна только родовой верхушке.

В этой книге происходит как бы скрытая подготовка будущих больших схваток между представителями двух миров.

В романе «Путь Абая» Ауэзов изображает новую среду, новые события: злодеяния хазретов, халфе, ишанов, мулл¹, тяжелую жизнь городских трудящихся и рабочих затона; эпидемию, голод и другие стихийные бедствия, обрушившиеся на народ; налоги и поборы, взимаемые с населения царским правительством, произвол чиновников; жизнь джетсуйских казахов; новые враждебные заговоры против Абая, сближение Абая с рабочими, выступление казахов-рабочих рука об руку с русскими крестьянами против угнетателей; новые картины, новые формы борьбы, конфликтов. Отсюда и новые образы: Акишана, Сармоллы — из

духовенства; Абена, Абды, Сеила, Сеита — из рабочих; Павлова и Александры Яковлевны — русских друзей поэта.

При выходе в свет первых книг романа раздавались упреки в адрес автора: он, мол, не показал нам классовую борьбу. Но ведь классовая борьба не есть нечто застывшее. Это — явление, изменяющееся и развивающееся в зависимости от исторических условий. В первых книгах романа «Абай» показаны ни в чем не повинные жертвы жестокой межродовой борьбы: жатаки, постоянно терпящие нужду и лишения, батраки Кунанбая, всю жизнь мыкающие горе у его порога. Все они — порождение социального неравенства и противоречий казахского аула. Разумеется, здесь еще нет явно выраженной классовой борьбы и проявлений гневного протеста и возмущения. Тем не менее в первых книгах уже ясно чувствуется растущее недовольство против эксплуататоров, пробуждающееся классовое самосознание.

В романе «Путь Абая» отражена другая эпоха, когда классовая борьба носила уже иной характер, и борьбу между двумя мирами писатель стремится показать более резко, контрастно.

Однако в двух последних томах новые социальные отношения, среда, характеры описаны все же более туманно и бледно, чем картины жизни феодального общества в двух первых томах. Объясняется это отчасти тем, что в то время среда городских кустарей, зарождающегося казахского рабочего класса и казахской интеллигенции находилась еще в становлении, не оформилась, не определилась в полной мере, типические ее черты еще отчетливо не выявились.

Некоторые критики упрекали Ауэзова в том, что иные его герои в жизни были друзьями; что, например, Такежан таких набегов не делал, что некоторыми произвольными чертами наделен образ Абая и т. д. Но дело не в частных расхождении. Дело в том, что художник оперировал фактами так, чтобы они помогали ему полнее и правдивее отобразить большую правду жизни.

Богат и гибок язык этой эпопеи. Он впитал в себя и разговорную речь и шедрую образность казахского фольклора. Словесное богатство позволяет нам считать это произведение драгоценным сокровищем казахского языка.

¹ Хазрет, халфе, ишан, мулла — представители высшего и среднего мусульманского духовенства.

Но языковое мастерство писателя не определяется одним лишь богатством его лексикона. Оно во многом зависит и от синтаксического строя. Прочтите любое место из романа, и вы сразу же определите «ауэзовский почерк». Интонационный строй меняется в зависимости от течения событий. Если автор, рассказывая о каком-либо событии, обостряет действие, то он описывает его энергично, динамически, короткой фразой, когда же события, широко разлившись, замедляют течение, то писатель переходит к размеренному, спокойному повествованию.

Словесная палитра Ауэзова многоцветна, но писатель пользуется красками экономно, расходуя их скупно, только по мере необходимости. У него нет неуместной пышности, высокопарности, нет нарочитой изысканности, книжности.

Эпопея об Абае — монументальная вещь, титанический труд. Конечно, в этом колос-

сальном труде есть и кое-какие шероховатости, в столь разнообразных многочисленных главах есть и бледные, вялые места, в галерее многочисленных персонажей не все портреты обрисованы одинаково ярко. Вполне естественно, что эстетическое, эмоциональное впечатление от каждой из четырех книг большой эпопеи неравноценно.

Тем не менее читатель всегда ощущает величие авторской мысли, грандиозность осуществленного замысла.

Эпопея об Абае — художественный памятник великому поэту. Это большая победа, победа всей советской литературы, победа ее замечательного творческого метода — метода социалистического реализма, и в то же время это естественный результат развития казахской советской литературы, растущей и совершенствующейся под руководством Коммунистической партии.

Мухамеджан КАРАТАЕВ.

★

Люди, будьте бдительны!

Газетные корреспонденции, так же как книги — повести или романы, — могут жить долго, не старея и не забываясь. Прошло уже двадцать лет с той поры, когда мы читали в «Правде» очерки и корреспонденции Михаила Кольцова с Пиренейского полуострова. Он был там, где были наши сердца, — в героической республиканской Испании, которая первой из европейских государств начала вооруженную борьбу с объединенными силами фашизма. В этой борьбе все мы были заодно с испанскими рабочими. Мы изучили географию чужой, далекой страны, которую прежде знали плохо и мало. Школьники мечтали отправиться добровольцами в Испанию. Они хотели бить фашистов вместе с бойцами коммунистического Пятого полка, о котором писал Кольцов.

За эти двадцать лет нам многое пришлось пережить. Мы прошли через кровавую войну с фашизмом, самую жестокую и разрушительную из всех, какие знало человечество. Юноши, которым снялись подвиги в осажденном Мадриде, у древних стен Толедо, в горах Гвадаррамы, били фашистов под Москвой, форсировали

Днепр, высаживались с десантом в Новороссийске, освобождали Тамань и штурмовали рейхстаг. Но испытания не изгладили из памяти горьких, тревожных и радостных корреспонденций Кольцова о первых по счету вооруженных схватках с фашизмом в Европе. Не померкли и не позабылись образы скромнейших героев испанских событий — танкиста Симона, летчика Антонио, даже безыменной девочки-телефонистки из районной подстанции Хетафе, которой Кольцов и уделил-то всего несколько лаконичных строк. Она отказалась эвакуироваться с республиканскими войсками и до последнего момента держала связь. Ее последние слова были:

— Я слышу вопли мавров.

Через десять минут на вызов ответил мужской голос.

Вероятно, историки гражданской войны в Испании внимательно изучат эту летопись, сделанную советским писателем. Но современникам еще трудно отнести книгу Кольцова к прожитым страницам истории. «Испанский дневник», возвращенный нам после долгого перерыва, и сегодня не утратил газетной злободневности. Да и самое восприятие этой книги в чем-то, пожалуй, даже стало острее и глубже. Война многое прибавила к нашему опыту. Читая

Михаил Кольцов. Испанский дневник. Редактор Б. Изанов. 614 стр. «Советский писатель». М. 1957.

о подвиге девочки-телефонистки, невольно думаешь о нашей Зое. С знаменитой истребительной эскадрилей Рихтгофена над Мадридом дрался героический республиканский летчик лейтенант Паланкар, а на Курской дуге — Алексей Маресьев. Дальнобойные орудия Круппа, этого старого оружейника кайзера Вильгельма, а потом Адольфа Гитлера, громившие осажденный Мадрид, угрожали заблокированному Ленинграду. И над Мадридом, как это засвидетельствовал Кольцов, уже были летчиков Геринга... Нет, книга Михаила Кольцова по-прежнему тревожит и будоражит, возбуждая новые мысли, новые ассоциации.

Трагический и мужественный образ республиканской Испании живет на страницах кольцовских дневников. Я думаю, что рядом с лучшими образцами публицистики Великой Отечественной войны по праву может стоять «Испанский дневник» Михаила Кольцова. Эта книга учит молодого читателя любви и ненависти. Она помогает зорче видеть, острее чувствовать, прибавляет душевной зрелости.

Кольцов не был в Испании равнодушным наблюдателем, одним из тех «ловцов новостей», каких немало хлынуло в первые дни войны в Мадрид, Барселону, Валенсию. Представитель великой Советской державы, заявившей во всеуслышание о своей солидарности с борьбой испанских трудящихся, Кольцов и сам не скрывает горячей симпатии к этой стране, к этому, как он говорит в своих записях, никому понастоящему не известному народу, долго прозябавшему в нижнем, левом углу материка и вдруг поднимающемуся во весь рост перед миром. А о том, что любишь, трудно писать холодно и бесстрастно, не тревожась, не радуясь и не восторгаясь.

Чувством братской, интернациональной солидарности с борющимися испанским народом проникнуты страницы дневников Кольцова. Но это же глубоко осознанное чувство общности интересов и целей тесно связало с борьбой испанского народа тысячи антифашистов во многих странах мира. Под Уэской сложил свою смелую, умную голову венгерский писатель-эмигрант, ставший национальным героем республиканской Испании. В распоряжение народного правительства отдал себя немец-антифашист, кадровый офицер германской армии. Девятнадцатилетний парижанин-булочник отправлялся в осажден-

ный Мадрид не как искатель приключений, не из любви к Испании вообще, а чтобы заслонить, защитить от фашистов город, в котором он никогда прежде не был. Мексиканский коммунист Мигель Мартинес, имя которого часто упоминается в дневниках, тоже прибыл сюда помогать и передать испанским коммунистам свой опыт мексиканской гражданской войны. Впрочем, внимательный читатель книги без труда заметит, что Мигель Мартинес и Михаил Кольцов — одно и то же лицо. Ведь советскому литератору приходилось сражаться за свободу Испании не только пером. С батальоном «Виктория» из Пятого полка Мигель Мартинес ходил на штурм мятежного Алькасара, с цепью дружинников лежал на мадридском шоссе, обороняя его от фашистов, воевал в танке и броневике, сочинял популярные брошюры по тактике.

Он вел себя мужественно в первых траншеях всемирной схватки с фашизмом и столь же честно и мужественно рассказал о том, что изо дня в день наблюдал. Кольцова восхищала отвага республиканцев. Не раз в бою он любовался выдержкой и хладнокровием вчерашних необстрелянных крестьянских парней. Но это не помешало ему разглядеть слабости республиканской Испании, которые в конечном счете стали одной из причин ее поражения. Больше того, он считал своим долгом рассказать о них читателям, ничего не скрывая и не утаивая, чтобы в грядущих схватках с фашизмом урок Испании не позабылся, а ее ошибки не повторились.

Неосмотрительность, излишняя доверчивость оказали дурную услугу республиканцам. Отвага, инициатива, энтузиазм, преданность республике — это все было с самого начала. Но благодущие, но беспечность, а часто и прямое предательство, спрятанное под маской беспечности, искренялись слишком медленно. В разгар второй мировой войны Юлиус Фучик перед казнью предостерегал живых: «Люди, будьте бдительны!» И хотя эти слова были написаны через несколько лет после испанских событий, они могут стоять эпитафией и к «Испанскому дневнику» Михаила Кольцова. Сколько ошибок удалось бы предотвратить, если бы не трагическая беспечность самих испанцев! Сколько человеческих жизней удалось бы спасти, если бы твердая и последовательная позиция Советского правительства по отношению к Испании тогда же встретила бы широкую

поддержку в западном мире, если бы трусовый нейтралитет английских, французских политических деятелей и партийных лидеров не был провозглашен чуть ли не высшей государственной мудростью!

Книга Кольцова напоминает, как шел, как рвался к власти фашизм, все более наглая от своей безнаказанности, и как потворствовали ему малодушные люди, именовавшие себя демократами и врагами фашизма. Из затемненного и окровавленного Мадрида, который фашизм душил железным, огненным кольцом, советский писатель предупреждал лицемерных сторонников политики невмешательства, всех, кто хотел закрыть глаза на испанскую трагедию, надеясь умиловать фашистского зверя уступочками и подарками, что завтра им грозит тот же фашистский ураган, что немецкие бомбы вслед за Мадридом не замедлят обрушиться на крыши французских и английских городов.

Замечательно показаны в дневнике испанские коммунисты. На эту силу с самого начала борьбы можно было положиться. Вот, например, Испания, опьяненная первыми часами свободы, охваченная высшим подъемом, счастьем и ликованием, уверенная в быстрой ликвидации фашистского мятежа, такая, какой ее увидел Кольцов вскоре после начала гражданской войны. Все сдвинулось с места, все в состоянии брожения и кипения. Людям кажется, что для них нет ничего невозможного, недоступного, неосуществимого. В такой празднично беспечной и уже поэтому чреватой опасностью обстановке — для террористов и провокаторов, для всех тайных и явных пособников пятой колонны было настоящее раздолье. И коммунисты, выступая застрельщиками в самых трудных делах, сплачивали и организовывали патриотов, боролись с распушенностью анархистов, с раскольническими, деморализующими действиями троцкистов-поумовцев, приучали к дисциплине, цементировали разнохарактерные по своему составу молодые воинские части, примиряя и объединяя в одной роте представителей пяти разных партий. А вот уже совсем другая Испания, Испания — год спустя, подтянутая, по-военному строгая, Испания мадридской обороны. Она научилась капывать, вести упорные уличные бои, осуществлять сложные тактические маневры. Исчезли живописные, романтического вида партизаны в мексиканских шляпах с

маузером на одном боку и с толедской старинной шпагой — на другом. Новые кадры, выросшие в боях, дерутся с фашистами трех стран, обрушивших на них всю мощь военной техники. И коммунисты, как прежде, — в первых рядах. Двумя-тремя точными штрихами Кольцов набрасывает портреты Хосе Диаса, Долорес Ибаррури, храброго Энрике Листера, по-шахтерски серьезных и упорных астурийских коммунистов-горняков. Но, пожалуй, особенно запоминаются образы большого Хосе Диаса и Долорес. Мы видим Долорес на заседаниях Центрального комитета партии в Мадриде, в Валенсии, то празднично приподнятую, веселую, с лукавой улыбкой, то смертельно усталую, чем-нибудь огорченную и озабоченную, видим на передовых позициях, окруженную загорелыми, небритыми бойцами. Они тормошат ее, окликают сразу со всех сторон:

«— Долорес, выпей из моей кружки!

— Нет, из моей!

— Долорес, возьми письмо для моей матери!

— Долорес, посмотри мои раны — они почти зажили за четыре дня...

— Долорес, я дарю тебе на память свой шарф. Смотри не брось его!

— Долорес, попробуй мой пулемет, что за дивная машина!

Долорес пьет из кружки, она берет письма, она шупает раны, она надевает солдатский шарф и смотрится в зеркальце. Она прижимается своей черной с проседью головой к пулемету и выпускает очередь».

Кольцов пробыл в Испании не неделю, не месяц. В общей сложности он провел тут около полутора лет — всю гражданскую войну, изо дня в день писал в «Правду» боевые корреспонденции, вел дневники, которые помогали советским людям лучше узнать настоящую, а не экзотическую Испанию, ее природу, быт, ее людей в один из самых героических моментов испанской истории.

Из этих, порой обстоятельных, порой беглых и даже как будто пестрых записей, из маленьких, остро сюжетных новелл, эпизодов, характеристик, рассказов о мимолетных встречах на фронтных дорогах, перемежающихся с подробным анализом военной и политической обстановки на Гвадарраме, в Мадриде, описанием республиканских укреплений вокруг Бильбао, которые Кольцов, кстати говоря, сам облазил

и ощупал своими руками, вырисовывается широкая и внушительная картина испанских событий, героем которой является народ.

«Испанский дневник» написан с большой внутренней свободой. Его автор судит обо всем не предвзято, не с чужих слов, а по собственным впечатлениям, исходя из оценки самых событий и поведения людей. Острая журналистская наблюдательность, сочетаясь с политическим опытом, помогает ему почти всегда безошибочно распознавать собеседника. Ему, например, импонирует колоритная личность анархиста Дуррути, в котором, несмотря на его анархические ошибки, он угадывает одного из самых ярких людей Каталонии и всего испанского рабочего движения. В то же время он настороженно и недружесливо отзывается о самовлюбленном Хуане Астиггаррания, секретаре компартии басков, который действительно в решающий момент не проявил ни чутья, ни понимания обстановки, ни подлинного желания бить врага. Почти с афористической меткостью рисует он канцеляриста-диктатора Ларго Кабальеро, одно время бесславно возглавлявшего правительство республики.

Но в просторном, раззолоченном кабинете председателя Совета министров, в скромном доме деревенского алькальда, в солдатском окопе — Кольцов везде остается самим собой, остается гражданином Советской страны, который смотрит на все, что его окружает, глазами советского человека. Застряв в Байонне, маленьком курортном городке на франко-испанской границе, он случайно заглядывает в цирк, где выступает, точнее — бегают внутри огромного колеса, демонстрируя свою технику, чемпион мира Ладумег. Случайно проведенный вечер, случайное впечатление. Но какую характерную запись делает в своем дневнике Кольцов: «Божество спорта во всем своем блеске и обаянии, плененное и посаженное в клетку. Белка в колесе! Ладумегу сейчас негде больше выступать, его спортивная работа никем не поддерживается, никем не оплачивается, не имеет во Франции спроса. Он может жить, только

выступая в цирке, только бегая в колесе. Ладумег, тебе некуда бежать. Беги к нам!»

В книге Кольцова соединились вместе талантливый писатель-рассказчик, публицист, лирик, гневный памфлетист. Его записи всегда окрашены личностью автора. Не потому, что к этому обязывает форма дневниковых записей, — можно и в дневниках оставаться холодным, отстраненным от всего человеком, — а потому, что трагедия Испании глубоко вошла в его душу. Он испытывает гордость за этот героический народ и в то же время страх и тревогу за его судьбу, боль за страдания и жертвы, которые он несет, за несправедливость, за неравенство сил. Кольцов часто размышляет вслух, и тогда в его дневниках появляются лирические отступления о судьбе испанской женщины, о соснах и пальмах, о слове «огонь» — отступления, в которых, быть может, ярче всего проявляется миросозерцание советского художника и которые как бы расширяют, раздвигают рамки повествования. И тут же, рядом с взволнованными страницами лирической прозы соседствует полный юмора рассказ о взаимоотношениях советского журналиста с авиационной компанией «Пиренейский воздух». Однако и эта так мило, шуточно и непринужденно переданная история, в сущности говоря, имела свою драматическую подкладку, своих героев — летчиков Гидеца и Янгюаса, самого Михаила Кольцова. Ведь полет над фашистской территорией в осажденный Бильбао из кишевшей шпионами Байонны требовал настоящего мужества. Но к этому Кольцова обязывал журналистский долг, и на это надо было решиться: «Мне надо быть завтра в Бильбао, и я буду завтра в Бильбао или нигде не буду...»

«Испанский дневник» остается в строю. Эта книга воскрешает перед читателем одну из славных страниц в истории борьбы европейских народов с фашизмом. Она говорит о силе человеческого духа. Она предостерегает слабых и беспечных. Она по-прежнему борется и зовет к борьбе.

Б. ГАЛАНОВ.

Земное сердце

Однотомник Всеволода Рождественского подытоживает все созданное поэтом за тридцать пять лет.

Открывается он «камерными» стихами, затем становится шире, значительнее, приобретает живые исторические черты, переданные современником и участником событий. Так книга лирических стихотворений поэта всегда переключается с временем, в которое она создавалась, даже если автор говорит только о личном.

Во время Октябрьской революции Рождественскому было двадцать два года. Студент-филолог, взятый в 1916 году в армию, он участвовал в штурме Зимнего, защищал красный Петроград в дни наступления Юденича.

В раздел «Стихи юности» (1920—1927) включены очень немногие из первых произведений поэта. Строфы о летнем полудне, о лесах и пригородных парках кажутся на первый взгляд отдаленными от тех трудных, полных лишений и вдохновения лет. Они созерцательны. Но есть в них то, что стало в дальнейшем главным в поэзии Рождественского. Это оптимизм, радостное ощущение цельности жизни, любовь к родной природе.

Первые стихи Рождественского были талантливыми, но не неожиданными.

На палубе разбойничьего брига
Лежал я, истомленный лихорадкой,
И пить просил. А белокурый юнга,
Швырнув недопитой бутылкой в чайку,
Легко переступил через меня.

Строки эти словно вырвались из романов Р. Л. Стивенсона. А поэт, служивший тогда в мином батальоне, писал их на борту тральщика, неустанно утюжившего в поисках мин Финский залив.

Революционная тема, романтически воспетая в стихотворениях Рождественского тех лет, также преломлялась сквозь призму литературных ассоциаций.

От наших дружб, от книг университета,
Прогулок, встреч и вальсов под луной
Шагнула ты, не дописав сонета,
В прожектора, в ночной октябрьский бой.

Сгорали дни и хлопали, как ленты
Матросских бескозырок. В снежный прах,
В огонь боев, в великие легенды
Входила ты на алых парусах.

Всеволод Рождественский. Стихотворения. 1920—1955. Редактор П. Быстров. 368 стр. Гослитиздат. М. 1956.

Время было сложное, небывалые события требовали от стихов своего, а не книжного пафоса. И поэт ринулся в дальнейшие творческие поиски, взяв с собой лучшее в своей лирике, звучавшее в лад времени. В стихах его жила неотступная мысль о судьбе Родины, звучала взволнованная любовь к ней:

За дороги твои, за березы,
За грибные, сквозь солнце, дожди,
За сугробы, крутые морозы
И погожие дни впереди,
За дыхание леса родного,
За бессонную ночь у огня
На, возьми мое сердце и слово —
Все, что лучшего есть у меня!

В лирических описаниях природы, в стихах о просторах России ощущается блоковское влияние. Поэту близок Блок — восприимчив к пушкинским традициям, Блок, сказавший: «Узнаю тебя, жизнь, принимаю...» И тогда же в поэзии Всеволода Рождественского прозвучала тема, ставшая для него одной из основных, — воспевание родного города, города Петра, Пушкина, города Ленина. Великолепно очерчен поэтом его неповторимый пейзаж: сфинксы под снегом, шпиль, врезанный полукругом Сенат, где у костров стояли декабристы. Здесь истоки созданной Рождественским в содружестве с композитором Шапориным оперы «Декабристы». Оживают страницы истории. И то, чему поэт сам был свидетелем, сочетается с величавым прошлым. В одном из лучших стихотворений этого периода (к сожалению, почему-то не включенном в однотомник) поэт писал:

...У нас на Николаевском мосту
Катил Октябрь бушлатный вал матросов.

О, сколько труб — поднятых черных рук!
Мороз и музыка. И на параде
Войска. И в Академии наук
Нетленные лицейские тетради.

Органически примыкают к стихам о Ленинграде циклы поэта, созданные в годы Великой Отечественной войны. Сначала в народном ополчении, затем на Ленинградском и Волховском фронтах Всеволод Рождественский прошел трудный благородный путь поэта-воина. В самые грозные дни он был под Мгой и Синявином. Участник Октябрьского штурма и двух героических оборон, он имел право так говорить в стихах, обращенных к Ленинграду:

Я счастлив тем, что в грозные годы
 Я был с тобой,
 Что мог отдать заре твоей свободы
 Весь голос мой;
 Я счастлив тем, что в пламени суровом,
 В дыму блокад
 Сам защищал и пулею и словом
 Мой Ленинград.

Уже в послевоенные годы, когда израненные стены города Ленина дружно восстанавливались, Рождественский создал вдохновенные стихи о славных зодчих города — Вороникине, Захарове, Растрелли, Росси. Этот цикл включает стихотворение «Девушки Ленинграда» — о рядовых строителях, о юности, отстраивающей родной город:

И новая возникнет Илиада —
 Высоких песен нерушимый строй —
 О светлой молодости Ленинграда,
 От смерти отстоявшей город свой.

Положительно оценивая книгу в целом, необходимо все же высказать автору и ее редактору некоторые критические замечания. Наряду с тем, что в однотомник не вошли некоторые важные для творческой биографии Вс. Рождественского произведения, есть в нем и стихи проходные, с издержками, может быть неизбежными при освоении новых тем, но все же не обязательными в подобном издании. Вряд ли стоило, например, оставлять в стихах «Парк в городе Пушкина» такие строки, как: «И бронза славных дел, и наш воздушный флот, что зорко Балтику отсюда стережет». Невнятен в стихотворении «Тихвинщина» образ «И сердце, что белка в нависнувших лапах». «Стальных коней растет гудень, врезающихся в грудь земли» — эти строки в стихотворении «Целина» просто плохи.

Ряд произведений в однотомнике дается в новых редакциях. Это закономерно; но все же в иных случаях правка, думается нам, стремясь к видимой простоте, снижает художественное качество произведения. Так, например, одна из строф стихотворения «Сады поэта» звучала так:

О эллизму муз! В лебедином бреду,
 Обожженном дыханьем столетий,
 По дряхлеющим паркам я юность веду,
 Сам струюсь отраженьем мечети,
 И шумят, как бывало, в Лицейском саду
 Академики, липы и дети.

В новой редакции мы читаем:

О святилище муз! По аллеям к пруду,
 Погруженному в сумрак столетий,
 Вновь я пушкинским парком, как в детстве,
 иду,
 Над водой с отраженьем «Мечети».
 И гостят, как бывало, в лицейском саду
 Светлогрудые птички и дети.

Казалось бы, ясность восторжествовала, но поэтическое воздействие, увы, стало намного слабее. В другом стихотворении «Старый капитан» исчез образ романтика Александра Грина, которому были посвящены эти стихи. Правда, портрет его, четкий, словно вытравленный на металле, остался:

Он худ и прям. В его усах дымится
 Морской табак. С его плеча в упор
 Глядит в глаза взъерошенная птица —
 Подбитый гриф, скиталец крымских гор.

Но все другое — портрет Эдгара По на стене, слова пришельца: «Привет из Зурбагана» (так называлась выдуманная Гринем страна) — отсутствуют. А между тем для понимания своеобразия поэзии Рождественского важно и это и ответ Грина:

Что Зурбаган! Смотри, какие сливы,
 Какие груши у моей земли,
 Какие песни!..

А безличное «Ну, добрый день!» вместо «Что Зурбаган!» — к сожалению, только заменитель.

Герои Рождественского и Грина очень родственны. Общее есть и в даровании писателей, чудесном их умении из зернышка истины вырастить причудливое дерево сказки.

В однотомнике много стихов, перекликающихся с гриновскими рассказами. Разве не таковы стихи «Индийский океан», о перламутровой раковине, поведавшей романтическую историю пытавшегося обмануть смерть капитана?!

Но Рождественскому в меру его сил удалось осуществить то, о чем Грину приходилось только мечтать. Из его «Зурбагана» протянулась дорога в страну осуществленной мечты, поэт отыскал и полюбил подлинных земных героев!

Всеволод АЗАРОВ.

Мир, увиденный впервые

Мне довелось прочитать в одной записной книжке, которую вел человек глубокий и наблюдательный: «Не родись Ньютон, тяготение было бы все равно открыто. А не родись Шекспир, Гамлета бы не было, никто бы его так не написал. Недаром нет одинаковых и даже похожих Дон-Жуанов. В литературе нет приоритета: все в ней впервые. А когда не впервые — это не литература».

Сколько было на свете повестей о детстве? Не счесть... И кажется: все уже сказано об этой поре. Нечего добавить к рассказу о детских годах Багрова-внука, или Николеньки Иртеньева, или к рассказу о суровом детстве Алеша Пешкова. Каждая из этих книг и все они вместе создают картину неповторимую и незабываемую.

И вот на книжной полке появляется новая повесть о детстве. Зовется она «Маленький Иллимар». И с первой же страницы писатель берет вас в плен, и одно только становится важно: радость и горе, счастье и беды маленького Иллимара. Все в этой книге впервые — и наступление утра, и луч солнца, и полет осенних птиц, и морозный узор на окошном стекле. Нет уже того дома, где жил маленький Иллимар, озера, которые он любил, давно высохли, а леса поредели... Но писатель воскресил все, что происходило некогда в том, уже не существующем доме на берегу несуществующего озера. Глазами ребенка читатель вновь открывает мир, обретает дар смотреть так пристально, как давно уже не смотрел, слышать так чутко, как давно уже не слышал, и все оживает перед ним: и запахи и звуки — и запах аира, и голос перепелки, и хватающая за душу мелодия шарманки.

Волшебство открытия мира — вот что поражает в книге Фридеберта Тугласа «Маленький Иллимар». Мы знакомимся с Иллимаром летним утром в ту минуту, когда он только-только проснулся. В комнате никого нет, и впервые в жизни он хочет одеться сам. Иллимар с трудом надевает штанишки, но с пуговицами ему пока еще справиться не удается. Он очень робок, маленький Иллимар, его пугает и тишина, и безлюдье, и сумрак, притаившийся в дальнем углу комнаты, и только голос ма-

тери наполняет его покоем. Мальчик шагает через порог — и мы вместе с ним оказываемся в огромном, полном чудес мире. Неторопливо сменяют друг друга лето и осень, зима и весна, всего год минул, но сколько узнал, увидел, понял маленький Иллимар, и как много заново понял и увидел вместе с ним читатель! Недаром так часто на страницах этой повести встречаешь слова: «это было настоящее чудо!», «это было просто чудо!» — все кажется Иллимару чудесным, самые обыкновенные вещи вдруг оборачиваются неведомой стороной. Разве утки просто крикают? Нет, на самом деле они кричат: «Кря-кря! В смысле еды ни черта — ни черта не стоит зимнее озеро! Но освежает, освежает!» А это — разве это комната, сени, лестница? Нет, это паром, каменный мост, ратуша — Иллимар побывал в городе, и ему известны все эти чудеса, он бродит по дому, и путешествие в Тарту снова оживает перед ним: «Ох, ох, далеко идти, далеко идти! Злые собаки, широкая река, поляния и темная ночь!» Все запомнил маленький Иллимар, все полно для него глубокого значения, нет на свете вещей неважных, неинтересных. Его глаза не пропускают ничего, и ночью он порой не может уснуть от обилия впечатлений.

Писатель удивительно чувствует поэзию детства, то, что Гёте называл первовпечатлением. Впервые испытано ощущение стыда: маленький Иллимар плачет, сидя на дереве, куда он взобрался, испугавшись двух маленьких собачонок, — это воспоминание ничем не изгладить! А какое радостное торжество охватывает мальчика чуть позднее, когда он, снова встретив собачку, уже не пугается, но топает на них ногами в звонких сапожках и повергает «врагов» в бегство. Вот оно что — значит, важно самому не испугаться! И это уже знание на всю жизнь, твердо усвоенный урок!

Глаза Иллимара помогают нам увидеть не только поэзию осени и весны, не только цветущую сирень или силуэт всадника на большаке. Они помогают нам увидеть людей, окружающих мальчика, узнать и полюбить его семью, глава которой работает по найму на мызе у богатых высокомерных господ.

Перед нами оживает душа дома — добрая, спокойная мать; отец — неторопливый, степенный и рассудительный и вместе с тем

Фридеберт Туглас. *Маленький Иллимар*. Перевод с эстонского Л. Тесм. Редактор Л. Доунша. 362 стр. Детгиз. 1956.

наделенный чудесным юмором; смешливая молоденькая тетя, которой очень хочется выйти замуж; и старший брат Карла, который только и делает, что потешается над маленьким Иллимаром, дурачит его и обижает.

В этой повести нет слов об уважении к людям труда и о презрении к тунеядству, но весь строй ее, каждое слово учит читателя уважать достойное уважения, презирать то, что презрения достойно. Мягко, ненавязчиво, вместе с общими заботами о хозяйстве, которыми живут все, вместе с общими разговорами о каждодневных делах, входит в повесть эта тема. Трудовые люди — бедняки, батраки, наемные работники — с детства окружают мальчика, и с детства растет и крепнет в нем сознание важности и святости труда, уважение к простым людям, таким, как страстно любящий своих птиц Якоб или доблестный Пётра-Тынис, который один не побоялся пойти навстречу сорвавшемуся с цепи страшному быку. «Кто знает, какой героический порыв или чувство долга овладели им? Думал ли он вообще о чем-нибудь? Но он должен был пойти, как делал это всегда. Там, на просторной площади, перед огромным быком, он выглядел крошечным, — даже жердь в его руках была втрое длиннее его самого».

Писатель проникновенно знает детство, он помнит не только умом, но и сердцем, и он хорошо понимает, что детство — не безмятежная пора, помнит, что все в этом возрасте подлинное, не игрушечное, — и радость, и горе, и любовь.

Удивительно кончается эта книга.

В деревню забрели странствующие музыканты. Иллимар, как зачарованный, ходит за ними, слушает музыку, смотрит на игру кукол. Иллимар не в силах оторваться от этого зрелища, он идет за чужеземцами по пятам, ему надо вернуться домой, но он

не может, не может! Издали музыка кажется еще более прекрасной, эти звуки словно из чистого серебра, Иллимар теряет всякое благоразумие, он идет к птичьему двору, потом к господскому дому, на плотину, к корчме — он готов идти за комедиями на край света — и всюду смотрит представление. Он знает, что его накажут, он послушался отца, он слышит, как отец говорит: «Выдрать его следует!» И охваченный отчаянием, Иллимар влез на крышу свинарника и сел там, охватив колени руками. «И сквозь набежавшие на глаза слезы мир показался ему еще печальнее... О горе, горе! Куда идти, что делать, где приклонить голову?»

Было тихо и одиноко. Только внизу трепетали листья осины и в свинарнике время от времени похрюкивали свиньи. Да, осина не страшится ночи и у свиней есть пристанище. Но где его дом и пристанище?

Глядя на осины, Иллимар вспомнил, как он когда-то точно так же сидел на ветвях черемухи, спасаясь от злых собачонок... И тогда было лето, наступал вечер и он точно так же плакал от отчаяния. Но все это было так давно. За это время он вырос на год и горе его тоже выросло.

Оно распирало ему грудь. Оно заполняло его самого и все окружающее... В него влилось и все то прекрасное, что он увидел сегодня, и холодное непонимание окружающих, и собственное бессилие оправдаться...»

Это написано чуть иронически и вместе с тем вполне серьезно. Это не грустный конец. Это слова о выросшей душе, о душе, созревшей для того, чтобы восхищаться, радоваться, страдать, о душе, готовой к жизни, — со всем прекрасным и со всем трудным, что есть в этой жизни.

И жаль, что эта прекрасная книжка о детстве, написанная еще в 1939 году, только сейчас пришла к русскому читателю.

Ф. ВИГДОРОВА.

★

О щедрости и соразмерности

Есть в книге Салиха Баттала небольшое стихотворение «Чужое письмо»:

Нехорошо читать чужие письма,
Не подбоает бравому бойцу.

Салих Баттал. Тем, кто помог...
Избранные стихи и поэмы. Перевод с татарского. Редактор М. Львов. 150 стр. Татнигиздат. Казань, 1956.

А я читаю, что товарищ пишет,
Да только не по строчкам, — по лицу.

Он на письмо глядит, как на ребенка,
Он улыбается, он поднял бровь,
Сверкают зубы на лице смущенном.
Он весь сейчас — вниманье и любовь...

...И ответ чувства нежного, простого
Окрасил щеки алою волной.

Я отвернулся. Наблюдать нескромно,—
Ведь это он наедине с женой.

В этой книге есть стихотворения добрые, есть гневные, и шуточные, и трогательные. Но у лучших из них, таких, как «Шинель», «Ночь. Над нами гудит самолет», «На занятиях по моторам», — одно общее: все они неожиданные. Самостоятельные, уверенные, пожалуй, даже — сильные. Иначе говоря, в книге есть стихи, отмеченные печатью таланта.

Но что такое талант? Вряд ли возможно полное, точное определение. Ведь в понятие «талант» включается способность к движению, изменению, развитию. Талантлив тот, кто открывает новое в окружающей нас действительности. Талантлив тот, кто для воплощения нового содержания своевременно находит необходимую, новую форму.

Часто повторяют: талант всегда молод. Эту истину, старую, но все же верную, повторил и Салих Баттал. Впрочем, не повторил. Он как бы открыл ее заново. Вот стихотворение одновременно гордое и скромное, простое и глубокое:

«Какая юность в нем светло искрится!» —
Ты восклицаешь, слушая мой стих.
«Какая старость!» — глядя на морщины,
Ты потихоньку думаешь о них.

Противоречья в этом нет! Запомни!
Я те стихи переписал в тетрадь,
Какие жизнь сама на этой шкуре
Морщинами сумела написать.

Одно из многих условий таланта — щедрость. Каждое, даже, казалось бы, по не слишком значительному поводу написанное произведение должно быть значительным. Надо работать с такой полной отдачей сил, как будто очередное — это последнее, единственное, в котором необходимо сказать самое главное. Нельзя скупиться, нельзя придерживаться важные мысли, сильные чувства, смелые образы.

Значит, надо торопиться? Совсем нет. Писать надо тщательно, не экономя сил, как будто силы неисчерпаемы, как будто хватит времени на все замыслы, на все свершения.

Особенно нас привлекает богатство об-разного видения мира тогда, когда оно, это богатство, не нарочито, не самоцельно. Когда оно — не ради игры или эксперимента, а оттого, что человек много повидал, многое узнал.

Помните первые годы войны и серебри-стый блеск вражеского самолета, пойман-ного в крест прожекторов нашими зенит-чиками? Вот как описывает это С. Баттал:

Но прожекторы с двух сторон
Протянули к нему лучи, —
Словно грудью наткнулся он
На отточенные мечи.
Он уже не уйдет во мглу,
Он не спрячется в облака, —
Так на привязи по селу
К скотобойне ведут быка.

И еще неожиданные, щедрые строчки. Вот что происходит, когда бросают уголь в топку:

Язык огня знаком мне скуповатый.
Вот искры с треском брошены в меня:
В ответ на красноречие лопаты
Взрывается овация огня.

Талант — это щедрость. И вместе с тем талант — это нечто противоположное. Это экономность, соразмерность.

Однажды известный поэт прочел в редак-ции новые стихи. Они были написаны чисто, четко. Все, казалось, на месте. Ни-каких неудачных строк.

— Что ж, хорошо. Дайте нам эти стихи, мы их напечатаем, — сказал работник редак-ции.

— Нет. Стихи еще не готовы. В них два-дцать восемь строк. А должно быть не больше двадцати.

— Но тут все нужно, сокращать не-чего...

— Поэтому-то я и напишу их заново... Эта беседа происходила с С. Я. Мар-шаком.

Неумение писать сжато, экономно, со-размерно — беда очень многих поэтов.

Ненужных строк и даже ненужных глав, в которых описывается все подряд, немало и у С. Баттала, особенно в поэмах, и пре-жде всего в поэме «По столбовой дороге».

Творческая практика поэта, к сожалению, иногда расходится с его собственным по-этическим кредо. В стихотворении «Запи-си» С. Баттал по праву говорит:

Где приходилось, на любом листке,
Вы становились в ряд, мои слова,
Солдатами на поле боя.

И продолжает мужественно, честно:

Порою строчек тесных полный ряд
Пустеет... Умирает много слов,
И новые приходят робко.

Строки, оказавшиеся неживыми, так же неуместны в одномомнике, в итоговом сборнике избранных стихотворений, как были бы неуместны черновики и варианты.

Даже в хорошем стихотворении «Чужое письмо», есть две лишние строфы, которые мы сознательно не приводили, цитируя это стихотворение в начале нашей рецензии.

Вот исписал листок, поставил точку,
Да, оглядевшись, что-то вспомнил вдруг.
Вздыхнул и снова за перо схватился,
Перо сейчас его первейший друг.

И, торопясь, чтоб мысли не остыли,
Переворачивает свой листок,
Скорей, скорей бросая на бумагу
Своих мечтаний и надежд поток.

Беда этих строф в том, что они описательны. Но описательность не есть нечто нейтрально лишнее. Она активно вредна, ибо затемняет мысль и даже противоречит ей. Так и здесь: эти две строфы противоречат концовке:

Я отвернулся. Наблюдать нескромно,—
Ведь это он наедине с женой.

Отвернулся? Так ли? Получается, что смотрел внимательно, пристально, а когда все высмотрел — вот тогда и отвернулся.

А ведь стихотворение это правдивое, человечное, честное. Две лишние строфы — не столько от стремления продемонстрировать свою наблюдательность, сколько от стремления все описать подробно. В присутствии подобных строф, мне кажется, надо упрекнуть и редактора книги М. Львова.

Плохо, когда редактор — своевольный сочинитель, без ведома автора кромсающий чужие строфы. Немногим лучше редактор покладистый.

Редактор должен настойчиво добиваться полного выявления возможностей именно этого автора, в пределах именно его дарования, его таланта.

Таланта, то есть полной отдачи сил, творческой щедрости, максимальной тщательности редактор должен требовать и от переводчиков.

В книге есть переводы удачные — Н. Чуковского, В. Звягинцевой, Н. Павлович. Но Б. Дубровин, которому принадлежит большинство переводов, на этот раз отнесся к своей работе небрежно, неряшливо.

Тут глухота:

«Выполняет план, как кадровик».

Обилие пустых, «ватных» слов, призванных заполнить ритмические пустоты:

Переход вот это, значит,
Прямо к мирному труду.

Зачем «вот это, значит, прямо»? «Значит» — для рифмы, а все остальное — дабы уложиться в размер.

Тут косноязычие, невнятица:

Я, улыбаясь, приближаюсь к дому,
Вошел, уснул с улыбкой на лице.

Как, собственно, должен на эти строчки реагировать читатель? Улыбаться? Уснуть? Или попытаться совместить оба эти действия, не забывая одновременно и о третьем: ходить, шагать, двигать ноги...

Тут, наконец, просто неграмотные обороты речи.

Из поэмы «Мусаллям»:

И пошел, припомнив отупело,
Как менял работу, сколько раз,
Где, в какое время покряхтел он —
Мусаллям, шагающий сейчас.

Еще из той же поэмы:

Вот то место. Год назад он круто
Клятвы здесь выкладывал свои...

Когда переводчик выкладывал на стол редактору подобные переводы, надо было обойтись с ним круто.

К сожалению, и куда более опытные С. Липкин и Н. Гребнев, в общем добротного перевода большую поэму «На столбовой дороге», допустили ряд непростительных ляпсусов:

Одна высокая татарка
Свое дитя ласкает жарно...

Дергает Зифа вожкой,
Потому что неприлично
В поле обнимать публично
Злаки женщины чужой.

Вряд ли кто из переводчиков напечатает в книге собственных стихотворений что-либо подобное этой пародийной строчке «злаки женщины чужой».

Чтобы дружить, тоже нужен талант — талант самоотверженности. Каждая переведенная книга должна быть встречей двух талантов, двух трудолюбив.

Александр ЛАЦИС.

О философии фактов

Роман белорусского писателя Ивана Шамякина «Глубокое течение» переведен на русский и на многие другие языки; он хорошо известен у нас и за границей. Скоро на русском языке выйдет новый роман И. Шамякина — «Криницы». Думается, что и эта книга будет с интересом встречена читателями.

Недавно в белорусском журнале «Полымя» появилась последняя работа талантливого писателя — повесть «Неповторимая весна». О некоторых достоинствах и недостатках этой повести мне и хочется поговорить.

«Неповторимая весна» посвящена молодежи предвоенных лет, ее первым самостоятельным шагам, первой любви. Повесть привлекает свежестью, достоверностью переживаний, оптимизмом. Небольшая по размеру, она ошутимо передает жизнь белорусской деревни, жизнь сельской интеллигенции в предвоенные годы.

Наиболее удался, на мой взгляд, главный герой повести — Петро, молодой студент-дорожник. Это порывистый, честный, искренний юноша. Зрелость приходит к нему в напряженную и трудную пору — накануне войны. В жизни и в отношениях с любимой девушкой Сашей он непосредствен, прям, правда, иногда не в меру рассудителен. Все это свойственно молодости, той поре, когда характер начинает осознавать и проявлять себя в борениях и противоречиях.

Менее ошутим образ Саши — девушки, работающей на одном из сельских врачебных участков Белоруссии. В ней есть все, что должно быть присуще героине того профиля, который намечен автором, и все же в ней не чувствуешь живого человека, с его думами, стремлениями, чувствами, переживаниями. Это особенно бросается в глаза в начале повести. Петро приезжает к Саше в село, где она работает. Приезд его настолько неожидан для нее, что Саша даже не решается сказать окружающим, кто приехал, и называет Петро... двоюродным братом. Все это правдоподобно. Но эта сложная минута в жизни героини по самой логике своей требует особенно тщательного и бережного изображения, здесь особенно необходима точность и тонкость мотивировок.

И. Шамякин. Неповторимая весна. «Полымя» № 1 за 1957 год.

А у Саши, поэтичной, самоотверженно любящей Саши, чуть ли не первая мысль — как бы «замаскировать» Петро. Право, это неубедительно и противоречит характеру.

Недостаток в изображении Саши все время ощущается и дальше. Девушка становится женой Петро, они живут, не оформляя своего брака, в деревне, где каждый шаг на виду. Вряд ли все это было возможно без каких-то внутренних борений в душе Саши. А повествуется об этом, как о чем-то само собой разумеющемся; автор оставляет читателю только догадываться, что чувствовали и переживали его герои.

Лишь в самом конце повести, когда Саша провожает Петро в армию, автор решился заглянуть во внутренний мир героини, и мы, читатели, с радостью увидели, что она действительно до слез взволнована предстоящей разлукой. Сердце ее полно тревоги о любимом, о будущем ребенке, полно настолько, что даже о себе Саша совершенно забывает.

Эта черточка в ее характере могла бы стать основной, стержневой. Нужно было только нащупать ее много раньше, с самого начала повествования.

Не раскрыты в достаточной мере характеры и некоторых второстепенных героев повести. Например, хозяйка дома, где живет Саша, колхозница Анна. Почему она невзлюбила Петро с первого же приезда? Об этом читатель должен догадываться, ибо взаимоотношения героев ничего не объясняют. Так же необъяснимо изменилась Анна во время второго приезда Петро. Почему?

Излишне акцентировано, на мой взгляд, и отношение Любы к Петро. Что ей было скучно в небольшой, затерянной в глуши деревушке — понятно. Но зачем было так подчеркивать вдобавок ко всему внешнюю неприглядность Любы? Она и конопатая, и губы у нее толстые, жирные. Гораздо вернее было бы дать ее не так карикатурно, более человечно. Сильнее было бы.

Счастливо найденная верность тона кое-где перебивается какими-то выпренными и ложно пафосными тирадами, явно идущими вразрез с языком повести, со всем ее строем чувств и образов.

Сашу — она работает фельдшерницей — вызывают к больной. Она уезжает, а когда возвращается, то Петро, не подозревавший, где она и что с ней, узнает, что она приняла роды. Тут бы и найти простые, челове-

ческие слова, показать, что творится в сознании молодого парня. А автор зачем-то становится на ходули.

«Она (Саша. — Д. О.) присутствовала при святой тайне — рождения человека, при какой ему, дорожному технику, наверно, никогда в жизни не присутствовать».

Ну к чему эта претенциозность?

Петро и Саша расстаются накануне войны, озаренные ее грозowymi отблесками, уже польхающими в Европе и совсем неподалеку — за польской границей. Петро уходит по призыву в армию, Саша остается — работать, рожать и растить ребенка.

Выдержат ли они надвигающиеся испытания? — спрашивает автор; спрашиваем и мы, его читатели.

«А где же конец? Нет конца! — может быть, скажешь ты, читатель», — заканчивает

автор свою повесть. «— Нельзя же ставить в произведении вопросы и не отвечать на них! Но я уверен, что ты сам ответишь на этот вопрос, ибо и сам пережил все это».

Благодушная надежда на то, что читатель сам ответит на все, поскольку сам пережил нечто подобное, отнюдь не освобождает писателя от его, писательских, обязательств.

Мало пересказать то, что случилось с героями повести в годы войны или после нее. Надо, как говорил Горький, извлечь из факта его философию.

Этой вот философии и недостает повести И. Шамякина.

«Неповторимая весна», думается мне, только первая часть будущей трилогии. Впереди еще две повести — место и срок вполне достаточные, чтобы выправить наметившиеся недостатки.

Дмитрий ОСИН.

★

Как формируется характер

В увесистом своде литературных премий, существующих во Франции, о премии «Энтералль» сказано коротко: присуждается ежегодно, в декабре, за роман Единственное условие — автор должен быть журналистом.

По-видимому, в замысел учредителей премии «Энтералль» (что в буквальном переводе означает «межсоюзническая») входило поощрить представителей того жанра литературы, о котором нередко говорят, как о «низком», поденном, людей, дерзнувших испробовать свои силы в наиболее трудной из прозаических форм.

Арман Лану, удостоенный премии «Энтералль» в 1956 году за роман «Майор Ватрен», — журналист, впрочем, следовало бы сказать — «и журналист», ибо он, кроме того, автор нескольких романов, поэт, чей сборник «Разносчик» был отмечен в 1953 году премией Гийома Аполинера. Приходилось ему пробовать свои силы и в более далеких от искусства областях. Он был учителем. Рисовал этикетки для конфетных коробок. Командовал ротой на фронте.

Под последним романом Армана Лану стоят две даты: «Вестфалендорф, июль 1940 — май 1942. Шелл, лето 1956». Это да-

ты биографии писателя, который был военнопленным. Это даты биографии романа — дата его рождения из дневниковых записей, из свидетельских показаний современника и участника важнейших событий века; долгие годы отбора, осмысления, превращения документа в художественное произведение.

В романе Лану три героя. Огюстен Маршан — рабочий-коммунист из Бийанкура, расстрелянный, как бунтовщик, в один из последних дней «странной войны» в прифронтовом лотарингском городке Вольмеранж. Лейтенант Франсуа Субейрак, призванный из запаса, — до мобилизации учитель в Париже, социалист и пацифист по своим убеждениям. Майор Ватрен — кадровый военный, командир «славного батальона», в котором командует ротой лейтенант Субейрак и которому по приказу начальства выпадает на долю расстрелять неизвестного солдата за неизвестное преступление.

Погребенный на кладбище Вольмеранжа под крестом с надписью: «Погиб за Францию», Огюстен Маршан живет лишь на нескольких страницах романа. Но мысль о нем не оставляет Франсуа Субейрака и в дни последних боев в Арденнах и в долгие месяцы плена. Снова и снова вспоминает он заднюю комнату в бакалейной лавочке Вольмеранжа. Напоминающий детство за-

Armand Lanoux. Le commandant Watrin. Roman. 327 p. Ed. René Julliard. Paris. 1956 (Арман Лану. Майор Ватрен. Роман, 327 стр. Париж. 1956).

пах корицы и шоколада, тяжелый аромат фруктов и перца, кисловатые винные пары. И скуластое суровое лицо с доброй ямочкой на подбородке — спокойное лицо осужденного солдата, игравшего в карты со своими конвоирами при свете пузатой, цветастой фарфоровой керосиновой лампы. Молодой лейтенант думает об оружии, небрежно сложенном в углу комнаты, об открытом окне, за которым не было часового, о мраке майской ночи, о реке... Почему тот, кто должен был умереть на рассвете, не воспользовался этой, последней, возможностью, почему не попытался убежать? В чем был виноват человек из Бийанкура? Знал ли он за собой вину? Известен ли был ему приговор военного трибунала? И как должен был вести себя он, Франсуа Субейрак, подозревавший, что по отношению к осужденному совершена несправедливость? Был ли он обязан сказать тому о смертном приговоре и тем самым побудить его к бегству? Имел ли право поступить так офицер действующей армии?

Субейрак забывает имя и лицо расстрелянного. Все больше тот становится для него символом — человеком из Бийанкура, человеком из Вольмеранжа... Человеком, при мысли о котором вскрывается сомнительность и противоречивость всей жизненной позиции Субейрака.

Командир батальона майор Ватрен представляется Франсуа Субейраку грубым служакой, толстокожим солдафоном. Для него не существует ничего, кроме приказа, дисциплины, армии. Субейрак считает, что Старик ненавидит его — интеллигента и вольнодумца, что Старик никогда не рассуждает, что ему легко было выполнить приказ о расстреле, произнеся в объяснение лишь одну фразу: «Война есть война!»

Между тем Ватрен, как и Субейрак, тяжело переживает ночь Вольмеранжа. Он, как и Субейрак, старается выяснить все обстоятельства этого дела. И это ему удается.

Расстрелянный был мобилизован, но как квалифицированный специалист оставлен на заводе. Отправлен на фронт за коммунистические убеждения. Осужден для «примера» пополнению, которое командование считало ненадежным. Его проступок, вызванный усталостью и стремлением помочь товарищам, заслуживал лишь дисциплинарного взыскания. Заседание трибунала было проведено немедленно. В наруше-

ние всех правил приговор не был сообщен осужденному.

Майор Ватрен за те долгие месяцы, которые он провел вместе с Субейраком в немецком плену, приходит к выводу, что он несет ответственность за смерть в Вольмеранже. Он убийца. Он неправильно понимал свой долг. Он вел не ту войну. И если он слишком стар, чтобы начать новую войну, в которой не будет бесполезных смертей, то эту войну будет вести лейтенант Франсуа Субейрак.

Лейтенант хоронит своего командира на кладбище офицерского лагеря Темпльхоф в Восточной Пруссии: майор Ватрен гибнет при попытке к бегству из лагеря. Лейтенант думает о пути, пройденном Стариком за два года, о пути, который прошел он сам. Он смеялся над командиром батальона — над его лубочной внешностью старого вояки, над его ограниченностью, над его тужурками дурного покроя. Он — интеллигент и психолог — не понимал Ватрена, не видел, что ненависть к несправедливости и кровопролитию заставила того пересмотреть всю свою жизнь. А Старик понимал молодого лейтенанта, исподволь оберегал его и в последние дни своей жизни помог Субейраку окончательно осознать бесплодность пацифизма.

В противоположность многим современным романам герои книги Армана Лану не перерождаются от одного разговора, от того, что «деус экс машина» заставляет их прозреть, пролив на них свет своей мудрости. Процесс их сближения труден и естествен. Это процесс постепенного и как бы незаметного накопления новых качеств, который приводит к преобразению характера. Сам Франсуа Субейрак, пытаясь понять, что с ним происходит, сравнивает себя с айсбергом, который неожиданно переворачивается, а между тем ничто в нем как будто не изменилось. Лейтенант Субейрак, считавший делом своей совести не носить оружия, когда он ведет свою роту в бой, бежит из лагеря, чтобы принять участие в Сопротивлении. Он встает на смену не только майору Ватрену, но и человеку из Вольмеранжа, расстрелянному у памятника Неизвестному солдату и погребенному под традиционной надписью «Погиб за Францию». И теперь эта надпись над телом казненного уже не кажется Субейраку циничной нелепостью, ибо смерть человека из Вольмеранжа оказалась не напрасной.

О войне написано много, и прав Арман Лану, который не хотел, чтобы его книга стала еще одним свидетельским показанием, еще одним рассказом очевидца. Для историка падение Франции было мгновенным. Блицкриг. Но для солдата иной день в свисте снарядов и гуле самолетов казался вечностью. Молния падала нескончаемые мгновения. И страницы романа подчас напоминают замедленную съемку, при которой деталь, ничтожная для историка, обретает свое истинное — громадное в масштабе человеческой жизни — место. Но, разумеется, только для этого не стоило шестнадцать лет обдумывать пережитое и уже много раз описанное другими.

Нет, роман Армана Лану это не просто картины «странной войны», немецкого марша по Франции или жизни офицерского лагеря в те годы, когда гитлеровцы еще не

оставили надежды добиться французского «сотрудничества». «Майор Ватрен» — роман воспитания. Роман о том, как формируется характер. О том, как изживаются иллюзии непротivления. О том, как зреет убеждение, что свои идеалы нужно защищать до конца, без компромиссов, с оружием в руках. Это роман о человеке, который от абстрактных схем приходит к пониманию людей и пролагает свой путь в сложных противоречиях жизни.

«Майор Ватрен» — роман о прошлой войне, но он обращен не в прошлое. И непримиримая ненависть автора к несправедливости, ко всему, что унижает человека, его любовь к людям, его уверенность в их конечном торжестве — все это делает роман Армана Лану близким сердцу читателя, задумывающегося о судьбах мира.

Л. ЗОНИНА.

★

Политика и наука

Большое наследие

Сочинения Ленина... Кто не знает этих строгих и скромных томов в темно-коричневых переплетках с вытисненным золотом именем — самым известным и самым любимым на земном шаре.

В наиболее распространенном четвертом издании Сочинений было тридцать пять томов. В него вошли все основные произведения Ленина, составляющие подлинную Большую Коммунистическую Энциклопедию для миллионов марксистов. Ленинские философские, экономические труды, его указания и высказывания по необозримому множеству вопросов партийного, советского, хозяйственного, культурного строительства просвещают и воспитывают, вдохновляют и организуют новые и новые поколения борцов за коммунизм в нашей стране и далеко за ее пределами.

Однако тридцать пять томами далеко не исчерпывается литературное наследие Ленина даже в той его основной по значению и объему части, которая уже опубликована в печати. За пределами четвертого издания — по причинам, неразрывно связанным с наиболее вредными последствиями осужденного партийной культа личности, — осталось

немало произведений, входивших в тридцать томов второго и третьего изданий Сочинений. Лишь в незначительной степени были представлены в четвертом издании интереснейшие документы Ленинских сборников, включивших в себя такие фундаментальные труды Владимира Ильича, как его «Философские тетради», «Тетради по империализму», разнообразные материалы по аграрному и национальному вопросам, множество писем, записок, государственных распоряжений...

Последовательно осуществляя решения XX съезда партии о восстановлении ленинских норм партийной жизни, Центральный Комитет КПСС обязал Институт марксизма-ленинизма подготовить в ближайшие годы новое, пятидесятипятитомное собрание сочинений В. И. Ленина и выпустить восемь дополнительных томов к четвертому изданию. Первый из них — тридцать шестой — недавно вышел в свет и охватывает ряд произведений Ленина почти за четверть века — с 1900 по 1923 год.

Том содержит свыше двухсот пятидесяти писем, записок, телеграмм, радио- и телефонограмм Ленина различным адресатам; более пятидесяти статей и записей речей, докладов, рефератов; около тридцати предисловий, планов, тезисов, проектов, конспектов, заметок и других документов много-

В. И. Ленин. Сочинения. Издание четвертое. Том 36. 1900—1923. 700 стр. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Госполитиздат. М. 1957.

гранного ленинского литературного наследия.

Пятьдесят девять произведений включено в Сочинения в первые. Опубликованные за последние годы в отечественных и зарубежных органах печати, они никогда еще не собирались воедино. На важнейших из них мы и остановимся в этих кратких заметках.

«В. Ильин», «В. И.», «Н. Л.», «Т.», «Карич», «М. П.», «К. О.», «Ф.», «Н. Н.», «N» — так подписывал Владимир Ильич собранные в тридцать шестом томе статьи и заметки в «Правде» 1912—1914 годов. Статьи эти посвящены тактике политических партий царской России на выборах в Думу и отличительным особенностям американской политической жизни; партийности демократического студенчества и поэтическому наследию автора «Интернационала» — Эжена Потье; развитию рабочих хоров в Германии и урокам всеобщей забастовки бельгийского пролетариата; женскому труду в странах капитала и положению строительных рабочих; деятельности немецких католиков и идейным течениям в украинской социал-демократии... Но о чем бы ни писал Ленин, какие бы темы ни разрабатывал, каких бы вопросов и проблем ни касался, он всегда оставался прежде всего, по своему любимому выражению, «человеком партии». Страстно отстаивал он от каких бы то ни было извращений ее идеологию, программу, тактику, основу основ всей ее деятельности — незыблемое идейное и организационное единство.

В тридцать шестой том включена статья «Положение дел в партии», написанная летом 1911 года, но впервые опубликованная лишь сорок пять лет спустя. Ленин призывал тогда большевиков к непримиримой идейной борьбе против ликвидаторов и требовал «напрячь силы, чтобы до конца выяснить свою принципиальную линию, сплотиться и опять, как прежде, вывести партию на дорогу».

Статья направлена главным образом против примиренцев, выделившихся тогда в заграничных большевистских организациях в особую фракцию. Глубоко поучительно и для наших дней, когда партия при полном одобрении всего народа политически разгромила антипартийную группу, сложившуюся внутри Президиума ЦК, ленинское определение фракционерства: «...основной признак фракции», — разъяснял тогда партии

Ленин, — это «внутренняя дисциплина «примиренцев» среди себя».

Против фракционеров, подрывающих единство партии, Ленин выступал и в других произведениях, вошедших в состав тридцать шестого тома. Так, к примеру, осенью 1912 года Ленин настойчиво рекомендовал редакции «Правды» точнее различать, «где рабочая масса, где обывательская, играющая в марксизм, интеллигенция», эта едва ли не основная питательная среда для всяческих фракционеров и раскольников внутри большевистской партии.

Ленин учил большевиков «вести ясную, твердую, точно определенную политику». В борьбе с врагами партии, врагами марксизма он опирался на исторический опыт основоположников научного социализма. «Разве Маркс не умел соединять войны, самой страстной, беззаветной и беспощадной, с полной принципиальностью??» — напомнил он редакции «Правды», которая осенью 1912 года явно ослабила борьбу с ликвидаторами.

Да, политическая борьба по самой своей природе должна быть самой страстной, беззаветной и беспощадной, ибо она задевает кровные, насущные интересы миллионов людей. Наша партия, ее Центральный Комитет неукоснительно следуют боевым заветам и традициям Ленина.

Впервые в Сочинения включена и программная ленинская статья «Наши задачи», призывающая большевиков мужественно отстаивать даже «в самое трудное и тяжелое время свою линию от преследований извне и от уныния, маловерия, малодушия, измены изнутри...»

Ленин презирал и ненавидел маловеров и ренегатов и беспощадно преследовал их всеми средствами политической борьбы.

Особенное значение в интересующей нас связи имеет продиктованное 23 декабря 1922 года политическое «завещание» Ленина, его «Письмо к съезду», прочитанное уже после его кончины на XIII съезде партии. Здесь Ленин во имя незыблемого единства партийных рядов предложил решительно увеличить число членов Центрального Комитета «для предотвращения того, чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии».

Почти три с половиной десятилетия тому назад Ленин писал:

«Такая реформа значительно увеличила бы

прочность нашей партии и облегчила бы для нее борьбу среди враждебных государств, которая, по моему мнению, может и должна сильно обостриться в ближайшие годы. Мне думается, что устойчивость нашей партии благодаря такой мере выиграла бы в тысячу раз».

Вся история партии за последние десятилетия полностью подтвердила предвидения ее основателя и руководителя. Напомним хотя бы о недавних событиях внутривнутрипартийной жизни, когда антипартийная группа обанкротившихся руководителей, оторвавшихся от жизни партии и народа, натолкнулась на монолитное идейное единство всех без исключения членов Центрального Комитета.

Не в бровь, а в глаз участникам этой антипартийной группы и ее единомышленникам из политически отсталых слоев интеллигенции попадает и содержащаяся в той же серии писем ленинская отповедь «тем «критикам», которые с усмешечкой или со злобой преподносят нам указания на дефекты нашего аппарата...»

Никто острее Ленина не видел этих недостатков, но его критика бюрократических извращений в деятельности государственного и партийного аппарата прямо противоположна по своему духу обывательскому критиканству со злорадным смакованием дешевых сенсаций.

«В чудеса теперь, слава богу, не верят. Чудесное пророчество есть сказка. Но научное пророчество есть факт».

Так отзывался Ленин о блистательно подтвердившихся в ходе исторического развития научных предвидениях классиков марксизма.

«Какое гениальное пророчество! — писал Ленин, ссылаясь на высказывания Энгельса о губительных для человечества перспективах доведенной до крайности взаимной конкуренции в вооружениях. — И как бесконечно богата мыслями каждая фраза этого точного, ясного, краткого научного классового анализа! Сколько почерпнули бы отсюда те, кто предается теперь постыдному маловерию, унынию, отчаянию...»

Этот вывод полностью приложим и к ленинским политическим прогнозам. Все они оправдались и еще не раз оправдаются впредь, ибо основаны они на глубоком и всестороннем изучении исторической действительности во всех ее противоречиях,

во всем развитии ее глубинных процессов, недоступных поверхностному наблюдателю.

Обращенные в будущее, устремленные далеко вперед высказывания Ленина всегда остро современны. В них выдвинуты задачи, еще и сегодня не решенные нами до конца.

Партия зовет молодежь к созидательному творческому труду. Ленин в заметках «О политехническом образовании» всесторонне разъяснял, что советская школа призвана «дать вполне знающего свое дело, вполне способного стать мастером и практически подготовленного к этому столяра, плотника, слесаря и т. п., с тем однако, чтобы этот «ремесленник» имел широкое общее образование... был коммунистом... имел политехнический кругозор...»

И Владимир Ильич еще в 1920 году набрасывал стройную программу политехнической подготовки советских школьников, опирающуюся на изучение ими опыта передовых электростанций, заводов, совхозов, организацию «маленьких музеев по политехническому образованию», в том числе и передвижных — на поездах и пароходах. Ленин считал необходимым, чтобы выпускник советской школы имел «основные понятия об электричестве» и применении его в промышленности и сельском хозяйстве, владел определенными основами агрономии и мог, таким образом, участвовать в создании материальных ценностей.

Произведения Владимира Ильича, вошедшие в состав тридцать шестого тома, как и другие его широко известные высказывания, на долгие годы определили внешнюю политику Советского государства, основанную на ленинских идеях мирного сосуществования, всемерной поддержки антиимпериалистической национально-освободительной борьбы.

В томе впервые опубликованы по-русски телеграммы Ленина вождю венгерской пролетарской революции Бела Куну, выражающие уверенность в конечной победе рабочего класса Венгрии, «несмотря на громадные трудности».

Словно имея в виду нынешних заокеанских идеологов «холодной войны» и антисоветской истерии, Ленин писал еще в 1921 году:

«В Америке думают, что большевики являются маленькой группой злонамеренных людей, тиранически господствующих над большим количеством образованных людей, которые могли бы образовать прекрасное правительство при отмене советского режима. Это мнение совершенно ложно. Большевиков никто не в состоянии заметить...»

В последние годы жизни Ленин особенно пристально следил за развитием революционного движения на Востоке и прежде всего в Китае и Индии. Ленин предсказывал неизбежную победу национально-освободительного движения в этих великих странах над их империалистическими поработителями и угнетателями. В победах индийской и китайской революций Ленин видел одно из самых основных условий победы социализма в мировом масштабе.

И как подлинно научное пророчество

звучат знаменательно заключающие книгу вещи слова, продиктованные Лениным 31 декабря 1922 года, за много лет до современного подъема победоносной национально-освободительной борьбы народов Китая и Индии, Индонезии и Бирмы, Кореи и Вьетнама:

«...Завтрашний день во всемирной истории будет именно таким днем, когда окончательно проснутся пробужденные угнетенные империализмом народы и когда начнется решительный долгий и тяжелый бой за их освобождение».

Тот самый завтрашний день, который предвидел Ленин еще тридцать пять лет тому назад, стал днем сегодняшним.

Идут годы, десятилетия, а Ленин по-прежнему, по слову поэта, и теперь «живее всех живых, наше знание, сила и оружие».

Б. ЯКОВЛЕВ.

★

Красноречивые цифры

Перевернута последняя страница книги, размышляешь о только что прочитанном, и хочется вновь листать страницы, отмечая карандашом абзацы, выписывая в свой блокнот цифры и факты. Их множество, и они очень красноречиво рассказывают о нашей стране, о том, что достигнуто, завоевано за сорок лет Советской власти.

Разве могут не впечатлять такие выписки из книги:

«...Рубежи СССР тянутся примерно на 60 тысяч километров. Это длина полутора экваторов. Пассажирскому самолету, мчащемуся со скоростью 500 километров в час, потребовалось бы 5 суток непрерывного движения, чтобы пролететь вдоль советской границы.

...Электростанции СССР вырабатывали в 1956 году за один лишь месяц больше электроэнергии, чем производили все электростанции старой России в течение восьми лет.

...Производство товаров народного потребления за последние 30 лет увеличилось в СССР более чем в 11 раз!

...Ежедневно примерно 2 тысячи семей в городах и рабочих поселках получают по новой благоустроенной квартире, а тысяча

семей колхозников вселяется во вновь построенные дома.

...В Узбекистане, где до революции не было ни одного инженера-узбека. в 1956 году насчитывалось 125 тысяч специалистов с высшим и средним образованием».

Количество подобных выписок можно было бы, разумеется, во много раз увеличить. Но отошлем читателя к самой книге. Она поможет ему лучше познать свою Родину, ее географию и экономику, государственное устройство и культуру.

Книга «Советский Союз» написана коллективом авторов предельно просто, без каких-либо попыток «беллетризировать» материал, и насыщена большим количеством фактов — в этом ее познавательная ценность. Задуманное, очевидно, как справочное, издание выполняет одновременно большую пропагандистскую работу.

Читаешь лаконично, подчас сухо вато написанные страницы, вдумываешься в россыпь цифр и вочию видишь могучую поступь Советской страны, руководимой Коммунистической партией; вновь наглядно убеждаешься в том, что советский общественный и государственный строй дает такие возможности быстрого продвижения вперед, о которых ни одна буржуазная страна не может и мечтать. Невольно приходят на память слова А. С. Макаренко: «Личность и общество в Советском Союзе».

потому счастливы, что их отношения сконструированы с гениальным разумом, с высочайшей честностью, с великолепной точностью».

В книге шесть глав: «Шестая часть мира», «СССР — государство трудящихся», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Условия жизни народа», «Советская культура».

Наиболее четко и интересно построена, на наш взгляд, глава, посвященная условиям жизни советского народа. Автор, доктор экономических наук профессор Е. Маневич, ставит следующие шесть кардинальной важности вопросов: какие возможности имеются у трудящихся для применения своего труда; каковы уровень заработной платы рабочих и служащих и доходы крестьян; каков уровень цен на товары массового потребления; как государство заботится об удовлетворении социально-культурных потребностей населения; каковы жилищные условия людей; каково состояние охраны здоровья населения.

В отдельных подглавках, где даются ответы на эти вопросы («В СССР каждый обеспечен работой» и т. д.), автор приводит множество убедительных примеров, взятых из самых разнообразных областей жизни и деятельности советских людей. Эти частные примеры удачно подкрепляют общие положения и цифровой материал.

Своим языком, простотой и образностью изложения выгодно отличается глава «Шестая часть мира», написанная писателем и географом Н. Михайловым. Уже первые фразы не могут не привлечь внимания: «К Москве, столице Союза Советских Социалистических Республик, со всех сторон от границ сходятся железные дороги. По ним из далеких городов бегут поезда с надписями на белых дощечках: «Одесса», «Мурманск», «Ашхабад», «Владивосток»... Если посчитать, сколько дней и ночей провели запыленные вагоны в непрерывном беге и какой длины путь они прошли, легче будет уяснить, как велики просторы Советской страны».

Дальше мы знакомимся с природой СССР — с равнинами и горами, морями, озерами, реками, с климатом страны, совершаем путешествие от тундры до субтропиков, проникаем в недра земли, получаем краткие сведения о населении. Повторяю, написано обо всем этом хорошо, но уж чересчур коротко (даже для такого из-

дания, где лаконизм изложения есть первейшая обязанность и заслуга автора). В главе явно не хватает рассказа об экономической географии союзных республик, описания (хотя бы самого краткого!) их столиц, главных промышленных центров страны.

Экономике и культуре национальных республик вообще отведено обидно мало места. Разве достаточно четырех страниц (в главе «Промышленность»), чтобы рассказать, пусть даже скороговоркой, о растущей промышленности республик? Особенно сейчас, когда Коммунистическая партия и Советское правительство, выполняя решения XX съезда КПСС, приняли ряд мер для того, чтобы повысить роль союзных республик в руководстве промышленностью.

Еще одно досадное упущение. В книге слабо освещена проблема освоения целинных и залежных земель, ее значение для народного хозяйства страны, трудовой подвиг советской молодежи и всего народа, поднявшего за три года свыше тридцати пяти миллионов гектаров пустовавших земель. Менее ста строк отведено целине в главе «Сельское хозяйство».

Глава «СССР — государство трудящихся», написанная доктором юридических наук профессором А. Денисовым и кандидатом юридических наук А. Иодковским, представляется нам наименее удачной по языку и стилю изложения.

На странице 33 говорится: «В советские профсоюзы входят почти все рабочие и служащие. Они насчитывают в своих рядах 46 миллионов человек». Кто «они»? Профсоюзы или рабочие и служащие? Попадают такие фразы: «Партия направляет их деятельность (речь идет о государственных и общественных организациях.— П. П.) через коммунистов, работающих в них». На странице 28 указано: «Депутатом Совета может быть избран любой гражданин, который пользуется уважением народа, которому народ верит». Авторы забыли упомянуть о возрастном цензе. Правда, на странице 54 они «поправляют» себя, указывая, с каких лет гражданин может избираться в депутаты. Подобным разночтениям, разумеется, не место в таких изданиях особенно, как рецензируемый сборник.

В этом нельзя не винить редактора книги. Сказать по правде, его рука не очень-то чувствуется. Есть повторения, есть и общие места, которых, конечно, нужно было

избегать. В такого типа издании редактору, на наш взгляд, надо было добиться максимальной унификации. Речь идет о построении глав, выделении цифрового материала, размещении диаграмм. Все это, несомненно, облегчило бы пользование книгой.

Серьезную претензию следует предъявить и С. Сергееву, отвечающему за оформление и художественную редакцию книги. Иллюстрации, которые даны на вклейках, во многом случайны, безыменны, их полезная нагрузка минимальна. Кому, например, нужна картинка, изображающая дойку коров, со следующей «анонимной» подписью: «Украина. На колхозной ферме».

Или другой снимок: «Минск. Облучение радиоактивным кобальтом». Такие иллюстрации ничего не дают ни уму, ни сердцу читателя. Политико-административная карта СССР, вложенная (а не вклеенная!) в книгу, очень уж мала.

Мы останавливаемся на всех этих недочетах главным образом потому, что твердо убеждены: книга «Советский Союз» должна выходить ежегодно. Пусть такой сборник, строго продуманный и систематически обновляемый, дешевый, издаваемый массовым тиражом, станет настольным в каждой советской семье.

П. ПОДЛЯШУК

★

Глашатаи агрессии

За последние годы на Западе вышло очень много книг на военные темы — в США, Англии, Западной Германии. Это десятки томов, посвященных истории второй мировой войны, и «проблемные» книги о новой войне. Между этими двумя основными «сериями» существует поразительное сходство. Авторы исторических книг в полном согласии с теоретиками атомной войны будущего не только не осуждают войну, а, наоборот, видят в ней исход международных противоречий.

При этом у бывших противников из числа военных теоретиков западных стран наблюдается трогательное стремление к взаимной амнистии. Известный английский военный теоретик Фуллер в своей книге по

истории второй мировой войны с явной симпатией пишет о немецко-фашистских генералах и, в частности, так же, как они, склонен лицемерно винить в поражении Германии лишь одного Гитлера.

Рассматривая вторжение немецко-фашистских армий в СССР, Фуллер не может скрыть своей антипатии к нашей стране. Даже тогда, когда он цитирует немецкие источники, вынужденно упоминающие о героизме советских войск, он пренебрегает этими фактами, объясняя поражение гитлеровской армии лишь ошибками Гитлера, да... грязью, в которой якобы застревал германский военный транспорт.

Известно, что Фуллер является проповедником максимальной «танкизации» вооруженных сил. В его представлении только техника, механизмы, а не люди решают исход современной войны. Именно поэтому возникло его утверждение об осеннем бездорожье как о существенной причине поражения германской армии. Грязь, а затем морозы, по мнению Фуллера, поставили уже в конце 1941 года немецко-фашистскую армию перед катастрофой. При этом он с умышленной наивностью, непростительной для военного ученого, умалчивает, что оба эти фактора одинаково влияли на действия обеих сторон. Умалчивает он и о том, что гитлеровцы рассчитывали выиграть войну еще до наступления неблагоприятных условий погоды и что эти их расчеты были сорваны упорным и все возрастающим сопротивлением советских войск. Но именно эта «мелочь» вырвала стратегическую инициативу из рук гитлеровского командования.

Дж. Ф. С. Фуллер. Вторая мировая война 1939—1945 гг. Стратегический и тактический обзор. Перевод с английского. Под редакцией полковника А. Д. Багреева. 551 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

Д. О. Смит. Военная доктрина США. Исследование и оценка. Перевод с английского. Редактор В. С. Павлов. 272 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

Т. К. Финлеттер. Сила и политика. Внешняя политика и военная мощь Соединенных Штатов в век водородного оружия. Перевод с английского. Под редакцией А. А. Яманова. 335 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

П. Э. Жако. Исследование вопросов стратегии Запада. Перевод с французского. Под редакцией генерал-майора С. С. Броневского. 120 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

П. Э. Жако. Периферийная стратегия и атомная бомба. Перевод с французского. Под редакцией С. И. Азарьева. 140 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1956.

Фуллер признает, что нападение фашистской Германии на СССР дало передышку Англии. Но всем своим грубо фальсифицированным изложением хода войны он старается принизить ту решающую роль, которую сыграла борьба Советского Союза против гитлеровской агрессии. Вместе с тем он непомерно преувеличивает значение событий, происходивших на второстепенных фронтах (Балканы, Северная Африка).

Говоря об итогах войны, Фуллер приходит в ярость при упоминании о предьявленном фашистской Германии требовании безоговорочно: капитуляции. Он откровенно сожалеет о том, что в ходе войны не состоялся сговор западных союзников с врагом — за счет Советского Союза.

Читатель может спросить: какой смысл имеют эти скорбные вздохи сегодня? Ответ прост: Фуллер хотел бы «переиграть» вторую мировую войну, он недвусмысленно высказывается за иную расстановку сил в войне будущего.

О какой же расстановке идет речь? На этот вопрос особенно отчетливо отвечают американские военные авторы, без обвиняков называя СССР потенциальным противником в следующей, третьей мировой войне.

Итак, относительно будущего противника у военных идеологов Запада нет разногласий. Какова же стратегия, которую они рекомендуют в агрессивной войне против СССР? Характерна в этом отношении книга американского генерала Д. О. Смита «Военная доктрина США». Под доктриной автор понимает «такие концепции и принципы ведения войны, которые получили достаточную поддержку официальных кругов, приняты для изучения в военных школах и находят признание в высших штабах. На основе этой доктрины разрабатываются в каждом отдельном случае конкретные военные планы».

И что бы далее генерал Смит ни писал, рефреном его теоретических рассуждений является формула: стратегическая авиация плюс атомная бомба. Ясно, что именно эта формула в полной мере отражает господствующие в официальных военных кругах США идеи в области военной политики и стратегии. Смит недвусмысленно заявляет: «Вполне разумно быть готовым к мгновенному и всемирному применению атомного оружия... Этот путь вполне оправдан с точки зрения морали». Что подобная «мо-

раль» — это мораль людоедов, пояснять не приходится.

Генерал Смит, явно не желая вызвать беспокойство младших партнеров США по агрессивному Атлантическому блоку, старается обойти проблему взаимоотношений между союзниками. Он ограничивается реверансами в сторону младших партнеров, обходя деликатный вопрос о том, сколь мало привлекательная роль им уготована в свете излагаемой доктрины.

Зато вполне отчетливо эта проблема изложена в книге «Сила и политика» Т. К. Финлеттера. Автор, занимавший ответственные дипломатические и экономические посты в правительственных органах США во время и после второй мировой войны, начинает с утверждения, что весь смысл современной военной политики США состоит в том, чтобы победить в атомно-воздушном соревновании с Советским Союзом. По его мнению, период с 1945 по 1956 год представляет собой первую фазу атомного века, когда единственным (!) обладателем атомного оружия были США (книга вышла в 1954 году). Финлеттер явно сожалеет о том, что США не сумели воспользоваться своей атомной монополией.

Во второй фазе, которая, по мнению автора, может быть по продолжительности такой же, как и первая, или еще меньше, стратегическая авиация и США и СССР будет в основном состоять из пилотируемых самолетов. Следовательно, стороны будут обладать равными возможностями. Управляемые снаряды в течение второй фазы будут дополнительным, а не главным видом вооружения.

К началу шестидесятых годов, а возможно и раньше, Финлеттер ожидает наступления третьей фазы. Господствующее место займут баллистические снаряды с реактивными двигателями в сочетании с еще более мощным, чем теперь, атомным оружием. Финлеттер запугивает американцев и их союзников, утверждая, что, «если мы (американцы. — С.К.) допустим, чтобы в этой битве за атомно-воздушное превосходство победили русские, мы окажемся в недопустимо слабом положении... НАТО распался бы на куски, если бы Соединенные Штаты позволили русским победить в состязании за превосходство в атомно-воздушной мощи».

Финлеттер «опасается» несуществующей угрозы со стороны СССР и сокрушается по поводу возможного ущерба, который

при этом могут понести США. Но все это нужно ему только для того, чтобы откровенно заявить о главном. А это главное — необходимость иметь достаточно средств, «чтобы контрударом сокрушить русскую оборону и уничтожить русское государство»!

Это нечто новое в военной стратегии: контрудар, обычно осуществляемый обороняющейся стороной, должен сокрушить... оборону! Речь идет о самой откровенной проповеди агрессии, осуществляемой с применением ядерного оружия.

Раскрывая планы американской военной, Финлеттер указывает, что наличие в составе войск НАТО некоторого количества сухопутных сил США является лишь политическим жестом. Истинный «великий защитник Европы» — это американская атомная авиация.

Какая же роль отводится другим странам — участникам НАТО? Оказывается, они должны лишь прикрывать базы американской атомной артиллерии и стратегической авиации и, приняв на себя первый удар, тем самым ослабить противника и способствовать в дальнейшем победе США.

Американские империалисты пытаются создать впечатление, что они совершают «благодетельное», размещая на территории зависимых от них государств специальные части атомной артиллерии и дислоцируя свои флоты в морях, омывающих берега «дружественных стран».

Однако известно, что американские стратеги всячески понуждают своих младших партнеров, и в первую очередь Западную Германию, как можно быстрее и в больших масштабах накапливать силы и средства для агрессивной войны. Меньше всего при этом принимаются во внимание катастрофические последствия этих военных приготовлений для экономики Западной Европы.

Недвусмысленно намекая, что США не намерены растративать свои силы на непосредственное обеспечение обороны участников НАТО, Финлеттер признает, что НАТО прежде всего необходимо как заслон для Соединенных Штатов.

Нужно отдать Финлеттеру должное: он писал свою книгу с достаточной откровенностью и со знанием дела. Он в некотором роде предвосхитил «доктрину Эйзенхауэра», пропагандируя необходимость распространить прямое влияние США, как он выражается, на «серые районы» и

вовлечь их в агрессивные блоки против СССР и стран социалистического лагеря. Под «серыми районами» он подразумевает страны, не входящие в НАТО и не относящиеся к «коммунистическим странам», но которые «соприкасаются или почти соприкасаются с Россией и Китаем».

Что все это означает на практике, мы видим в Южном Вьетнаме, в странах, входящих в СЕАТО, в странах — участниках багдадского пакта. Все это хорошо иллюстрируется последними акциями империалистов на Среднем Востоке.

Государственные деятели Англии, Франции и других стран, входящих в НАТО, не рискуют выступить с открытыми протестами против предназначенной им роли заслона для США или делают это робко и завуалированно. Но некоторые всеенные деятели «с солдатской прямоотой» пытаются выторговать себе более выгодные условия в «совместной обороне свободного мира».

С этой точки зрения некоторый интерес представляют две книги французского генерала Жако.

Жако — искренний приверженец принципов НАТО, то есть политики «с позиции силы». Однако он рассчитывает на хотя бы частичный пересмотр невыгодных перспектив «атлантического сотрудничества».

В книге «Исследование вопросов стратегии Запада» он с сокрушением отмечает огромные трудности, с которыми сталкивается в процессе подготовки агрессивной войны авантюристическая стратегия западного блока.

В своей книге «Периферийная стратегия и атомная бомба» Жако настойчиво утверждает, что «как в Европе, так и в Азии основные людские ресурсы для ведения войны должны быть предоставлены Соединенными Штатами Америки». Эта точка зрения сильно расходится с требованием американских лидеров, согласно которому основные сухопутные силы должны выставить партнеры США. При этом Жако деликатно напоминает своим заокеанским союзникам: «Одна из характерных особенностей нашей эпохи заключается в том, что фактор расстояния при решении военных проблем утратил свое значение». Отсюда вывод: не надейся «загребать жар чужими руками», изволь лезть в драку сам.

Противоречия между партнерами по НАТО углубляются, усиливаются сомнения в надежности избранной НАТО стратегии. Жако, как мы видим, хочет, чтобы непо-

средственными боевыми соратниками французов были американские солдаты. Но Даллес с присущей ему грубой прямолинейностью не так уж давно заявил, что он не хотел бы, чтобы в бою около него с одной стороны был француз, а с другой — англичанин. Даллес явно предпочитает, чтобы французы и англичане были впереди, а он — за их спиной. Это вполне устраивает американских политиков.

Министр обороны СССР Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своей речи на Всесоюзном совещании 16 марта этого года сказал: «Американские империалисты, организуя свои военные базы в Европе и в других частях света, снабжая некоторые капиталистические страны атомным оружи-

ем, видимо, рассчитывают, что в случае войны в Европе или Азии им удастся, как и прежде, отсидеться за океаном и избежать разрушительных и уничтожающих ударов. Но это слишком наивные расчеты».

В задачу этой небольшой рецензии не входил сколько-нибудь широкий разбор книг Фуллера, Смита, Финлеттера и Жако. Мы хотели лишь обратить внимание читателей на появление на книжном рынке работ иностранных авторов по военным вопросам. Знакомство с ними будет небесполезным. Однако, читая их, не следует упускать из виду цель, которую преследовали авторы этих книг.

Полковник С. КОЗЛОВ.

★

Репертуар русской книги

Не одно поколение деятелей русской культуры мечтало о том, чтобы иметь возможность пользоваться полным списком книг, изданных на русском языке.

В настоящее время мы располагаем большим количеством отдельных работ, содержащих списки книг за определенные периоды времени. Это чрезвычайно пестрая библиотека библиографических указателей, вышедших на протяжении двух с половиной столетий.

М. В. Сокурова поставила перед собой задачу дать сводку главнейших указателей, в которых зарегистрированы книги по всем отраслям знаний. Результатом этой трудоемкой работы явилась книга «Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708—1955».

Не нужно думать, что справочник, носящий такое сугубо специальное название, представляет интерес только для работни-

ков библиотечных архивов. Напротив, он содержит самый актуальный библиографический материал (вплоть до продолжающихся изданий Всесоюзной книжной палаты), без которого невозможно представить себе ни одной научной библиотеки.

Составитель умело отобрал из всех существующих библиографий те, которые могут принести наибольшую практическую пользу. План справочника хорошо продуман. Удачным следует считать то, что библиографии расположены не по времени выхода их в свет, а по тематическому принципу.

Справочник открывается описанием первой общей русской библиографии — «Реестр книгам гражданским», который был напечатан в качестве приложения к газете «Ведомости», вышедшей в Москве 31 мая 1710 года при Петре Первом.

Под следующим номером в справочнике значится выпущенная почти через два с половиной столетия, в 1955 году, книга «Описание изданий гражданской печати 1708 — январь 1725 г.», составленная Т. А. Бычковой и М. М. Гуревичем. Затем следует описание известного исследования П. П. Пекарского «Наука и литература при Петре Великом» (СПб. 1862) и т. д. Таким образом, читатель без труда находит сведения об интересующих его книгах по определенному разделу.

Хорошо, что в справочнике М. В. Сокуровой помещены аннотации и различные примечания историко-книговедческого ха-

М. В. Сокурова. Общие библиографии русских книг гражданской печати 1708—1955. Аннотированный указатель. Издание второе, переработанное и дополненное. Под редакцией и со вступительной статьей профессора П. Н. Бернова. 283 стр. Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л. 1956.

М. В. Машкова и М. В. Сокурова. Общие библиографии русских периодических изданий 1703—1954 и материалы по статистике русской периодической печати. Аннотированный указатель. Под редакцией и со вступительной статьей профессора П. Н. Бернова. 139 стр. Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л. 1956.

рактера, а также список критических отзывов на библиографии. Это в известной степени роднит новый справочник с капитальным трудом Н. В. Здобнова «История русской библиографии до начала XIX века».

Обстоятельная вступительная статья профессора П. Н. Беркова представляет собой исторический очерк об изданиях общих библиографий. В то же время она ставит ряд актуальных вопросов из области теории и истории библиографии.

К справочнику приложена «Хронологическая таблица», в которой наглядно отражены временные грани общей библиографии.

Все это выгодно отличает книгу М. В. Сокуровой от обычных библиографических пособий. Она является не только справочником, но и исследованием по истории русской культуры.

Первое издание справочника, охватывавшее период 1708—1937 годов, вышло в 1944 году тиражом всего лишь в тысячу экземпляров. Естественно, что понадобилось второе издание. Оно оказалось значительно более полным: в нем имеются сведения и о новых общих библиографиях, вышедших за последние восемнадцать лет; список указателей составлен со строгим отбором.

Поэтому не совсем понятно включение в справочник рекомендательного указателя «Книги... года» при наличии за эти же годы таких полных библиографий учетно-регистрационного типа, какими являются «Книжная летопись» и «Ежегодник книги СССР».

Еще менее оснований причислять к книгам по общей библиографии печатные каталожные карточки (охватывающие далеко не всю печатную продукцию), создавая тем самым ненужный параллелизм с книжными и журнальными изданиями государственной регистрационной библиографии («Книжная летопись» и другие).

Вызывает недоумение то, что списки критической литературы об учтенных в справочнике общих библиографиях расположены в порядке, обратном хронологическому.

Среди более мелких недочетов работы М. В. Сокуровой отметим то, что список

просмотренных составителем журналов (стр. 246—249) дан в чрезвычайно сокращенном описании, даже без указания места издания и издательства, а между тем немало библиографических журналов носило совершенно одинаковые названия. Например, под названием «Книжные новости» выходило восемь изданий. Последний раз «Книжные новости» издавались Когизом в 1936—1938 годах, в то время как в книге М. В. Сокуровой указаны только годы 1936—1937. Ошибочны сведения об организации Украинской книжной палаты: вместо 1919 указан 1922 год.

Естественным продолжением справочника по общим библиографиям книг является вышедший почти одновременно с ним справочник «Общие библиографии русских периодических изданий 1703—1954», составленный М. В. Машковой и М. В. Сокуровой.

Наряду с такими пособиями, как «Русская периодическая печать 1703—1900 гг.» Н. М. Лисовского или «Историческое разыскание о русских по-временных изданиях и сборниках 1703—1802 гг.» А. Н. Неустроева, в справочнике учтены и работы малоизвестные, опубликованные лишь в журналах, но необходимые при учете нашей отечественной периодики.

Второй справочник построен в основном по тем же принципам, что и первый, и имеет даже некоторые его недостатки (например, обратно-хронологическое расположение критической литературы).

Выпуск в свет обоих справочников — это только начало работы, предпринятой Библиотекой имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. В дальнейшем должны будут появиться справочники по учету библиографий отраслевых.

Следует пожелать, чтобы очередные справочники не заставили себя долго ожидать, так как намеченный первыми работами путь верен, а огромная польза этих изданий очевидна. Полный «репертуар русской книги» еще более наглядно представит величественную картину развития отечественной культуры за два с половиной столетия, отраженную в книгах и журналах.

Н. МАЦУЕВ.

Психология чувств

Человеческие чувства вовсе не являются, как это представляют идеалисты, некоей особой, самодовлеющей «сферой психики». Чувства неизбежно возникают при всяком общении человека с окружающей средой, неразрывно связаны со всей его жизнедеятельностью. Зарождаясь в действии, они сами становятся мощными силами, направляющими поступки человека, — даже и тогда, когда поступки эти могут казаться внешне чисто рассудочными. В. И. Ленин писал, что «без «человеческих эмоций» никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания истины».

Всестороннее, полноценное, гармоническое развитие человеческой личности несовместимо со скудными, примитивными эмоциональными переживаниями. Поэтому воспитание чувств у подрастающего поколения имеет не меньшее значение, чем умственное развитие ребенка или формирование у него волевых качеств.

Если педагогика все еще не уделяет должного внимания этому вопросу, то повинна здесь, конечно, и психологическая наука. В самом деле, в нашей литературе последних двадцати—тридцати лет почти нет исследований, специально посвященных проблеме чувств. В свете ленинской теории отражения эмоциональные процессы должны быть исследованы как особая форма отображения объективной действительности в сознании человека. Однако этот вопрос еще ждет разработки. Так же недостаточно разработана проблема реактивной, рефлексаторной физиологической сущности чувств и эмоций, поднятая в трудах И. П. Павлова, и другие.

Наивно, конечно, было бы полагать, что книга П. М. Якобсона «Психология чувств» заполнит все эти пробелы. Но ее появление — отрадное событие. Книга написана популярно и живо. Она имеет ярко выраженную практическую, педагогическую направленность. Чтобы обосновать свои теоретические положения, автор находит богатый материал в жизни и деятельности советской молодежи — прежде всего юных героев Великой Отечественной войны, — в

их записках, письмах, дневниках, в воспоминаниях их родителей и педагогов. Он широко использует высказывания классиков марксизма-ленинизма, видных политических и общественных деятелей и выдающихся представителей отечественной науки — Тимирязева, Мечникова, Боткина.

Свежо и интересно автор пишет о влиянии, которое оказывают на содержание и направленность чувств воззрения и убеждения человека. Чем глубже и разностороннее отношение человека к действительности, тем значительнее и содержательнее его чувства. В книге это доказывается многочисленными фактами.

Через всю книгу проходит мысль, что чувства человека историчны, так же как исторична и вся его личность: они отражают влияние тех общественных отношений, среди которых человек живет. Новые общественные отношения определили новые морально-политические чувства советского человека, которые не были известны людям прошлого; они же заставили исчезнуть у него некоторые чувства, как, например, насаждавшиеся церковью чувства смирения, покорности и другие.

Идея историчности пронизывает и главу «Выражение чувств». Стараясь сделать свою книгу практически полезной, П. М. Якобсон обращает внимание на возможность и целесообразность направлять выражение чувств ребенка при усвоении им определенных норм поведения.

Нам кажется, однако, что автор кое-где слишком упрощенно трактует социальную обусловленность чувств. Ведь независимо от исторически сложившихся норм поведения человека, так или иначе влияющих на его переживания, мимическое выражение важнейших чувств — таких, как радость, гнев, скорбь, страх, — осталось в основных чертах почти неизменным на протяжении тысячелетий. Кстати, эти общечеловеческие формы выражения чувств очень живо показаны на фотоиллюстрациях, которыми снабжена книга.

Автору следовало бы широко использовать замечательный труд Дарвина «О выражении эмоций у человека и животных», а не только бегло упомянуть о нем во введении. Это помогло бы ему поставить проблему генетически, а читателю — лучше понять ее сложность и многосторонность и глубже вникнуть в материальные

П. М. Якобсон. Психология чувств. Под редакцией действительного члена Академии педагогических наук РСФСР К. Н. Корнилова. 238 стр. Издательство Академии педагогических наук РСФСР. М. 1956.

физиологические механизмы выражения чувств.

Показывая на многих примерах высокий уровень эмоциональной жизни советского человека и объясняя своеобразие его чувств преимуществами социалистического общества, П. М. Яковсон в то же время подчеркивает, что процесс формирования чувств советского человека есть процесс незавершенный: остатки старой, капиталистической психологии подчас еще живут в сознании наших людей. Автор правильно замечает, что с трудовым энтузиазмом, с социалистическим патриотизмом могут иногда уживаться элементы тщеславия, грубой ревности и другие отрицательные эмоциональные переживания. Тем острее надо ставить проблему воспитания и, в частности, воспитания чувств.

«Психологические вопросы воспитания чувств» — так называется последняя глава книги. Автор последовательно излагает цели и предпосылки, пути и формы сознательного, планомерного воздействия на эмоциональную сферу человека, а также возможности и средства самовоспитания в области чувств. Педагог и молодой читатель найдут в этой главе поучительные примеры и полезные советы.

Работа, посвященная психологии чувств, естественно, привлекает внимание не только психологов-специалистов, но и педагогов, литераторов, художников. Автору

монографии о чувствах трудно было удовлетворить все запросы читателей, интересующихся различными сторонами изученной им проблемы. Хочется пожелать П. М. Яковсону, чтобы он во втором издании книги более полно теоретически разработал ряд вопросов, дал хотя бы беглый критический обзор современных исследований по психологии чувств и особенно экспериментальных методик. Книга, несомненно, выиграет, если в ней полнее будет раскрыта специфика отдельных форм и видов эмоциональных переживаний. П. М. Яковсону — специалисту в области психологии актера — было бы нетрудно показать, например, своеобразие так называемых «сценических» эмоций, накладывающее, несомненно, некоторый отпечаток и на формы их экспрессии.

Можно пожелать автору большей требовательности при подборе иллюстративного материала из художественной литературы. В рецензируемом издании наряду с прекрасными образцами встречаются и малоудачные примеры. В них присутствует упрощенческий схематизм в трактовке чувств, который не должен был бы ускользнуть от П. М. Яковсона, неоднократно подчеркивающего в своей книге глубину, тонкость и богатство нюансировок эмоциональных состояний человека.

Профессор Д. ОШАНИН.



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

В. Г. КОРОЛЕНКО И СУД НАД М. В. ФРУНЗЕ

Широко известна мужественная, самоотверженная борьба В. Г. Короленко против реакционной политики царского правительства. Писатель безбоязненно поднимал свой голос против полицейского и судебного произвола, в защиту героических борцов за свободу и счастье России.

Большой интерес представляет выступление В. Г. Короленко в защиту выдающегося революционера, активного деятеля большевистской партии М. В. Фрунзе, осужденного военно-полевыми: судом к смертной казни.

Как известно, М. В. Фрунзе, выданный провокатором, был арестован в марте 1907 года в г. Шуе, Владимирской губернии, и за революционную деятельность приговорен к четырем годам каторги. Во время отбывания наказания царская охранка возбудила против Фрунзе новое дело — о вооруженном сопротивлении полиции. 26 января 1909 года специально созданный для рассмотрения дела военно-полевой суд в г. Владимире приговорил Фрунзе к смертной казни через повешение. Приговор был вынесен без соблюдения каких бы то ни было законных норм, только на основании оговора полицейских-лжесвидетелей.

Дело было состряпано настолько грубо и неуклюже, что даже высший военный суд счел необходимым — а это случалось крайне редко — передать дело на новое рассмотрение.

Этот возмутительный процесс получил вопреки цензурному запрету некоторую огласку в печати. О нем довольно обстоятельно писал и В. Г. Короленко в своей статье «Черты военного правосудия», напечатанной в 10-й книжке журнала «Русское богатство» за 1910 год. Дело М. В. Фрунзе послужило для писателя одним из убедительных примеров террористического характера деятельности военных судей.

«26 января 1909 года временный военный суд во Владимире, — писал Короленко,

ссылаясь на сообщение газеты «Слово» от 2 февраля 1909 года, — приговорил М. В. Фрунзе к смертной казни за покушение на убийство урядника. Свидетель, оговоривший первоначально Фрунзе, затем дважды

у следователя отказался от этого оговора, прямо заявив, что действовал под влиянием испуга (урядник доставил его из Шуи во Владимир за свой счет и лично привел его к прокурору Владимирского окружного суда). Целый ряд очевидцев удостоверял, что Фрунзе в течение трех дней (во время покушения) был в Москве. Защитник приговоренного уверен в судебной ошибке и обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о пересмотре дела. Что случилось потом с Фрунзе?»

Короленко не мог знать, что в то время, когда он писал свою статью, 22 сентября 1910 года, военно-полевой суд снова рассматривал дело М. В. Фрунзе и вторично приговорил его к повешению. Только под влиянием энергичного протеста революционных рабочих командующий Московским военным округом был вынужден своей властью приостановить этот приговор, заменив смертную казнь Фрунзе шестилетней каторгой.

Следует указать, что статья В. Г. Короленко, где упоминалось дело М. В. Фрунзе, подверглась цензурным преследованиям. Номер журнала «Русское богатство» со статьей был конфискован цензурой. Журнал смог выйти в свет лишь после вмешательства суда. Из писем писателя того времени видно, что он придавал статье «Черты военного правосудия» исключительно важное значение и очень волновался за ее судьбу. Вероятно, по цензурным условиям Короленко не удалось осуществить свое намерение издать статью отдельной брошюрой. В 1914 году цензура запретила включать в издававшееся тогда А. Ф. Марксом полное собрание сочинений В. Г. Короленко его статьи о полицейском и судебном терроре. Короленко называл эти статьи своими самыми значительными публицистическими работами и писал, что запретом их цензоры стремятся вынуть живую душу из его публицистики.

Л. СВЕТЛОВ.

Н. К. КРУПСКАЯ — КОРРЕСПОНДЕНТКА ТОЛСТОГО

В середине восьмидесятых годов прошлого века в городе Тбилиси (тогдашнем Тифлисе) группа девушек, окончивших гимназию и получивших аттестат зрелости, «очутилась, — по свидетельству одной из них, — перед трудным и для многих мучительным вопросом — что делать?»

В это же время в периодической печати стали появляться отдельные главы объемистой и резко обличительной работы Толстого, озаглавленной «Так что же нам делать?»

Не давая исчерпывающего ответа на поставленный вопрос, Толстой страстно клеймил в своей работе господствующие классы за тунеядство и нещадную эксплуатацию трудящихся, а трудовую интеллигенцию решительно призывал поделиться своими знаниями с широкими народными массами.

Воодушевленный статьей Толстого, тифлисский женский кружок отважился обратиться к автору с письмом и просить его конкретизировать свои советы для участников кружка. Коллективное послание это было отправлено Толстому анонимно и сопровождено только адресом: «Тифлис, Библиотека Де-Капрелевич, в галлерее Арцруни. Для передачи А. А.»

17 декабря 1886 года Толстой направил своим корреспонденткам пространный ответ, который он сам неизменно называл затем письмом к «тифлисским барышням». Начиналось это письмо как бы повторением в сжатом виде основных выводов из его работы «Так что же нам делать?» Прежде всего писатель напоминал девушкам о культурно-просветительном долге интеллигенции перед народом. «Вы спрашиваете дела. Кроме общего всем нам дела, — стараться уменьшать те труды, которые употребляются другими на поддержание нашей жизни... у приобретших знания есть еще одно дело: ...вернуть их назад тому народу, который воспитал нас». И тут же, сообщая, что «вот такое дело есть» у него, Толстой излагает давно задуманный им и отчасти уже осуществляемый план по реформированию лубочной литературы, имевшей необычайно широкое распространение среди грамотных «простолудинов», но, однако, недоброкачественной. Книжки эти были полны фактических ошибок, написаны дурным языком, переводы иностранных произ-

ведений до неузнаваемости искажали смысл подлинников, заглавие на обложке иногда не совпадало с самим текстом. «Существуют в Москве издатели народных книг, азбук, арифметик, историй, календарей, картин, рассказов, — продолжал Толстой в письме к тифлисским девушкам. — Все это продается в огромных количествах экземпляров независимо от достоинства содержания, а только потому, что приучены покупатели и есть искусные продавцы».

Один из крупнейших русских издателей, И. Д. Сытин, «знакомый» Толстому, «хороший человек», под влиянием великого писателя пожалел, «сколь возможно, улучшить содержание этих книг». И Толстой далее довольно детально разъяснял в своем письме конкретные условия этого нового литературного мероприятия: «Дело же, предлагаемое мною вам, следующее: взять одну, или несколько из этих книг — азбуку ли, календарь, роман ли (особенно нужна работа над повестями — они дурны и их много расходуется) — прочесть и исправить, или вовсе переделать. Если вы исправите опечатки, бессмыслицы, там встречающиеся, ошибки и бессмыслицы исторические и географические, то и то будет польза... Если вы при этом еще выкинете места глупые или безнравственные, замсвив их такими, чтобы не нарушался смысл, это будет еще лучше. Если же вы, под тем же заглавием и пользуясь фавбулой, составите свою повесть или роман с хорошим содержанием, то это будет уже очень хорошо», — намечал он различные варианты работы по усовершенствованию массовых народных изданий.

И заключил свое письмо поощрительным призывом: «Итак, если работа эта вам нравится, выбирайте тот род, в котором вам кажется, что вы можете лучше работать, и напишите мне. Я вышлю вам несколько книг. Очень бы желал, чтобы вы согласились на мое предложение. Работа, несомненно, полезная. Степень пользы будет зависеть от той любви, которую вы положите в нее».

Этот ответ Толстого «тифлисским барышням» некоторое время спустя был опубликован ими в местной газете «Новое обозрение», а 21 марта 1887 года его перепечатала петербургская газета «Новое время».

Со всех концов России к Толстому устремился поток писем от лиц обоего пола, разных возрастов и самых разнообразных профессий с предложением своих услуг по

исправлению и переделке книг для народного чтения. Менее чем через год он имел возможность сообщить уже о первых результатах: «Нынче я отдал Сытину несколько рукописей «Тифлисс[их] барышень», — писал он 2 февраля 1888 года В. Г. Черткову. А еще полмесяца спустя Толстой оповестил его и о более широких поступлениях «исправленных» книг со стороны других, новых лиц: «Ко мне поступают рукописи по переделкам, вызванным «Тифлис [скими] барышнями», — читаем в его письме от 17 февраля того же года.

Молодую Н. К. Крупскую до глубины души взволновал призыв Толстого.

«Я помню, какое на меня, кончившую гимназию, произвел впечатление так называемый XIII том Л. Толстого, где были статьи «Труд и роскошь», «Обследование ночлежного дома» и другие». В реакционные восьмидесятые годы «самокритика» дворянского и буржуазного уклада была освежающим каким-то потоком», — вспоминала она в той же своей статье о великом писателе.

На пятый день, после того как Надежда Константиновна в столичном «Новом времени» прочла ответ Толстого «тифлиским барышням», она решила обратиться к нему со своим первым из двух писем, впервые здесь публикуемых:

«25-го марта (1887) года.

Многоуважаемый

Лев Николаевич!

Вы, в вашем ответе на обращение к вам тифлиских барышень с просьбой о деле, говорите, что у вас есть для них дело — исправление насколько возможно книг, издаваемых для народа Сытинным.

Может, вы дадите возможность и мне принять участие в их труде.

Последнее время с каждым днем живее и живее чувствую, сколько труда, сил, здоровья стоило многим людям то, что я до сих пор пользовалась чужими трудами. Я пользовалась ими и часть времени употребляла на приобретение знаний, думала, что ими я принесу потом какую-нибудь пользу, а теперь я вижу, что те знания, которые у меня есть, никому как-то не нужны, что я не умею применить их к жизни, даже хоть немножко заглядить ими то зло, которое я принесла своим ничегонеделанием, — и того я не умею, не знаю, за что для этого надо взяться...

Когда я прочла ваше письмо к тифлиским барышням, я была так рада!

Я знаю, что дело исправления книг, которые будут читаться народом, дело серьезное, что на это надо много умения и знания, а мне 18 лет, я так мало еще знаю...

Но я обращаюсь к вам с этою просьбою потому, что, думается, может быть, любовью к делу мне удастся как-нибудь помочь своей неумелости и незнанию.

Поэтому, если возможно, Лев Николаевич, вышлите и мне одну, две таких книги, я сделаю с ними все, что смогу. Лучше другого я знаю историю, литературу.

Простите, что я беспокою вас своею просьбою, отрываю от дела... но ведь это займет у вас не особенно много времени.

Н. Крупская.

Мой адрес: Петербург. Угол Знаменской и Итальянской улицы, дом 10/28, кв. 47. Надежде Константиновне Крупской».

Старшая дочь Толстого — Татьяна Львовна — по указаниям и от имени отца отвечала на письма, которые он получал в связи с обращением к «тифлиским барышням», и высылала корреспондентам отца издания, предназначенные для исправления. На конверте письма от Крупской также имеется ее пометка — «Отвечено».

Ответное письмо это, написанное по поручению Толстого, покуда еще не разыскано. Однако и теперь уже есть полная возможность не только догадаться о его содержании, но и точно определить решение Толстого по поводу письма Н. К. Крупской. Ее просьба была удовлетворена, для переделки ей был направлен знаменитый роман Александра Дюма-отца «Граф Монте-Кристо».

Крупскую, несомненно, обрадовало это. Она не могла при этом не вспомнить, что еще в столь полюбившихся ей толстовских педагогических статьях именно «Граф Монте-Кристо» наряду с другим романом того же автора, «Три мушкетера», назывался как произведение, пользовавшееся большой популярностью среди самых широких кругов читателей.

Тотчас же принявшись за работу, Крупская отнеслась к ней с чувством глубокой ответственности. Она не ограничилась одной из промежуточных стадий обработки, намеченных Толстым в его письме к «тифлиским барышням», а довела работу над «Графом Монте-Кристо» до конца. Она выправила русский перевод непосредственно по французскому подлиннику, обнаружив путем текстологического сличения в лубочном издании романа композиционные

извращения и смысловые искажения. После этого она вернула исправленный текст Толстому.

Обо всем этом мы узнаем из второго письма Надежды Константиновны к Толстому, которое она отправила спустя два с лишним месяца после первого:

«4 июня (1887 года).

Многоуважаемый Лев Николаевич,

Вы прислали мне книгу «Граф Монте-Кристо» — издание Сытина. Я сравнила ее с оригиналом и постаралась восстановить общую связь, которой в ней не было. Потом выпустила бессмыслицы, которые там встретились.

Если то, что я сделала, годится, то, будь-те так добры, дайте мне еще книгу для перепделки.

Мой адрес: Станция Николаевской Ж[елезной] д[ороги] Окуловка. Обречье. Имение Левина. Надежде Константиновне Крупской.

Н. Крупская».

На конверте этого ее письма также стоит пометка «Отвечено»; но и на сей раз самый ответ еще не разыскан.

Н. К. Крупская в юности очень увлекалась педагогическими идеями Толстого. Она сама признавала воздействие педагогических статей писателя на ее собственный преподавательский опыт и всячески стремилась распространить их влияние на передовое учительство. По ее глубококому убеждению, статьи Толстого из журнала «Ясная Поляна», повествуя о низшей школе и ее учащихся, в то же время сами являлись как бы высшей школой для учителей. Эти толстовские работы, по словам Надежды Константиновны, направляют специалиста-читателя не по стезе узкого профессионализма, а выводят на широкий путь педагога-творца. «И столько поэзии в педагогических статьях Толстого, столько страстности, что для пережившего эти статьи педагогическая деятельность не может уже быть скучным ремеслом, а становится деятельностью творческой, преисполненной глубоких тревог и радостей», — писала позже Н. К. Крупская в полемической статье, направленной против француз-

ского реакционного методиста Эдуарда Куни. Она считала, что практическая деятельность Толстого в школе и созданные им на этой живой основе статьи по данному вопросу, несомненно, наложили «свою неизгладимую печать на русскую педагогическую мысль», но она предостерегала и от безоглядного отношения к его противоречивой педагогической теории, настаивая на критическом освоении лишь «сильных» ее сторон.

Вот почему, почти полвека спустя, уже в наше, советское время, когда Н. К. Крупская в течение многих лет бессменно трудилась в органах народного просвещения, она всячески напоминала о непреходящем значении прогрессивных мыслей Толстого-педагога в новых, социалистических условиях: «И сейчас — 45 лет спустя, — писала она в 1928 году в статье «О Льве Толстом» (статья эта с тех пор у нас не переиздавалась), — я не изменила своей точки зрения. И сейчас я хочу, чтобы из ребят воспитывались не рабы, а свободные граждане, и сейчас я считаю никуда негодным учителя, не умеющего уважать личность ребенка, с ней считаться, думающего, что путем шкалы наказаний, мер воздействия можно воспитать «строителя социализма».

Глубоко чуждая, конечно, толстовской философии непротивления, Н. К. Крупская в то же время считала, что критические элементы в творчестве Толстого — одно из активизирующих начал в развитии революционного сознания: «От писателя, художника в настоящем смысле слова, мы всегда многому учимся, как бы несогласны мы ни были с его воззрениями». В годы глухой реакции «страстная критика Л. Толстого» особенно «рвала мертвое молчание, будила, не давая покоя...» Вот почему Н. К. Крупская с такой искренней признательностью даже на склоне лет обращалась к памяти великого писателя: «я глубоко благодарна Л. Толстому за то, что он помог мне научиться бесстрашно глядеть жизни в глаза. Я думаю, многим, очень многим помог Л. Толстой стать революционерами».

С. БРЕЙТБУРГ.



РЕПЛИКИ

ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ

Закончился Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые гости Москвы разъехались во все концы мира. Может быть, пройдет много лет, прежде чем Москва станет снова местом такого международного праздника, но первый опыт нынешнего года очень многообразен и важен.

Я позволю себе высказать несколько замечаний, связанных с изобразительной стороной организации фестиваля. Характер оформления московских улиц был совершенно иной, не похожий на привычное украшение города в праздничные дни. Поэтому особенно разительны его достоинства и недостатки.

Вероятно, многие убедились в явных преимуществах плоскостного решения элементов украшения улиц. Городская архитектура не приемлет соседства с объемными формами изображения. Это относится прежде всего к панно и плакатам. Как только художник пытается иллюзорно изобразить объем, выпуклость на плоскости, укрепленной на стене здания, исчезает связь между живописью и архитектурой. Это особенно относится к плакату.

Авторы плакатов, выпущенных к фестивалю, в большинстве учитывали эту особенность. Мы увидели наконец плакаты, выполненные на художественном языке, свойственном этому

виду изобразительного искусства, то есть несущие в себе такие необходимые элементы, как простота, лаконизм в композиции и цветных соотношениях, плоскостное, а не имитированное объемное решение и, наконец, необходимая условность.

Плакат отличается от картины прежде всего устойчивой повторяемостью, массовостью. Плохую картину, даже попавшую на выставку, можно позволить себе не увидеть. Но плакат, повторенный сотни, тысячи раз, подстерегает вас везде, на каждом углу улицы. Поэтому плохой, банальный, сусальный плакат не только не выполняет своей главной миссии и никого ни на что не мобилизует, но и уродует улицы городов, становясь поистине стихийным бедствием.

Мне доводилось слышать жалобы наших талантливых художников-плакатистов на то, как узко понимает Изгиз возможность изобразительного решения плаката. Фестивальные плакаты — хоть не все они, конечно, равно удачны — показали, что политический плакат может, должен быть решен по-плакатному. До сих пор это было в известной степени привилегией киноплакатов и гораздо реже — лучших театральных афиш.

Фестивальное оформление города показало также, какое значение имеет легкость в решении любого украшения. Каким нарядным сделали город разноцветные флаги, аппликации, легкие прозрачные конструкции (как, например, фонтан на Арбатской пло-

щади) и какое, напротив, удручающее впечатление производило все утяжеленное, сложное, все, что претендовало на натуралистическое правдоподобие! Площадь Дзержинского была, по-моему, только испорчена толстым ковром-самолетом с тремя муляжными фигурками. Здесь затрата средств и энергии явно не соответствовала достигаемым результатам.

Идея оформления окон вырезным орнаментом очень хороша. К сожалению, букеты цветов, изданные огромными тиражами, были выполнены грубо натуралистично, они не красивы, безвкусны.

Очень украсили московские улицы клумбы вокруг деревьев, новые цветники, новые, красивой формы тележки цветочниц на тротуарах.

Может быть, следует сохранить на некоторых площадях эстрады, где бы вечерами могла показывать свое искусство самодеятельность.

Хочется надеяться, что многое из того хорошего, что внес фестиваль в праздничное убранство города, останется и после его окончания, не только в торжественном, но и в будничном облике столицы. Этого заслуживают Москва и москвичи.

О. ВЕРЕЙСКИЙ.

★

МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ЦВЕТНУЮ РЕПРОДУКЦИЮ?

Недавно в двух московских журналах — «Огонек» и «Культура и жизнь» — были опубликованы репро-

дукции картины О. Зардаряна «Весна». Читатели одного журнала могли поверить подписи: на репродукции действительно весна — яркая, прозрачная. зато в другом — мрачная осень, даже сумерки осеннего дня.

Чем же объясняется такое несходство репродукций друг с другом и особенно с оригиналом? Часто качество воспроизведения склонны объяснять только материалами, применяемыми для печатания, — бумагой, красками. Нет сомнения, что бумага и краски влияют не только на общий вид оттиска, но и на точность воспроизведения. К сожалению, бумага, применяемая для репродукции, далеко не всегда отвечает элементарным требованиям печатного процесса. Печатные краски нестандартны и неустойчивы по цветовому оттенку. И все же главное не в этом.

Причины неудовлетворительного качества художественных репродукций следует искать прежде всего в самой полиграфической технике, в подчас несовершенной работе полиграфической промышленности.

В нашей издательской практике для воспроизведения картин, написанных маслом, применяется почти исключительно способ трех- и четырехцветной автотипии. Но, хотя многое говорит в пользу этого способа, делать его по существу единственным пригодным во всех случаях и для всех картин нет никаких оснований. Есть и другие способы, имеющие свои достоинства и дающие возможность воспроизвести оригинал более точно.

На недавней выставке французских репродукций в

Москве можно было видеть наряду с автотипными оттисками также крупноформатные листы, выполненные очень старым, но не утратившим своих преимуществ способом фототипии. По ряду причин этот способ позволяет передать художественное произведение гораздо более точно, чем другие. Фототипия широко используется в полиграфической промышленности ряда стран. Так, например, в Дрездене есть предприятие с крупным фототипным цехом, специально занятым выпуском цветных репродукций большого формата. У нас этот точный способ репродуцирования сведен почти на нет. В ленинградской типографии имени Ивана Федорова сохранились четыре машины для печатания фототипий, но они используются только для одноцветной репродукции и притом в очень маленьких форматах. А между тем на складе типографии более десяти лет лежат машины для печатания крупноформатных цветных фототипий.

Чем же объясняется такое пренебрежительное отношение к хорошему способу репродукции? Только тем, что он пригоден для печатания небольших тиражей, а наша, мол, художественная репродукция издается в огромных количествах. Но почему бы не печатать этим способом хорошие репродукции в сравнительно небольших количествах (например, тиражом в двести тысячи экземпляров), создавая таким образом эталонные воспроизведения классических произведений живописи для местных музеев?

К слову сказать, в Москве и Ленинград, в лучшие картинные галереи приходит много писем от руководителей местных музеев, в которых они просят избавить их от услуг так называемых копистов, которые уводят зрителя от оригинала гораздо дальше, чем увела бы его хорошая полиграфическая репродукция.

Ведь если наладить производство репродукций, точно передающих оригинал и приближающихся к нему по своему формату, можно было бы в течение нескольких лет воспроизвести лучшие произведения русской и иностранной классической живописи, хранящиеся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее. Пусть тираж этих репродукций будет невелик, но они украсят местные краеведческие музеи и картинные галереи, и в отдаленных уголках нашей страны советские люди смогут любоваться лучшими произведениями мировой живописи.

В Москве, в типографии Гознак, печатают на ледерине офсетным способом репродукции большого формата. Эта типография выпустила много хороших репродукций, но неудачи бывают и здесь, и, к сожалению, довольно часто. Объясняется это несовершенством используемых технических средств.

Чтобы устранить искажение оригинала в репродукции, у нас применяется только ручная корректура негативов, диапозитивов и самих печатных форм — клише. Таким образом, конечный результат воспроизведения зависит в наибольшей степени от того человека, который проводит эту

корректуру: от его технической квалификации, художественной подготовки (способности правильно воспринимать воспроизводимую картину), индивидуальных особенностей зрения и т. д. Вот это преобладание субъективных факторов и приводит к случаям (к сожалению, весьма многочисленным), подобным тому, который произошел с картиной «Весна». Два мастера на двух разных московских предприятиях корректировали цветоделенные изображения и пришли к совершенно разным результатам.

А существуют более совершенные, объективные методы воспроизведения, но они по тем или иным причинам не применяются в нашей полиграфической промышленности. Наиболее доступен из них фотомеханический способ корректирования цветоделенных негативов — метод маскирования. Несмотря на то, что у нас этот способ давно освоен, в трех- и четырехкрат-

ной репродукции высокой печати он не применяется. Объясняют это его якобы экономической невыгодностью, забывая обо всех выгодах точного воспроизведения оригинала.

Еще больший интерес представляют специальные машины и аппараты для автоматического электронного цветоделения, и цветокорректирования. Эти электронные автоматы, созданные в различных вариантах в США, Западной Германии и Англии, позволяют получать цветоделенные негативы, не нуждающиеся в ручной корректуре и гарантирующие точное воспроизведение оригинала. Эти автоматы знаменуют новый путь в репродуцировании, который, несомненно, должен привести к правильным результатам.

Два наших научно-исследовательских института — полиграфической промышленности и полиграфического машиностроения — только еще обсуждают вопрос

о возможности или целесообразности создания таких автоматов.

Итак: можно ли улучшить качество цветной репродукции? Несомненно, можно. Однако для этого нужно, чтобы организации, ведающие полиграфической промышленностью, коренным образом изменили свое отношение к этому вопросу. Нельзя направлять основные усилия только на увеличение количества выпускаемой печатной продукции, забывая о качестве. Нельзя добиться хорошего качества, применяя устаревшие кустарные способы производства. Нужно рационально использовать различные технологические варианты, современные объективные методы цветоделения и цветокоррекции, нужны стандартные, нормализованные краски и высококачественная бумага для художественной репродукции.

*Доктор технических наук,
профессор В. ПОПОВ.*



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ПУТАНИЦА

Как известно, замечательный критик-большевик Вацлав Вацлавович Воровский в первые годы Советской власти активно работал на дипломатическом посту. Он был нашим послом в Риме и представлял Советскую республику на Международной конференции в Лозанне. Там он и погиб 10 мая 1923 года от руки подлого убийцы-белогвардейца.

Однако эту общезвестную истину, видимо, позабыли некоторые работники Госполитиздата. На странице 216, в примечании четвертом к воспоминаниям старого большевика М. Лядова «Из жизни партни в 1903—1907 годах», вышедшим в прошлом году, читаем: «20 июня (речь идет о 1922 году. — Н. П.) в 4-ю годовщину убийства эсерами В. В. Воровского, на демонстрацию протеста вышли 300 тысяч московских рабочих, требовавших сурового наказания эсеровских лидеров».

Здесь имелась в виду, конечно, четвертая годовщина со дня смерти В. Володарского, действительно убитого эсером в 1918 году, но в книге все оказалось перепутано, и дата смерти В. В. Воровского перенесена на пять лет раньше.

Н. П.

КТО ЖИВЕТ В ОМСКЕ?

Отложим на время ответ на несколько странный вопрос, поставленный в заглавии данной заметки. Зададим другой вопрос: кто живет в Лондоне? Ответ ясен — *лондонцы*. В Берлине — *берлинцы*. И так далее...

Нет, далее не так.

Как назвать жителя Неаполя? Если следовать приведенным выше примерам, получается: *неаполец*. А в русском языке употребляется другое: *неаполитанец*. Единого правила здесь нет. Житель Рима — *римлянин*. Генуи — *генуэзец*. А вот как назвать жителя Осло? Откровенно сознаемся: это нам не известно.

Но, может быть, так сложно обстоит дело только с иностранными названиями?

Обратимся к отечественным.

Оказывается, и коренные русские слова этого типа образуются не менее прихотливо. Сплошь да рядом в живой речи и в печати можно встретить разноречивой — жителей одного и того же города именуют по-разному.

Житель Москвы — *москвич*, это ни у кого не вызывает сомнений; слово *москвич* хорошо знакомо во всех уголках Советского Союза, и никому не приходит в голову возродить некогда изредка употреблявшаяся (так сказать, в «высоком штиле») слово *москвитянин*. Наряду со словом *москвич* издавна бытовали в русском языке *костромич* и *туляк*. А теперь вдруг промелькнуло в печати (в спортивных отчетах, помнится) — *костромчанин*, *тульчанин*.

В статьях, опубликованных в 1946 году в журнале «Русский язык в школе», А. А. Дементьев делает вывод, что суффикс *-ец* более в духе современного русского языка, чем суффикс *-анин* (*янин*). Но в последнее время окончание *-анин* стало своего рода поветрием.

С детства памятно: житель Томска — *томич*, житель Омска — *омич*; недавно довелось встретить уродливое *омчанин*. Были *полтавцы* — появились *полтавчане*. Последнее, казалось бы, можно объяснить влиянием украинского языка, но вот что любопытно: украинский академик Л. Булаховский в своем «Курсе русского литературного языка», изданном в Киеве (4-е изд., 1949 г.), пишет именно *полтавец*.

Конечно, *одесситы* одесситами и останутся, сохранив свое единственное, на греческий манер образованное окончание, — вряд ли кому-нибудь вздумается именовать их одессчанами, — но хабаровчане уже стали понемногу появляться на свет; того и гляди появятся владивостокчане или, чего доброго, чебоксаряне.

Нет, в самом деле, какое разнообразие способов образования таких слов и сколько исключений, не укладывающихся в единое правило! *Куряне* и *калужане*, *новгородцы* и *ленинградцы*, *читинцы*, *пензенцы*, *кимряки*... А вот в Архангельске ни один старик, коренной житель города, не назовет себя *архангелец*, а только *архангелогородец*.

А как назвать жителя Липецка? Или Якутска? Или Улан-Удэ? Что правильно:

смоляне или *смоляки*? Различаются ли каким-нибудь оттенком значения слов *волжанин* и *волгарь*? Как правильно — *флорентинец* или *флорентиец*? Кто же все-таки живет в Омске?

И, наконец, еще один — главный вопрос: где найти ответ на все предыдущие вопросы?

Казалось бы, проще всего взять с полки словарь и навести в нем справку. Тем более, что совсем недавно вышел первый том нового «Словаря русского языка». Не беда, что этот том охватывает только буквы «А—Й», среди 21 889 слов, уместившихся в нем, должна же найтись хотя бы часть подобных названий.

Не стоит, однако, трудиться и листать все 962 страницы толстого тома. Достаточно заглянуть в одну из них, обозначенную римской цифрой VII. На этой странице, в третьем параграфе статьи «Как пользоваться словарем», читателя предупреждают, что «имена нарицательные, представляющие собой названия жителей городов и местностей (ленинградец, москвич, волгарь и т. п.)» в словарь не включены.

Почему? «В связи с ограниченным объемом словаря».

Пожав плечами, обращаемся к двум изданиям однотомного словаря под редакцией С. Ожегова. Нету.

Берем более ранний четырехтомник под редакцией Д. Ушакова. *Волгарь* есть, *москвича* нет.

С тем же результатом просматриваем и «Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати» К. Былинского и Н. Никольского и школьный

орфографический словарь С. Крючкова.

Некоторым исключением является вышедший в 1956 году под редакцией С. Ожегова и А. Шапиро «Орфографический словарь русского языка». Здесь мы находим, например, *костромич*, *москвич*, *полтавец*, *смоляк*, *туляк*, но и тут нет слов *калужанин*, *курянин*, *омич*, *толич* и других. На поставленный в заголовке нашей заметки вопрос и этот словарь не дает ответа.

В одной из упомянутых выше статей А. А. Дементьева говорится, что такие названия есть в «Новом полном справочном орфографическом словаре для корректоров, наборщиков, выпускающих и литературных работников», составленном С. Хомутовым. Но словарь этот ныне редкость, он вышел в 1929 году. А. А. Дементьев еще одиннадцать лет назад предлагал издать специальный словарь названий жителей городов и местностей. Предложение резонное. Однако не следует ли и в обычных словарях потесниться ради этих названий, хотя бы в пределах областных городов и городов, имеющих историческое значение? Изыскать для этого место не так уж трудно. Тот же первый том нового четырехтомного «Словаря русского языка» перегружен литературными цитатами-иллюстрациями. Назначение их, как сообщает редакция, «дать примеры правильного употребления, показать стилистические особенности и сферу употребления слова». Но если в этом свете понятно обилие иллюстраций к двадцати девяти значениям слова *за* или к два-

дцати пяти значениям *идти*, то что дают, например, такие иллюстрации (к словам «аттестат» и «всходы»): «Гаяла сдала экзамен и получила аттестат» или «Необозримо зеленели дружные всходы озимых»?

Мы не знаем, кто положил начало «гонению» на интересующие нас слова и с какого времени оно повелось, но конец ему, как нам кажется, должно положить Государственное издательство иностранных и национальных словарей.

Тогда легко будет ответить и на вопрос, кто живет в Омске, и на иные, сходные.

Б. З.

★

НОВОЕ В ХРОНОЛОГИИ

Издательство «Московский рабочий» выпустило краткий путеводитель «По Кремлю». Несмотря на краткость путеводителя, авторам удалось втиснуть в него такое количество ценных исторических открытий, что мы не можем о них умолчать.

Например, знакомясь с историей иконы Владимирской богородицы, читатель, усвоивший со школьной скамьи год смерти князя Дим. Донского (1389), с чувством интереса, переходящего в растерянность, узнает из путеводителя, что «...в 1395 году князь Дмитрий Донской привез ее (вышеупомянутую икону. — С. Л., Н. И.) в Москву и установил в Успенском соборе» (стр. 56).

Учебники истории дружно сходятся на том, что Иван Грозный скончался в 1584 году. С этой датой не согласны авторы путеводи-

теля. На странице 131 сказано, что кольчугу Иван IV пожаловал в 1588 году Ермаку за сибирские походы.

Итак, мы узнаем, что в 1588 году был жив не только Иван Грозный, но и Ермак. Поисгине важное открытие!

Не могут принять авторы путеводителя и известную дату заключения мира с Польшей — 1686 год («Вечный мир»). Путеводитель предлагает другую дату:

«В 1682 году эта чаша была пожалована князю В. В. Голицыну за заключение мира с Польшей...» (стр. 158).

На стр. 64 путеводителя читаем: «В пожар 1547 года собор (храм Благовещения — С. Л. и Н. И.) сгорел и был восстановлен при Иване Грозном в 1562—64 гг.» (стр. 64).

Мы до сих пор считали, что Иван Грозный был на престоле и в 1547 году. Но авторы путеводителя как бы берут этот факт под сомнение, прозрачно намекая, что пожар случился не при Грозном.

Авторы путеводителя смело перечеркивают привычные даты, ставя вместо них новые, и делают это без всякой помпы, а с удивительной скромностью. Многие способные ошеломить читателя факты даны в путеводителе очень скромно, мимоходом. Так, на стр. 135 в скобках сообщаются новые данные о годах рождения и смерти боярина Б. Я. Бельского: 1577—1610. Из других же источников известно, что сподвижник Грозного боярин Б. Я. Бель-

ский в 1577 году осадил крепость Вольмар. Поскольку грудные младенцы обычно крепостей не осаждают, приходится подвергнуть сомнению факт участия Бельского в осаде.

Авторы путеводителя смело пересмотрели даты смерти патриарха Гермогена и Ивана Калиты, изменили инициалы тестя царя Алексея Михайловича — боярина Мирославского, повысили в чине митрополита Киприана, назвав его «патриархом». Недостаток места не позволяет перечислить другие открытия, походя сделанные авторами путеводителя.

Может быть, авторы сделали большую исследовательскую работу, позволившую им подвергнуть пересмотру все существовавшие авторитетные источники?

Ну, а если предположить, что авторы путеводителя как раз недостаточно поработали, допустив путаницу и небрежность в «Кратком путеводителе»? Авторы путали, а издательские работники не проверяли?

Как это ни печально, но мы думаем, что второе предположение более отвечает действительности.

С. ЛУРЬЕ,
Н. ИЛЬИНА.

★

К ВОПРОСУ О ВОСПОМИНАНИЯХ

В журнале «Дружба народов» (№ 2 за 1957 год) напечатаны воспоминания Ив. Перестиани о Шалапине. В числе прочего автор рассказывает:

«Французы вообще почитали Шалапина. В день его

пятидесятилетия они отлили для Люксембургского музея золотую медаль и дубликат прислали Федору Ивановичу в Москву. Как это его взволновало!

— Вот, — сказал он мне, — французы! А родина?..

Пятидесятилетия Шалапина царские чиновники не заметили» (стр. 125).

Эпизод, что и говорить, колоритный. Беда только в том, что пятидесятилетие Шалапина (он родился в 1873 году) наступило в 1923 году, когда в России «царских чиновников» давно и в помине не было, а существовала Советская власть. Но и она в данном случае ни при чем, ибо Шалапин в это время (с 1921 года) находился уже не в Москве, а за пределами Родины, в эмиграции.

Вот и верь после этого воспоминаниям!

Доктор искусствоведения
Г. КОГАН.

От редакции: *О воспоминаниях Ив. Перестиани прислал свои замечания и читатель В. Матюхин (Московская область). Кроме уже отмеченной неточности, он обнаружил еще одну:*

«В конце своих записок, — сообщает он, — г. Перестиани пишет: «...вышло, что прах нашего великана лежит в чужой земле, пусть даже в Пантеоне, и наши воспоминания о нем и не закончены и омрачены...»

Но Ф. И. Шалапин похоронен не в Пантеоне, а на одном из парижских кладбищ. Как видно, недаром г. Перестиани сокрушался: «...наши воспоминания... омрачены...» Что правда, то правда!»



КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. БЕГИЯН. Ленинская «Искра» на Урале. Свердловское книжное издательство. 1957. 96 стр. Цена 90 к.

Ленинская «Искра» и искровская литература широко распространялись по всей обширной территории России. О том, какую роль сыграла «Искра» в развитии революционного движения на Урале, о ее борьбе против «экономистов» и других оппортунистов рассказывается в книжке кандидата исторических наук С. Бегияна.

Автор привлек большой материал из центральных и местных архивов, характеризующий возникновение и становление уральских большевистских партийных организаций. В книжке приведено много выдержек из самой «Искры», посвященных тяжелому положению уральских рабочих, их стачечному движению. «Жизнь здесь требует, — указывала «Искра», — действительно революционной организации, которая под ясно обозначенным знаменем революционной социал-демократии объединит рабочий класс на Урале против всенародного врага и поведет его на борьбу и на победу».

А. СМИРНОВ. Агитация и пропаганда большевиков в деревне в период подготовки Октябрьской революции (март — октябрь 1917 г.). Госполитиздат. М. 1957. 160 стр. Цена 1 р. 85 к.

Одним из важнейших условий победы Великой Октябрьской социалистической революции было укрепление партией большевиков союза рабочего класса с крестьянством. Книга построена на анализе источников, освещающих положение во многих районах России в период подготовки к Октябрю. Автор характеризует задачи агитационно-пропагандистской деятельности большевиков среди крестьян в связи с установкой партии на переход к социалистической революции, затем показывает, как велась агитация и пропаганда на основе решений Апрельской конференции и VI съезда партии. В книге отчетливо видна роль агитаторов — рабочих и солдат — среди трудового крестьянства, а также роль партийной печати и методы ее распространения в деревне.

Л. ОСТРОВЕР. Буревестники. Издание исправленное и дополненное. «Советский писатель». М. 1957. 487 стр. Цена 8 р. 85 к.

История русского революционного рабочего движения начинается именами Петра Алексеева, Виктора Обнорского, Степана Халтурина, Петра Моисеенко; одно из

самых светлых имен ее — имя Ивана Бабушкина. Об этих людях много писали историки; литераторы, к сожалению, — значительно меньше...

Книга Л. Островера представляет собой сборник рассказов и повестей о первых рабочих революционерах. Читатель найдет в ней драгоценные сведения о жизни и работе, о мыслях и характерах этих рыцарей революции.

МИХАИЛ ТАРДОВ. Фронт. Трилогия. Государственное издательство художественной литературы. Киев. 1957. 536 стр. Цена 10 р. 5 к.

Эта книга издается не впервые. Ее первая часть вышла в свет еще в 1929 году. Писатель работал над романом в течение всей своей жизни, не раз переделывая его. Сейчас читатель получает последний вариант этого живого и достоверного рассказа о путях солдатской массы в революции, о ее бурной биографии, полной испытаний, жертв, крови. Три части трилогии «Фронт» — это три эпохи в жизни русского солдата: империалистическая война, Февральская революция и господство Временного правительства, затем Октябрь и гражданская война. Это роман о фронте, который в каждую из этих трех эпох проходил по разным рубежам. Об этом изменении рубежей, о том, как люди становились по разную сторону баррикад, и повествует книга Михаила Тардова.

ВАСИЛИЙ КАРПОВ. Черная Калитва. Воронежское книжное издательство. 1957. 144 стр. Цена 3 р. 35 к.

Небольшой роман воронежского писателя В. Карпова «Черная Калитва» посвящен одному из самых сложных и драматических эпизодов гражданской войны — борьбе с кулацкими бандами, поднявшими контрреволюционный мятеж против Советской власти.

Герой романа, командир продовольственного отряда Яков Гордиенко, мужественно и последовательно борется против перегибов, которые возбуждали недовольство крестьян; когда же вспыхивает кулацкое восстание, он самоотверженно воюет с белобандитами.

О том, как ориентировались в сложных перипетиях гражданской войны Яков Гордиенко и его товарищи коммунисты, как они находили единственно верный путь, как боролись за этот путь, и рассказывает роман Василия Карпова.

СЕРГЕЙ ОСТРОВИЙ. Я в России рожден! Стихи. 1934—1956. «Советский писатель». М. 1956. 236 стр. Цена 4 р. 30 к.

Сборник стихотворений Сергея Острового представляет собой своеобразный творческий отчет поэта о его более чем двадцатилетней поэтической деятельности.

Книга состоит из четырех разделов. Наиболее обширный из них — «Разные годы» — содержит произведения, воспевающие нашу Родину, ее города и села, реки и леса.

Лирика военных лет составила второй раздел сборника — «Была война...» Среди песен, составивших третий раздел книги, читатель найдет завоевавший широкую популярность текст «Прощальной» («В путь-дорожку дальнюю я тебя отправлю...») и другие.

«Сказка о звездах», написанная автором в 1949—1951 годах, составила четвертый раздел сборника.

Ярко выраженное стремление поэта перенести читателя в излюбленный им мир северной российской природы, передать своеобразие тех мест, где родился автор, за освобождение которых боролся он в годы войны, объединяет все четыре раздела книги, придает ей тематическую цельность.

ВАЛЕНТИН БУЛГАКОВ. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. Государственное издательство художественной литературы. М. 1957. 535 стр. Цена 12 р. 65 к.

Среди обширной художественной и мемуарной литературы, посвященной Льву Толстому, особое место занимает дневник его секретаря В. Ф. Булгакова, который провел рядом с Львом Николаевичем последний год его жизни. Не столько мельчайшие подробности будней и быта Толстого (зафиксированные, впрочем, с удивительной чуткостью, тактом и тонкой наблюдательностью и представляющие, несомненно, большой познавательный интерес), сколько яркий и точный рассказ о трудолюбии, силе дарования, свежести мысли и чувств 82-летнего художника составляет основное достоинство записей В. Булгакова.

Живой Толстой встает перед нами во весь свой исполинский рост, во всей красоте простого труженика. Он пунктуален и обстоятелен в ответах на письма. Он ежедневно трудится над дневниками, статьями, над сборником «На каждый день». Он следит за новейшей литературой и перечитывает классиков. Он почти ежедневно — если только не болен — подолгу верхом объезжает поля и леса, жадно впитывает красоту родной природы. Он интересуется газетами, вмешивается в политические споры, диктует письма против милитаризма и войны, полные гнева и страсти великого гуманиста.

Но молодой Булгаков видит и другое — мучительное одиночество Толстого в его яснополянском окружении. Ведь это было время тяжелой борьбы гениального художника и мыслителя с самим собой и с окружающей его действительностью, последний этап в долголетних попытках вырваться из

неразрешимого противоречия между его учением и собственной жизнью.

«В душе моей зарождалась странная уверенность, — записывает вскоре после приезда в Ясную Поляну В. Булгаков, — что в личной жизни Льва Николаевича, несмотря на его глубокую старость, еще не все кончено, что он непременно примет еще что-то такое, чего от него теперь никто и ждать не может: мне казалось, что нельзя с такой силой и искренностью и так мучительно, как Лев Николаевич, переживать сознание несправедливости, фальши своего положения, чтобы не попытаться каким-нибудь путем выйти из него».

Дневник Валентина Булгакова, в свое время высоко оцененный М. Горьким и Р. Ролланом, изданный сейчас в значительно дополненном виде, с хорошей вступительной статьей С. Розановой, встретит теплый прием и у литераторов и у всех читателей как достоверное свидетельство о последних днях вечно живого Толстого.

И. Я. ПОДКОПАЕВ. Очерки борьбы вьетнамского народа за независимость и единство своей родины. Госполитиздат. М. 1957. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

На протяжении многих веков вьетнамский народ боролся за независимость своей страны. Эра самостоятельного существования Вьетнама началась с 939 года и продолжалась до второй половины XIX века, то есть до французского завоевания.

В книге И. Подкопаева рассказывается о борьбе вьетнамцев против колонизаторов, о предпосылках и характере Августовской революции 1945 года. Отдельные главы посвящены государственному строительству в Демократической Республике Вьетнам и положению в Южном Вьетнаме.

В заключение автор пишет: «Сочувствие всех людей доброй воли, народов стран социалистического лагеря на стороне народа Вьетнама, борющегося за правое дело. Нет сомнения, что правое дело вьетнамского народа — построить жизнь по новому и воссоединиться в едином демократическом государстве — восторжествует».

ОЧЕРКИ ПО НОВОЙ ИСТОРИИ КИТАЯ. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 176 стр. Цена 3 р. 55 к.

История Китая за последние сто с лишним лет насыщена событиями огромного значения и является по существу историей борьбы трудящихся масс за свое освобождение от гнета иностранного капитала и феодальной эксплуатации. Современная историческая наука в Китае считает, что освободительная борьба народа распадается на два основных периода: 1840—1919 годы — новая история Китая — и 1919—1949 годы — новейшая история Китая. В 1949 году была провозглашена Китайская Народная Республика и началось строительство народно-демократического государства.

Книга начинается с рассказа о первой «опиумной» войне и о Тайпинском восстании. Глава «Начало новейшей истории» знакомит с огромным влиянием Великой Октябрьской социалистической революции

на Китай. Следующие главы посвящены первой, второй и третьей гражданским революционным войнам, антияпонской войне и становлению нового Китая.

В заключительной части книги говорится о нерушимой советско-китайской

дружбе, о победе в борьбе против агрессии США в Корею, о твердой решимости китайского народа «освободить Тайвань из рук американских оккупантов и окончательно ликвидировать логово остатков разбойничьей банды Чан Кай-ши».

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Государственное издательство детской литературы наряду с другими крупнейшими издательствами страны широко отмечает сорокалетие Великой Октябрьской социалистической революции. Этой знаменательной дате посвящено немало уже вышедших в свет изданий. Число их значительно увеличится в ближайшие два месяца, отделяющие нас от торжественной годовщины.

Ленин, Партия — эти неразрывно связанные слова, безмерно дорогие каждому советскому человеку, служат ведущей темой созданных в производстве книг для подрастающего поколения. Книги эти должны более полно познакомить юных читателей с героическими днями Октября, укрепить в их сердцах любовь к гениальному вождю.

Первостепенную важность в этом благородном деле приобретают воспоминания участников революции — старых большевиков. С неповторимыми свидетельствами великих и грозных событий знакомит книга «Как победила революция». В ней собран ряд воспоминаний, охватывающих период с апреля по октябрь 1917 года. Многие из них Детгиз выпустит и отдельными небольшими изданиями.

В очерке «Встреча на Финляндском вокзале» В. Виноградов рассказывает о приезде В. И. Ленина в Россию. О том, как Ильич скрывался в Разливе от ищек Временного правительства, рассказывает Н. Емельянов. «Решающие дни» М. Фофановой воскрешают в памяти начало величественной Октябрьской эпопеи. Воспоминания И. Вахрамеева «В первые дни революции» повествуют о трудностях, с которыми сразу же пришлось встретиться молодой Советской власти, — о саботаже на телеграфе, на телефонной станции, в банках.

Воспоминания охватывают ряд городов нашей страны. Очерк «Кронштадтцы в Октябре» написан И. Флеровским. О том, как горячо приняла революцию московская молодежь, рассказывает А. Литвейко. «Девушка с Электроламповой» — это рассказ об организации Союза рабочей молодежи, об участии молодых патриотов в Октябрьских событиях.

В книге помещены и другие воспоминания старых большевиков.

«Они штурмовали Зимний» — так называется книга П. Капицы о центральном событии вооруженного восстания в Петрограде.

Детгиз не забыл и о самых малечьких читателях. Для них выпускается книжка-картинка Л. Савельева «Часы и карта Октября».

Будут переизданы книги Н. К. Крупской «О Ленине» и в подарочном издании с новыми иллюстрациями художника Е. Кибрика поэма В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин».

В книге М. Прилежаевой «Начало» идет рассказ о молодом Ленине, о первых днях организованного им «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Среди персонажей книги — Кржижановский, Бабушкин и другие революционеры, верные соратники Владимира Ильича со времени создания первых марксистских кружков в России.

Р. Борисова вспоминает в своей книге «Незабываемые люди» о встречах с Лениным и Чапаевым. Поэма М. Миньшакара «Ленин на Памире» посвящена первым годам Советской власти в далекой горной стране.

Об истоках Октябрьской революции, о том, что она была делом всех народов России, молодые читатели узнают из книги Х. Мухтара «Перед бурей» (перевод с башкирского). Это повесть о судьбе башкирского мальчика из рабочей семьи, о его трудном детстве и о первых шагах в революционном движении.

Две книги — «Год вступления — девятьсот восемнадцатый» и «Этих дней не смолкнет слава» — посвящены гражданской войне. Автор первой, З. Шнишова, написала повесть о первых комсомольцах на Украине. На фоне больших исторических событий на юге России показаны судьбы подростков, воспитанных революцией и беззаветно ей преданных. Они отстаивают ее завоевания, героически сражаясь с немецкими оккупантами.

Ю. Герман, взяв названием своей книги строку популярной песни, знакомит своих читателей с памятными фактами борьбы молодой Советской республики с иностранной военной интервенцией и внутренней контрреволюцией.

Многообразие тематики детгизовских изданий нашло свое отражение и в книгах о хозяйственном строительстве. В содружестве с художником А. Иткиным писатель М. Шур создал книгу «Продолжим рассказы о великом плане». Многокрасочная книжка-картинка А. Шейкина «Карта рассказывает» знакомит с тем, как изменит лицо страны шестая пятилетка.

К сороковой годовщине Октября выходят в свет первые книги новой серии «Золотая библиотека Детгиза». Это «Белеет парус одинокий» В. Катаева, «Школа» А. Гайдара, «Сказки, песни, загадки» С. Маршак,



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. О пролетарском интернационализме. Сборник. 564 стр. Цена 8 р. 50 к.

В. И. Ленин. Об единстве партии. 452 стр. Цена 7 р.

Постановление Пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М. 16 стр. Цена 15 к.

Н. А. Булганин, Н. С. Хрушев. Миссия мира и дружбы. Речи во время пребывания в Финляндии 6—13 июня 1957 года. 80 стр. Цена 65 к.

И. В. Сталин. Об Октябрьской революции. 96 стр. Цена 1 р.

Вильгельм Пик, Клара Цеткин. Жизнь и борьба. 36 стр. Цена 40 к.

Б. Багликов. Съезд подготовки Великого Октября. (О Шестом съезде большевистской партии). 40 стр. Цена 35 к.

В. С. Баскин. Нефтяные монополии на Ближнем и Среднем Востоке. 180 стр. Цена 2 р. 30 к.

Вопросы партийной работы. 408 стр. Цена 6 р.

Глазами друзей. Русские об Индии. 408 стр. Цена 7 р.

Георгий Димитров. Избранные произведения. Издание в двух томах. Том II. 696 стр. Цена 11 р.

М. С. Драгилов. Общий кризис капитализма. (Очерк развития капиталистической системы за 40 лет). 304 стр. Цена 5 р. 20 к.

Н. Иванов. В борьбе за независимость (очерк национально-освободительного движения тунисского народа). 112 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Капитонов. Выполним свой долг (доклад на Пленуме МК КПСС 12 июня 1957 года). 24 стр. Цена 25 к.

А. Кунина. Доктрина Эйзенхауэра. 80 стр. Цена 1 р.

Л. М. Мордухович. Очерки истории экономических учений (от античных мыслителей до родоначальников буржуазной классической политической экономии). 180 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Н. Некрасов. Экономика промышленности и технический прогресс. 120 стр. Цена 1 р. 80 к.

Мария Овсянникова. Глазами старого друга. Венгерские записки. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

И. К. Сиволап, А. С. Шатхан. Пищевая промышленность СССР. 180 стр. Цена 2 р. 75 к.

Е. Д. Стасова. Страницы жизни и борьбы. 144 стр. Цена 1 р. 80 к.

Т. Тимофеев. Негры США в борьбе за свободу. Негритянское движение в Соединенных Штатах Америки после второй мировой войны. 180 стр. Цена 2 р. 20 к.

Н. Н. Яковлев. Вооруженные восстания в декабре 1905 года. 580 стр. Цена 13 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Беккер. Прогрессивная негритянская литература США. 236 стр. Цена 6 р. 35 к.

К. Досанов. Первая тропинка. Стихи. 110 стр. Цена 2 р.

Т. Иванова. Юность Лермонтова. 360 стр. Цена 9 р.

О. Колычев. Закаты и рассветы. Стихи. 348 стр. Цена 5 р. 50 к.

П. Кучияк. В горах Алтая. 287 стр. Цена 5 р. 20 к.

Ю. Либединский. Утро Советов. 820 стр. Цена 16 р.

П. Мезенцев. Белинский. Проблемы идейного развития и творческого наследия. 496 стр. Цена 12 р.

А. Никифоров. Сосна. Стихи. 72 стр. Цена 1 р. 40 к.

Л. Озеров. Признание в любви. Стихи. 216 стр. Цена 3 р.

Песни русских поэтов. 528 стр. Цена 5 р. 30 к.

Е. Фейерабэнд. Зов непройденных дорог. Стихи. 120 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Хавпачев. Горы родные. Стихи. 80 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Чаковский. Год жизни. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.

С. Чернобрывец. Поток жизни. Роман. 276 стр. Цена 5 р. 40 к.

А. Чивилихин. Наступление весны. Стихи. 84 стр. Цена 1 р. 65 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Александр Абашели. Избранное. Перевод с грузинского. 286 стр. Цена 5 р. 50 к.

Антология кабардинской поэзии. 299 стр. Цена 16 р.

Ба Цзинь. Весна. Роман. Перевод с китайского. 423 стр. Цена 8 р. 30 к.

Николай Бараташвили. Стихи. Перевод с грузинского. 87 стр. Цена 2 р. 10 к.

Демьян Бедный. Стихи, басни, поэмы. 390 стр. Цена 5 р. 65 к.

Роберт Бернс в переводах С. Маршака. Издание 4-е, дополненное. 451 стр. Цена 4 р. 60 к.

П. Д. Боборыкин. Китай-город. Роман в пяти книгах. 448 стр. Цена 7 р. 80 к.

Н. Емельянова. Избранное. 549 стр. Цена 10 р. 15 к.

Гай Валерий Катулл. Лирика. Переводы с латинского. 146 стр. Цена 90 к.

Готхольд Эфраим Лессинг. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. Перевод с немецкого. 519 стр. Цена 10 р. 75 к.

Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В трех томах. Том 1. 515 стр. Цена 9 р. 35 к. Том 2. 510 стр. Цена 9 р. 40 к. Том 3. 572 стр. Цена 10 р. 35 к.

Прибой. Сборник произведений ленинградских писателей. 243 стр. Цена 12 р. 75 к.

Русские народные песни. 735 стр. Цена 11 р. 30 к.

Эптон Синклер. 100%. Биография патриота. Перевод с английского. 263 стр. Цена 5 р. 15 к.

Евгений Федоров. Шадринский гусь и другие повести и рассказы. 155 стр. Цена 1 р. 90 к.

Александр Черненко. У синего моря. 736 стр. Цена 13 р. 40 к.

Бранимир Чосич. Скошенное поле. Роман. Перевод с сербо-хорватского. 487 стр. Цена 9 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Расул Гамзатов. Новая встреча. Стихи. 96 стр. Цена 2 р. 20 к.

Леонид Жариков. Повесть о суровом друге. 328 стр. Цена 8 р.

Г. Б. Жданов. Лучи-разведчики. 208 стр. Цена 4 р. 75 к.

Ю. Збанацкий. Поздравьте меня, друзья! Повесть. Авторизованный перевод с украинского. 176 стр. Цена 4 р. 75 к.

Вера Звездаева. Главная профессия. Повесть. 206 стр. Цена 4 р. 55 к.

Вл. Лифшиц. В шутку и всерьез. Стихи. 39 стр. Цена 1 р. 20 к.

Владимир Морозов. Стихи. 80 стр. Цена 2 р. 40 к.

Сем. Нариньяни. Ты помнишь, тозараш... 120 стр. Цена 1 р. 70 к.

Сергей Наровчатов. Горькая любовь. Стихи. 136 стр. Цена 2 р. 70 к.

Лидия Некрасова. День рождения. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 30 к.

Л. Позднсева. Лу Синь. 288 стр. Цена 6 р. 10 к.

Сергей Чекмарев. Стихи, письма, дневники. 184 стр. Цена 4 р. 80 к.

А. Шаров. Против смерти. 408 стр. Цена 8 р. 95 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Вопросы экономики планирования и статистики. Сборник статей. 483 стр. Цена 25 р.

Второй период революции, 1906—1907 гг. Часть I. Январь — апрель 1906 г. Книга первая, 1142 стр. Цена 38 р. 75 к.

Высший подъем революции 1905—1907 гг. Вооруженные восстания (ноябрь — декабрь 1905 г.) Часть IV. 1001 стр. Цена 34 р.

Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв. Том I. XVI—XVII вв. 477 стр. Цена 27 р. 60 к.

С. Левит. Советская музыка в борьбе за мир. 200 стр. Цена 12 р. 75 к.

Рост кристаллов. Доклады на первом совещании по росту кристаллов. 372 стр. Цена 21 р. 40 к.

ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ

И. Василенко. Часы Мериме. Повесть. 94 стр. Цена 2 р. 55 к.

Евг. Воеводин, Эд. Талунтис. Твердый сплав. Приключенческая повесть. 258 стр. Цена 3 р. 80 к.

Марк Поповский. Когда врач мечтает... Рассказ о медицине и ее творцах. 192 стр. Цена 4 р. 50 к.

Б. Рабичкин, И. Тельман. Белая бабочка. Приключенческая повесть. 208 стр. Цена 3 р. 25 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев**,
М. К. Луконин, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 15/VIII-57 г.

Подписано к печати 31/VIII-57 г.

А 06941. Формат бумаги 70×108/16 9½ бум. л. — 26,03 печ. л. Тираж 140.000 Заказ 1737.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.